ISSN 0130 – 6545

9. 1989

Иностранная литература

Портрет Рудольфа II.

На 1-й и 4-й страницах обложки — Осень. Огонь.

Цветные иллюстрации номера — работы итальянского художника Джузеппе Арчимбольдо

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

**Международный
общественный совет
журнала «Иностранная литература»:**

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ (СССР)

Главный редактор — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
ЭРВЕ БАЗЕН (Франция)
КРИСТА ВОЛЬФ (ГДР)
ГРЭМ ГРИН (Великобритания)
ТОНИНО ГУЭРРА (Италия)
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания)
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа)
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (ФРГ)
АРТУР МИЛЛЕР (США)
АНАНТА МУРТИ (Индия)
КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония)
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария)
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения)
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба)
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал)
МАКС ФРИШ (Швейцария)
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

Редакционная
коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ
А. М. АДАМОВИЧ
Н. А. АНАСТАСЬЕВ
Первый заместитель
главного редактора
О. С. ВАСИЛЬЕВ
Заместитель главного
редактора
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА
Т. П. ГРИГОРЬЕВА
Я. Н .ЗАСУРСКИЙ
А. М. ЗВЕРЕВ
И. Ф. ЗОРИНА
Т. П. КАРПОВА
Т. В. ЛАНИНА
Т. Л. МОТЫЛЕВА
В. Ф. ОГНЕВ
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ
В. С. ПЕРЕХВАТОВ
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ
Ответственный секретарь
К. А. ЧУГУНОВ
Заместитель главного
редактора

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

9 сентябрь 1989

СОДЕРЖАНИЕ

ДЁРДЬ МОЛДОВА — Рассказы *(Перевод с венгерского Н. Прошунина)* 5

ХАРТ КРЕЙН — Стихи *(Перевод с английского Михаила Еремина. Вступление В. С. Муравьева)* 26

САЛЬМАН РУШДИ — Стыд *(Роман. Окончание. Перевод с английского И. Багрова)* 31

Из классики XX века

ДЖЕЙМС ДЖОЙС — Улисс *(Роман. Продолжение. Перевод с английского В. Хинкиса и С. Хоружего)* 101

Е. Гениева — Комментарии 180

Публицистика

ИНГМАР БЕРГМАН — Laterna Magica *(Перевод со шведского А. А. Афиногеновой)* 186

К нашим иллюстрациям

Л. Дьяков — Джузеппе Арчимбольдо 215

Критика

Из бесед в редакции

Советский опыт и писатели Запада *(Окончание) (Участвуют: Николай Анастасьев, Самарий Великовский, Борис Гиленсон, Алексей Зверев Валерий Земсков, Георгий Злобин, Тамара Мотылева, Александр Мулярчик, Дмитрий Урнов)* 217

МАРИАМ САЛГАНИК — О благотворности сомнений *(Салман Рушди — «Стыд» и другие романы)* 225

Писатель и время

ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ, НИКОЛАЙ САМВЕЛЯН — Страдающий Бог *(Диалог)* 234

Резонанс

Тема для дискуссии: коммунистическая идея — гуманизм или тоталитаризм

КАРЕЛ ЧАПЕК — Почему я не коммунист? 240

ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ — А вот почему я не коммунист 244

Из зарубежной печати

МИЛАН ШИМЕЧКА — Совесть русской интеллигенции 246

Л. ЛАЗАРЕВ — Это и наша боль 248

Курьер «ИЛ» 250

Авторы этого номера 256

© «Иностранная литература», 1989

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.**
Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 3.07.89. Подписано в печать 8.09.89. Формат 70×108$^{1}/_{16}$.
Печать высокая, бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 22,4.
Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 26,93.

Тираж 420 000 экз. (1-й завод: 1 — 350 000 экз.) Зак. 2510.

Ордена Трудового Красного Знамени типография
«Известий Советов народных депутатов СССР» имени
И. И. Скворцова-Степанова, 103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

ДЁРДЬ МОЛДОВА

Рассказы

Перевод с венгерского Н. ПРОШУНИНА

Заколдованная Контора

Я, последний из посвященных в тайну Заколдованной Конторы, чувствую, что пришло время поведать миру о событиях, определивших ее ужасную судьбу.

Наша Контора ничем не отличалась от других подобных учреждений, разве что наш директор Йожеф Брандт питал к оказываемым ему почестям слабость несколько большую, чем другие директора. В вестибюле была установлена его скульптура в натуральную величину, которую жюри признало лучшей из семисот конкурсных работ доморощенного ваятеля, представленных по случаю шестидесятилетия директора. Угрожающе уставив палец на входящего, скульптура другой рукой указывала на лозунг: «Что ты сделал сегодня для того, чтобы я был тобой доволен?» В туалете директор тоже повесил свой портрет со следующей надписью: «Не болтайся без дела! Помни, что твой директор сумел отказаться от курения!»

Свой кабинет Йожеф Брандт оборудовал в специально перестроенном для этого сейфе, а ведение дел гениально упростил: никогда никого ни по каким вопросам не принимал. Исключения допускались, только если кто-либо хотел доложить о пренебрежительном или критическом высказывании сотрудников нашего учреждения о Нем. В таких случаях заявитель набирал на замке сейфа слово «враг», после чего дверь распахивалась, заявитель входил и сообщал свои сведения. Если они подтверждались, то сотрудник-«клеветник» тут же вылетал из учреждения, а если не подтверждались, то все равно вылетал, потому что случайно ведь ему не станут приписывать высказывания, подрывающие авторитет директора.

Товарищ Брандт руководил нашим учреждением шесть лет, за это время штат Конторы менялся двенадцать раз. На исходе шестого года товарищ Брандт неожиданно умер, и это несмотря на то, что он разрешил двум руководителям подразделений ходить в церковь — в обмен на обещание регулярно молиться за его здоровье.

На следующий день сотрудники собрались в актовом зале на гражданскую панихиду. Перед ними висел портрет товарища Брандта в траурной рамке, под которым — в соответствии с последней волей директора — было написано: «Материя не исчезает, она только преобразуется. Я и отсюда наблюдаю за вами!» Вновь назначенный директор еще не прибыл, прощальную речь держал коллега Чеппенте.

Он произнес ее, стоя спиной к залу и глядя на портрет. Утвержда-

© Moldova György, 1978

ют, что сидящие в первых рядах видели, как во время выступления портрет иногда одобрительно кивал, а если был недоволен, то сурово сдвигал брови. Речь началась в восемь часов утра и закончилась уже в половине седьмого вечера на другой день. Коллега Чеппенте положил на стол последний листок и попросил присутствующих почтить память товарища Брандта минутой молчания. Тут-то и определилась судьба Конторы, которую впоследствии вполне справедливо стали называть Заколдованной.

Присутствующие молча встали, скрывая волнение или, по крайней мере, делая вид, что скрывают волнение, и взялись за спинки стоящих перед ними стульев. Коллега Кёкень — у него частенько сводило ногу — шевельнулся еще в самом начале минуты молчания, но под строгим взглядом коллеги Чеппенте тут же застыл как вкопанный, он знал, что заместители не любят, когда подчиненные проявляют неуважение по отношению к умершему начальнику.

Сослуживцы стояли и ждали, пока кто-нибудь шорохом, кашлем или каким-либо другим образом даст знать, что минута прошла. Но никто не шевелился.

Хотя становилось все более очевидно, что минута давно окончилась, никто не чувствовал себя вправе объявить это. Даже наиболее компетентный по сравнению с другими коллега Чеппенте не смел взглянуть на часы: как это будет выглядеть, если именно заместитель нарушит торжественную тишину. Другие смотрели на портрет в траурной рамке и думали о своих должностях, они не сомневались в том, что товарищ Брандт не зря напомнил им закон сохранения материи. Даже из могилы сумеет он покарать тех, кто покусится хотя бы на одну секунду из тех последних шестидесяти, которые посвящены его памяти. Одновременно каждый с трудом подавлял улыбку при мысли о том, что какой-нибудь несчастный простофиля, который первым нарушит тишину, тут же вылетит из учреждения, перед многими замаячила возможность внеочередного повышения.

В довершение трагедии настенные часы — вероятно, в знак соболезнования — остановились, присутствующие были лишены последнего шанса установить, не оскорбив памяти покойного, что минута молчания истекла.

Рассвело, затем снова стемнело, но минута молчания все еще продолжалась, она не была прервана и тогда, когда в учреждение прибыл новый директор и попросил всех сесть или разойтись по домам и отдохнуть. На его слова никто не откликнулся, хотя все были бы рады покончить наконец с этой минутой молчания, однако каждый боялся, что его возьмут на заметку: именно он сел первым.

Две недели спустя — поскольку понадобился актовый зал — новый директор погрузил неподвижно стоящих людей на грузовик (они были абсолютно неподвижны, при желании их можно было бы даже прооперировать) и отправил в больницу. Так как здесь их не приняли, он пристроил всех в одном из залов Музея Самой Новейшей Истории.

С тех пор там и стоит Заколдованная Контора, за красным веревочным ограждением, они держатся за спинки стульев, вперившись в стену, на которой уже давно не висит портрет товарища Брандта. Сторож рассказывает, что по ночам они вздыхают, ноги у них подрагивают, они словно бы и хотят сдвинуться с места, но потом скосят глаза друг на друга и снова продолжают стоять строго и неподвижно.

Подарок дядюшке

Перед справочным окошком Государственного внешнеторгового банка стоял маленький робкий человечек:

— Простите, пожалуйста, я насчет автомобиля...

— Товарищ Лукулл Киш, седьмой этаж, один миллион восемьсот тысяч четыреста четырнадцатая комната.

Человечек поднялся на седьмой этаж к Лукуллу Кишу.

— Добрый день, я Бела Робоз, учитель средней школы. Простите, пожалуйста, я насчет автомобиля...

Лукулл Киш протянул ему экземпляр размноженной инструкции:

— Пожалуйста, здесь вы все найдете.

Робоз внимательно прочитал инструкцию и с легким поклоном возвратил ее обратно:

— Простите, пожалуйста, но здесь нет ничего по моему вопросу.

— Как так? Там точно указано, какую пошлину следует уплатить за новую машину и какую за подержанную.

— Простите, но речь идет как раз о другом. Я хотел бы не получить, а отослать автомобиль.

Лукулл Киш уставился на учителя:

— Послать машину? Кому? Куда?

— Моему дяде, Сэму Робозу, в Ред Хилл, штат Кентукки, США.

— Вы хотите послать автомобиль в Америку?

— Простите, а что в этом такого? Мы с женой оба педагоги, нам сейчас повысили зарплату, словом, грех было бы жаловаться на жизнь. Мы собирались поменять наш «трабант» [1] на что-нибудь побольше, но жена говорит мне: «Послушай, Бела, давай купим «москвич», а нашу машину подарим дядюшке Шаму».

— А дядюшке Шаму не хватает именно вашего «трабанта»?

— Вы просто представить не можете, как он будет рад. Ведь там у них тоже не все миллионеры! Вот и дядюшка Шаму наш довольно бедный, каждый день обедает на благотворительной кухне и все в разных городах. Приходится много ездить. Вот мы и подумали, что наш маленький «трабант» ему как раз будет кстати.

Лукулл Киш почесал в затылке и произнес ту универсальную фразу, которая никогда не бывала чревата никакими последствиями:

— Знаете что? Оставьте адрес, мы вас известим.

Служащий передал документы начальству, которое — поскольку подобных случаев в его практике еще не встречалось и требовалось принять самостоятельное решение — тотчас внесло это дело в Вымороченную ведомость. Дела, занесенные в эту ведомость, решались только в одном случае — в случае смерти клиента. А до тех пор надо было лишь следить, чтобы они спокойно лежали на своем месте, поэтому премия архивариусу выплачивалась в зависимости от толщины слоя пыли на каждом досье.

Однако Робоз не сдавался, он приходил вновь и вновь, интересовался своим делом и в конце концов его просьбой были вынуждены заняться.

— Товарищи, необходимо решить, что для нас важнее,— так сформулировал проблему председатель комиссии.— Предположим, мы скажем «да», тем самым, пусть только на один «трабант», но мы усилим империализм, с другой стороны, трудно переоценить пропагандистский эффект подобного жеста: ведь теперь мы не только получаем автомобили из-за границы, но и посылаем их туда. Поэтому я предлагаю пока не давать разрешения на отправку автомобиля, но в газетах поместить сообщение, что якобы разрешение это было дано. В зависимости от реакции общественности определится и наша позиция. У нас будет возможность поменять решение на прямо противоположное или вообще отменить его.

---

[1] Марка малогабаритных легковых автомобилей с пластмассовым кузовом, выпускаемых в ГДР. *(Здесь и далее прим. перев.)*

Реакция общественности превзошла все ожидания. Уже на следующий день после скупого информационного сообщения венгерских газет его комментировала вся мировая пресса. Приведем лишь две выдержки из многочисленных откликов:

«*New York Times*»: «Как стало известно, венгерское правительство разрешило одному из граждан послать «трабант» родственнику, живущему в Америке. Наш соотечественник, безусловно, сможет весьма эффективно использовать эту машину в качестве пепельницы в своем новом «форде».

Информационное агентство «Новый Китай»: «Ветер предательства разносит по венгерской пусте капиталистических долгоносиков. Венгерское правительство направляет в помощь американским империалистам десять тысяч автомобилей «трабант». «Трабант» принадлежит к числу наиболее современных типов транспортных средств, его двигатель всего за два такта выполняет работу, которую не столь современные типы осуществляют за целых четыре такта, мощная броня делает «трабант» одинаково пригодным для боевых действий как на суше, так и на воде. Наше посольство обратилось с просьбой внести изменения в конструкцию звукового сигнала, чтобы при его нажатии звучали цитаты Мао Цзэдуна. Однако венгерские власти в этой просьбе отказали, следует ли удивляться, что в ответ на это в Пекине хунвэйбины перемешали в венгерском магазине красный перец с пудрой».

Председатель комиссии с удовлетворением раскладывал перед собой газетные вырезки:

— Развитие событий показало, какое правильное решение мы приняли, не приняв никакого решения. Однако теперь нам придется решать. Каким образом мы и в дальнейшем могли бы обеспечить в этом деле такую же осмотрительность и гибкость?

— А что, если представить этот треклятый автомобиль в качестве изделия народного промысла? — спросил один из членов комиссии.

— Автомобиль как произведение народного творчества? Звучит неплохо, но что это даст?

— Нам не придется принимать новое решение, что всегда сопряжено с риском. Мы просто применим к этому автомобилю правила пересылки за границу предметов народного творчества.

Десять дней спустя Бела Робоз получил официальное уведомление:

«Дорогой товарищ Робоз!

Доводим до Вашего сведения, что Государственный внешнеторговый банк — как компетентный по данному вопросу орган — удовлетворил Вашу просьбу, внеся определенные поправки.

Вы можете послать своему родственнику любую деталь автомобиля, которая, в соответствии с правилами дарения предметов народного творчества, не превышает по стоимости 250 (двухсот пятидесяти) форинтов. Пересылке не подлежат, однако, те детали, которые могут послужить поводом для откровенной клеветы или глумления: руль, который может послужить основанием для намеков на наши руководящие органы, например, Внешнеторговый банк, а также колеса, поскольку и в английском языке существует выражение «пятое колесо (или пятая спица в колеснице)».

Так как Ваше отправление мы с полным основанием рассматриваем как предмет народного творчества, просим снабдить выбранную Вами деталь каким-либо венгерским национальным орнаментом — тюльпан, хохлатка или домна, разноцветный чардаш, напевная прялка — и как можно скорее представить ее для утверждения».

Бела Робоз выбрал брызговик, причем — исходя из самых разных соображений — левый брызговик. По его заказу один начинающий абстракционист нарисовал на нем сцену в венгерской корчме: ромбовидный разбойник пьет многоцветное вино, а цыган пиликает на старинных цимбалах.

В таком виде отправление сразу же приняли. При этом обещали оформить все очень быстро, но Робоз уже не дождался столь желанного ответа от дяди. Перед смертью он предупредил, на каком кладбищенском участке его искать, и значительную часть имущества завещал почте, поэтому нет ничего удивительного в том, что пришедшее из Америки письмо тут же доставали на Ракошкерестурское кладбище.

Робоз едва дождался, пока наступит полночь и его дух вскроет пестрый конверт:

«My dear old fellow!

Получил милый подарка, очень Вам всем спасибо, но принять не могу, потому что Таможенные власти Соединенные Штаты установили на ваши брызговики (или — брызгалки?) такой высокий пошлина, что я бедный человек выплатить не мочь. Поэтому с благодарностью отсылаю обратно. Как там Аранка?

Yours faithfully
Сэм Робоз»

Конституционная республика «Улица Ротенбиллера, 93/А»

Позвольте представиться: адвокат на пенсии доктор Медард Каро, председатель жилкомитета дома 93/А по улице Ротенбиллера. Наш дом считался одним из самых запущенных в Пеште, в жилуправлении его называли домом Арпадов [1], потому что ремонт здесь последний раз был во времена Эндре II [2]. С тех пор чинились только препятствия.

Если кто-либо из жильцов предполагал в течение дня кашлянуть, он был обязан не позднее шести часов утра оставить у меня заявку, чтобы остальные квартиросъемщики успели соответствующим образом укрепить потолки. И тем не менее случалось, что внезапно сорванную дверь владелец был вынужден, будто бабочку, преследовать с сачком аж до самого Верешэдьхаза.

Однако все это не шло ни в какое сравнение с состоянием крыши нашего дома. Черепичное покрытие никак не удавалось привести в порядок после того урона, который ей нанесла необычайно суровая зима 1792 года, и в результате на чердаке образовалось огромное озеро. Я много раз обращался в различные инстанции, в конце концов они поняли, что так дальше продолжаться не может, и выпустили в озеро несколько золотых рыбок.

При этом, к сожалению, корма для них не выделили, поэтому рыбки питались развешанным на чердаке бельем. Когда прожорливые животные слопали мои единственные выходные кальсоны, я снова бросился в жилуправление, но теперь это была уже последняя попытка.

Я пригрозил им судом, но меня просто подняли на смех. «Учтите,— сказали они,— что мы государственная организация, и если вы подадите на нас в суд, то значит, подадите в суд на само государство». Что мне оставалось делать? Я подал в суд на государство.

После длительного рассмотрения иска суд вынес следующий приговор: «Истец — доктор Медард Каро, Будапешт, VIII район, улица Ротенбиллера, 93/А. Ответчик — Венгерская Народная Республика, Солнечная система, немного левее Центральной Европы. Хотя жалоба

---

[1] Арпады — династия венгерских князей (889 — 1000) и королей (1000 — 1301).
[2] Эндре II — венгерский король (1205 — 1235).

истца по целому ряду пунктов является обоснованной, удовлетворить его требования относительно крыши не представляется возможным в связи с тяжелым материальным положением ответчика — Венгерской Народной Республики».

Я, естественно, не принял такого обоснования. Если у ответчика хватает денег, чтобы давать в долг самым разным странам, то наберется и на нашу крышу. Однако в ответ на мою апелляцию суд ограничился следующим заявлением: «если дому 93/А по улице Ротенбиллера не нравится государство, пусть поищет себе другое».

Это и послужило толчком для окончательного решения: государство не выполняет своих обязательств по отношению к нам, следовательно, и мы считаем себя свободными от обязательств по отношению к государству. Жилкомитет решил, что наш дом немедленно выходит из состава Венгерской Народной Республики и преобразуется в конституционную республику под названием «Улица Ротенбиллера, 93/А».

Одновременно мы подчеркнули, что нас полностью устраивал социалистический договор о найме жилой площади, поскольку он положил конец эксплуатации жильца жильцом, а к отделению нас вынудила исключительно несправедливость со стороны жилуправления.

Как бывший юрист я разработал основные принципы новой конституции. Нашей границей на востоке служил дом 93 по улице Ротенбиллера, на западе — дом 93/Б по улице Ротенбиллера и овощная палатка дяди Воланчака. На юге и на севере простирались неприступные и вечные естественные рубежи: здесь нашу республику охраняли земляные валы, возникшие в связи с ремонтом канализации.

Руководящие органы мы избрали на лестничной площадке путем свободного волеизъявления, точнее волевыкрикивания. На пост президента республики мы выдвинули вечно важничающего дядю Шнейвейса, так как мы хотели иметь полную гарантию, что он ни во что не будет вмешиваться. В государственный совет был избран также представитель национальных меньшинств, проживающих в доме: контрабасист Фердинанд Цы́ган.

Основой нашей экономической системы был размещавшийся на первом этаже кооператив по производству творога. Когда мы создали свои собственные деньги, в качестве их товарного покрытия послужила продукция этого кооператива, поэтому наша валюта получила название «творог». На мировом рынке творог котировался приблизительно на уровне форинта.

Наша армия состояла из проживающего на втором этаже третьего помощника инспектора налоговой службы Лайоша Мачкаши. От имени правительства он заявил, что не намерен выходить из состава оборонительного союза улицы Ротенбиллера, хотя ему и сулили табачный киоск на бойком месте возле площади Хуняди.

Тем не менее такие соседние державы, как дом 93 по улице Ротенбиллера и дом 46 на площади Лёвёлде, весьма настороженно восприняли известие о нашем преобразовании в независимое государство. Втайне они опасались, что мы потребуем обратно прачечную, расположенную в подвале, которая первоначально относилась к нашему дому, но во время войны была отторгнута от нас. Мы в спешном порядке заявили, что не имеем территориальных претензий, они тем не менее развязали против нас кампанию клеветы. В частности, распространяли слух, будто наше государство в ближайшее время получит новый номер телефона: ноль-ноль-ноль, ноль-ноль-ноль.

Все это, впрочем, не могло помешать нашему продвижению вперед. Почта одну за другой доставляла телеграммы, в которых самые разные страны сообщали о признании нашей республики. Последней дала о себе знать Объединенная Арабская Республика: очевидно,

у них были определенные сомнения относительно происхождения Липота Ротенбиллера, именем которого было названо наше государство.

Естественно, мы нисколько не удивились, когда нас пригласили на очередную сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Я возглавлял нашу делегацию, ее членами были также глава государства Бенедек Шнейвейс, министр иностранных дел проводник международного спального вагона Буда Немода (правда, против его кандидатуры имелось одно, но весьма существенное возражение — в отличие от венгерской дипломатической практики он владел несколькими иностранными языками) и тетушка Борбола, дорожные расходы которой оплатила ее сбежавшая на Запад дочь.

Наша тактика в ООН была простой, но чрезвычайно эффективной. Мы поняли, что доброму имени такой маленькой страны ничто не может повредить больше, нежели постоянное поддакивание, поэтому, кто бы и какую бы резолюцию ни предлагал, наша делегация немедленно заявляла протест.

Каждый раз, когда объявляли, что слово предоставляется министру иностранных дел Дома 93/А по улице Ротенбиллера профессору Буде Немоде и он с компостером в руке поднимался на трибуну, раздавался гром аплодисментов, а делегаты сразу начинали шелестеть бумагами в поисках следующей резолюции.

Эта сессия, на которой не было принято ни одного решения, до сих пор рассматривается как одна из самых запоминающихся страниц в истории ООН.

Многочисленные факты указывали на то, что по окончании сессии авторитет нашей республики существенно укрепился. В знак уважения к нашей стойкости мировая пресса присвоила нам звание «непоколебимая недвижимость». Под серьги тетушки Борболы нам удалось получить крупный международный кредит, благодаря чему творог стал конвертируемой валютой и стал называться новым творогом или творогом Нослопи[1]. И теперь, если тетушка Борбола спускалась в магазин купить колбасы, она всегда выговаривала продавцу: «Края и веревочки вы можете подсовывать за форинты, а мне за мою валюту извольте отрезать из середки».

Мы понимали, что дальнейшее укрепление позиций республики связано с развитием туризма, с использованием природных красот и исторических достопримечательностей нашего дома. Республика обладала бесценной коллекцией плесени на стенах подъезда, могла гордиться также древнейшим в Европе водопроводом, а о первом засоре канализации упоминал еще Анонимус[2].

Горожане с далекой площади Клаузал неделями собирали деньги, чтобы выбраться на прогулку на улицу Ротенбиллера. Особенно много народу на наших пограничных пропускных пунктах скапливалось по пятницам во второй половине дня, ведь именно в это время в округе проводили занятия по гражданской обороне.

К сожалению, к нам приезжало гораздо больше людей, чем уезжало, в городе взяли за правило: если кто-нибудь пропивал получку, то просил у нас политического убежища от жены. Напрямик к нам проследовала и венгерская сборная по бумерангу, которая из-за неудачного выступления на Олимпиаде не решилась вернуться на родину, а также «чистильщик» венгерской футбольной команды, на которого мы возложили обязанность содержать в чистоте нашу государственную лестницу.

Самым серьезным образом рассматривался вопрос об организации в доме 93/А по улице Ротенбиллера Олимпиады 1980 года. Сэр Эйвери Брендедж[3] был в восторге прежде всего от места, где плани-

[1] Гашпар Нослопи (1828 — 1853) — участник борьбы за независимость, соратник Кошута.

[2] Безымянный венгерский летописец конца XII — начала XIII вв.

[3] Президент Международного олимпийского комитета в 1957 — 1972 гг.

ровалось проводить соревнования по плаванию, то есть от чердака, который считался самым высокогорным в мире озером.

Вследствие бурного развития туризма у нас возникли трудности с размещением гостей, даже на бельевых веревках ночевали прихваченные прищепками интуристы. Поскольку мы не имели возможности расти вширь, нам пришлось устремиться ввысь, и мы решили взяться за строительство наполненных газом подвесных гостиниц. Проектирование этих воздушных замков осуществляли признанные специалисты в данной области — венгерские экономисты.

К сожалению, воздушным замкам не суждено было вырасти до небес, потому что одна идея, поначалу казавшаяся гениальной, привела к полному краху нашей республики.

В соответствии с принципом «фабрики принадлежат трудящимся» наша республика была совладельцем самых разных венгерских предприятий — благодаря работавшим на них жильцам. Мы довели до сведения Венгрии, что отказываемся от принадлежащей нашим гражданам доли и просим перечислить в казну республики соответствующий денежный эквивалент.

На крупную сумму мы не рассчитывали, но планировали, что если к тому же добавим еще немного сами, то сможем купить дяде Шнейвейсу новый берет. Однако венгерское правительство вместо того, чтобы заплатить наличными, отдало нам жилуправление — в аренду.

Это был самый подлый удар, который когда-либо могла нанести маленькой стране великая держава. За счет поступающей квартплаты мы должны были ремонтировать все протекающие крыши и водопроводные краны на улице Ротенбиллера. Мы тут же обанкротились, даже ломбардные квитанции были сданы в ломбард, и вся республика получила на ужин одну-единственную селедку.

Правда, какое-то время мы еще продержались на плаву, так как несколько западных государств предоставили нам крупные займы, но лопнувшие на площади Лёвёлде трубы окончательно подорвали финансовую мощь даже Соединенных Штатов.

Одиннадцать непобедимых

I

В этот вечер вновь рассказывал Враль Ковач:

Дорогие мои, пусть мы проживем по тысяче лет, но такого тренера, как Бела Яшчак — из легендарной защитной линии Стейниц —Яшчак—Подхола — нам больше не видать. Футбол был его страстью, он даже спал на стадионе, покачиваясь в сетке ворот, под голову подкладывал футбольный мяч, а накрывался поношенной зелено-белой[1] футболкой. Маленькую магнитную доску он постоянно носил с собой и прикидывал на ней различные тактические варианты. Однажды бессонной ночью при лунном свете он придумал, например, систему с выдвинутым на острие атаки вратарем, которую позже с большим успехом применяли немецкие и польские клубные команды.

Идеальных людей не бывает, вот и этот тренер вроде как немного перебарщивал с дисциплиной. Игроки должны были ложиться спать самое позднее в половине пятого вечера. Увидев однажды, как наш центральный нападающий в десять минут шестого выбежал из палеонтологического музея тренер тут же на ступеньках музея избил его до полусмерти. Но Яшчак не ограничился воспитанием игроков, он лично контролировал, кроме всего прочего, работу прачечной, со-

[1] Цвета известной венгерской футбольной команды «Ференцварош».

ветовал, какую закуску подавать к обеду в ресторанчике при стадионе.

Хотя команда выиграла первенство, руководству не нравился приказной стиль Яшчака, и оно бы с удовольствием избавилось от тренера. Вскоре представилась такая возможность. Когда Яшчак потребовал изменить маршруты международных авиарейсов, так как гул моторов мешает отрабатывать удары головой, руководство не поддержало его предложение. Яшчак сделал соответствующие выводы и в тот же день подал заявление об уходе по собственному желанию.

В Федерации футбола скопилось уже шестьдесят одно подобное заявление Яшчака. Там были готовы помочь седовласому тренеру с трудоустройством, но просто не смогли найти ни одной команды первой или второй лиги, с которой бы Яшчак уже не разругался. Чтобы он все-таки не остался без работы, его командировали в качестве государственного тренера в Могамеданию, страну со слаборазвитой футбольной жизнью. В сердце — с глубочайшей обидой, а в руках — с футбольным мячом, который изготовили из кожи им самим выбранного теленка, Яшчак отправился в Африку.

Здесь в первый же вечер его уведомили, что хотя к его мнению будут всегда относиться с величайшим вниманием, к сожалению, нет возможности передать ему руководство промышленностью по переработке слоновой кости. Кроме того, проявив предельную деликатность, его выпроводили из Центрального сейсмологического института, в работу которого он тоже хотел вмешаться. Таким образом, Яшчак был вынужден направить всю свою энергию на футбол.

Ночью загадочные звуки тамтамов разнесли над джунглями новость: «Тренер Бела Яшчак начинает вербовку футболистов, добровольцы должны иметь с собой снаряжение: набедренные повязки и сандалии из кожи носорога».

На этот призыв откликнулись пятнадцать тысяч человек, и Яшчак организовал отборочные соревнования по народным видам спорта Могамедании. В программу были включены: толкание кокосового ореха, бегство на сто метров от воображаемого крокодила, лишь триста победителей он испытал еще и в упражнениях с мячом.

В итоге материал оказался слабее, чем ожидалось, особенно с точки зрения техники. Так, например, только один старый колдун умел сносно навесить на ворота левой ногой. Яшчаку предстояло проделать колоссальную работу, чтобы создать боеспособную команду к розыгрышу переходящего международного кубка «Серебряный бивень».

Единственное в стране футбольное поле, на котором Яшчак проводил тренировки, было окружено высокими кокосовыми пальмами. Визг человекообразных обезьян и крики попугаев подвергали постоянному испытанию чувствительные нервы тренера. И вообще, он уже не раз с ностальгией вспоминал ту исключительную власть, которой он обладал у себя дома. А здесь в жару игроки просто убегали с футбольного поля и прыгали в озеро купаться. Яшчак попробовал было перенести тренировки на вечер, но на закате игроки брали свои молитвенные коврики и всей командой отправлялись молиться в ближайшую мечеть, и тренер ничего не мог с ними поделать.

По своей давней привычке Яшчак и теперь спал на стадионе. Покачиваясь в сетке ворот, он с грустью смотрел на залитое лунным светом поле и разбросанные по нему мячи. Он уже понимал: вряд ли осуществится его тайная мечта воспитать из игроков Могамедании классную команду, приехать со своими питомцами в Венгрию и победой над венгерской сборной доказать, как незаслуженно его изгнали в Африку.

Яшчак проснулся от звука ударов по мячу. В первую минуту он подумал, что это футболисты вернулись с вечерней молитвы, но, к его величайшему изумлению, мячами завладели те самые громадные

обезьяны, которые в течение дня наблюдали за тренировками с деревьев. Сначала Яшчак испугался, в лунном свете обезьян было легко принять за призраков. Однако страх быстро сменился восторгом: обезьяны обладали исключительным чувством мяча.

Наблюдательные животные, сидя на пальмах, прекрасно усвоили все технические приемы, которые тренер сотни и сотни раз впустую демонстрировал своим игрокам. Их небрежные, раскованные движения напоминали стиль бразильской команды — чемпиона мира. Когда одна приземистая обезьяна с ходу направила мяч к воротам, а стоявший в центре партнер в акробатическом прыжке забил мяч в ворота головой, Яшчак не смог удержаться, невольно выкрикнул «браво!» и зааплодировал.

Обезьяны от испуга кинулись на деревья и в эту ночь больше не опускались. На следующий день Яшчак выспросил все об обезьянах у старого колдуна, который играл в команде на месте левого крайнего.

Колдун рассказал, что этот вид обезьян, которых жители Могамедании называют «гуму чечели» («хитрые дьяволы»), относится к самым восприимчивым и сообразительным животным. Англичане, бывшие хозяева страны, выдрессировали их не только мотыжить землю и водить трактор, но и для более сложных работ. Одна очень толковая обезьяна дослужилась до должности швейцара в местном «Traveller's Club». Колдун, который по долгу службы довольно сносно разговаривал на языке зверей и птиц, согласился быть посредником между Яшчаком и обезьянами.

Ночью Яшчак и колдун спрятались у стойки ворот и стали дожидаться момента, когда обезьяны спустятся с деревьев и начнут играть оставленным на поле мячом. Вот тогда колдун и вышел вперед и, как-то странно бурча и завывая, заговорил с ними. Очевидно, обезьяны поняли его, потому что не бросились назад к пальмам, а, сбившись в кучу, начали совещаться у противоположных ворот.

Немного спустя от группы отделилась степенная обезьяна с весьма представительной внешностью, она взобралась на дерево, а когда спустилась вниз, в руках у нее была фуражка с золотым позументом, на которой без труда можно было прочитать надпись«Traveller's Club», и, водрузив ее на голову, скромно, но с чувством собственного достоинства остановилась в нескольких шагах от Яшчака.

Яшчак повернулся к колдуну:

— Спросите, хотят ли они играть в футбол?

Колдун с помощью уже знакомых нам завываний и бормотаний перевел вопрос. Бывший швейцар, приподняв фуражку с золотым позументом, извинился, обсудил предложение с товарищами, затем глухо произнес единственное английское выражение, которое сохранил в памяти:

— Yes, sir.

В дальнейшем он говорил на своем языке. Привыкший к стилю европейских футболистов Яшчак опасался, что свое согласие обезьяны поставят в зависимость от того, получат ли они в качестве квартир более плодоносные кокосовые пальмы на одной из ближайших плантаций, и с облегчением вздохнул, когда колдун перевел заявление швейцара. Обезьяны, сказал он, отдают себе отчет в том, что за удовольствие, каковым является футбол, следует платить. Но к сожалению, они располагают весьма скромными средствами. Швейцар спросил Яшчака, согласится ли тот обучать их за десять папоротников и две горсти термитов, к этому самое большее они могут добавить еще девять цветных улиток. Стоит ли говорить, что при таком проявлении духа любительства Яшчак был глубоко тронут и от гонорара отказался.

С этого момента он начал работать на два фронта. Днем он, скорее для видимости, занимался с бесперспективными футболистами Могамедании, правда, теперь он уже сам все чаще посылал игроков ку-

паться или молиться. К величайшему удивлению местного спортивного руководства, тренер пристрастился к лазанью по деревьям, ведь в течение дня он лично несколько раз проверял, соблюдают ли обезьяны спортивный режим. Руководство, однако, приписывало эту странную привычку тому, что нервы седовласого тренера сильно сдали под воздействием влажного климата Могамедании, и, выражая ему глубокое сожаление, сообщили: контракт, истекающий в конце года, продлевать не намерены. Но Яшчака это нисколько не интересовало.

Настоящая жизнь начиналась для него с восходом луны. Обезьяны спускались с деревьев, по свистку Яшчака пробегали несколько кругов по футбольному полю, а затем во время разминки делали такие упражнения, за которые любой судья в мире даст максимальные десять баллов.

Зато гораздо труднее было приучить их к футбольной амуниции. Майку и трусы они кое-как еще терпели, но бутсы с кожаными шипами мучительно терзали нежные обезьяньи ноги. Яшчак, который во что бы то ни стало хотел создать и внешне безупречную команду, настаивал на бутсах, он даже предпочел отказаться от некоторых очень талантливых, но чересчур чувствительных обезьян.

В создании команды тренеру оказал большую помощь бывший швейцар, который не только играл в линии нападения, напоминая Божика[1] в его лучшие годы, но и выполнял функции разыгрывающего. Бывший швейцар проявил такую степень сознательности, что в конце концов даже расстался со своей фуражкой с золотым позументом, которую поначалу не снимал и во время игры: убедился, что она сильно затрудняет игру головой. Не только на футбольном поле, но и вне его он вел себя как настоящий капитан команды: несмотря на отсутствие особых на то указаний, он заставлял наведывавшихся по ночам самок держаться подальше от молодых игроков.

К концу года, когда срок контракта истек, Яшчаку удалось сколотить боеспособную обезьянью команду. Более того, кроме лучших одиннадцати футболистов в его распоряжении была соответствующая замена на каждом посту. Оставалась единственная нерешенная проблема: как забрать их с собой в Европу? Ведь таможенные законы Могамедании разрешают провозить не более одиннадцати обезьян на человека.

Попытаться спрятать почти двухметровое животное в чемодане — затея смехотворная. В конце концов Яшчак за неимением лучшего принял предложение колдуна, который вызвался быть не только переводчиком, но и массажистом, в связи с чем увязал целых два тюка волшебных снадобий. Одиннадцать запасных записали в его таможенную декларацию.

В мае 196... года английский океанский лайнер, названный именем сэра Стенли Мэтьюза, покинул Аллах Акбар, столицу Могамедании, и взял курс на Европу. На его борту находились Яшчак и старый колдун. Обезьян разместили в трюме, в общей — по настоянию Яшчака — просторной клетке. Таким образом, игроки получили возможность поддерживать форму с помощью напряженных индивидуальных тренировок и даже сыграли между собой несколько коротких матчей.

Стук мячей в течение всего плавания приводил в отчаяние команду корабля. Спасательные шлюпки держали постоянно наготове, так как все были убеждены, что странный шум вызван перебоями в работе двигателя и рано или поздно дело кончится взрывом. Никому и в голову не могло прийти, что внизу, в трюме корабля, двадцать два обитателя джунглей оттачивают мастерство владения мячом, готовясь к тому, чтобы разгромить лучшие футбольные клубы Европы.

---

[1] Известный венгерский футболист, провел сто матчей за национальную сборную команду.

II

Яшчак заранее, еще в Африке, раздобыл цветной иллюстрированный прейскурант посреднического агентства и очень внимательно изучил его. На полях он сразу же пометил услуги, касающиеся покупки квартиры или строительства собственного дома. За десять тысяч долларов он мог получить в Ракошчабе соответствующий его целям дом с садом. Однако особое внимание привлекало приложение.

«Дорогой соотечественник (соотечественница)!— говорилось в пояснительном тексте.— В интересах лучшего обслуживания клиентов мы предоставляем также административно-правовые услуги. Тем самым мы надеемся приблизить братьев, оказавшихся на чужбине, к нашим молочным рекам и кисельным берегам, к народу, выстрадавшему свое прошлое и будущее. Обратите внимание на наши низкие цены:

1. Новое имя $ 9,—
2. Новая фамилия $ 11,—
3. Графский титул (с родовым гербом и семейным склепом, только для иностранных подданных) $ 200,—...»

Яшчак купил каждому из своих двадцати двух питомцев полное имя, всего на сумму четыреста сорок долларов. После долгих раздумий он назвал их именами игроков, которые выступали некогда за золотой состав «Ференцвароша». В те времена он и сам еще играл в команде. Так на бланке заказа Яшчак впервые написал имена, которые вскоре замелькали на страницах газет: Тирнауэр, Ашо, Капа, Стейниц, Яшчак (свое имя он дал бывшему швейцару — капитану команды), Подхола, Шипец, Геза Кон, Халас, Вадас, Мадарас. А запасные получили имена вечных соперников — игроков МТК.

К приезду Яшчака дом и сад в Ракошчабе ждали его в полной готовности и в соответствии с предварительной договоренностью были обнесены высоким забором. Клетки он переправил сюда ночью, а необходимые игрокам овощи и фрукты закупил в отдаленных магазинах, чтобы не привлекать излишнего внимания. Про обезьян разнюхал только директор зоопарка и хотел уже прибрать их к рукам, но вынужден был отступить после того, как каждая из обезьян представилась ему, назвав свое имя, купленное за доллары.

Яшчак никогда не обладал особым дипломатическим чутьем, он понимал, что функции менеджера надо поручить кому-то другому. Каждый день он заходил в Федерацию футбола и, прогуливаясь по коридорам, пытался найти подходящего человека. Как-то раз в понедельник — этот день недели считается главным на футбольной бирже, по понедельникам проводятся заседания лиги, заключаются соглашения о договорных матчах на конец недели — Яшчак встретился со стариком Вилмошем Форгачем.

Вилмош Форгач когда-то в молодости торговал оптом кожами и кишками, после национализации его заведения он устроился снабженцем в кооператив гробовщиков «Новая жизнь», но на самом деле жил футболом. Четыре года он продавал своего сына, которого воспитывал левым крайним, так как у того с детства правая нога была немного короче левой. Каждую неделю Форгач заявлялся с ним в очередную команду, но напрасно испускал он тучи сигарного дыма и подбадривающих выкриков, напрасно извергал на тренеров проклятия библейской изысканности, сын его провалился во всех пробных играх. Тогда Форгач переключился на куплю-продажу целых команд. На выгодных условиях он поставлял из провинции подержанных вратарей, центральных нападающих с мелкими дефектами головного чутья или любой другой товар, который ему заказывали. В результате за эту деятельность его однажды посадили. Как раз в тюрьме он и организовал венгерскую сборную уголовников, которая с таким убедительным

преимуществом выиграла международный футбольный турнир центральноевропейских тюрем.

Яшчак оттеснил Форгача в один из дальних коридоров:

— Уважаемый Форгач, могу предложить команду на продажу.

Форгач отмахнулся, не вынимая изо рта сигары:

— Знаете, как это меня интересует? Как прошлогодний снег. Кто сегодня купит команду? Даже на Эйсебио не заработаешь.

— Я привез их оттуда же, откуда родом Эйсебио.

— Негры?— глаза Форгача заблестели.

— Нет, обезьяны.

Форгач вынул изо рта сигару и хмуро взглянул на Яшчака:

— Пятнадцать лет назад, когда вы так погорели, что на вас живого места не осталось, я вам дал тогда — совершенно бесплатно — пятьдесят граммов бальзама на ваши раны, а теперь вы в качестве благодарности решили посмеяться надо мной?

— Клянусь вам, Форгач, вы можете заключить величайшую сделку в своей жизни.

— С обезьянами, пинающими мяч?

— Да, с этими обезьянами.

— Чтоб я ослеп, чтоб мои дети не пережили завтрашнего утра, если я еще хоть раз в жизни заговорю с вами.

Яшчак затолкал протестующего Форгача в такси и отвез в Ракошчабу. В саду перед домом тут же устроили показательную встречу. Изумлению старика маклера не было предела:

— Пусть земля треснет на могиле моей матери, если я когда-нибудь видел такое!

Он даже угостил тренера сигарой, что означало у него высшую степень признания:

— С этой минуты вы, Яшчак, gemachter Mann, то есть ваше дело в шляпе. Осталось только найти фирму, которой мы сможем продать команду. Организуем товарищескую встречу, а я приглашу нужных людей.

Матч состоялся в следующую среду на одной из площадок в городском парке. В качестве противника Форгач пригласил команду «Братство», которая хоть и выступала в третьей лиге, но как раз в тот год выбила из борьбы за Кубок Венгерской Народной Республики знаменитый «Вашаш». Игроки «Братства», увидев, что им предстоит играть с обезьянами, отказались выйти на поле. Только проклятья и угрозы Форгача заставили их быть более покладистыми.

Вокруг встречи не было никакого ажиотажа. На трибуне за ржавыми перилами стояли лишь несколько спортивных функционеров, родственников и любопытных. Вот и все свидетели первого матча на венгерской земле одиннадцати непобедимых.

Вначале обезьяны никак не могли найти свою игру. Они впервые оказались перед лицом незнакомого противника, чувствовали себя скованно и легко попадались на простейшие трюки. Тирнауэр, вратарь, только благодаря поистине обезьяньей ловкости парировал несколько опасных ударов. Форгач нервно грыз за воротами свою неизменную сигару:

— Пусть моему отцу не будет покоя в могиле, если я еще когда-нибудь влезу в такое дело.

Однако после первых пятнадцати минут рисунок игры изменился. Бывший швейцар все чаще бросал нападающих в прорыв длинными диагональными передачами. После одной из таких передач Шипец рванулся по краю, навесил на ворота, и Геза Кон с ходу послал мяч в левый верхний угол.

Как на поле, так и на трибунах первый гол обезьян вызвал оцепенение. Игроки «Братства» понимали, что если они проиграют встречу, то на долгие годы станут мишенью для насмешек. Они отчаянно боролись за то, чтобы сравнять счет, но вместо этого получали новые голы.

К концу второго тайма их соперники вели уже со счетом восемьноль, и тогда некоторые игроки «Братства» утратили контроль над собой. Они подсекали или сбивали нападающих, пускали в ход кулаки против защитников, когда те боролись за верховые мячи. Обезьяны были удивлены грубостью противника, Яшчак не подготовил их к такому стилю игры. После матча бывший швейцар, ощупывая кровоточащую лодыжку, вполне справедливо заметил:

— У нас в джунглях такая игра не прошла бы.

После успешной премьеры присутствовавшие на матче спортивные руководители окружили Форгача. Старый маклер, грызя сигару, пытался определить, какое предложение сулит больше денег. В конце концов он остановился на «Шахтере» с улицы Ваци, образцово-показательной команде профсоюза горняков.

Как раз в то время игроки «Шахтера» бросили свою команду на произвол судьбы, хотя руководство делало все, чтобы завоевать их расположение. Например, чтобы спортсменам не пришлось переезжать в провинцию, специально для них открыли шахту на улице Ваци[1]. Тем не менее игроки перешли в «Титан», команду кооператива по изготовлению сапожных набоек. Руководитель спортклуба «Титан» тоже наблюдал за матчем и изложил Форгачу свои условия, которые обещали более солидную, по сравнению с горняками, материальную поддержку, но старик своего решения не переменил, так как в «Шахтере» с улицы Ваци обезьяны могли начать выступления сразу же в высшей лиге, то есть им не пришлось бы пробиваться через весьма жесткие отборочные соревнования.

Прямо из парка автобус доставил команду в профсоюзный спортивный центр. Форгача и Яшчака назначили инспекторами по технике безопасности, старому колдуну нашлось место в отделе пропаганды, а игроков трудоустроили в качестве проходчиков. Тут же им вручили зарплату за месяц вперед, парадную шахтерскую униформу с золотыми позументами и соответствующие принадлежности. Форгач еще ни разу в жизни не видел портянок и решил, что это полотенце. Всю дорогу до Ракошчабы он возмущался, почему они не подшиты как следует.

На другое утро Яшчака разбудил сдержанный, но решительный стук в дверь. Тренер еще толком не проснулся, но в комнату уже прошагали обезьяны в полном шахтерском снаряжении, каждая с лампой в правой руке. Колдун перевел слова бывшего швейцара:

— Он спрашивает, в какую шахту им надо явиться.

— В шахту? Какого черта?

— Вчера они поняли, что зарплату получают за работу в шахте.

— Нет, зарплату они получают за то, что играют в футбол.

Швейцар в недоумении покачал головой и что-то долго объяснял колдуну:

— Насколько они поняли: венгерский футбол — любительский вид спорта.

— Безусловно, и главным образом это относится к уровню игры.

— Но тогда как можно платить деньги любителям?

— Никак. В лучшем случае — оформляя на фиктивную должность, кроме того, некоторые выплаты разрешаются и официально: деньги на питание, премия за победу. Вот и все. Правда, может посчастливиться, и попадется такой ловкий бухгалтер, который сумеет выкроить небольшие суммы и из других средств. Есть еще добровольные пожертвования болельщиков, которые после матча сунут бумажку-другую в карман игроку или в копилку, установленную в условленном месте, например, в парикмахерской, но это все тоже несерьезно.

— Однако официально существует только любительский спорт?

---

[1] Центральная торговая улица в Будапеште.

— А я о чем говорю? Будь мы профессионалами, как же тогда участвовать в олимпиадах?

Швейцар покачал седеющей головой и, глубоко вздохнув, заметил:

— У нас в джунглях такое не прошло бы.

Затем он дал знак своим товарищам, чтобы они вышли из комнаты Яшчака. Сняв расшитую золотом униформу, обезьяны никогда больше не вспоминали о ней, что, впрочем, не помешало им гонять мяч по-прежнему в качестве проходчиков.

После одной из тренировок Форгач поманил Яшчака в сторону:

— Не нравится мне этот левый крайний, пусть я до утра не доживу, если у него из десяти подач две точные.

— Что я могу сделать? Запасному не хватает скорости.

— Я мог бы предложить одного техничного левого крайнего.

— Это кого же?

— Моего сына.

— Но ведь в команде играют только обезьяны.

— Ну, мой сын тоже в школе отличником не был. В конце концов, я могу купить для него обезьянью шкуру в каком-нибудь цирке.

Яшчак молча покинул старика маклера, а тот долго еще теребил золотые кисти своего парадного мундира, бормоча:

— Знаменитый тренер?! Пусть от меня жена уйдет, если он что-нибудь понимает в футболе.

III

Чемпионат завершился триумфальной победой нового состава «Шахтера» с улицы Ваци. Он на двенадцать очков опередил занявший второе место «Ференцварош». В конце сезона «Шахтер» выиграл даже у венгерской сборной. Формально матч носил характер товарищеской встречи, однако на самом деле ставка была как никогда высока. Главный тренер сборной сразу же подал заявление об уходе, правда, затем был вновь назначен на этот пост, по собственному желанию.

Поскольку стало ясно, что на венгерских футбольных полях достойных соперников не оказалось, обезьяны отправились в зарубежное турне. За каждый матч они получали пятьдесят тысяч долларов и заняли второе место по количеству валютной выручки вслед за химической промышленностью, оставив далеко позади торговлю сувенирами и тяжелую индустрию. Из этой суммы обезьянам выдавали по двадцать пять центов в день на голову — средняя мировая цена двух кокосовых орехов.

Для ведения валютных операций Национальный банк направил в команду одного кассира, одного начальника отдела, двух начальников главных отделов и одного ревизора. Число финансовых экспертов продолжало расти, и вскоре они составляли уже более половины делегации.

Однако материальная сторона дела не шла ни в какое сравнение с тем колоссальным пропагандистским эффектом, который приносили победы команды. Бывшие венгерские служащие и рабочие, скатившиеся в Канаде и Бразилии до маклеров по недвижимости и автомехаников, в очерствевших сердцах которых даже сладостно-грустные мелодии «Королевы чардаша» уже не могли пробудить национальные чувства, так вот, эти люди после блистательных побед обезьян обретали наконец духовную связь со своей прежней родиной. По их щекам катились красно-бело-зеленые слезы.

— Да, это венгерские обезьяны, наши обезьяны,— говорили они,— мы больше не попадемся на удочку буржуазной прессы. Не могут красть продавцы, не могут быть бюрократами служащие в стране, где удалось создать такую футбольную команду.

Дома популярность игроков тоже превзошла все привычные представления. Такие знаменитые клубы, как «Вашаш», МТК, «Гон-

вед», распались из-за полного отсутствия к ним интереса. Один только «Ференцварош» еще кое-как держался, но значительная часть его болельщиков переметнулась на сторону новой команды.

Если какая-либо из обезьян появлялась на улице, ее моментально окружала толпа болельщиков, освободиться от которых стоило больших трудов. К счастью, за выигрыш Кубка европейских чемпионов все обезьяны получили звание заслуженных работников угольной промышленности и по автомобилю в подарок, после чего им уже не было нужды ходить пешком.

Старик Форгач, коммерческий директор команды, будучи опытным торговым работником, понимал, что «publicity» никогда не бывает чрезмерным, потому что каждая его капля приносит деньги. Он делал все, чтобы еще выше поднять популярность горняков с улицы Ваци.

Поначалу он ограничивался традиционными методами: фотографии, интервью с игроками, мелкие интимные подробности из их личной жизни, над которыми ему приходилось ломать голову по ночам, так как у обезьян, собственно говоря, не было личной жизни. Однако вскоре Форгач убедился, что все эти методы уже устарели и только с помощью новых идей можно удержаться на уровне требований эпохи.

Здание «Вигадо» на набережной Дуная разбомбили еще во время войны, с тех пор оно там и стояло полуразрушенным и за неимением средств речь о его восстановлении могла идти лишь в весьма отдаленном будущем. Однако Форгач призвал на помощь болельщиков команды и на общественных началах за пять недель привел здание в порядок. Надо заметить, что перед этим те же самые каменщики брались отремонтировать забор одному сельскохозяйственному кооперативу со сроком исполнения заказа только через восемь месяцев. Правда, в этой работе их не воодушевляли победы лилово-оранжевых.

Сезон в новом театре открыл, естественно, торжественный вечер в честь «Шахтера» с улицы Ваци. В программе наряду со всемирно известными исполнителями выступили и члены команды, под аккомпанемент барабана они исполнили танец «Вперед, «Шахтер» в стиле ча-ча-ча. Старый колдун сам сочинил, а точнее заимствовал хореографию из старинной пляски джунглей, которую племена использовали для умиротворения разъяренных красных муравьев.

В течение буквально нескольких часов этот танец стал чрезвычайно популярным, его включили в свою программу все любительские оркестры в стране, на заводе грампластинок вскоре прекратили запись «Музыки на воде» Генделя и вместо нее запустили в производство ча-ча-ча «Вперед, «Шахтер». Старый колдун, чтобы ни с кем не пришлось делить авторские права, предпочел даже покинуть команду и перейти в африканский отдел рекламы одного внешнеторгового предприятия, где благодаря знанию могамеданского языка сделал большую карьеру.

Не успели еще разойтись первые сто тысяч пластинок, как новая идея Форгача взбудоражила столицу. Он заказал группе футбольных болельщиков-скульпторов фигуру играющей в мяч обезьяны. По его задумке ее следовало установить в одной из мраморных ниш на площади Героев вместо скульптуры одного из государей. Однако начальство отвергло это предложение. Тем не менее Форгач не сдался. Когда «Шахтер» с улицы Ваци возвратился из очередного турне, на фасаде здания аэропорта Ферихедь игроки увидели ту самую скульптуру в обрамлении неоновых букв: «Bienvenu à Budapest».

Прямо в холле аэровокзала бывший швейцар отозвал Яшчака в сторону и попросил уделить ему те несколько минут, которые оставались до посадки в автобус. В отличие от остальных обезьян он уже вполне сносно говорил по-венгерски, однако на этот раз подбирал слова с большим трудом.

— Великий белый отец и наставник!— начал он (служащие «Traveller's Club» всегда придавали большое значение уважительному обращению к гостям).— Я боюсь, что более не смогу выполнять функции капитана.

— Почему?— удивился Яшчак.

— Боюсь, что я не смогу больше держать команду в руках. Вы, великий белый отец и наставник, конечно, помните, как трудно было сдерживать молодежь во время южноамериканского турне, когда толпа обнаженных восторженных поклонниц двинулась к нашей гостинице, выкрикивая такие развратные слова, от которых у нас в джунглях покраснеет даже кокосовый орех. Вы, безусловно, не могли забыть и то, каких трудов нам стоило отбиться от футбольных маклеров и рекламных агентов. Одно утешало: дома наша жизнь возвращалась в нормальное русло.

Швейцар бросил взгляд на Форгача, который в противоположном углу зала раздавал шариковые авторучки и позировал фотографам.

— А теперь спасибо господину Форгачу, который, конечно, является одним из самых могущественных вождей, но теперь даже дома нас окружают тысячи искушений. Есть ли у нас основания предполагать, великий белый отец и наставник, что наши игроки, будучи наивными жителями джунглей, смогут противостоять искушениям, против которых бессильны даже гораздо более образованные европейские футболисты?

— Вы сгущаете краски.

— Возможно, но, боюсь, это происходит оттого, что ситуация в самом деле тяжелая. Знаете ли вы, великий белый отец, и наставник, что на прошлой неделе Шипец и Геза Кон, правое крыло команды, перелезли через забор и ушли на всю ночь на вечеринку, именно это было причиной их слабого выступления во время турне. Я хотел было их отговорить, но они рассмеялись мне в лицо да еще норовили оскорбить побольнее, обзывали диспетчером и даже фининспектором.

Он вытащил из спортивной сумки драгоценную белоснежную капитанскую повязку и со слезами на глазах протянул ее Яшчаку:

— Боюсь, великий белый отец и наставник, что из всего случившегося я могу сделать только такой вывод.

IV

Задним числом не трудно установить, что сигнал к окончательному падению одиннадцати непобедимых подал Халас, центральный нападающий.

Со своей густой черной шерстью, низким лбом и руками, свисающими до земли, он мог служить эталоном обезьяньей красоты. Не случайно именно Халас стал прообразом скульптуры. Тем не менее все были ошеломлены, когда молодой режиссер Барна Какони явился в дом в Ракошчабе и заявил, что намерен пригласить центрального нападающего на главную роль в своем новом фильме. Сначала все решили, что речь идет о научно-популярной или, на худой конец, спортивной картине, однако Какони пресек досужие вымыслы:

— Сценарий разрабатывает совершенно новую тему, я лично столкнулся с ней в гуще жизни. Один стареющий ученый-атомщик, ведущий гармоничный и размеренный образ жизни женатого мужчины, совершенно неожиданно встречается с легкомысленной, но обаятельной девушкой, влюбляется в нее и из-за этого переживает душевный кризис.

— И какую же роль будет играть Халас?

— Естественно, роль ученого-атомщика. Я уже снял пробы с участием всех ведущих актеров, но, откровенно говоря, ни по выражению лица, ни по уровню духовного развития никто из них не соответ-

ствует образу ученого-атомщика. Интеллигентная манера игры Халаса на футбольном поле уже давно привлекала мое внимание. И тогда я подумал: а что, если попытаться перенести ее на киноэкран. Интеллигентная игра здесь — интеллигентная игра там. Я провел эксперимент и убедился, что он ближе всего к созданному моим воображением типу.

Яшчак не хотел освобождать Халаса на время съемок от тренировок, он боялся, что тем самым создаст опасный прецедент. Форгач же, напротив, любой ценой хотел использовать предоставившуюся возможность для рекламы и урегулировал у начальства вопрос об освобождении Халаса.

Последствия необдуманного решения не замедлили сказаться. Подхола, левый защитник, заявил, что если Халаса отпустили в актеры, то и он имеет право стать журналистом, после чего он уволился с должности проходчика и устроился стажером в газету. Пока что его статьи писала за полгонорара одна старая, заслуженная журналистская крыса. Ашо, техничный правый защитник, хотел бы выучиться на фоторепортера, да и остальные обезьяны тоже с удовольствием сменили бы изнурительные тренировки на какую-либо удобную ученическую скамью. Однако Яшчак, угрожая отставкой, добился того, чтобы клуб запретил игрокам заниматься деятельностью, непосредственно не связанной с футболом.

Подхолу и Ашо еще удалось вернуть обратно, но центральный нападающий был потерян для команды навсегда. Халас влип в скандальную любовную историю со своей партнершей, женой известного актера, и мстительный муж застрелил его во время съемок. Яшчак был вынужден взять на освободившееся место талантливого, но неопытного Эйзенхоффера, и это значительно ослабило ударную мощь линии нападения.

Впрочем, множество других мелких деталей показывало, что восстановить былой безукоризненный спортивный дух в команде не удается. Шипец и Геза Кон теперь уже регулярно ходили на вечеринки: всю ночь пили и учили девушек танцевать ча-ча-ча «Вперед, «Шахтер». По утрам они приходили на тренировку под мухой и начинали кувыркаться в известке для разметки поля. Если раньше они хотя бы пытались скрыть свое состояние, то теперь поджидали тренера, спрятавшись за дверью, а потом, внезапно выскочив из засады, показывали ему ослиные уши:

— И-а, и-а.

Яшчак пытался наказать их, лишив премии, но в ответ на это вся команда объявила забастовку, и наказание пришлось отменить.

Не заставил себя долго ждать и первый публичный скандал. Таможня задержала автобус «Шахтера» с улицы Ваци и его пассажиров, когда те возвращались из турне по Австрии. Более внимательный, чем обычно, досмотр дал поразительные результаты.

Внимание одного из таможенников привлек необычный шум мотора. Он открыл капот и обнаружил, что рядом с двигателем пристроен небольшой тайник. Вместо фар были вмонтированы кварцевые лампы, а запасное колесо оказалось наполнено коньяком «Henessey». После этого никого уже не удивило, что номерной знак, как показала проверка царской водкой, был сделан из чистого золота.

При личном досмотре тоже обнаружили уйму контрабандных товаров и валюты: японские фотоаппараты-миксеры, новейшие французские пестрые помады, несминаемые грыжевые бандажи «no iron» и столько шиллингов, что сразу стало ясно, почему Австрийский национальный банк был вынужден на семь дней прекратить все платежи из-за отсутствия наличности.

Автобус направили прямо в будапештское полицейское управление, а все одиннадцать игроков основного состава подлежали предварительному заключению. Таким образом, за два дня до очередного ту-

ра чемпионата в распоряжении Яшчака были только десять запасных. Форгач ради комплекта и на этот раз предложил своего сына, но Яшчак предпочел одолжить в зоопарке молодую гориллу.

Хоть и выиграл «Шахтер» с улицы Ваци очередную встречу, хоть и восполнился он затем освобожденными игроками — их выпустили по ходатайству профсоюза горняков,— Яшчак понимал, что команда на краю пропасти.

Между тем ее популярность пока еще продолжала расти. Когда разнесся слух, будто обезьян призывают на военную службу,— позже выяснилось, что это пустая болтовня,— в адрес команды пошел поток самодельных солдатских сундучков. Болельщики раскрашивали их в лилово-оранжевые цвета и надписывали на подарке имя любимого игрока.

Посещаемость матчей не падала: впервые за долгие годы вновь всплыла идея о достройке восточной трибуны Народного стадиона до полной высоты. Публику привлекали даже такие второстепенные игры, как товарищеская встреча с гренландской командой «Северное сияние», которая состоялась в мае 196... года, в среду.

Матч не обещал напряженной борьбы, «Северное сияние» не котировалось на футбольной бирже. Любители спортивной статистики могли встретиться с упоминанием этой команды лишь однажды: в 1913 году она со счетом 4:1 потерпела поражение от сборной австрийского военного корабля «Königin und Kaiserin Maria Theresia», бросившего якорь у берегов Гренландии.

Зрители, сняв пиджаки, без особого волнения слушали марширующий по гаревой дорожке духовой оркестр пожарников. Трибуны заволновались, лишь когда в глубине пандуса показались игроки в лилово-оранжевой форме. Оркестр начал играть ча-ча-ча «Вперед, «Шахтер», обеспечивая ритмический фон для прокатившейся по стадиону буре аплодисментов.

Горняки уже завершили разминку и перепасовывали друг другу мяч в центральном круге, а соперники на поле все еще не появлялись. Послышались первые нетерпеливые свистки и выкрики, в студии еще раз включили спортивный марш. И тогда наконец появились соперники. На трибунах их встретила напряженная тишина: команду «Северное сияние» составляли одиннадцать тюленей. Они были одеты в обычные майки и трусы, непривычными могли показаться лишь пластмассовые щитки на ластах, заменяющие бутсы. Как бы то ни было, их странно вытянутые шеи, утиная походка вызвали всеобщий хохот на трибунах.

Венгерские болельщики не могли знать — эта история обошла всю мировую прессу гораздо позже,— что Хендерсон, знаменитый шотландский тренер, отобрал эту команду из семидесяти тысяч тюленей. В ходе тренировок он использовал не только опубликованные методики Яшчака, но и самые современные достижения футбольной теоретической мысли. В этот вечер Хендерсон намеревался оценить результаты двух лет упорной и планомерной работы.

Первая же атака тюленей заставила зрителей забыть о насмешках. Мяч перелетал с носа на нос — как в цирковом представлении,— и Тирнауэр с большим трудом сумел парировать удар, нацеленный в левый верхний угол ворот.

После этого центральный нападающий сразу же развернулся и, покачиваясь на ластах, заспешил к своим воротам. Высоким, визгливым голосом он сказал что-то своим товарищам по нападению, и те последовали за ним. Комбинации безусловно более техничных обезьян наталкивались на хорошо организованный оборонительный вал, а при контратаках тюлени-защитники поддерживали своих нападающих, обеспечивая численное превосходство. После первой половины игры горняки могли лишь благодарить судьбу за нулевой результат.

В перерыве журналисты заглянули в раздевалку «Северного сияния». По внешнему виду тюленей трудно было что-либо сказать: они безмятежно плавали в бассейне с прохладной водой, подшучивая друг над другом. Совершенно иную картину можно было наблюдать в другой раздевалке. Обезьяны, опустив головы, сидели у кислородных аппаратов, а Яшчак не жалел самых суровых слов.

Возможно, что упреки возымели действие, потому что в начале второго тайма «Шахтер» с улицы Ваци устроил затяжной штурм ворот «Северного сияния». Бывший швейцар, как и подобало его званию, услужливо посылал нападающим один мяч лучше другого, но каждый раз в последний момент на пути мяча оказывалась усатая голова с маслянистыми глазами.

Когда после двадцатой атаки обезьяны так и не забили гол, дежурный по Народному стадиону офицер — сам опытный футбольный специалист — вызвал по телефону три дополнительные роты милиционеров. Он предчувствовал, что такой матч может закончиться только скандалом.

После первых пятнадцати минут горняки явно выдохлись, начал сказываться неспортивный образ жизни, результат пропущенных тренировок. Лишь бывший швейцар сражался с неизменной стойкостью. Он оттянулся поближе к воротам своей команды и как только мог отбивался от все более настойчивых атак тюленей. Но за несколько минут до окончания второй половины матча даже он не смог вмешаться в молниеносную комбинацию: мяч перелетел через распластавшегося Тирнауэра, и левому крайнему тюленей не оставалось ничего другого, как с двух шагов направить его в сетку ворот.

Еще несколько безуспешных атак «Шахтера», и судья дал финальный свисток. Обезьяны торопливо скрылись в раздевалке, а тюлени, обнявшись, высокими, визгливыми голосами исполнили в центральном круге гимн своей команды. Будапештский посол Гренландии прямо там, на футбольном поле наградил их орденами «Красного айсберга» (крест с гарпуном) и посвятил в рыцари Святого Эдуарда.

Предусмотрительно вызванные три роты милиционеров предотвратили побоище, готовое начаться на стадионе, но в ту же ночь неизвестные лица подожгли восстановленный усилиями болельщиков «Вигадо» и сбросили с фасада здания аэропорта символическую скульптуру обезьяны-футболиста. Разочарованная публика отвернулась от команды с тем же единодушием, с каким возносила ее до небес в период побед. На очередной матч «Шахтера» с улицы Ваци забрели только несколько заблудившихся иностранных туристов.

V

Теперь события развивались уже стремительно.

Южноамериканские клубы как по команде отказались от запланированных матчей с «Шахтером» с улицы Ваци. Они соглашались заплатить за выступления венгерской команды не более половины ранее обговоренной цены. Такая потеря доходов, в свою очередь, подорвала финансовый план клуба, Комитет народного контроля провел ревизию, в ходе которой обнаружились самые разные злоупотребления.

В докладе по итогам ревизии приводилось несколько примеров: под видом покупки кокосовых орехов игрокам выплачивались колоссальные суммы денег; Форгач за счет клуба оплачивал спецрейсы кораблей, груженных кубинскими сигарами, а также заказал для своего сына семь дюжин ортопедических (для левой ноги) ботинок. Подобные примеры нарушений, отмечалось в докладе, можно перечислять до бесконечности.

Старик маклер попал в тюрьму, вследствие чего венгерская сборная уголовников вскоре вернула себе тот международный авторитет, который завоевала за время предыдущей отсидки Форгача.

Арестовать больше никого не арестовали, но «Шахтер» с улицы Ваци был дисквалифицирован на неопределенный срок. Яшчака перевели в помощники завскладом, а обезьянам в спортивном отделе профсоюза сообщили, что в их услугах больше не нуждаются.

Одиннадцать непобедимых разбрелись кто куда. Большинство из них перешли в «Согласие», команду треста столовых. Бывшие проходчики стали директорами арендных кафе и пивных. Других прибрали к рукам футбольные клубы различных мелких кооперативов. Только бывший швейцар отказался от всех предложений, хотя футбольные маклеры прежде всего осаждали именно его. Он заявил, что хочет вернуться на родину, в Могамеданию.

Яшчак поехал проводить своего бывшего игрока в аэропорт. Прощаясь, обезьяна притянула руку Яшчака к своей голове, как бы прося благословения:

— Великий белый отец и помощник завскладом! Боюсь, что мы теперь встретимся только на футбольных полях вечности.

— Ты и у себя дома наверняка будешь в сборной.

Обезьяна покачала головой:

— Нет, среди людей я больше играть не буду. Футбол — великая и красивая игра, подарок богов, но с тем, что налипает к нему в человеческом мире, боюсь, я никогда не смогу смириться. К сожалению, воспитание в джунглях не подготовило меня к этому.

По радио объявили посадку на самолет. Швейцар внезапно наклонился, поцеловал руку Яшчака и заспешил прочь.

В Аллах Акбаре, как единственного представителя одиннадцати непобедимых, который вернулся домой, его встречала целая делегация. Однако во время торжественной встречи он сбежал, разбросал свою одежду и обувь на какой-то плантации, а себе оставил только фуражку с надписью «Traveller's Club».

Больше никаких известий о нем не поступало, если, конечно, не принимать всерьез рассказ одного английского путешественника, который официально не подтвердило ни одно телеграфное агентство. Путешественник утверждает, что однажды ночью в джунглях при лунном свете он видел обезьян, играющих в футбол. Они проделывали с мячом трюки, немыслимые с точки зрения европейских футболистов. Однако стоявший у кромки поля тренер в фуражке с золотым позументом все равно оставался чем-то недоволен. Несколько раз он останавливал игру и сам показывал, как, по его мнению, следовало играть в той или иной ситуации.

К сожалению, добавляет английский путешественник, я недолго мог любоваться удивительным представлением: как только обезьяны заметили, что за их игрой наблюдает человек, они тут же забрались на кокосовые пальмы и потом смотрели на меня оттуда настороженно и даже враждебно.

■

ХАРТ КРЕЙН

■

Перевод с английского МИХАИЛА ЕРЕМИНА

Американский акмеист

Харт Крейн (1899 — 1932) — явственный поэт божией милостью, отчаянный и оголтелый искатель стихотворного слова, не подменяющего и не «отображающего», а обнаруживающего действительность. У нас таких было много, начиная с Хлебникова и Северянина, продолжая и пока завершая обэриутами и Мандельштамом. К. Вагинов — из той же, в духе Шостаковича, оперы. У «них» — то есть в Штатах — таких было мало, едва ли не один Харт Крейн, другие «искатели» под вопросом — под вечно открытым и открываемым вопросом о том, что есть поэзия.

В 1933-м Б. М. Эйхенбаум написал: «А поэзия должна строиться на неожиданностях — на сопряжении далеких рядов, на неточных, неиспользованных словах — на словах, которые богаты второстепенными смыслами, колеблющимися признаками, которые окружены сложной семантической атмосферой. Это требует изобретательства, создания словаря, открытия словесных пластов».

Он написал это о Мандельштаме, которого через год арестуют, через пять или шесть — убьют, и Мандельштам, в отличие от других, почему-либо неубитых и чудом уцелевших, так и останется «сопрягателем далеких рядов». А Харта Крейна, к творчеству которого в высшей мере применима приведенная цитата, в 1933-м уж год как не было в живых.

Через двадцать лет о нем писали так:

«Крейн постоянно воссоздавал слова изнутри, напрягая их значение до черты идиоматической; это постоянство — непреложный и несомненный признак таланта. Значения слов, по сути, всегда идиомы: в них есть свой сдвиг, у них своя жизнь. Мы сумеем овладеть ими и приобщиться к их жизни, лишь вдумываясь в эту идиоматику смысла, лишь воспроизводя ее» (Блэкмур Р. П. «Язык как жест», 1952).

Харт Крейн родился в городке Гарретсвилле, штат Огайо, детство и отрочество его прошли в Кливленде: все это на северо-востоке, в самой что ни на есть исконной Америке колонистов. Поэт он более всего нью-йоркский. Жил очень сумбурно и скандально, можно бы сказать — несчастливо, хотя в общем довольно удачливо в смысле поэтической судьбы. Только что отец с матерью донимали его своим затяжным разводом; а так — друзей у него было много, и все — по-американски надежные, талант его поэтический был признан в зародыше; печатался с восемнадцати лет.

Правда, не получил систематического образования (школа, а дальше — «свои университеты»), и критики-биографы ему по этому поводу наперебой соболезнуют, а некоторые считают, что оттого все и печали: неудачник, мол, недоучка... Грубое и глупое слово — как-то мы не адресуемся с образовательными попреками ни к Есенину, ни к Маяковскому, ни к Мандельштаму, ни к Хармсу, а ведь все они — «недоучки». Как-то у нас само собой разумеется, что поэзия — дело жизни и смерти (но скорее — жизни), что свидетельство его выполнения — стихотворное и что, скажем, докторский диплом ничего не прибавляет ни к достоинствам, ни к недостаткам стихотворца. У Крейна, перепробовавшего массу профессий, никакого диплома не было, и это не мешало принимать его всерьез при жизни и открывать посмертно все новые и новые достоинства в напечатанных и рукописных стихотворениях.

Тут возможен обратный, опрокинутый парадокс: именно потому, что стихи Крейна очень внимательно читались и чуть ли не на лету печатались в самых респектабельных журналах (в элиотовском «Критерионе», например), да и сборники выходили — у него у самого возникла нелепая и неуместная академическая амбиция. Так, он решил «переэлиотить» самого Т. С. Элиота, написать в противовес «Бесплодной земле» поэму на тот счет, что Америка, разумея США,— новый культурный материк и общеевропейскому потоплению не подлежит. Написал, назвал ее «Мост» и напечатал (1930),

Воспроизведен портрет Харты Крейна работы Сикейроса.

расписавшись в недостатке образования: эта по-своему блистательная стихотворная сюита в качестве стихотворно-философского возражения Элиоту была, разумеется, несостоятельна.

Видимо, обозленный и расстроенный этой совершенно простительной неудачей (стихи-то удались! «Мост» и поныне — одна из самых читаемых и цитируемых американских поэм XX века), Крейн взял культурно-благотворительный аванс под еще одну «академическую» поэму, о конкистадорском покорении Мексики — и отправился писать ее на место событий. Не написал, и на обратном пути покончил с собой — бросился с кормы парохода «Оризаба».

Эта довольно-таки «американская трагедия», усугубленная — или, если угодно, обрамленная неумеренным употреблением спиртного и жизненной неустроенностью (американская критика, сердобольная, как пожилая тетушка, заботливо и досконально перебирает все огорчения Крейна, которые у нашего, русско-советского читателя могут вызвать разве что недоуменную улыбку) — не имеет ни малейшего отношения к тому лирическому волшебству, которое источали и источают стихотворения Харта Крейна, постепенно оказавшегося в центре американской литературной круговерти нашего века. Ценятся они все выше и выше.

Рискнем определить главное поэтическое свойство Крейна (не претендуя на открытие, а лишь суммируя американо-английские аналитические разборы) как глубинный семантический сдвиг, создающий ощущение головокружительной пластики, так сказать, музыки словесных очертаний, как бы вибрации внутренней формы слова. Как убедится внимательный читатель таких стихотворений, как «Голубиная почта», «Имя для всех» и «Сокрушенный храм», слова, скажем так, соединяются в колебательные контуры, и смысловой ток («мы,— как говорил Мандельштам,— поэты-смысловики») колеблет внутреннюю форму слов, связуемых заново и наново. Как гласит элементарная физика, при известных условиях в колебательном контуре возникает колебание, являющееся суммой его собственных колебаний — с одной частотой, и вынужденных — с другой. «Через некоторое время,— сообщает Физический энциклопедический словарь,— собственные колебания в контуре затухнут и останутся только вынужденные». Мне эта информация представляется символически уместной при суммарной оценке творчества Харта Крейна.

Его «словесничанье» (за которое его корили справа и ругмя ругали слева) почему-то нынче кажется ничуть не менее нужным, чем великолепная поэтическая инерция таких его дивных современников, как Роберт Фрост или Робинсон Джефферс. И уж конечно — чем новации Э. Э. Каммингса или монументализм Уильяма Карлоса Уильямса в его стихотворных романах. Может быть, это нынешняя иллюзия, но иллюзия устойчивая.

Свежесть Крейна поразительна и пронзительна, «акмеистична» в том смысле, в каком писали об «акмэ», обновлении мировоззренческо-поэтического отношения к жизни, в манифестах «Цеха поэтов» Гумилев или Мандельштам. В том самом, в каком его, помимо всякой групповой принадлежности, обновляли Хлебников и поздний Кузмин, Хармс и ранний Заболоцкий.

Если бы не Харт Крейн, может статься, не было бы Теодора Рётке, освежителя и обновителя американской поэзии в 1940—50-е гг. А может, и ныне здравствующего Ричарда Уилбера не было бы.

Чтоб мы оценили его, чтобы ощутили эту свежесть и первозданную прелесть миротворного поэтического слова, нужен был перевод Крейна, а такое по заказу не делается — только по призванию и созвучию. Нужен был русский поэт, очень самостоятельный, которому понадобится английское многозвучие смысла затем, чтобы воспроизвести его по-русски. Подобное происшествие крайне маловероятно, но вот, как я слышу и вижу, случилось. Отныне у нас есть Харт Крейн в переводе Михаила Еремина. Будем надеяться, что подборка эта — лишь начало работы. Представления о творческом пути Крейна она не дает, о лирическом диапазоне его поэзии — дает.

В. С. МУРАВЬЕВ

Сокрушенный храм

Заутра слышится мне благовест пречистый
Уже заупокойным звоном в память дня —
Из белизны епископального батиста
Пахнуло стужей преисподней на меня.

А виделось ли вам в тот час, когда рассветом
Охваченные звезды покидают небосклон,
Как из проемов силуэт за силуэтом
Ночные тени изгоняет карильон?

Колокола — их антифоны кладку свода
Расшатывают, и внедряют языки
Арпеджио в мой мозг, найдя во мне кустода
Из тех, чья преданность до гробовой доски.

Но купол есть предел энциклик обращенья,
За коим голоса отходят в мир иной.
Бьют зорю звонницы, и эхом возмещенья
Ночных утрат озвучен весь простор земной.

Введением в непрочный мир я был обязан
Видению согласия любви, чей зов,
Равно как вопль отчаяния, предуказан
И лишь мгновенье слышен в хоре голосов.

Внимал, и речь моя в ответ лилась, но разве
Медноголосому царю эфира в тон
Она звучала? — Раны чаяний и язвы
Отчаяния бередит Глаголом он.

Как доверять горячечным приливам крови?
(Не кровью крепок храм, что сам я сотворил
Во славу истины, провозглашенной в слове
Неистинном.) Для вызова сокрытых сил

Не сладко ль вены отворить? Не для того ли
И вслушиваться в пульс, предвидя впереди
Восставшим ото сна, воспрянувшим на воле
Воинствующий сонм, теснившийся в груди?..

Не каменно храмовоздви́жение, мною
На камне зиждимое,— вечный горний свод
Не камнем вымощен. Крылат и тишиною
Лазурных сфер объятый, зримо храм плывет —

На усыпальницы озер и на курганы
Святилищ, и на каждую земную пядь,
Запечатленную в душе и осияну
Небесным светочем, нисходит благодать.

К свободе

Из бриза и возгласов чаек
На берег явленна мной дева,
Чьи волосы — мертвая зыбь.
Смешно им, что я обручаю
Ее с мореходом из мертвых,
Который не ведает даже
О той пресловутой Елене.

Зажгите последний из факелов
На пирсе. Ее без покровов
Оставьте. Ее не коснутся
Их праздные чистые взгляды. Должны ли
Они выходить из тумана
Иль мы отряхнуться от грез?

Некий сад

Об этом яблоке ее томление —
О сгустке света, солнечном подобии.
А крона нависает, ни дыхания, ни взгляда
Не выпуская, вторя голосу ее
Беззвучною жестикуляцией ветвей.
Рабыня дерева — она в его руках.

Ей грезится преображенье в яблоню:
В ней ветер будит жизненные соки
И овевает руки, солнцем опаленные,
И к синим небесам ее стремит —
Ни памяти, ни страха, ни надежды по ту сторону
Травы и тени, что покоится у ног.

...И райские пчелы

Как ни бежал я моря — настигал
Меня прилив твоих объятий то и дело,
И сквозь размытую твердыню скал
Маячилось небесной тверди тело.

Придонный сад подобно радуге расцвел
Вдруг зримо.
Да, воистину необратимо
Дни наши посолонь туда, где ореол
Заката светится, влачатся мимо
Закланных голубей и роя райских пчел.

Ответ

Теперь ты волен выбирать по нраву речи,
Не то что здесь, у нас, где слово свято
Лишь то, что может скрасить наши встречи,
Но брат при этом не глядит на брата.

Тебе круги повинной и суда.
Мне — благость преходящего стыда.
А чтобы родилась живая речь,
Быть может, должен плоть рассечь искусный меч:

За верность время ненавистью мстит,
А слава, как и стыд, вгоняет в краску зори.
Спи, брат возлюбленный,— и стыд
Оставив мне и вздор о славе и позоре.

Купальщицы

Молочно море... И тела двух женщин цвета
Слоновой кости... И жемчужница рассвета
Мерцает, создавая фон для силуэта
Хребта. Видение ли, сон ли диво это?
Но нет ответа. Только лилии лениво
Перебирает зыбь — их ожерелье прихотливо
Легло на грудь молочно-белого залива.

Мы говорим: из моря вышла Афродита —
Вхожденье девы в лоно вод людьми забыто,
И возвращенье мы воспринимаем как рожденье
Соединившей в красоте божественность и наважденье.

Голубиная почта

Вновь губы мои не шепнут «До свиданья», из рук
Твоих на мои не прольется, как было, вода,
Ведь гулкую раковину распластали, и звук
Морского прибоя безмолвием стал навсегда.

Но верность один окольцованный голубь хранит
И нежностью сердце мое окрыляет в ночи —
И ныне прекрасен в заветном кольце лазурит,
Хотя и померкли его голубые лучи.

Постскриптум

Фонтаны иссякли, и лишь при ущербной луне
Последние капли на вайях порой заблестят:
Пусть мрамор подобен надгробьям в глухой тишине,
Но я не молю о твоем возвращении в сад.

Грядущее так же не мной предопределено,
Как эта процессия траурно-мрачных стволов;
И саду теперь, как миражу, пропасть суждено
В тумане, который незыблемей клятвенных слов.

Имя для всех

Мелькает мотылек, петляет в воздухе пчела.
Все, им отпущенные, дни и ночи напролет
Они свободны — груз имен крылатые тела
Не отягчает. Видно, нам покоя не дает

Свобода безымянности, и потому подчас
И обескрыливает их жестокость наших рук.
А сами имена свои выносим напоказ,
Не понимая, что они пустой всего лишь звук.

О если б собственные имена людской язык
Отверг и в хоре тех, кому даны взамен имен
При сотворении плавник, копыто или клык,
Восславил бы единственное Имя всех времен.

■

САЛЬМАН РУШДИ

Стыд

РОМАН

Перевод с английского И. БАГРОВА

Книга IV.
Век пятнадцатый

Глава девятая.
Александр, Великий завоеватель

На переднем плане — Искандер Хараппа, его указующий перст нацелен в будущее, высветленное розовой зарей. Чуть выше благородного профиля премьер-министра — затейливая вязь золотых букв. Справа налево читаем: «НОВОМУ ВЕКУ — НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». Из-за горизонта в голубое утреннее небо потянулись лучи нового, пятнадцатого (по мусульманскому календарю) века. А в тропиках на экваторе уже взошло солнце, золотом же горит и перстень на пальце у Искандера, удостоверяя его власть... Плакат этот бросается в глаза повсюду — он и на стенах мечетей, и на кладбищах, и на борделях,— и картинка надолго остается в памяти: чародей Искандер Хараппа вызволяет солнце из морской пучины.

Итак, рождается легенда. Легенда о взлете и падении Хараппы. Вот он приговорен к смерти — мир потрясен. Вершителю его судьбы идет поток телеграмм; тот неумолим, он выше сантиментов, этот бесстрашный палач, но в душе у него — отчаяние и страх. Вот Искандера умертвили и похоронили — подле могилы мученика происходит исцеление слепых. В пустыне зацветают тысячи цветов. Шесть лет у власти, два года в тюрьме, и вечность — в земле...

И быстро-быстро закатывается солнце. С прибрежных дюн видно, как оно тонет в море.

Но тень председателя Хараппы переживет его самого, лишенного и жизни, и костюма от Пьера Кардена, и народной памяти. Его шепот еще долго будет отдаваться в сокровенных уголках вражеских душ, мерный, безжалостный монолог червем источит их мозг. А указующий перст с блестящим кольцом простерся над могилой и грозит живым. Они еще попомнят Искандера. Его чудесный голос с золотыми переливами и предрассветными бликами все журчит, журчит, его не остановить и не заглушить. Арджуманд в этом не сомневается. Уже давно сорваны плакаты, уже обвилась вокруг его шеи петля (напомнив о пуповине, задушившей младенца), однако так уважительно, что не оставила следа на шее, уже заточены на вторично разграбленной усадьбе в Мохенджо Арджуманд с матерью, больше похожей на бабушку — она отказалась причислить мужа к лику мучеников. Арджуманд помнит все до мелочей, она верит, что придет день и история

Окончание. Начало см. в № 8.

воздаст Искандеру должное. Пока же она — творец легенды об отце. Арджуманд бродит по разоренным комнатам и коридорам, читает дешевые романы про любовь, ест, как птичка, да еще принимает слабительное — ей нужно освободиться от всего, что мешает воспоминаниям. И вот они заполняют ее целиком: и живот, и легкие, и ноздри. Она — отцова эпитафия, и об этом ей не забыть.

Однако обо всем по порядку. Выборы, в результате которых Искандер получил власть, прошли, нужно отметить, отнюдь не столь гладко, как покажется из моего рассказа. Да иначе и быть не могло в стране, разделенной тысячью миль на два крыла, в этой огромной птице, у которой вместо тулова — клин чужой и враждебной земли (злее врага и не сыскать!). И нет перемычки меж крыльями, разве только Аллах соединяет их. Арджуманд вспоминает первый день выборов, толпы людей у избирательных участков. Народ бурлит — еще бы, столько лет прожили при военной диктатуре, небось, забыли, что такое демократия. В суете и давке многие также и не добрались до избирательных урн, а то и вовсе не получили бюллетеней. Другие же, понастырнее и половчее, умудрились проголосовать за своего избранника двенадцать-тринадцать раз. А как пытались спасти положение деятели из Народного фронта, отчаявшись придать выборам должную пристойность и законность! В некоторых городских районах результаты голосования не соответствовали ориентирам, намеченным партией повсеместно (точнее, в Западном крыле). Ночью в такие избирательные участки наведывались партийные активисты и «помогали» комиссиям считать голоса. И вмиг все становилось на свои места. На улицах перед «провинившимися» участниками собирались толпы истинных демократов, у многих в руках факелы (очевидно, чтобы окончательно «просветить» незадачливые счетные комиссии). Толпы не расходились до рассвета, люди скандированием поторапливали счетчиков. И вот к утру огласили волеизъявление народа, и Искандер одержал убедительную и безоговорочную победу, завоевав для своей партии абсолютное большинство мест, отведенных Западному крылу в Национальной ассамблее. ХОТЯ И БЛАГОДАРЯ ПРОИЗВОЛУ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВСЕ ЖЕ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА, вспоминает Арджуманд.

С крылом Восточным забот и хлопот выпало куда больше. Болото — оно и есть болото. Живут там одни дикари, разводят ни на что не пригодных диких кроликов, выращивают рис да джут, режут друг дружку почем зря, потворствуя наушничеству и наветам. Вот оно, вероломство Востока: Народному фронту не удалось получить там ни одного места, зато какая-то жалкая Лига народа — местная партия буржуазной оппозиции, ведомая известным, но бесталанным шейхом Бисмиллой[1], — одержала столь неоспоримую победу, что получила мест в ассамблее еще больше, чем Искандер, победивший на западе страны. ДАЙТЕ ЛЮДЯМ ДЕМОКРАТИЮ И ПОСМОТРИТЕ, ЧТО ОНИ С НЕЙ СДЕЛАЮТ. Итак, Народный фронт приуныл, ведь на одном крыле далеко не улетишь, будущее страшило: чего доброго, придется уступить формирование правительства этим болотным дикарям, смуглым коротышкам, и говорят-то они на тарабарском языке — гласные проглатывают, согласные жуют, точно кашу. Если и не иностранцы, то уж чужаки-то явные. Пришлось президенту Пуделю, ахая и охая, послать огромную армию, чтобы не очень-то это Восточное крыло возносилось.

О войне, которая последовала за этим, Арджуманд вспоминала скупо. Разве что отметила: страна идолопоклонников, вклинившаяся между двух крыльев, поддерживала восточную болотную нечисть изо всех сил, являя былую политику «разделяй и властвуй». Ужасная

[1] Имя не только вымышленное, но искусственное, оно означает: «Во имя Аллаха».

война! На западе обстрелу безбожников подверглись нефтеочистительные заводы, аэропорты, дома богобоязненных горожан. К поражению Западного крыла, несомненно, приложили руку зарубежные силы: идолопоклонники-соседи и треклятые заморские янки. В результате была пересмотрена конституция, и Восточное крыло получило автономию (ВОТ СМЕХ-ТО!). Шуму было на весь белый свет. Председатель Хараппа нанес визит в Организацию Объединенных Наций и во всем своем блеске и неистовстве выступил на Генеральной Ассамблее, наорав на это собрание бесплодных скопцов:

— Пока я жив, вам не уничтожить нашу страну! Весь народ внимает мне! Ноги моей не будет здесь, в этом гареме шлюх в мужском платье.

Он возвратился домой и взял бразды правления остатками земли Господней. А шейх Бисмилла, инициатор раскола, стал заправлять на востоке, в краю джунглей. Позже на его дворец было совершено нападение, его со всей семьей изрешетили пулями. Этого следовало ожидать. Дикари и есть дикари.

Но вот незадача: в течение всей войны по радио ежечасно передавали сводки о славных победах войск Западного крыла в восточных топях. В последний день, в одиннадцать часов пополудни, радио огласило самую живописную сводку о победе отечественного оружия. А в полдень народ известили о, казалось бы, невозможном: о безоговорочной, постыднейшей капитуляции, о страшном поражении. Замерло движение на городских улицах, по всей стране и думать забыли об обеде. В деревнях остался некормленным скот, неполитой земля, хотя стоял зной. Председатель Искандер Хараппа, став премьер-министром, правильно посчитал, что народ отнесется к немыслимому поражению с праведным негодованием, подогретым стыдом. Какая беда столь внезапно свалилась на армию, подкосив ее под корень? Какие силы обратили победу в поражение буквально в одночасье?

— Ответственность за этот роковой час лежит по праву на руководителе страны,— провозгласил Искандер Хараппа.

Не прошло и пятнадцати минут, как полицейские с собаками окружили дом теперь уже бывшего президента Пуделя. Самого его препроводили в тюрьму — дожидаться приговора за военные преступления. Однако, поразмыслив, Искандер решил, что народ, раздосадованный поражением, жаждет поскорее заключить мир, не докапываясь долее до корней стыда. И премьер-министр предложил Пуделю прощение при условии, что тот останется под домашним арестом.

— Вы у нас точно грязное белье,— скажите спасибо, что вас на камушке не раскатали и не потрепали хорошенько,— сказал Искандер несостоятельному вояке.

Нашлись циники, посмеявшиеся над прощением президента. Собственно, и упоминать-то об этом не стоило — ведь у каждого народа есть свои нигилисты. Такие-то людишки и заявили, что Искандеру Хараппе гражданская война, разодравшая страну, была, как никому, на руку. Они распускали слухи о его прямой причастности к печальным событиям.

— А Пудель всегда у Хараппы в любимцах ходил,— злопыхали они из своих жалких щелей,— совсем ручной был, только что из рук Хараппы не ел.

Такие вот вечно всем недовольные типы — уродливая действительность нашей жизни.

Председатель Хараппа жаловал их только презрением. На двухмиллионном митинге он вдруг распахнул рубашку.

— Мне нечего скрывать! — крикнул он.— Говорят, война мне была на руку. А меж тем я безвозвратно потерял половину родины. Так где ж моя нажива? Где выгода? Где удача? Народ мой, твое сердце кровоточит от боли! Вот, смотрите, в моем сердце те же раны.— И Искандер рванул на груди рубаху, разорвал ее надвое, выставив на

обозрение плачущего, кричащего люда свою безволосую грудь. (Нечто подобное сделал когда-то на экране молодой Ричард Бертон в фильме «Александр Великий». Солдаты полюбили Македонского за то, что он показал им свои боевые шрамы.)

Некоторые личности столь велики, что развенчать их под силу только им самим. Разбитой армии нужен новый командир. Отправив в отставку опозорившегося старого вояку, Искандер поставил Резу Хайдара во главе армии.

— Он будет работать на меня. Себя он уже скомпрометировал,— решил Искандер, этой единственной ошибки хватило, чтобы покончить с самым толковым правителем за всю историю страны, которой так не везло на лидеров — будто над ней довлело проклятье.

ОН ВЫЗЫВАЛ ВСЕОБЩУЮ ЛЮБОВЬ, ЧАРОВАЛ, И ЭТОГО ЕМУ НЕ ПРОСТИЛИ.

В Мохенджо Арджуманд переполняли воспоминания, и услужливая память переплавляла их в золотые магические образы.

Во время избирательной кампании к Искандеру, не таясь от дочери и жены, приходили женщины и признавались в любви. Древние старухи в деревнях вскарабкивались на деревья и кричали проходившему мимо кумиру: «Эх, сбросить бы мне годков тридцать!» Мужчины, не стыдясь, целовали ему ноги. Почему Искандера так любили?

— Я — их надежда,— объяснял он дочери.

Наша любовь непременно откликается (так или иначе) в сердцах. И люди видели, как полнится любовью душа Искандера, как, переливаясь через край, она омывает и очищает их души. Откуда у председателя столько любви? Уж Арджуманд-то знала, как знала и мать. Искандер, воздвигнув дамбу на пути к Дюймовочке Аурангзеб, пустил свои чувства по новому руслу, изменил их течение.

Поначалу Арджуманд даже нанимала фотографов, чтобы те незаметно снимали Дюймовочку: то в саду — она опирается на палку, то на базаре — с ощипанной курицей, то под душем — нагая, она походила на длинный сушеный финик. Арджуманд оставляла фотографии на виду у отца.

— Всемогущий Боже, да ты посмотри, ей пятьдесят, а на вид — все сто! Ну уж никак не меньше семидесяти! И что в ней привлекательного?

Одутловатое лицо, синие — точно шрамы — вены на ногах, редкие, седые, неухоженные волосы.

— Перестань подсовывать мне эти снимки! — кричал Искандер на дочь (она запомнила это хорошо, ведь отец никогда не повышал на нее голос).— Всему виной — я, думаешь, не понимаю?!

КОСНИСЬ ТЕБЯ ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК, И ТЫ БЫСТРО СОСТАРИШЬСЯ, НО ЖИТЬ ЕЩЕ ДОЛГО, А НА ДУШЕ ПУСТО. У Искандера Хараппы была удивительная способность: он убыстрял бег времени для всех знакомых женщин. Дюймовочке исполнилось пятьдесят, она была уже совсем не та, что во времена индюшачьего погрома; пожалуй, даже воспоминаний о своей красоте у нее не сохранилось. Изменили страдания и Рани, но не так разительно — ведь она видела Искандера куда реже. Правда, все долгие годы она жила надеждой, и вот стало ясно, что она вновь нужна мужу, но нужна только затем, чтобы стоять рядом на предвыборных митингах, и былого не вернуть. Тогда она смиренно возвратилась в Мохенджо; видно, ее любовь нужна лишь павлинам да домашней птице, ее удел — спать в одинокой постели да любоваться юными белыми деревенскими женами — бадминтонистсками. Она уже не живая душа, а часть усадьбы, ее кроткий и привычный всем дух, древний и поросший паутиной, как и сам дом.

Да и для Арджуманд время проносилось чересчур быстро: она рано повзрослела, поумнела, набралась прозорливости.

— Нам не вынести твоей любви. Она нас раньше тебя в могилу сведет,— говаривала она отцу.

Но, как выяснилось, и жене и дочери суждено пережить Искандера.

С Дюймовочкой он более не виделся, не звонил, не писал писем, не упоминал ее имени, на глаза попадались лишь фотографии, которые подсовывала дочь, и больше ничего. А вся любовь стала изливаться на людей, пока в один прекрасный день генерал Хайдар не лишил их этого источника.

Пила из источника и Арджуманд, пила вдосталь. Вместе с отцом она переехала в новую столицу на севере, где располагалась резиденция премьер-министра. Некоторое время с ней переписывалась мать, предлагала женихов, даже присылала их фотографии. Но Арджуманд рвала в клочья и письма, и снимки и отправляла обратно. Так расправлялась дева Кованые Трусы с вероятными женихами не один год, мать потеряла всякую надежду и предоставила дочери идти избранным путем. Когда Искандер стал премьер-министром, дочери исполнилось двадцать три года; однако выглядела она старше, и несмотря на все еще яркую красоту, к ее радости, с годами замужество грозило ей все меньше, пока искатели ее сердца не перевелись совсем. Не выясняла она отношений и с Гаруном. ОН ДАВНО МНЕ ДУШУ В КЛОЧЬЯ РАЗОРВАЛ.

Арджуманд Хараппа, выучившись на юриста, не щадила сил для молодой революции: выгоняла из дворцов богачей-заминдаров, открывала застенки, нежданно-негаданно наведывалась на виллы кинозвезд и лично вспарывала обоюдоострым длинным ножом матрацы, откуда сыпались многочисленные купюры, сокрытые меж пружин и нажитые отнюдь не праведно. В суде она выносила обвинения врагам государства с выверенной жестокостью, из-за чего ее прозвище приобрело далеко не шутливый оттенок. Однажды, приехав в свою адвокатскую контору, она обнаружила, что ночью какой-то шутник проник в комнату и оставил забавный подарок — старинные, ржавые рыцарские латы, точнее, их нижнюю часть, то есть две железные ноги, стоявшие «пятки вместе, носки врозь». На ковре в середине комнаты. А внутрь был аккуратно вложен железный пояс с висячим замком. Арджуманд Хараппа — Кованые Трусы!

Она сидела на полу в Искандеровом кабинете и, уронив голову на отцовские колени, жаловалась сквозь слезы:

— Меня ненавидят.

Искандер встряхнул дочь так, что обильные слезы высохли у нее на лице, сменившись изумлением.

— Вот спроси себя: кто может тебя ненавидеть? Мои враги — это твои враги. А наши враги — это враги народа. Так нужно ли стыдиться ненависти подонков?

Тогда она поняла, как любовь может породить и взрастить ненависть. А отец спокойно продолжал:

— Я строю нашу страну, как мужчина строит семью. Для этого нужны сила и ласка. И если мы и впрямь хотим принести пользу, нельзя тратить время на слезы.

Дочь вытерла глаза и улыбнулась.

— Тебе б только семьи строить! Какой же ты старомодный в душе! — Она легонько хлопнула его по ноге.— Тебе б целого гарема не хватило! И это современный мужчина, с ума сойти!

— Господин Хараппа,— пытает английский телекомментатор,— многие мои коллеги поддерживают широко бытующее мнение, которое смыкается с утверждением ваших политических противников, раз-

деляемым некоторыми общественными группировками, что, как бы это сказать, вы в некотором роде, точнее, ваши методы правления могут быть истолкованы в определенной степени...

— Да, вот каких несмышленышей присылают брать у меня интервью,— прерывает его Искандер. Комментатор покрывается испариной. Телекамера тактично отворачивается. Зато Арджуманд запечатлевает в памяти все.

— ...как антинародные, диктаторские, нетерпимые и репрессивные,— заканчивает наконец журналист.

Искандер Хараппа улыбается, поудобнее устраивается в кресле эпохи Людовика XV, делает глоток из хрустального бокала и отвечает:

— Вы б еще сказали, что я нетерпим к дуракам. Но, как видите, терплю.

В Мохенджо Арджуманд снова и снова просматривает отцовские видеокассеты. Она сидит в той же комнате, где проходила эта беседа. Девушка потрясена: электронное устройство с дистанционным управлением воскресило отца. Да, он терпел дураков. Имя его запечатлено в истории золотыми пылающими буквами — что́ ему до всяких наглецов. Вот они тоже на экране, с радостью поверяют западному журналисту всю клевету, всю мерзкую грязь, которую не погнушались собрать. Он меня пытал, а в меня стреляли, а меня в тюрьму бросил, едва спасся — верещат они.

Ах, разлюбезное телевидение, оно умеет представить наших вождей глупцами и дикарями, несмотря на их западное образование и модную одежду. Да, телевидение всегда делает ставку на ропщущих и недовольных.

Он не любил спорить. Либо делай как велено и не мешкай, либо — катись на все четыре стороны. Так и должно быть. А с кем ему приходилось работать! Взять хотя бы министров: вероломные, алчные, беспринципные — все до одного. А раз им нет веры, то Искандер учредил Отдел Государственной Безопасности, поставив во главе Тальвар уль-Хака. «Информация свету подобна», — говаривал премьер-министр.

Ясновидение очень пригодилось Тальвар уль-Хаку: он составил исчерпывающее досье на взяточников, заговорщиков, налоговых «зайцев», любителей застольных «опасных» речей, гомосексуалистов; значились там и студенческие группировки, и прочие гнездилища измены. Ясновидец творил чудеса: он хватал злодея еще до того, как тот вершил свое черное дело, и тем самым спасал тому жизнь. Конечно, ОГБ подвергался нападкам — нашлись недовольные, которые с радостью бы потушили великий, очищающий общество свет. Таких, конечно же, сажали в тюрьму — самое место для мятежников. Некогда с ними миндальничать: все заняты возрождением страны.

— У нашего народа есть один непревзойденный талант — к самоуничтожению. Мы сами себя пожираем, не щадим детей, низвергаем авторитеты. Но мы все ж таки выживем! Должны выжить! — говорил он как-то Арджуманд.

А теперь бесплотный Хараппа говорит с такой же электронной тенью журналиста-ангреза на экране.

— Меня никому не свалить! Ни «денежным мешкам», ни американцам, ни даже вам. Потому что я — воплощение народной любви.

Итак, извечный конфликт: «народные массы в пику отдельным классам»[1]. Так кто же любил Искандера? «Народ»—это не просто красивое, возвышенное понятие. Народ — это разум, способный выделить

[1] Выражение заимствовано у Уильяма Гладстона (1809 — 1898), видного английского политического деятеля, премьер-министра (1868 — 1885, 1886, 1892 — 1894). В ливерпульской речи 28 июня 1886 года он сказал: «В любом уголке земли я всегда буду поддерживать народные массы в пику отдельным классам».

тех, кто ему лучше служит. Так кто же любил Искандера? Дюймовочка, Аурангзеб, Рани, Арджуманд, Тальвар, Гарун. Но какие же раздоры бушевали в этом квинтете меж женой и любовницей, меж матерью и дочерью, меж обманутой Арджуманд и обманувшим ее надежды Гаруном, меж обманутым Гаруном и посягнувшим на его права Тальваром. И Арджуманд пришла к выводу, что в падении Искандера повинны те, кто его любил. Их ряды были разрозненны, и враги нанесли разящий удар.

ВРАГИ. «Денежные мешки», контрабандисты, духовенство. Городская знать не забыла его скандальной молодости и не могла смириться с тем, что из такого гадкого утенка выросла птица столь высокого полета. К врагам относились и владельцы фабрик. Доселе они больше внимания и заботы уделяли дорогим зарубежным станкам, нежели рабочим, а тут на́ тебе — их понуждают к неслыханному: признать профсоюзы. К врагам Искандера можно причислить и ростовщиков, и мошенников, и банкиров. А еще — американского посла.

О послах нужно сказать особо: за шесть лет правления Искандера Хараппы сменилось девять американских послов, пять английских и три главы советского дипломатического представительства. Арджуманд заключала с отцом пари: сколько продержится очередной посол. И Искандер, как малыш, получивший новую игрушку, принимался травить новеньких. Неделями не давал им аудиенций, обрывал их на полуслове, отказывал им в разрешении на охоту. На приемах устраивал так, что русского дипломата потчевали супом из птичьих гнезд и уткой по-пекински, а американца — борщом с блинами. С женами дипломатов не любезничал. С английским послом держался так, точно вчера из деревни приехал, говорил на малопонятном, редком диалекте. А с американцем избирал совсем иную тактику, изъясняясь на изысканном, витиеватом французском. То и дело в посольствах отключали электричество. Искандер не гнушался вскрывать дипломатический багаж и лично делал возмутительнейшие приписки к посольским отчетам. Так, русского дипломата отозвали на родину с тем, чтобы он объяснил свои более чем смелые предположения о родословной некоторых членов политбюро. Он так и не вернулся. Однажды в юмористическом разделе одной американской газеты было предано огласке письмо американского посла при дворе Искандера. Дипломат недвусмысленно намекал, что уже долго испытывает страстное половое влечение к государственному секретарю Генри Киссинджеру. На этом его карьера и закончилась.

— Да, пришлось мне повозиться, пока дело на лад пошло,— признался Искандер дочери.— Но уж как заладилось, я этим пройдохам спуску не давал.

Он велел спарить посольские телефоны так, чтобы дипломаты вынужденно подслушивали друг друга. Так, советский консул, стоило ему поднять трубку, слышал беспрестанные здравицы в честь вождя, а американский дипломат познал всю премудрость председателя Мао. Британскому посланнику Искандер Харапша потихоньку направлял красивых мальчиков, отчего жена дипломата поначалу пришла в ужас, а потом даже обрадовалась: теперь ей можно было пораньше уединяться в своей комнате, так сказать, от греха подальше. Искандер высылал из страны советников по вопросам культур человеческих и культур полевых; он вызывал послов в три часа ночи и до зари орал на них, обвиняя в сговоре с религиозными фанатиками и нелояльными текстильными магнатами. Он проверял их почту, лишая англичан журналов по конному спорту, русских — насыщенного эротикой «Плейбоя», а американцев вообще оставил без почты. Последний американский посол продержался лишь два месяца и умер от инфаркта за два дня до путча, низвергнувшего Искандера и покончившего с его игрищами.

«Случись мне править долго,— думал Искандер,— может, вообще

удастся нынешнюю дипломатическую систему во всем мире развалить. Пока у меня иссякнут силы, у них иссякнут послы».

Да, великий человек пришел к власти в пятнадцатом веке. Да, он казался всемогущим, да, он вертел как хотел послами крупнейших стран. И ничего-то вы со мной не поделаете, руки коротки, дразнил он. Бессмертный, неуязвимый Хараппа! Он возвращал народу гордость. Десятый американский посол прибыл уже после ареста Искандера, и на лице его читались блаженство и облегчение. Вручая свои верительные грамоты Резе Хайдару, посол тихо проговорил:

— Простите, сэр, но надеюсь, вы не унаследовали шутливость вашего предшественника.

— Стабильность в стране — дело нешуточное,— ответил Реза.

Однажды Арджуманд навестила отца в его камере, больше похожей на преисподнюю. Искандер, весь в синяках, опустошенный, мучимый дизентерией, все ж таки заставил себя улыбнуться:

— Похоже, этот десятый посол — сука, каких поискать. Жаль, что второй десяток мне разменять не удалось.

В пятнадцатом веке... Впрочем, как бы ни убеждали яркие плакаты, новый век еще не наступил с приходом Искандера к власти. Он наступит чуть позже. Но так заворожил всех и вся Искандер, что когда веку пятнадцатому и впрямь подошла пора и 1399-й год сменился 1400-м, его встретили едва ли не разочарованно.

Великий Хараппа опередил великое время. НОВОМУ ВЕКУ — НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК... Да, Искандер возвестил новую эпоху, он обогнал Время. Но оно отыгралось, отомстило сполна.

Повесили его в полночь, потом обрезали веревку, сняли тело, завернули, отдали Тальвар уль-Хаку. Тот погрузил его в самолет и вылетел в Мохенджо, где под домашним арестом дожидались две женщины. Когда тело выгрузили, пилот и штурман отказались выйти из самолета. Так и стоял он на взлетной полосе в Мохенджо, поджидая Тальвар уль-Хака, нетерпеливо пофыркивая дымком, словно негодовал из-за каждой лишней минуты в этом ужасном месте. Рани и Арджуманд на штабной машине проехали в Синадру — там за усадьбой было семейное кладбище — и увидели среди белых мраморных надгробий, похожих на зонтики, черную зияющую яму. У тела, завернутого в белое, застыл по стойке «смирно» Тальвар уль-Хак. Рани, уже совсем седая — ни дать ни взять двойник Дюймовочки, не обронила и слезинки.

— Так, значит, это он,— только и сказала она.

Тальвар ответил поклоном, кивнуть он не мог — не гнулась шея.

— Покажите. Откройте лицо мужа.

— Пожалейте себя! — воскликнул Тальвар.— Ведь его же повесили.

— Спокойно!— оборвала его Рани.— Откиньте покрывало.

— Весьма сожалению,— снова поклонился Тальвар,— но у меня приказ.

— Какой еще приказ?— Рани даже не повысила голос.— Кто мне может запретить?

Но Тальвар лишь повторил:

— Искренне сожалею, но...— И все же потупился, каинова душа. Тальвар и Реза, полицейский и солдат. И тот и другой служили Искандеру.

— Значит, что-то неладное с телом,— заключила Рани.

Тальвар замер, напрягся и отрывисто сказал:

— Ваш муж мертв. Что сейчас может с ним быть «неладное»?

— Ну, позвольте хоть сквозь покрывало его поцеловать,— прошептала Рани и склонилась над спеленутым телом. Тальвар не остановил ее, а когда сообразил, в чем дело, было уже поздно: острыми ног-

тями Рани разодрала покрывало и из большой прорехи на нее уставились немигающие глаза мужа на пепельно-сером лице.

— Что ж глаза ему не закрыли?— впервые подала голос Арджуманд. Мать же молча, сосредоточенно всматривалась в пухлые губы, серебристо-седые волосы. Пришлось силой оттаскивать ее от тела.

— Я все видела. Теперь можно. Идите, хороните свидетельство вашего позора.

Искандера предали земле, когда солнце спряталось за горизонтом.

Уже в машине Рани Хараппа сухо заявила:

— Когда человека вешают, у него выпучиваются глаза. Лицо синеет. И язык вываливается.

— Мама, ради Бога, прекрати!

— Опоражнивается кишечник, впрочем, они могли все подчистить, запах какой-то больничный.

— Слышать не могу!

— Да и лицо, согласна, можно в порядок привести: отрезать язык, чтобы рот закрылся, грим наложить.

Арджуманд Хараппа заткнула уши.

— Одного только ничем не поправить. На шее у висельника всегда след от веревки остается, а у Искандера на шее — чисто.

— Мерзость какая! Меня сейчас стошнит!

— Неужто не понимаешь!— крикнула дочери Рани.— Если от веревки отметины нет, значит, он умер раньше! Ну, ясно теперь? Они мертвого повесили!

Арджуманд уронила руки на колени.

— Какой ужас!

Смерть не оставила своей визитной карточки — отметины на шее.

Едва не теряя разум, Арджуманд воскликнула:

— Мама, а откуда ты все знаешь? Откуда тебе знать, как вешают?

— Ты, должно быть, забыла,— почти ласково напомнила она дочери,— я видела Миира-Меньшого.

В тот день Рани Хараппа в самый последний раз попыталась дозвониться до своей старой подруги, Билькис Хайдар.

— Извините, но Хайдар-бегум не может сейчас подойти к телефону.

«Что ж, значит, он и бедняжку Билькис под замок посадил»,— подумала Рани.

Под домашним арестом Рани и Арджуманд провели ровно шесть лет (два года до казни Искандера и четыре — после). За это время они окончательно убедились, что им не сблизиться — уж слишком неравнозначны были их воспоминания об отце. Одинаково они лишь встретили смерть Иски — ни та, ни другая не уронила ни слезинки. И причиной тому — маленькое палаточное взгорье, словно после землетрясения выросшее на том самом дворе, где некогда привязал себя к колышку Реза Хайдар. Жили в этих палатках солдаты, жили, так сказать, на захваченной территории. Разве могли женщины плакать на глазах у захватчиков? Главным надзирателем был капитан Иджаз, молодой здоровяк с жесткими, как щетина у зубной щетки, волосами и пушком на верхней губе, который упрямо не желал превращаться в усы. Он-то поначалу и пытался пристыдить жестокосердных.

— Бог знает, что вы за женщины! Все толстосумы — выродки! Глава семьи мертв, вам бы рыдать да рыдать у него на могиле.

Но Рани Хараппа на провокацию не поддалась.

— Вы правы,— ответила она.— Бог, конечно, знает. И какие вы солдаты, тоже знает. Под мундиром черную душу не скроешь.

Так, год за годом, под недоверчивыми взглядами солдат и холод-

ными, точно северный ветер,— дочери-затворницы, Рани Хараппа попрежнему изукрашивала вышивкой шаль за шалью.

— Моя-то жизнь почти не изменилась под домашним арестом,— призналась она капитану Иджазу вначале.— Разве что новые лица вижу, есть с кем словом изредка перекинуться.

— Не воображайте, что я вам друг! — заорал Иджаз, на пушистой верхней губе выступил пот.— Раз убили этого подонка, так и усадьбу конфискуем! И все ваше золото, серебро, все эти чужеземные картины с голыми бабами да мужиками, что наполовину кони. Стыдоба! Все отнимем!

— Начинайте с картин в моей спальне,— посоветовала Рани.— Там самые дорогие. И если нужно, позовите, помогу вам серебро от мельхиора отличить.

Когда капитана Иджаза прислали в Мохенджо, ему не исполнилось еще и девятнадцати. По молодости и горячности он бросался в крайности: то верх брала бравада (порожденная смущением: как-никак ему доверили сторожить таких известных дам), то юношеская застенчивость. Когда Рани предложила помочь в разорении собственной усадьбы, искра, высеченная огнивом стыда, воспламенила фитиль его гордости: враз приказал он солдатам собрать все ценные вещи в кучу перед верандой, где сидела Рани и невозмутимо вышивала. Бабур Шакиль тоже, помнится, за свою недолгую молодость сжег огромную кучу старья. Капитан слыхом не слыхивал о юноше, ангелом вознесшемся на небо, но устроил такой же костер в Мохенджо — дабы в нем сгорело все тягостное прошлое. И весь день Рани руководила разошедшимися вояками: следила, чтоб в огонь попала самая лучшая мебель, самые замечательные картины.

Через два дня Иджаз пришел к Рани — та, как всегда, сидела в кресле-качалке — и грубовато-неумело извинился на свое безрассудство.

— Отчего же,— возразила Рани.— Вы это хорошо придумали. Я старую рухлядь терпеть не могла, но и выбросить не смела — Иски с ума бы сошел.

После учиненного пожаром разора Иджаз проникся к Рани уважением и к концу шестого года почитал ее как мать, ведь он же рос у нее на глазах. Иджаз был лишен как семейной жизни, так и солдатского казарменного братства; потому он изливал душу перед Рани, поверял ей свои еще смутные мечты о женщинах, о маленькой ферме на севере.

«Во мне хотят видеть мать — наверное, так угодно судьбе»,— думала Рани. Вспомнилось ей, что даже Искандер в конце жизни стал относиться к ней по-сыновнему уважительно: последний раз в Мохенджо он склонился и поцеловал ей ноги.

Мать и дочь отомстили-таки своему тюремщику. Рани добилась того, что, полюбив ее, он возненавидел себя; а Арджуманд принялась вытворять такое, чего от нее не видывали за всю жизнь. Она стала носить умопомрачительные наряды, стала ходить, покачивая бедрами и виляя задом, строила глазки всем без разбора солдатам, но особенно пыталась обольстить юного капитана. Последствия оказались самыми плачевными: в крошечных палаточных Гималаях разыгрывались кровавые драки, пускались в ход ножи, выбитых зубов было не счесть. А как мучился сам Иджаз! Прямо лопался от неутоленной страсти, так лопается радужный мыльный пузырь. Однажды, когда Рани спала, он подкараулил Арджуманд в укромном уголке.

— Думаешь, не понимаю, к чему вы с матерью клоните?!— грозно проговорил он.— Хоть с миллионами, а все шлюхи! Думаешь, вам все позволено? Да у нас в деревне за такое поведение девчонку бы камнями забили. Ни стыда, ни совести!

— Ну, так прикажи забить меня камнями, — не растерялась Арджуманд.— Попробуй!

Через месяц Иджаз снова заговорил с ней.

— Дождешься, ребята тебя изнасилуют. Я по лицам вижу. Зачем мне их сдерживать? Возьму и разрешу. Ты ж сама позор на свою голову навлекаешь!— в бессильной ярости кричал он.

— Возьми да разреши. Непременно скажи, чтобы приходили. Но первым будешь ты!

— Шлюха!— в бессильной ярости выругался он.— Неужто не понимаешь: и ты, и мать твоя у нас в руках. Что захотим, то с вами и сделаем. Заступаться за вас некому, всем на вас наплевать.

— Понимаю,— спокойно ответила Арджуманд.

К концу шестилетнего заточения капитан Иджаз стараниями Арджуманд попал за решетку, его пытали, отчего он и сошел в могилу двадцати четырех лет от роду. Волосы у него, как и у покойного Искандера Хараппы, были белы, ровно снег. Когда его привели в камеру для пыток, он произнес всего одну фразу:

— Ну, что еще меня ждет?

А потом лишь кричал.

Рани Хараппа сидит в качалке на веранде. За шесть лет она изукрасила вышивкой восемнадцать шалей, пожалуй, непревзойденных по мастерству. Но вместо того, чтобы похвастать ими перед дочерью или солдатами, она, закончив работу, убирала свои творения в большой кованый сундук, пропахший нафталином, и запирала на замок. Из всех ключей ей оставили лишь от сундука. Остальные капитан Иджаз носил на большом кольце у пояса, чем очень напоминал Рани ее подругу — Билькис Хайдар. Было время, когда та не терпела открытых дверей, опасаясь полуденного суховея. Бедняжка Билькис!

Рани недоставало их прежних телефонных разговоров. Из-за вражды мужей оборвалась и ниточка, связывавшая жен. То Билькис поддерживала Рани добрым словом, потом пришел черед Рани утешать подругу. И неслись по телефонным нервам слова привета.

НИЧЕГО НЕ ПОПРАВИТЬ. Рани равнодушно покрывает тончайшим узором шали. Поначалу капитан пробовал было отобрать иголки с нитками, но Рани нашлась чем пристыдить его:

— Не думай, парень, что из-за тебя я лишу себя жизни этой иглой! Или, может, ты воображаешь, что я из ниток петлю скручу да повешусь?

Спокойствие жены Искандера (в ту пору он был еще жив) подействовало. Иджаз даже согласился принести ей мотки пряжи из военной лавки (цвет и количество Рани указала). И снова принялась она за работу. На шали, как на поле, стали всходить и набирать силу ростки ее колдовского искусства. Они распускались яркими цветами, дарили волшебными плодами.

Вот в сундуке уже восемнадцать шалей. Так Рани по-своему увековечила воспоминания. А в памяти дочери Искандер продолжал жить — мучеником, полубожеством. Воспоминания об одном и том же у людей никогда не сходятся... Рани долгие годы никому не показывала своей работы, а потом отослала сундук в подарок дочери. Никто не заглядывал через плечо, пока она работала. Ни солдат, ни дочь не занимало: что-то там вышивает госпожа Хараппа? Как-то коротает свой долгий досуг?

Эпитафия, вышитая цветной шерстью. Восемнадцать шалей с воспоминаниями.

Художник вправе дать имя своему творению, и Рани, прежде чем послать сундук дочери, набравшей немалую силу, сунула внутрь клочок бумаги с названием: «Бесстыдство Искандера Великого» и неожиданной подписью: *Рани Хумаюн.* Так, среди нафталинных комочков прошлого вдруг отыскалась ее девичья фамилия.

Так что же было вышито на восемнадцати шалях?

В сундуках лежали свидетельницы времен, о которых никто и слышать не желал. Вот шаль «Бадминтон»: на лимонно-зеленом фоне в изящном обрамлении из ракеток, воланов и кружевных панталончиков возлежит нагишом сам Великий. Вокруг резвятся розовотелые девушки-наложницы, едва прикрытые спортивными одеждами; как искусно изображена каждая складочка; так и видишь — вот ветерок играет легкой тканью; как удачно и тонко наложены светотени. Девушек, очевидно, панцирем сковывает одежда, и они сбрасывают белые рубашки, лифчики, тапочки. А Искандер возлежит на левом боку, подперев голову рукой и милостиво принимает их ласки. ДА, Я ЗНАЮ: ТЫ ВООБРАЗИЛА ЕГО СВЯТЫМ, ДОЧЬ МОЯ, ТЫ ЖАДНО ЛОВИЛА КАЖДОЕ ЕГО СЛОВО, ВЕРИЛА КАЖДОМУ ЕГО ДЕЛУ: И КОГДА ОН БРОСИЛ ПИТЬ, И КОГДА, СЛОВНО ПАПА РИМСКИЙ (ТОЛЬКО НА ВОСТОЧНЫЙ ЛАД), ДАЛ ОБЕТ БЕЗБРАЧИЯ. НО СЛАСТОЛЮБЦУ, ВОЗОМНИВШЕМУ СЕБЯ СЛУГОЙ ЧЕСТИ И ПОРЯДКА, БЕЗ УТЕХ ПЛОТСКИХ НЕ ПРОЖИТЬ. ДА, ЭТОТ АРИСТОКРАТ С ЗАМАШКАМИ ФЕОДАЛА КАК НИКТО УМЕЛ СКРЫВАТЬ СВОИ ГРЕХИ: НО Я ЗНАЮ ЕГО, И ОТ МЕНЯ НЕ СКРОЕШЬ. Я ВИДЕЛА, КАК У ДЕРЕВЕНСКИХ ДЕВУШЕК РОСЛИ ЖИВОТЫ. Я ЗНАЮ, ЧТО ОН ЧАСТО, ХОТЬ И ПОМАЛУ, ПРИСЫЛАЛ ЭТИМ ДЕВУШКАМ ДЕНЬГИ — ДЕТИ ХАРАППЫ НЕ ДОЛЖНЫ ГОЛОДАТЬ. КОГДА ЕГО СВЕРГЛИ, МАТЕРИ ЕГО ДЕТЕЙ ПРИШЛИ КО МНЕ.

А вот шаль «Пощечина». Не счесть, сколько раз Искандер поднимал руку и на министров, и на послов, и на несогласных святых старцев, и на заводчиков, и на слуг, и на друзей. Похоже, каждая пощечина запечатлелась на шали. Конечно, Арджуманд, ТЕБЯ ОН И ПАЛЬЦЕМ НЕ ТРОНУЛ, ПОЭТОМУ ТЫ И НЕ ПОВЕРИШЬ, НО ВЗГЛЯНИ НА КРАСНЫЕ ПЯТНА НА ЩЕКАХ ТЕХ, КТО ЖИЛ В ЕГО ПОРУ, — ЭТО СЛЕДЫ ЕГО РУК, ИХ НЕ ОТМЫТЬ.

Следующая шаль — «Пинок». На пинки Искандер тоже не скупился, его сапог не жалел задниц, вызывая у их обладателей чувства, весьма далекие от любви.

Шаль «Ш-ш-ш...»: Искандер во всей своей славе и величии восседает у себя в кабинете; тщательнейше изображены мельчайшие подробности, так что прямо воочию видишь это жуткое святилище, где под остроконечными арками на стенах начертаны высказывания Великого, на столе горными пиками высятся чернильные приборы; на них игла искусницы вывела даже орнамент. В том кабинете царят Мрак и Власть. И во мраке видятся чьи-то глаза, мелькают красные языки, с которых серебряными нитями срываются шепотки и разлетаются по всей шали. Искандер в окружении своих доносчиков. Словно паук, к которому сходятся паутинные лучики: наветы, оговоры. Рани и паутину вышила серебром. Многие в ту пору угодили в сети паука-кровопийцы. Террор понуждал отцов лгать сыновьям, а женщинам достаточно было лишь шепнуть ветру имя досадившего им любовника, и того уже ждала страшная кара.

ТЫ, АРДЖУМАНД, ТОЛЬКО ПОДУМАЙ, СКОЛЬКО БЫЛО ИЗВЕСТНО ОТЦУ, И ТЕБЕ СТАНЕТ ЖУТКО.

«Пытки» — так называется очередная шаль. На ней Рани изобразила зловонные казематы, где мучили людей: им завязывали глаза, прикручивали руки к стулу и обливали то кипятком (Рани изобразила даже пар над ведром), то ледяной водой, пока несчастные жертвы уже были не в состоянии отличить одно от другого и даже от холодной воды у них вздувались пузыри, как от ожога. Красные рубцы вышивки полосовали шаль, точно шрамы.

Следом идет «Белая» шаль. Там вышито белым по белому фону —

лишь острому и взыскательному глазу откроет шаль свой секрет. Полицейские во всем белом (такова их новая форма) с головы до ног: белые шлемы с серебристыми наконечниками, белее портупей, белые сапоги. Вот дискотеки под полицейским покровительством: рекой льется спиртное из белых бутылок с белым ярлыком[1]; белый порошок жадно вдыхается с тыльной стороны ладоней, затянутых в белые перчатки. ВЕДЬ ИСКАНДЕР СМОТРЕЛ НА ЭТО СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ, ПОНИМАЕШЬ, ОН ХОТЕЛ УКРЕПИТЬ ПОЛИЦИЮ И ОСЛАБИТЬ АРМИЮ. БЕЛИЗНА ОСЛЕПИЛА ЕГО.

Шаль «Брань». Рот Искандера разверст, словно врата ада, из него вылетают мерзкие твари: пунцовые тараканы, бордовые ящерицы, бирюзовые пиявки, синие пауки, крысы-альбиносы. ОН ВСЮ ЖИЗНЬ СКВЕРНОСЛОВИЛ, АРДЖУМАНД, НО ТВОИ УШИ СЛЫШАЛИ ЛИШЬ ТО, ЧТО ХОТЕЛИ.

Несколько шалей живописуют «Стыд Искандеров на международной арене»: вот он ползает в ногах лимоннолицего китайца; вот Искандер тайно сговаривается с Пехлеви; вот обнимается с диктатором Иди Амином; вот, оседлав атомную бомбу, подгоняет ее к концу света; вот Искандер вместе с Пуделем, как озорные мальчишки, режут горло изумрудной курице и выщипывают из правого (Восточного) крыла перышко за перышком.

Еще несколько шалей повествуют о выборах. Одна — о первом дне, положившем начало правлению Искандера, другая — о дне последнем, закатном для Хараппы. На каждой шали множество фигур, каждая с поразительной точностью изображает кого-либо из соратников Искандера по Народному фронту: они срывают пломбы с избирательных урн, наполняют их бюллетенями, чинят расправу; бесцеремонно вваливаются в избирательские кабинки и следят, за кого отдают голоса крестьяне; кто-то размахивает дубинкой, кто-то целит ружье, кто-то стреляет, толпятся-толпятся люди, причем на второй их раза в три больше, чем на первой. И тем не менее каждое лицо узнаваемо, каждая сцена — обвинение; немыслимая череда обвинений. ДОЧЬ МОЯ, ОН БЫ И ТАК ПОБЕДИЛ, НЕ СОМНЕВАЙСЯ, И ПОБЕДИЛ БЫ ДОСТОЙНО, НО ЕМУ БЫЛО НУЖНО БОЛЬШЕГО, ЕМУ ХОТЕЛОСЬ УНИЧТОЖИТЬ ВСЕХ ПРОТИВНИКОВ, РАСТОПТАТЬ, КАК ТАРАКАНОВ, ЧТОБ И СЛЕДА ОТ НИХ НЕ ОСТАЛОСЬ. А В КОНЦЕ КОНЦОВ С НИМ САМИМ ТАК И ПОСТУПИЛИ. ПОВЕРЬ, ОН ТАКОГО НЕ ОЖИДАЛ, ОН ЗАБЫЛ, ЧТО САМ — ПРОСТОЙ СМЕРТНЫЙ.

А вот шаль-аллегория «Искандер и Смерть Демократии». Искандер душит Демократию, у нее выпучились глаза, посинело лицо, вывалился язык, скрюченные руки хватаются за воздух, а Искандер, зажмурившись, все не отпускает. За его спиной столпились генералы, чудесная рукодельница отобразила в зеркальных очках каждого сцену удушения. Очков нет лишь у одного генерала, зато у него — черные окружья под глазами и сентиментальная слеза на щеке. Из-за генеральских мундиров и эполет выглядывают другие персонажи: стриженные «под ежик» американцы, русские в мешковатых костюмах, даже сам великий Мао. Все они застыли и следят за Искандером, не вмешиваясь. НЕЗАЧЕМ ИСКАТЬ ТЕМНЫЕ СИЛЫ ЗА СПИНОЙ ОТЦА, АРДЖУМАНД, НЕЗАЧЕМ СВАЛИВАТЬ НА ЗАГОВОРЩИКОВ. ИСКАНДЕР ВСЕ СДЕЛАЛ САМ, СВОИМИ РУКАМИ, ЗАГОВОРЩИКИ И ПАЛЬЦЕМ НЕ ПОШЕВЕЛИЛИ. «Я — НАДЕЖДА»,— ХВАСТАЛ ИСКАНДЕР, И ВПРЯМЬ, НА НЕГО НАДЕЯЛИСЬ, ПОКА ОН НЕ СОРВАЛ С СЕБЯ БЛАГОРОДНУЮ ЛИЧИНУ. Он своими ру-

[1] «Белый ярлык» — марка дорогого виски.

ками задушил Демократию, что и изобразила художница. Жертву она представила маленькой хрупкой девушкой с каким-то душевным изъяном. Рани избрала ее прообразом убогую и потому невинную девочку — Суфию Зинобию Хайдар (теперь уже Шакиль). Она-то и задыхалась, багровея лицом, в безжалостных руках Искандера.

Нужно упомянуть и об «Автобиографической» шали. Художница изобразила себя старой каргой, как бы слившейся воедино с усадьбой и состоявшей где из дерева, где из кирпича, где из железа. Лицо у нее было цветом что земля Мохенджо, и морщины что трещины в стенах, и волосы —ровно паутина. А весь портрет словно подернут дымкой забвения — так выглядела четырнадцатая шаль. Пятнадцатую Рани посвятила пятнадцатому веку, воскресив в вышивке знаменитый плакат: Искандеров перст указывает в будущее, только никакой зари на горизонте не видно, там царит черная, беспросветная ночь. Была и шаль, запечатлевшая Дюймовочку в момент самоубийства. Две последние шали — самые страшные. На семнадцатой изображался ад, соответствовавший детским представлениям Омар-Хайама: находился ад на западе страны, недалеко от города К., где неподобающе разрослось сепаратистское движение (по примеру раскольников на востоке), а равно и количество скотоложцев. Искандер расправился со всеми (на шали эта расправа увековечена алым-алым полем) во имя того, чтобы о расколе никто больше и не помышлял, чтобы не повторилась история с Восточным крылом, и шаль запечатлела распростертые тела: оскопленные мужчины, отрезанные ноги, кишки на обезглавленных торсах. Память о легионах замученных теснит воспоминания о годах губернаторства Резы Хайдара или рисует его в умеренных, не таких кровавых тонах. ДА И СРАВНЕНИЯ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. ТВОЙ ИЗБРАННИК НАРОДА, ТВОЙ ЗАВОЕВАТЕЛЬ СЕРДЕЦ УБИЛ СТОЛЬКО ЛЮДЕЙ, ЧТО Я ИМ СЧЕТ ПОТЕРЯЛА НА СВОИХ ШАЛЯХ, МОЖЕТ, ДВАДЦАТЬ, ПЯТЬДЕСЯТ ИЛИ СТО ТЫСЯЧ, КТО ЗНАЕТ, НЕ ХВАТИТ КРАСНЫХ НИТОК, ЧТОБ ИЗОБРАЗИТЬ ВСЮ ПРОЛИТУЮ КРОВЬ. Люди с распоротыми животами подвешивались вверх ногами, и собаки тащили из них кишки; люди с мертвыми улыбками-оскалами, пулевые отверстия продлили их от уха до уха. Сколько людей собрано на червячьем подземном пиршестве, которое показано на шали «Плоть и смерть»! А на последней, восемнадцатой, — Миир Хараппа-Меньшой. Он, конечно, не преминет восстать со дна сундука, куда его определила Рани, заключит Искандера в свои бесплотные объятия и утащит в преисподнюю... Да, восемнадцатая шаль, несомненно, удалась Рани больше всех: раскинулись безрадостные просторы ее ссыльного края — от Мохенджо до Даро; вон крестьяне с ведрами на коромыслах, лошади на воле, женщины в полях, на всех фигурках играют розово-голубые блики зари. Просыпается усадьба Даро, а над ступеньками веранды колышется на ветру что-то длинное и тяжелое. После страшного кровопролития, изображенного на предыдущей шали, на этой — единственный труп. С карниза свешивается веревка, на которой болтается с петлей на шее Миир Хараппа-Меньшой. Он был убит в первые месяцы правления Искандера. Невидящие глаза уставились на крыльцо, там некогда гнила брошенная, всеми нелюбимая собака. Рани с такой точностью воспроизвела в вышивке тело висельника, что дух захватывает, не упустила ни одной мелочи, даже предсмертное опорожнение, даже изобразила неровную дыру слева под мышкой, откуда вынули сердце, даже вырванный язык. Подле висельника стоял крестьянин, и над головой вились его недоуменные слова: «Похоже, что беднягу, точно усадьбу, обобрали».

Искандер, конечно же, предстал перед судом именно за соучастие в убийстве Миира Хараппы. Главного же злодея и вешателя предали суду, так сказать, заочно. Им оказался сын убитого, Гарун, и в ту

пору, как полагали, он был уже за пределами страны. Впрочем, может, и просто исчез, сквозь землю провалился.

Убийц восемнадцатая шаль так и не запечатлела.

Итак, налюбовавшись искусством Рани, оставим мать и дочь — затворниц дряхлеющей усадьбы, где из проржавевших кранов текла кроваво-красная вода. Повернем время чуток вспять, воскресим Искандера, но оставим его до поры за кулисами, ведь пока свершались взлет и падение Председателя и его семьи, жизнь у прочих моих героев шла своим чередом.

Глава десятая.

Женщина под чадрой

Жила-была девушка по имени Суфия Зинобия, по прозванью Стыдоба. Худенькая, руки-ноги двигались у нее вразнобой. А еще она любила орешки. Человек несведущий не заметил бы особых странностей в девушке, хотя походка у нее была весьма неуклюжая. К двадцати одному году облик у нее дополнился всеми обычными чертами, только маленькое личико казалось очень уж взрослым, скрывая несоответствие: к тому времени она едва-едва достигла разума семилетнего ребенка. Она даже вышла замуж за Омар-Хайама Шакиля и ни разу не попрекнула родителей тем, что ей выбрали мужа на тридцать один год старше, то есть даже старше ее отца. Оставив в стороне внешность, заметим, что Суфия оказалась существом сверхъестественным, чем-то вроде ангела мести или оборотня-вампира — мы взахлеб читаем о них в книжках и облегченно вздыхаем (чуть не напустив со страху в штаны), понимая, что эти чудища живут лишь в нашем воображении. Мы отлично знаем (но не признаем), что, случись нам обнаружить нечто подобное в жизни, основные законы нашего бытия будут ниспровергнуты, равно и все наше представление об окружающем мире.

В Суфие Зинобии притаился Зверь. Как это чудище делало первые шаги, мы уже видели. Питаясь определенными чувствами, оно раз за разом завладевало девушкой. Дважды Суфия расплачивалась болезнью, причем болезнью мучительной и опасной. И менингит, и чудовищная аллергия, видимо, были отчаянными попытками всего ее организма, всей ее сути побороть Зверя, пусть даже ценой собственной жизни. Но Зверь оказался необорим. Увы, никто так и не понял, что нападение Суфии на Тальвара означало лишь, что собственная девичья душа, точнее, то, что от нее осталось, уже не в состоянии противиться кровожадному чудищу. Когда, наконец, шепот Омар-Хайама достиг ее помутненного сознания, она пришла в себя, сделалась доброй и спокойной, очевидно напрочь забыв о том, что положила конец спортивной карьере капитана. Зверь опять притих на время, но клеть свою он разворотил вконец. Окружающие же, так ничего и не поняв, вздохнули с облегчением.

— Бедняжка расстроилась, вот нервы и не выдержали,— объяснила Омар-Хайаму айя Шахбану,— но теперь, слава Всевышнему, с ней все в порядке.

Реза Хайдар вызвал Шакиля на переговоры и благородно предложил жениху считать себя свободным от брачных обязательств. Присутствовавший древний богоугодник Дауд, разумеется, не мог смолчать. Его былые возражения против брака давно уже затерялись во мглистых лабиринтах старческой памяти. И сейчас он грозно — точно пуля над ухом — прожужжал:

— В невесту вселился Дьявол, а жених — сам дьявольское семя! Пусть сочетаются узами Ада, только где-нибудь в другом месте.

Омар-Хайам ответил с достоинством, обращаясь к Резе:

— Сэр, я — ученый; всем этим бредням о дьяволе в аду и место. Разве я могу бросить любимую в болезни? Напротив, мой долг — вылечить ее. Чем, собственно, я и занимаюсь.

Поверьте, мой герой и сейчас огорчает меня не меньше, чем прежде. Сам я не ведаю роковых страстей, и потому мне трудно понять омарову одержимость. Однако вынужден признать: его чувство к неполноценной девочке, похоже, принимает серьезные очертания... но никоим образом не умаляет моих нареканий.

У людей есть замечательное свойство: они способны убедить себя в истинности и благородстве своих дел и помыслов, которые в действительности корыстны, неискренни и подлы. Как бы там ни было, Омар-Хайам настоял на женитьбе.

Билькис Хайдар, будучи в расстроенных чувствах после скандала на свадьбе младшей дочери, оказалась просто не в состоянии проникнуться духом грядущего праздника. Когда Суфия Зинобия вернулась из больницы домой, мать отказалась даже разговаривать с ней. Лишь накануне свадьбы она пришла к невесте (Шахбану как раз умащивала ее и заплетала косы) и заговорила. Каждое слово давалось ей с таким трудом, точно она вытаскивала непомерный груз из бездонного колодца материнского долга.

— Вообрази, будто ты — море, а твой муж — рыба, — наставляла она дочь, — ему непременно нужно будет нырнуть в тебя, в самое глубокое место.— Взгляд ее пробежал по лицу Суфии. Та лишь скорчила рожицу, не поняв материнской загадки, и тоненьким голоском семилетней девочки, в котором пока не угадать рык затаившегося Зверя, но уже сквозит упрямство, бросила:

— Терпеть не могу рыбу.

Какое самое сильное побуждение у человека перед лицом тьмы, опасности, неизвестности? Убежать. Отвернуться от пугающего и бежать прочь, притвориться, будто не замечаешь, как ураганом несется на тебя беда. Блаженство в неведении, вот мы и пытаемся себя обмануть, прибегнуть к уловке, чтобы спасти сознание от непосильного бремени. И не нужно заимствовать избитый образ: страус, прячущий голову в песок. Никакой птице не сравниться с человеком в искусстве самообмана.

Свадьба Суфии Зинобии прошла незаметно, без гостей, без балдахинов, омаровы матушки не приехали, старец Дауд тоже не пожелал присутствовать. Кроме семейства Хайдар и жениха были лишь адвокаты. Реза Хайдар настоял, чтобы брачный договор включал и пункт, запрещавший мужу увозить из дома жену без родительского согласия.

— Отцу не прожить без самого большого алмаза своей души, — пояснил Реза. Из чего следовало, что он еще сильнее воспылал любовью к дочке, любовь застила ему глаза, и он не увидел сути Суфии Зинобии. В дальнейшем он не один год убеждал себя: заточив Билькис в четырех стенах с вечно закрытыми окнами, он убережет семью от пагубной наследственности жены, от всех ее страстей и мук. То, что несчастная душа Суфии Зинобии тоже исходила болью, в какой-то степени объяснимо — как-никак ее мать душевнобольная.

Не видел сути своей жены и Омар-Хайам. Ему застила глаза любовь к науке, вот он и женился на дочери Резы Хайдара.

Суфия Зинобия улыбалась и ела с тарелки, украшенной серебристой фольгой. Айа Шахбану, точно мать, не отходила ни на шаг, суетясь подле стола.

Повторяю: в современном обществе чудовищам места нет. А если они и появляются на земле, то на самом ее краешке, туда их загоняет наше сознание, погрязшее в условностях и недоверии. Крайне редко, но все ж исключения из правил бывают. То родится Зверь, то «фальшивое чудо», и где! В самых зажиточных и добропорядочных

семействах, в цитаделях респектабельности, а не в лесных дебрях среди василисков и злых духов. Вот в чем главная опасность Суфии Зинобии. А порядочное общество из кожи лезло вон, только бы не замечать, что она существует, только бы не вступать с ней ни в какие дела или, упаси бог, борьбу. Тогда эту девочку, это живое воплощение разлада, придется изгнать из общества. А изгнать—значит, признать и показать всем и вся очевидное-невероятное: и на культурной почве могут взрасти всходы варварства; и за скромной, отглаженной манишкой может скрываться душа дикаря. И сама Суфия, как утверждала мать,—воплощение их стыда. Для того чтобы постичь душу Суфии, всем этим порядочным и респектабельным людям нужно, словно хрустальную вазу, разбить самомнение вдребезги. Но они, понятное дело, на такое никогда не согласятся. Во всяком случае, долгие годы не соглашались. Чем сильнее становился Зверь, тем старательнее его пытались не замечать... Суфия Зинобия пережила почти всех родных. Были среди них и те, кто ради нее положил жизнь.

Кончились кошмарные сны, кончилась бестолковая муштра курсантов-новобранцев; Реза Хайдар получил повышение по службе от Искандера Хараппы и вместе с Омар-Хайамом Шакилем и со всей родней согласился перебраться в северную столицу. Собственная репутация и упрочившееся положение тестя помогли Омару занять должность старшего консультанта в престижной столичной больнице. Итак, собрав пожитки, захватив нянек, они сели в самолет и скоро очутились на просторном горном плато Потвар меж двух рек. Здесь, на высоте пятисот метров над уровнем моря, и разыграются в дальнейшем великие события.

Пористый, похожий на запеканку камень покрывала скудная почва, но даже и ее доставало (при более чем обильных дождях), чтобы растить хлеб. Столь плодотворная земля взрастила и новый город, волдырем вздувшийся сбоку старого. Исламабад, можно сказать, родился из ребра Равалпинди[1].

Глядя с небес на землю, где плато Потвар светилось россыпями городских огней, святой старец Дауд, исполнившись детского восторга, забарабанил по иллюминатору и что есть мочи заорал, перепугав стюардессу:

— Это Арафат![2] Это священный Арафат!

Ни у его друга Резы, ни у его врагини Билькис недостало духа разубедить старика. Если тому по сердцу думать, что самолет вот-вот приземлится на святой земле близ Мекки, пусть думает. Простительно: Дауду застили взор его немалые лета.

Предшественник оставил генералу Резе Хайдару адъютанта, майора Шуджу — унылого двухметрового детину,— и вконец потерявшую боевой дух (после войны с Восточным крылом) армию, не способную победить даже в футбольном матче. Новый главнокомандующий тонко прочувствовал связь спорта с войной и вызвался лично посещать всякое спортивное состязание с участием его молодцев, дабы вдохновить их на славные подвиги. Но получилось так, что за первые месяцы своего командования Реза Хайдар явился свидетелем ужаснейших и постыднейших спортивных поражений в истории пехоты, начиная со ставшего притчей во языцех крикетного матча, который одиннадцатая армия с треском проиграла. Ее противниками были военно-воздушные силы, в недавней войне их репутация и моральный

[1] Равалпинди был временно столицей Пакистана на период строительства Исламабада.

[2] Гора близ Мекки.

дух пострадали куда меньше, чем у пехоты, — отсюда и столь убедительная победа. Была у армейцев возможность уйти от позорного поражения, но один из игроков при своей подаче вдруг остановился на бегу, поскреб затылок, ошалело огляделся, и... драгоценные секунды были потеряны. Присутствовал Хайдар и на матче по травяному хоккею: сухопутные войска играли с моряками. Пока пехота хмуро разглядывала клюшки, очевидно сравнивая их с ружьями, сложенными к ногам противника в последний роковой день, флотские ребята забили им сорок голов за два тайма. А в Национальном плавательном центре его поджидала двойная трагедия: один из прыгунов в воду выполнил прыжок столь неудачно, что предпочел вообще больше не выныривать из пучин своего стыда и, естественно, утонул; второй прыгал с десятиметровой вышки и упал на воду животом — точно из пушки выстрелили. Живот лопнул, как воздушный шарик, и, чтобы очистить бассейн, пришлось спускать воду. После этого случая скорбноликий майор Шуджа заявился к генералу в кабинет и, извинившись, посоветовал господину главнокомандующему впредь не посещать состязания: господин генерал — живой укор доблестным, стыдливым воинам, оттого и не ладится у них ничего.

— Ты мне лучше скажи, сукин ты сын, отчего это армия в одночасье превратилась в кучу стыдливых баб?!

— Из-за войны, сэр! — честно прогудел из глубин бездонного колодца своего отчаяния Шуджа, видно махнув рукой на дальнейшее продвижение по службе.— Простите, господин генерал, но вы в этой заварушке не были.

Реза, наконец, понял, что у него в армии возобладал дух товарищества, порожденный общим стыдом. Так вот почему в офицерском клубе никто ни разу не предложил выпить вместе даже лимонада! «А я-то думал, что мне просто завидуют!» — отчитал себя Реза и обратился к Шудже: тот, вытянувшись по стойке «смирно», уныло дожидался разноса за свои дерзкие слова.

— Хорошо, майор, что бы вы предложили?

Вопрос ударил внезапно, и от испуга Шуджа не успел слукавить.

— Позволите говорить откровенно, сэр?

— Да. Как мужчина мужчине. И, кроме нас, об этом никто не узнает.

— Тогда, сэр, простите еще раз, но я бы предложил военный переворот. Чтоб армия снова пришла к власти.

Хайдар изумился:

— Что, у вас в городе все подстрекают к измене?

Несчастный адъютант поник окончательно.

— Господин генерал спросил, вот я и ответил. Среди молодых офицеров недовольство, военные традиции в городе сильны, а у армии всегда была власть. Каждому ясно, сэр, что эти политиканы из себя представляют. Какой от них толк? Раньше офицерство пользовалось уважением, а теперь его никто в грош не ставит. Думаете, легко с этим смириться?! Простите, сэр.

— Ладно, черт с ним, с переворотом. Забудем. Сейчас положение в армии такое, что с ней пяток бывших любовниц Хараппы шутя справится.

— Так точно, сэр, — поддакнул Шуджа и нежданно-негаданно разревелся. Генерал Хайдар вспомнил, что исполину-майору нет и девятнадцати. Предательски чувствительные слезные железы усиленно заработали, и Хайдар, сострадая адъютанту, пробормотал:

— Ну-ну. Никто вас под суд не отдаст. Учитесь понимать начальство. Прежде чем совершить переворот, давайте-ка выиграем хоть несколько встреч по поло.

— Прекрасно, сэр.— Шуджа уже взял себя в руки.— Я передам спортсменам пожелание господина генерала.

— Что за жизнь! — воскликнул вслух Хайдар, оставшись один.— Чем выше лезешь, тем больше в грязи увязаешь!

Повезло стране, думалось ему, что он, бывалый Резец-мудрец, привык полагаться лишь на самого себя.

Честно говоря, наивысшей заслугой Резы за всю его карьеру было то, что он поднял дух армии. Труднее задачи ему не выпадало, по-моему, даже когда он стал президентом. Так как же ему удалось? Очень просто: он проиграл схватки на борцовском ковре.

На следующее после беседы с Шуджой утро генерал попросил адъютанта выбрать борцов из числа рядовых и из офицерского корпуса — главнокомандующий пожелал померяться с ними силами.

— Я борьбу люблю,— беззастенчиво врал он.— Вот и пора посмотреть, из какого теста наши богатыри-пехлеваны сделаны.

Реза Хайдар боролся со ста одиннадцатью солдатами и всем бесславно проиграл. Победить он и не старался, задача у него была посложнее: проиграть противнику, забывшему, что такое победа; проиграть, создав впечатление, что борется изо всех сил.

— Видишь, сколько пользы это приносит,— говорил он Омар-Хайаму Шакилю, исполнявшему обязанности личного врача генерала во время поединков. Доктор не на шутку тревожился: уж больно много синяков и шишек доставалось его сорокадевятилетнему подопечному.

— Ну, еще б не видеть! — отвечал он, врачуя ссадины и кровоподтеки.— Всякий дурак заметит!

Поражения Резы Хайдара на борцовском ковре обернулись двойной победой. Во-первых, в армии его наконец-то признали за командующего, ведь он как бы побратался со своими бедолагами-солдатами, тоже познав жутчайший стыд: его били по зубам, валили на ковер, выкручивали ноги и чуть не на затылке завязывали узлом; трещали ребра, хрустели вывихнутые руки. Зато возрождалась былая слава героя Ансу. Очищаясь от праха лет недавних, проведенных в безвестности при штабной академии, она заблистала пуще прежнего. Но не только это входило в планы Резы, была у него и вторая задумка, воплощенная с не меньшим успехом по всей стране. То в одном военном городке, то в другом солдаты (как неистовые болельщики, так и участники) воочию убеждались, что они способны чуть ли не в порошок стереть последнего оставшегося в армии настоящего героя войны и мало-помалу начинали вновь верить в свои силы — значит, не такие уж они недотепы (как представлялись себе), раз самого генерала одолеть смогли. Целый год разъезжал главнокомандующий по армейским частям, потом протрубил отбой. Он лишился двух передних зубов, а меньших травм и не сосчитать.

— Больше в этом нет надобности,— сказал он Шудже, извечно унылый образ которого чуть изменился к лучшему, но главное, являл теперь лишь недостаток характера, а не скорбь о проигранной и уже почти забытой войне.

— Передай этим недоноскам,— наказал Реза Шудже,— чтоб отныне побеждали во всех состязаниях, где участвуют, иначе пусть пеняют на себя!

И за этим последовали чередой вдохновляющие успехи армейских спортсменов.

Столь подробно описывал я, как поднимал боевой дух армии ее командующий, для того чтобы подчеркнуть: в тот год у Резы Хайдара не осталось сил ни физических, ни душевных для родной дочери Суфии Зинобии, и что творилось с ней по ночам, он не знал.

В новом городе хозяйничали политики и дипломаты, в старом — армия. Новую столицу застроили бетонными коробками — памятниками суетливой и быстротечной жизни. Похожий на земной шар купол

мечети уже потрескался, и напрасно пыжились и хорохорились новые дома окрест—не скрыть смертельных ран: кондиционеры не работали, в электропроводке то и дело случались короткие замыкания, к ужасу сантехников, вода для смыва бежала не в унитазы, а в умывальники... О, кладезь мерзости и порока! Весь город этот — предзакатное торжество той ветви современной архитектуры, которая суть не что иное, как запечатленная в бетоне тоска по прошлому, но: увы, это — форма без содержания, будь то здания в мусульманском стиле, но не духе; или арки, столь любимые во времена Великих Моголов, но в таком обилии, что Моголам и не снилось. Своды и арки, исполненные в современном бетоне, огрубились, превратившись в обычные полукруглые и остроконечные дыры в стенах. А еще в новой столице оказалось крупнейшее в мире скопище служб и помещений при аэропорте, будто там устроили свалку из ненужных залов ожидания и таможенного досмотра. И неспроста: демократия в тех краях долго не гостила... Старый же город, в противовес новой столице, жил без шика и блеска, но солидно, как и подобает старику. Широкие обсаженные деревьями улицы, лабиринты базаров, трущобы, надменные особняки бывших правителей-ангрезов. Резиденция главнокомандующего располагалась во дворце, построенном в неоклассическом стиле с каменными портиками, колонны с каннелюрами поддерживали фронтоны в псевдогреческом стиле, украшенные лепниной. У парадного крыльца на каждой ступеньке — кучка ядер. А изумительно-зеленую лужайку сторожила пушка на колесах, называлась она не очень-то убедительно — «Крошка Шептунья». Огромный дворец без труда вместил всех: и Благовесточку с Тальвар уль-Хаком, и Омар-Хайама с Суфией Зинобией, старца Дауда и няньку Шахбану и, разумеется, Резу и Билькис. Так сошлись под одной крышей несхожие судьбы, а заморские греко-римские божества, изваянные в камне на фоне голубого бездонного неба, надменно взирали на семью.

Жизнь не ладилась.

— Мало мне, что ли, этой идиотской армии! — жаловался самому себе Реза в первые после приезда дни.— А тут еще в собственной семье куда ни кинь — одни идиоты!

И впрямь, могло показаться, что обитатели дворца (где сошлись разные эпохи и стили) задались целью обратить брошенные в сердцах слова Резы в истинную правду.

Однажды утром старец Дауд появился в облачении странника, пришедшего в Святую Землю, то есть на нем было лишь две белых тряпицы: одна — на бедрах, другая — небрежно переброшена через плечо. Реза Хайдар волей-неволей начал подумывать: а не поглотила ли окончательно древнего богомольца трясина старческого маразма? Первый провал случился, помнится, в самолете, когда они летели сюда, на север. Как можно мягче заговорил он поначалу со своим давним союзником:

— Дорогой мой, если хотите совершить паломничество, только слово скажите, я все устрою, возьму билет на самолет до Аравии, обо всем позабочусь.

На что святой маразматик лишь ответил:

— Зачем мне самолет, если я уже на священной земле?

И отправился бродить по городу, раскрыв перед собой ладони, точно книгу, бормоча строки из Корана — вроде бы по-арабски, но из-за помрачения рассудка частенько изменяя благородному языку с разными грубыми диалектами. В тисках этого помрачения он вдруг увидел за городом вершины святых гор, а велосипедную фабрику принял за кладбище, где покоилась жена Пророка. И принялся клясть на чем свет стоит горожан — богоотступников и осквернителей веры: мужчины неподобающе одеты, а женщины и вовсе стыд потеряли; святой

старец обзывал их блудницами, они же смеялись ему в лицо. Они видели в нем лишь рехнувшегося старика, который спрашивает дорогу к Каабе, священному камню, бородатого чудака, впавшего в детство, который простирался ниц перед рыбными лавками, почитая их за мекканские святыни, и восклицал: «О, Аллах!» Кончилось тем, что бездыханного старца привезли в резиденцию Хайдара на тележке, запряженной осликом. Оторопелый погонщик сказал, что старик умер со словами: «Вот он! И его засрали!» Дауд добрел-таки до городских окраин, где стоял водоочистительный бак с темным, как грязь, песком. Реза Хайдар тщетно пытался уверить себя, что именно о «грязи» в баке и были последние слова Дауда — причина вроде бы очевидна. Но у самого на душе кошки скребли. Как-никак он был человек глубоко религиозный и причуды святого старца так и не смог объяснить лишь маразмом. Гатта, молитвенная шишка на лбу Резы, очень болела, словно призывая генерала поверить видениям Дауда: вдруг старик и впрямь узрел посреди безбожного города святую Мекку и в его предсмертных словах таится жуткое и таинственное предостережение.

— Он говорил о Каабе, о священном камне,— прерывисто нашептывал Реза самому себе.— Конечно же, о Каабе, старик увидел его перед смертью, и увидел, как святыню бесчестят.

Даже много позже, уже став президентом, Реза Хайдар никак не мог отделаться от этой мысли.

В конце первого года своего гражданского правления Реза Хайдар стал дедушкой. Благовесточка родила прехорошеньких здоровеньких двойняшек-сыновей. Дед-генерал расчувствовался и вконец забыл о Синдбаде Менгале. Ровно через год Благовесточка разродилась уже тройней. Реза Хайдар слегка встревожился и шутливо заметил Тальвар уль-Хаку:

— Ты ж обещал быть примерным зятем, дорогой. Смотри, не перестарайся. Пятерых внуков мне хватит.

Но день в день через год Благовесточка принесла сразу четверых очаровательных девочек. И так они полюбились деду, что он решил больше не ворчать по поводу бесчисленных люлек, сосок-пустышек, пеленок, погремушек, заполонивших дом. Но ровно через год родилась уже пятерня внучек, и Реза Хайдар не утерпел:

— Четырнадцать детишек, и у всех один день рожденья! — как мог строго сказал генерал.— Что это вы задумали? Вы что, не знаете, что у нас перенаселение? Не мешало б вам и меры кое-какие принять!

При этих словах Тальвар уль-Хак подобрался, напрягся, тело, будто под стать неподвижной шее, одеревенело.

— Вот уж, сэр, никак не ожидал от вас таких слов. Ведь вы — человек верующий. Святой Дауд со стыда б сгорел, услышь он, как вы нас на безбожные дела толкаете.

Реза Хайдар устыдился и примолк. А на следующий год дочерино чрево исторгло еще шестерых детишек: поровну мальчиков и девочек. Очевидно, Тальвар уль-Хак, будучи в расцвете мужской красы и силы, не принял к сведению упрек Резы. А в год падения Искандера Хараппы детей насчитывалось двадцать семь, и никто уже не брался сосчитать, сколько мальчиков, сколько девочек.

Госпожа Навеид Тальвар (она же Благовесточка Хайдар) не в силах была сдержать бьющую из нее ключом жизнь и все рожала, рожала. Безжалостный и ненасытный муж, некогда лишившийся радостей спортивных, решил с лихвой восполнить потерю, заполнив дом детьми. Благодаря своим ясновидческим способностям он безошибочно угадывал, какая ночь более всего благоприятствует зачатию. Раз в год он приходил к жене, наказывал ей подготовиться — настало время сеять! Благовесточка и впрямь скоро почувствовала себя полем, не-

когда плодородной пашней, вконец истощенной неистовым хозяином. Она поняла, что на этом свете женщине надеяться не на что: родись ты хоть во дворце, хоть в канаве, участь одна — попадешь в кабалу к мужчинам. Самые высокородные и неприступные девушки не минуют мужчин, этих сеятелей новой и не всегда желанной жизни.

Себя Благовесточка давным-давно потеряла, ее раздавило бремя бесчисленных потомков (она уж и имен-то всех не помнила), предоставленных собственной судьбе да целой армии нянек. Плодовитая мать махнула на себя рукой: и думать забыла, длинные ли у нее волосы и можно ли на них сесть; испарилась ее решимость во что бы то ни стало стать красавицей (что и очаровало сначала Гаруна Хараппу, а потом и капитана Тальвара), обнаружилась ее истинная суть — простой и заурядной бабы. Арджуманд Хараппа пристально следила за увяданием давней соперницы — ненависть с годами не убавилась. Она наняла фотографа (того самого, что некогда снимал Дюймовочку Аурангзеб), и тот запечатлевал Благовесточку. А Арджуманд, будто невзначай, показывала слайды Гаруну Хараппе.

— Бедный мой холостячок!—дразнила она его.—Подумать только: ты бы всю жизнь маялся с этой глупой клушкой, не найди она себе кого получше.

Жаркий полуденный ветер не долетает до севера, но порой Билькис хваталась то за шкаф, то за стол—опасалась, как бы их не унесло. Она бродила по коридорам своего нового роскошного дома, что-то бормотала себе под нос. Но однажды заговорила громче, и Реза Хайдар услышал.

— Как ракета взлетает к звездам? — невнятно обратилась она к самой себе.— От земли оторваться нелегко. Пока ракета поднимается, ступень за ступенью от нее отпадает. А уж до неба долетит — один нос останется, и земное притяжение ему нипочем.

— И что тебе только в голову лезет! — нахмурившись, заметил Реза. Хоть и притворился он, что не понял жену, хоть и намекал Омар-Хайаму, что мысли у Билькис блуждают совершенно неприкаянно, как и она сама,— все же смысл ее слов очевиден: по ее предсказанию он вознесся высоко, выше некуда, но пока поднимался, один за другим отпадали от него люди, точно использованные ступени — от ракеты, стремящейся к звездам, к звездам на погонах: Дауд, Благовесточка, сама Билькис. «А чего мне, собственно, стыдиться? — утешал он себя.— Ничего дурного я им не сделал».

Судьба не баловала Билькис: вот золотой рыцарь на коне махнул ей напоследок вымпелом, вот поглотил ее огненный вихрь; убили небезызвестного ей киношника; она не сумела родить сына и, значит, сохранить мужнину любовь; заболела старшая дочь, учинила «индюшачий погром», а младшая опозорилась со свадьбой. Но самое страшное поджидало здесь, в этом дворце — о таком сызмальства мечтала принцесса Билькис. Увы, он тоже не принес счастья, жизнь не налаживалась, все шло прахом. Величие ее оказалось пустым, и это сознание непомерно давило. Вконец же сломило Билькис созерцание любимой доченьки Благовесточки — та чахла на глазах под спудом непомерного потомства, и нечем ее утешить.

Как-то утром Билькис на глазах у домочадцев и слуг закуталась в черное покрывало, опустила плотную чадру, хотя и не думала выходить из дома. Реза Хайдар спросил, что бы это значило, на что она, пожав плечами, ответила, что «слишком жарко, хочется шторы опустить». К тому времени изъяснялась она преимущественно иносказательно, шепча то о шторах и занавесах, то об океанах, то о ракетах. Вскорости все привыкли и к этим образам, и к этой чадре загадочности — ведь у каждого свои заботы. Так и бродила призраком по коридорам дворца Билькис, словно пыталась отыскать что-то давно по-

терянное, может, свою суть, от которой осталась почти бесплотная тень. Реза Хайдар велел не выпускать жену на улицу... и жизнь пошла своим чередом, с домашними делами управлялись слуги, а хозяйка резиденции главнокомандующего все больше и больше обращалась в мираж, в бесплотный шепоток, в зачадренную молву.

Изредка звонила Рани Хараппа. Билькис когда подходила к телефону, а когда и нет. Говорила так тихо и неразборчиво, что Рани не понимала слов, лишь по тону чувствовала, что подруга на что-то крепко досадует. Может, на нее, на Рани. Как знать, вдруг у без пяти минут уволенной в запас генеральской жены набралось достаточно гордости и она возроптала против Искандера Хараппы, мужниного благодетеля. Однажды она четко и громко заявила подруге:

— Твой муж, Рани, успокоится лишь тогда, когда мой Реза будет валяться у него в ногах и целовать ему сапоги.

На всю жизнь запомнился генералу Хайдару визит к Искандеру Хараппе: он хотел поговорить с премьер-министром о военном бюджете, но за свое рвение удостоился лишь пощечины.

— Отпускаемые нам средства ниже приемлемого уровня,— пожаловался Реза.

К его изумлению, Искандер так сильно хлопнул ладонью по столу, что подпрыгнул чернильный прибор, ручки повыскакивали из гнезд, а по углам заметались тревожные тени, поглотившие крик премьер-министра.

— Для кого приемлемого? Хватит, с диктатом армии покончено! Крепко это запомни! Отпустим вам на год горсть медяков — значит, хватит с вас. Заруби это на носу и пшел вон!

— Быстро же ты забываешь друзей, Искандер, — не повышая голоса, заметил Реза.

— У премьер-министров нет друзей! — отрезал Хараппа.— Есть только временные союзники, и связывает нас взаимная выгода.

— Значит, ты потерял все человеческое,— сказал ему Реза и задумчиво добавил: — Человек, верующий в Бога, должен верить и в людей.

Искандер Хараппа так и взвился:

— Смотри, генерал, я тебя с помойки вытащил, могу и обратно на помойку выбросить.

Тут он выскочил из-за стола, подбежал к Резе и, брызгая слюной на генеральские щеки, завопил пуще прежнего.

— Да простит тебя Всевышний, — пробормотал Реза,—только не забывай: мы тебе не прислуга.

В эту-то минуту Искандер и ударил его по заплеванной щеке. Реза не ответил тем же, лишь тихо проговорил:

— Следы от таких пощечин не скоро сходят.

Много лет спустя Рани Хараппа подтвердила его слова, увековечив пылающий след от пятерни на шали.

В это время Искандер Хараппа уже давно покоился в могиле, а его непреклонная, как штык, дочь вместе с матерью сидела под домашним арестом. Реза Хайдар как кошмарный сон вспоминал и пощечину, и все те годы, когда Искандер издевался над ним. Арджуманд оказалась еще хуже: она раз взглянула на генерала с такой неприкрытой ненавистью, что тот понял — девушка на все способна. Однажды Искандер послал ее вместо главнокомандующего принимать ежегодный военный парад. Тем самым он хотел унизить военный люд, ведь им пришлось бы отдавать честь женщине! Более того: женщине, далекой от каких-либо государственных должностей! Реза тогда оплошал, он попытался поделиться с Кованными Трусами своими заботами.

— Похоже, сама история развела наши семьи,— посетовал он,— и мы сейчас в ссоре, но не забывайте, Арджуманд, мы ведь не чужие. У нас общие корни.

— Знаю,—бросила она, смерив его презрительным взглядом,—кажется, моя мать доводится вам двоюродной сестрой.

А как там Суфия Зинобия?

Она вышла замуж, но не стала женой. В первую брачную ночь в Карачи Омар-Хайам (согласно условиям договора) не имел права никуда увозить свою супругу. Его проводили в спальню с узкой кроватью, но без Суфии Зинобии. Проводила его айя Шахбану, она остановилась на пороге и застыла, точно окаменела.

— Господин доктор,— наконец заговорила она,— скажите, что вы собираетесь делать?

Столь вопиющее нарушение этикета отношений слуги и хозяина вызвано было неуемной заботой няни о Суфие Зинобии. Омар понял и не рассердился.

— Не волнуйся, — успокоил он девушку. — Я знаю, что жена недоразвита. И не собираюсь принуждать ее, настаивать на своих правах мужа.

Шахбану кивнула:

— Ну, тогда ладно. А долго ли вы сможете так терпеть? Ведь мужчины тоже живые люди.

— Буду терпеть, покуда жена сама меня не захочет.— Омар-Хайам начинал сердиться.— Не дикарь же я, в самом деле.

(Впрочем, однажды, как мы помним, он уподобился волчьему выкормышу.)

Уже уходя, Шахбану твердо сказала:

— Запомните, если у вас терпение лопнет и вы что-нибудь сделаете, я вас убью.

Ко времени переезда на север стало очевидно, что Омар-Хайам, как и Искандер Хараппа, круто изменил своим привычкам (хотя и по иным причинам). Никаких больше попоек и гулянок. Реза Хайдар и не потерпел бы зятя-повесу. Преображенный, «северный» Омар-Хайам жил неприхотливо, целиком посвятив себя работе. По четырнадцать часов в сутки находился он в больнице, исключая лишь те дни, когда сопровождал генерала Хайдара на борцовские поединки. В резиденции главнокомандующего он появлялся, лишь чтобы перекусить и соснуть. Несмотря на то что его новорожденные добродетели — трезвость и воздержание — были, что называется, налицо, Шахбану зорко следила за каждым его шагом. Ее подозрения вызывали еще и омаровы телеса — все более и более обильные. И когда он однажды шутливо похвастал:

— Ну как, Шахбану, я хорошо себя веду?

Она без улыбки ответила:

— Омар-сахиб, я вижу, вы все больше и больше раздуваетесь, а едите мало, значит, это не из-за еды. Вот я и думаю, что не сегодня завтра у вас либо терпение лопнет, либо живот. До чего ж трудно мужчинам! — с искренним сочувствием во взгляде заключила она.

В ту же ночь она постучала в дверь его спальни. Омар-Хайам, тяжело дыша, сполз с постели и пошлепал к двери, поглаживая себя по груди. Открыл дверь и увидел худышку-айю с распущенными волосами, со свечой в руках, в одной полотняной сорочке.

— Ты что, с ума сошла? — изумился Омар-Хайам.

Оттолкнув его, она прошла в комнату и села на постель.

— Я не хочу никого убивать,— бесстрастно сказала она,— лучше уж я сама на все соглашусь.

— Крепко ж ты хозяйку любишь! — воскликнул Омар.

— Больше, чем вас,— совсем необидно сказала она и проворно скинула рубашку.

Некоторое время спустя Омар заговорил снова:

— Я уже старый. Мне и двух-то раз много, не то что трех. Может, ты все же решила меня убить и выбрала самый простой путь?

— Какой же он простой, Омар-сахиб? Да и не такой уж вы старик.

Она приходила с той поры почти каждую ночь, кроме тех, когда боялась забеременеть. Омар-Хайам, лежа в объятиях, увы, не Шахбану, а своей добровольной бессонницы, вспоминал тело айи—жилистое и верткое,— удивлялся превратности судьбы, связавшей его брачными узами с одной женщиной, а подарившей в жены другую. Скоро он заметил, что худеет. Килограмм за килограммом терял он, и ко времени искандерова свержения он обрел нормальные пропорции (худым, конечно, ему не стать во веки веков), все костюмы болтались на нем как на вешалке. Даже в этом у него сходство с Искандером Хараппой, ведь тот тоже изрядно потерял в весе, но по другой причине. Вот в причинах-то они и разнились. Итак, под чарами огнепоклонницы-няньки Омар наконец «усох» до обычных человеческих размеров.

— Конечно, до героя фильма мне далеко,— делился он с зеркалом,— но и на героя мультфильма я уже не похож.

Омар-Хайам и Шахбану. Наш окраинный герой и девушка, тенью следовавшая за ним. В итоге его собственная тень изрядно сократилась.

А как там Суфия Зинобия?

...крепко закрывает глаза, давит на них пальцами, надеясь заснуть, но сон не идет. Чувствует на своем лице колючий взгляд Шахбану. Айя лежит на циновке, тоже не спит, следит за хозяйкой. Но вот Суфия Зинобия сдается, опускает руки, расслабляет тело — не спится так хоть спокойно полежать. Странно, стоит ей притвориться, что спит, и все вокруг довольны. Сейчас она изображает сон по привычке, у нее богатый опыт: вот уже дышит редко и ровно, вот в точно угаданный момент поворачивается, вот под опущенными веками забегали глаза — значит, ей будто бы снятся сны. Она слышит, как тихо поднимается с циновки Шахбану, выскальзывает из комнаты, крадется по коридору, стучит. Бессонница обостряет слух. Скрипят кроватные пружины, страстно вздыхает и покряхтывает он, скупо постанывает она. В омаровой спальне происходит то, чем люди занимаются по ночам. Мать рассказывала об океане и рыбе. Перед глазами Суфии волнами накатывает огнепоклонница-нянька, вот она заполняет всю комнату. Шахбану — океан, соленый, необъятный. Рядом — Омар, вот у него вырастают плавники, жабры, он покрывается чешуей и плывет в океан. Интересно, а как все потом, когда опять каждый в себя превращается — куда они всю воду девают и всю морскую живность, где сами сушатся?

Однажды утром она забралась в мужнину спальню — он уехал в больницу, а Шахбану отправилась с прачкой считать грязное белье. Суфия ощупала простыни на постели, но обнаружила лишь сырые пятна. А ведь океан должен оставить и иные следы. Она облазила по полу всю комнату в поисках морских звезд, водорослей, но ничего не нашла. Вот загадка!

Ей нравится, когда хоть изредка ее оставляют одну и можно наиграться своими мыслями и видениями, точно любимыми игрушками. На людях она не решается играть — вдруг отберут игрушки или сломают. Взрослые повсюду такие грубые, они вроде бы нечаянно, а ломают. У нее игрушки все тонкие, хрупкие. Одна из самых любимых мыслей-игрушек — память о том, как отец брал ее на руки. Обнимал, улыбался, плакал радостными слезами. И что-то говорил, говорил — слов она не понимала, но слушать приятно. Снова и снова смакует она это воспоминание — так малыш перед сном готов шесть раз подряд слушать одну и ту же сказку. С настоящими игрушками так не поиграешь. Иные случаи не повторяются, их нужно сразу же, спервона-

чалу ухватить и упрятать в потайной уголок памяти. А иные — даже и не случаи, а, скорее, желания. Например, лишь в воображении Суфии живет такая картинка: она вместе с мамой прыгает через скакалку. Билькис крутит все быстрее, и вот уже мать и дочь слились воедино в веревочном круге. Ох, как устает Суфия Зинобия, думая о скакалке. Точнее, утомляют не прыжки, а напрягшееся воображение: нелегко измыслить то, чего не было и в помине. Почему же в придумки играть труднее, чем в воспоминания? Почему их так трудно повторять?

Чуть не каждый день к ней приходит учительница, и Суфие это нравится. Учительница всегда приносит новое, Суфия запоминает и откладывает кое-что в памяти. Вот новая игрушка, она круглая и вертится, называется — «мир», постучишь по нему — похоже, пустой. А еще он бывает распялен на книжных страницах. Суфия знает, что на самом деле мир куда больше, чем его рисуют, но рисунки все равно плохие — ни на одном она не нашла себя. А ведь с увеличительным стеклом искала! Нет, у нее в голове мир куда лучше — там она увидит всякого, кого только захочет: Омара, Шахбану, Билькис, Резу. Махнет им рукой, и маленькие, точно муравьишки, родные замашут в ответ. Суфия Зинобия умеет и писать. Отложились у нее в потайном уголке разума любимые буквы: «шин» — точно ухабистая дорога; «лям» — как хоккейная клюшка; «мим» — похожая на задаваку-индюшку. И раз за разом вызывает она замысловатые мысленные узоры.

Пора закрывать свой тайничок с добром, чтоб не прокрались туда другие мысли и воспоминания — о ненавистном.

Она видит себя в окружении мертвых птиц. Кто подсунул эту картинку?!

Вот еще: Суфия вцепилась в кого-то зубами.

Иной раз страшное видение вертится и вертится перед глазами, как заигранная пластинка, повторяет одно и то же. И так трудно прогнать его, сменить на отцову улыбку или скакалку. Суфия Зинобия знает, что болела; может, страшные игрушки остались еще с той поры?

А есть и такие, которые неизвестно откуда взялись. Они напоминают о себе бессонными ночами: девушке видятся жуткие фигуры — хоть кричи от страха — какие-то места, люди, подвешенные под стрехой вниз головой. Наверное, она сама виновата в том, что такие мысли и видения забираются к ней в голову. Будь она хорошей, все дурное прошло бы стороной. Отчего ж она такая плохая? Откуда берется в ней злоба и мрак? Беспокойно ворочается она в постели, а из недр ее воображения являются страшные, незнакомые фигуры.

Часто она думает о муже. Она знает, что такое муж. Ее отец — муж, и Тальвар уль-Хак — тоже. Теперь вот и у нее появился. Что ж это такое: замужество? Для чего они, эти мужья? Себя она и сама в силах обслужить, кое в чем Шахбану поможет. И зачем-то вдобавок муж? Вот новая загадка.

Еще до свадьбы она спрашивала об этом Шахбану, и ответ крепко ей запомнился. Она извлекает из памяти и эту картинку-игрушку, вновь и вновь вслушивается в нянькин голос:

— От мужей у нас деньги и дети. Денег, биби, у вас предостаточно, а о детях и помышлять не стоит.

Сколько бы раз ни слышала Суфия эти слова, смысла ей не понять. Если денег предостаточно, тогда зачем ей муж? И почему «о детях и помышлять не стоит»?

— Просто поверьте на слово,— отвечает айя.

— Но почему?

— Да будет вам! Потому что потому, и кончается на «у».

Вот вечно она так, ничего толком не объяснит. А ведь ЗАМУЖЕСТВО — дело важное. И вот у нее есть муж. Всякий знает, для чего он, всякий — кроме нее. И в этом она, глупая, виновата.

Самое приятное событие в последнее время — рождение племянников. Суфия играет с ними часто-часто. Приятно смотреть, как они ползают, падают, пищат: приятно чувствовать себя взрослее. Она прыгает перед ними через скакалку, а детишки таращат изумленные глазенки. Когда сон не идет, Суфия Зинобия обычно извлекает малышей из недр памяти. Благовесточка с детьми не играет. Почему? Даже спрашивать бесполезно. Если б играла...

— Если бы да кабы, во рту росли бобы.

И заходятся от смеха малыши перед мысленным взором Суфии.

Но вот снова наползают мрачные тени: у нее есть муж, а от мужа — дети, но ей о детях и помышлять не стоит, значит, она не такая, как все. И делается не по себе. Будто жаром обдает, всю-всю, от пяток до ушей. Так же она и краснеет. Только сейчас хоть и покалывает все тело, хоть и горят щеки, но краснеет лишь ее душа. Необычно, непонятно. И от этого душа пристыжается еще пуще. Порой Суфие приходит мысль: «Я изменяюсь, превращаюсь во что-то другое».

Но когда эти слова проникают в ум, девушка их не понимает. Во что это другое она может превратиться? Плохие, злые слова, от них острая боль внутри лишь возгорается. Прочь! Прочь! Прочь!

Сейчас в другой комнате происходит то, что обычно делают по ночам жены со своими мужьями. Вместо нее, Суфии, там Шахбану. Терпеть не могу рыбу! Муж не приходит к ней по ночам. Суфие это очень неприятно, как неприятно и другое — сама игра в океан и рыбу, вскрики и стоны, влажные вонючие простыни. Какая гадость! Но она — ЖЕНА. И у нее есть муж. Ох, не под силу ей в этом разобраться! То, что делает муж,— ужасно; то, что он ничего не делает с ней,— тоже ужасно. Суфия давит на веки пальцами, и перед глазами начинают мелькать малыши-племянники. Океана больше нет, но ей все равно кажется, что она тонет. Ее начинает мутить. Снова океан. Она чувствует прибой, а где-то глубоко-глубоко шевелится ЗВЕРЬ.

Не первый год в стране пропадают дети. Из бедных городских кварталов и трущоб. И домыслов всегда предостаточно. То — будто бы их силком увозят к Персидскому заливу, а оттуда переправляют в Саудовскую Аравию как дешевую рабочую силу или для изощренных (страшно даже сказать — каких) утех тамошних князьков и эмиров. То — будто бы это дело рук родителей-детоубийц, которым нужно избавиться от лишних ртов. Тайну эту так и не раскрыли. Не выявили никаких подпольных работорговцев, никого не арестовали. Пришлось примириться с печальной действительностью: дети просто пропадали, исчезали средь бела дня, как сквозь землю проваливались. Раз — и нет!

Потом стали находить обезглавленные тела. В тот год проходили всеобщие выборы. Уже шесть лет власть находилась в руках Искандера Хараппы и Народного фронта. И удерживать ее становилось все труднее. На этот раз противники Хараппы объединились, оппозиция решила дать бой. Критиковали экономическую программу правительства, называли его «безбожным», приписывали ему самовозвеличивание, намекали на коррупцию. Бытовало мнение, что Народный фронт потерпит поражение во всех приграничных избирательных округах — как на северо-западе, так и в местности, где располагался городок К. Потеряют они много депутатских мест и в городах. Так что умы людей были заняты перипетиями политической борьбы, и никого не взволновала смерть нескольких нищих.

Было их четверо: угловатые мальчишки-подростки. Головы буквально сорваны с плеч какой-то огромной силой. На старых, выношенных штанах — следы спермы. Нашли тела на свалке в трущобах. Похоже, умерли все четверо почти одновременно. Головы так и не отыскались.

Предвыборная лихорадка достигла предела. Поэтому газеты почти не писали об убийствах. Не сообщали о них и по радио. Поползли было слухи, но быстро угомонились. Мало ли что может случиться в трущобах!

А случилось вот что.

«Женщина в чадре» — рассказ-кошмар. Тальвар уль-Хак возвращался на самолете в столицу из города К. И в дороге ему привиделось нечто любопытное. В те дни глава Федеральной службы безопасности очень много работал и мало спал, проводя почти все время в разъездах по стране. Близились выборы, а Тальвар уль-Хак входил в узкий круг доверенных Искандера Хараппы; предаст премьер-министра он немного позже. Итак, дел у него было по горло: Искандер, чтобы во всем хоть чуть-чуть упредить соперников, доверил службе безопасности выявлять их планы, насаждать в их штаб доносчиков, ставить палки в колеса оппозиции, под любым предлогом сажать ее лидеров за решетку. Вот какими государственными делами была занята голова Тальвар уль-Хака, меж тем как некогда свернутая шея его вдруг отозвалась резкой болью. Тальвар лишь стиснул зубы и продолжал внимательнейше изучать фотографии, запечатлевшие некоторых политиков-сепаратистов в постели с красивыми юношами — испытанными сотрудниками госбезопасности, трудящимися на благо родины. Тут-то и настигло Тальвар уль-Хака видение — пришлось оторваться от дел. Показалось ему, что он не в самолете, а в резиденции Резы Хайдара, невидимкой притаился во тьме коридора. Ночь. По коридору движется Билькис Хайдар, закутанная, как всегда, в черное, до пят, покрывало. Она проходит мимо, не замечая его, и — о ужас! — покрывало у нее насквозь мокрое, с него капает что-то густое, темное — но только не вода. Это кровь. В неосвещенном коридоре за Билькис тянется черный ручеек.

Исчезло видение. Тальвар уль-Хак вернулся домой, проверил, все ли в порядке в семье Хайдар. Билькис не покидала дом, все в добром здравии, поэтому видение скоро забылось за рабочей суетой. Позже он признался генералу Резе Хайдару:

— Моя промашка. Мне б сразу смекнуть, что к чему, а голова другим была занята.

На следующий день после возвращения из К. Тальвар уль-Хак узнал о четырех обезглавленных телах, узнал по чистой случайности: в столовой двое его сотрудников злословили: нельзя ли свалить вину за убийства на гомосексуалистов — лидеров оппозиции. Услышав такое, Тальвар уль-Хак похолодел и выругал себя: «Идиот! Неспроста же шея болела!»

Немедля он отправился в генеральный штаб, вызвал Резу и предложил прогуляться по саду, чтобы беседу не подслушали. Хайдара предложение зятя озадачило, но он согласился.

Как только они оказались в знойном полуденном мареве, Тальвар тут же рассказал о своем видении; смущала его только фигура женщины — Билькис явно крупнее. Припомнил он и что шла она неуверенно и нетвердо.

— Простите, но сдается мне, что Суфия Зинобия снова стала разгуливать во сне,— предположил он.

Способности ясновидца никогда не оспаривались, и Реза Хайдар зачарованно слушал, не прерывая Тальвара. А тот пошел еще дальше в своих домыслах: дескать, случись Суфию Зинобию показать гинекологу, он наверняка засвидетельствует, что она уже не девственница. Весьма любопытно, ведь всем известно, что муж с ней не спал.

— Извините за откровенность, сэр, но, по-моему, она отдалась тем четверым молокососам, а потом открутила им головы.

Реза Хайдар живо представил, как его убогая дочь уступает групповому домогательству, потом в отместку рвет на части своих недавних любовников... и ему сделалось дурно.

— Поймите меня правильно, сэр,— уважительно приговаривал Тальвар уль-Хак,— я не намерен давать делу ход, если не получу от вас соответствующих указаний. Все можно решить в кругу семьи.

— Кто бы подумал! — Голос Резы доносился словно издалека, едва-едва слышно.— Сначала индюшки, потом этот случай на свадьбе, но потом-то, уж сколько лет — и все тихо-спокойно. Я уж решил: наши заботы позади. Думал, рано или поздно все образуется. Дурак я, дурак! Только себя обманывал! — Он надолго замолчал, потом заговорил вновь: — Ну, теперь мне конец. Крышка. Капут. Хана.

— Такое недопустимо, сэр,— вмешался Тальвар.— Вы нужны армии.

— Добрый ты малый,— прошелестел Реза и надолго замолк.

Зять смущенно кашлянул и спросил:

— Как прикажете представить дело, сэр?

Генерал Хайдар встрепенулся:

— Какое дело? О чем ты? Нет никакого дела! Ведь улик нет! Лишь домыслы да мистика! Я их и слушать не стану! Да и можно ли на одних догадках строить обвинение? Нет, дорогой мой, меня на мякине не проведешь! И время лучше не трать!

— Слушаюсь, сэр! — И Тальвар встал перед генералом навытяжку. А у того в глазах блеснули слезы, и он обнял затянутого в портупею молодого офицера.

— Ты хорошо меня понял, мой мальчик? Обо всем молчок!

Шевелится в океанских глубинах морское чудовище. Растет Зверюга, питаясь людскими чувствами: неполноценности, вины, стыда. Все ближе и ближе он к поверхности. И светят глаза Зверя, точно маяки, и зазывают они бессонные души, и погружают их в лунатическое забытье. И явь превращается в сон, девушка — в дьяволицу. А время работает на Зверя. Птицами летят мимо годы. Растет девушка, наливается душа ее чувствами, значит, все больше пищи Зверю... К двадцати восьми годам Суфия Зинобия достигла умственного развития девятилетней девочки и уже смекнула, в чем дело, когда «за аморальное поведение» уволили забеременевшую Шахбану. Суфие вспомнились и ночные шорохи, и стоны, и вскрики Шахбану. Как ни остерегалась айя, все ж понесла. Видно, неправильно посчитала дни. Ушла она без слов, не пытаясь оправдаться или свалить вину на другого. Омар-Хайам, однако, не забывал о ней: заплатил за аборт, поддерживал ее и потом, так что она не голодала. Впрочем, разве можно деньгами искупить содеянное зло?

Недвижно лежит в постели Суфия Зинобия. Старается вызвать все самые приятные видения: малышей, отцову улыбку. Но совсем другое застит ее мысленный взор — то, что делают мужья с женами. Ее муж не дал ребенка ей, а дал Шахбану. А ей, Суфие, и стыдно и больно. Ведь Шахбану любила ее. А муж? Можно ли винить его, женатого, но без жены? А она день за днем, ночь за ночью — одна в пустой комнате. Но в ней зреет какая-то сила, какая-то волна, что вот-вот накатит, захлестнет, унесет... А может, страшит не сама волна, а то, что она принесет — жуткий, рыкающий Зверь, неистово рвущийся нести беду и раздор... Больше Суфия ничего не знает, ничего не помнит — Зверь вырвался из морской пучины на волю.

И мучительная, без сна явь превращается в страшный сон. Чудовище — суть воплощенный стыд — поднимается с постели, выходит из комнаты, ведь караульщицы-айи больше нет. Откуда-то появляется черное покрывало (чего только не сыскать в этом печальном доме), открывается дверь на улицу. Как некогда застыли зачарованные ее

взглядом индюшки, так теперь — охрана. Часовые превращаются в статуи. Потом, очнувшись, они ни о чем и не вспомнят.

Идет по ночным улицам Стыд. Под страшным взором цепенеют четверо пареньков в трущобах — их словно опаляет огненный ветер из-под чадры. Они покорно идут за женщиной на свалку, к своей гибели, как крысы за дудочником. Словно роботы — во всепоглощающее пламя за темной чадрой. Она ложится. И то, от чего избавила ее Шахбану, наконец-то происходит и с Суфией. Четверо мужей подле нее. Один за другим. Но вот руки ее смыкаются на шее первого. Остальные безропотно ждут. Высоко в поднебесье летят оторванные головы, не видно, как они падают на землю, Она встает, идет домой. И засыпает. Затихает Зверь.

Генерал Реза Хайдар лично обыскал комнату дочери. Он нашел покрывало. На нем коркой засохла кровь. Генерал завернул находку в газету и сжег. Собрал пепел, сел в машину и развеял его на полном ходу из окошка.

В тот день были выборы и костров жглось немало.

Глава одиннадцатая. Монолог висельника

За полминуты до того, как дом Председателя Искандера Хараппы (в новой столице с обилием ненужных авиаслужб) окружили армейские джипы, у него разболелись зубы. Его дочь Арджуманд бросила фразу, показавшуюся суеверному Искандеру вызовом судьбе, а у него в таких случаях неизменно начинали болеть почерневшие от бетеля зубы. Особенно туго приходилось за полночь, когда страхи куда сильнее, чем днем. А сказала Арджуманд всего-то, что «оппозиция, похоже, выдохлась», но отец не на шутку встревожился. До этого он благодушно размышлял о белой пантере, якобы объявившейся в сорока милях от города Багирагали, на лесистых склонах гор. Вернувшись мыслью из зловещих дебрей, он выговорил дочери:

— Ты беспечностью точно грязью поросла. Выкупать бы тебя в водохранилище за дамбой.

И сразу же у него заболели зубы, так сильно никогда еще не мучили. Неожиданно для самого себя он вдруг подумал вслух:

— Сейчас я выкурю предпоследнюю сигару в жизни!

Едва он произнес эти пророческие слова, как заявился незваный гость — армейский офицер, более унылого лица на всем белом свете не сыскать. То был полковник Шуджа, последние шесть лет состоявший адъютантом генерала Резы Хайдара. Полковник козырнул и известил премьер-министра о военном перевороте в стране.

— Простите, сэр, но вам придется проследовать за мной в Багирагали, в тамошний дом отдыха.

Искандер Хараппа сообразил, что неспроста ему думалось о белой пантере, да только вот не понял он вовремя, к чему это. Он усмехнулся своей недальновидности.

— Видишь, Арджуманд,— обратился он к дочери,— меня отдадут на растерзание белой пантере.— И, повернувшись к Шудже, поинтересовался, от кого исходит приказ.

— От главы Чрезвычайного переходного комитета — от генерала Резы Хайдара, с вашего позволения, сэр,— отвечал полковник.

— Взгляни-ка мне на спину,— обратился Искандер к дочери,— видишь, нож торчит? То нож труса и предателя.

А через полчаса телефонный звонок прервал кошмарный сон начальника генерального штаба генерала Сальмана Туглака; ему снилось

позорное поражение в недавней войне, причем действие происходило замедленно и тягуче. Генерал Туглак был единственным из высоких чинов при президенте Пуделе, кого не коснулась перестройка высших этажей военного ведомства, затеянная Искандером Хараппой. Разбуженный генерал, находясь под впечатлением сна, в отчаянии проревел в телефонную трубку:

— Что случилось? Мы уже сдались?

— Да нет, мы победили,— донесся до него несколько смущенный голос Резы Хайдара.

Не меньше смешался и генерал Туглак:

— Да где, где победили-то?

— Как! Разве вас не известили? — ужаснулся Реза. И, заикаясь, принялся докладывать — как-никак начальник генштаба выше по должности, и если он не прикажет флоту и авиации поддержать сухопутные войска, то дело может обернуться худо. Но благодаря прерывистой, малопонятной речи Резы Хайдара и медленно отходящей дремоте генерала Туглака понадобилось минут пять, чтобы до начальника генштаба дошло, какие события свершились ночью.

— Так-так. Ну и что дальше? — сказал, наконец, генерал.

Хайдар уже перестал заикаться, но все еще говорил осторожно.

— Простите, генерал,— избрал он выжидательную тактику,— хотелось бы знать ваше мнение.

— Какого черта! — взорвался Туглак.— Что вы собираетесь делать?

Наступила пауза. Реза Хайдар прикинул и решил, что все в порядке. И смиренно проговорил:

— Дорогой Туглак, ну вам же и карты в руки, у вас опыт, вам случалось и чрезвычайное положение вводить...

— Договаривай! — скомандовал Туглак.

— ...по правде говоря, сэр, мы надеялись, что вы нам поможете.

— Сопляки, беретесь за дело, а ни шиша не смыслите,— не скрывая радости, пробормотал бывалый вояка.— Ишь, правительство свергаете, а небось, ружья от палки не отличите.

Оппозиция так и не признала результатов выборов. В толпах на городских площадях кричали о подлоге, продажности, случались и поджоги, и погромы, и забастовки. Разгоняя демонстрации, армия применила оружие. Молодые офицеры тоже высказывали мятежные взгляды, но до поры их заглушали ружейные залпы. И вот Арджуманд Хараппа раздразнила-таки судьбу.

Говорили, что Реза Хайдар не сразу согласился выступить против правительства. Но соратники предложили ему выбор: или он сместит Хараппу, или сам будет смещен вместе с премьер-министром. Впоследствии президент Хайдар это отрицал:

— Я из тех, кто не станет сидеть сложа руки, раз кругом неладно.

Наутро после переворота он выступил по национальному телевидению. Он стоял на коленях на коврике и молился, читая из Корана. Потом обратился к народу, и впервые прозвучали столь знаменитые впоследствии слова: операция «Судья».

— Поймите,— убеждал Реза,— армия хочет быть лишь справедливым, бесстрастным судьей. И не более того.

А где во время речи находилась правая рука генерала? На чем покоилась его ладонь, когда он клялся, что в течение трех месяцев проведет всеобщие выборы? Что за книга в коже и шелке служила залогом того, что все политические партии, включая Народный фронт и его «неустрашимого вождя, великого политика» Искандера Хараппу, получат право участвовать в повторных выборах?

— Я простой солдат,— провозглашал Реза Хайдар,— но безобразие и беззаконие нужно прекратить.

Телевизионная камера, вглядевшись в его лицо с гаттой на лбу, скользнула ниже, и народ увидел, что правая рука генерала лежит на Священном Писании.

Так Реза Хайдар, выдвиженец Хараппы, стал его палачом. Он нарушил священную клятву, хотя слыл человеком боголюбивым. А все, что он делал в дальнейшем, возможно, объяснялось лишь одним — желанием очистить от грязи свое имя перед Всевышним.

Так все и началось. Арджуманд Хараппу отправили к Рани, в Мохенджо. А вот Гаруна Хараппу арестовать не удалось. Либо он бежал из страны, либо затаился. Как бы там ни было, в первые дни переворота считалось, что бояться ему нечего.

— Глупый мальчишка! Неужто он думает, что я ему яйца оторву за то, что он сплоховал — мою дочь упустил! — шутливо говорил Реза генералу Туглаку.

Председателя Искандера Хараппу содержали в приличных условиях в правительственном доме отдыха в Багирагали. Разумеется, пантера его там не растерзала. Ему разрешили пользоваться телефоном— правда, лишь отвечать на звонки. Западные журналисты разузнали номер телефона, и Искандер подолгу давал велеречивые интервью заморским репортерам. Он обстоятельнейше расписывал вину своего главного врага: ставил под сомнение боголюбие Резы, его моральные устои, мужскую потенцию, его отцовство (относительно младшей дочери). Реза терпел все нападки.

— Иски всегда заводился с пол-оборота. Конечно, сейчас ему обидно. Да и я б на его месте досадовал. И потом: стоит ли верить всему, что пишут газетчики-христиане?

— Допустим, сэр, вы проведете выборы и Хараппа победит; простите, конечно, но что б он тогда с вами сделал? — набравшись смелости, спросил полковник Шуджа, и лицо у него сделалось самым что ни на есть прегорестным — такого Реза, пожалуй, и не видывал. Вопросу он удивился.

— Что значит «сделал бы»?! Мне?! Его старому другу, родственнику! Что я его — пытал? Или в тюрьму бросил? Почему ж он стал бы со мной что-нибудь делать?

— Да у них, сэр, в семье все бандиты. Вам всякий скажет. В роду Хараппы все мстительные. Сколько людей погубили. Простите, сэр.

И с того дня чело Резы Хайдара с богомольной шишкой отяготилось раздумчивыми морщинами. Два дня спустя он объявил своему адъютанту:

— Сейчас же едем к этому типу и разберемся во всем на месте.

Потом полковник Шуджа поклянется: дескать, до встречи Резы с Искандером генерал Хайдар и не подумывал о президентском кресле. А когда его спрашивали, неизменно отвечал:

— Глупый человек Хараппа. Сам себе приговор подписал.

Шуджа повез Резу Хайдара в Багирагали. Штабной лимузин катил по горным дорогам. А в воздухе пахло сосной, веяло красотой — дрогнут самые заскорузлые сердца, вознадеются самые разуверившиеся. В одном из домиков Багирагали и состоялась роковая беседа Искандера Хараппы с Резой Хайдаром. Адъютант ждал генерала в прихожей.

Сбылось пророчество Хараппы о «предпоследней сигаре». В доме отдыха было предостаточно и кондиционеров, и хрустальных бокалов, и ширазских ковров, и прочей роскошной утвари, но ни одной пепельницы Хараппа не нашел. А когда он попросил охранников привезти из дома ящичек любимых гаванских сигар, ему вежливо отказали. Он тосковал по куреву, буквально сходил без него с ума. Его уже не радовала ни удобная постель, ни вкусная пища. Было яснее ясного, что кто-то приказал охране не разрешать ему курить, то есть его попросту урезали в правах, а это уж совсем никуда не годится, это уж слишком! Без привычного сигарного дыма во рту — гнилой прив-

кус. Искандер принялся беспрерывно жевать бетель, нарочно сплевывая жвачку на дорогие ковры — настолько ярость возобладала над природной утонченностью и изысканностью. Зубы болели все больше, во рту — мерзкий привкус; немудрено, что и исторгавшиеся слова тоже оказывались мерзкими. Реза Хайдар никак не ожидал такого приема. Сам он появился на пороге искандеровой комнаты с миротворческой улыбкой, но не успел закрыть за собой дверь, как на него посыпалась ругань. Полковник Шуджа клялся, что из замочной скважины валил голубой дым (а нет дыма без огня!), словно в комнате курилось сразу четыреста двадцать «гаван».

Полтора часа без перерыва поносил Искандер Хараппа Резу: обозвал растлителем бабушкиной любимой суки-дворняжки; обвинил в том, что генерал по дешевке продавал своих дочек всяким выродкам-сутенерам; заявил, что такому поноснику-прелюбодею, как Реза, и на Коран насрать. И раньше Искандер славился необъятным запасом богохульств и оскорблений, сейчас же, из-за страданий по сигаре, брань его приобрела неслыханную даже в загульной молодости, разящую насмерть злопамятность.

Когда он замолк, стены от пола до потолка оказались заплеваннными бетелем, на шторы было страшно смотреть, будто на них изошло кровью целое стадо зверей или птиц: то ли индюшки, то ли козы бились здесь в предсмертных судорогах, а из располосованных шей била кровь. И Реза Хайдар вышел, заплеванный кроваво-красным соком, с одежды и даже с усов капало, равно и с трясущихся рук, будто генерал только что вымыл их в искандеровой крови. Лицо у него было белее бумаги.

На обратном пути он не проронил ни слова. Машина остановилась около резиденции главнокомандующего, и только тогда Реза походя заметил:

— До меня, полковник, доходят страшные слухи о правлении господина Хараппы. Отпускать его никак нельзя. Он представляет угрозу для страны.

Через два дня Тальвар уль-Хак под присягой показал, что Искандер Хараппа причастен к подготовке убийства своего двоюродного брата, Миира-Меньшого. Читая обвинение, полковник Шуджа с удивлением думал: «Ишь, чем за сквернословие расплачиваться выходит».

В те дни дом военного диктатора напоминал скорее сиротский приют, нежели средоточие государственной власти. И все из-за Благовесточки: как из рога изобилия исторгались из ее чрева все новые и новые дети. Двадцать семь пострелят от одного до шести лет исправно рыгали, пускали слюнки, ползали, рисовали цветными карандашами на стенах, играли кубиками, плакали, разливали сок, засыпали, падали с лестниц, разбивали вазы, ревмя ревели, смеялись, пели, плясали, прыгали, пи́сали в пеленки и штанишки, требовали ласки, понемногу усваивали грязные словечки, лягали своих нянек, ни в какую не хотели чистить зубы, дергали за бороду боголюбивого наставника, обучавшего письму и законам Корана, рвали шторы, пачкали диваны, исчезали из-под надзора старших, возвращались в ссадинах и царапинах, противились уколам и прививкам, выпрашивали себе в игрушки всякую живность, которая им быстро надоедала, таскали маленькие радиоприемники, врывались на правительственные заседания, нередкие в этом воистину сумасшедшем доме. А Благовесточка тем временем снова затяжелела, живот у нее раздуло так, точно она проглотила кита. Все чувствовали жуткую предрешенность: на этот раз родится, не иначе, восьмеро, и на будущий год — девятеро, а потом — целый десяток. Так что к тридцати годам у Благовесточки окажется по меньшей мере семьдесят семь детей. Но это, увы, еще не самое страшное. Возможно, не будь Реза и Тальвар так заняты, они б смекнули: Навеид способна не только рожать.

Впрочем, предупредить печальный конец было уже, скорее всего, невозможно: под натиском целого сонмища ее орущих и галдящих потомков нервы у обитателей дома расстроились вконец.

Теперь о Тальвар уль-Хаке. Двусмысленность и неопределенность положения удавкой сдавила недвижную шею бывшего главы службы безопасности. С одной стороны, он — зять Хайдара, с другой — правая рука Искандера Хараппы. После свержения Председателя Реза Хайдар подвергся немалому давлению. Служба безопасности отнюдь не пользовалась народной любовью, и Резе пришлось ее распустить. Но кое-кто жаждал крови Тальвара. В этот критический момент бывший игрок в поло и решил доказать, что верен своей клятве — быть примерным зятем — до последней буковки. Он передал Резе Хайдару втайне заведенное дело об убийстве Миира Хараппы. Из подробнейшего описания следовало, что убийство совершил Гарун Хараппа из давней ненависти к отцу. И за всей этой весьма некрасивой историей злым гением маячил не кто иной, как председатель Народного фронта, якобы терпеливо ожидавший часа отмщения, ведь некогда он произнес: «Жизнь долга!»

— Имеются доказательства, что он присваивал народные деньги, отпущенные на развитие туризма в Ансу, — докладывал Реза Хайдар генералу Туглаку,— но причастность к убийству, конечно, главный козырь. Тут ему крыть нечем. Конец Председателю.

Так предательство, совершенное Тальвар уль-Хаком из верноподданнических чувств, изменило картину. Народный фронт был не допущен к выборам, а сами выборы — отложены. Сперва на определенный срок, потом — на неопределенный, потом о них и вовсе забыли, а когда вспомнили, решили отказаться от выборов вообще. Это в ту пору сокращение ГЧПК — Глава Чрезвычайного Переходного Комитета — стало трактоваться по-иному. Народ всегда зрит в корень: «Громче чихай на постановления и клятвы». Ведь в памяти людей еще не стерлись телекадры: правая рука Хайдара покоится на Писании.

Председателя Хараппу перевели из дома отдыха в лахорскую тюрьму и посадили в одиночную камеру. Его мучила малярия, донимали кишечные расстройства. Не раз изводил его и свирепый грипп. Начали выпадать зубы. Он потерял в весе (и не только в общественном). Нетрудно заметить, что и Омар-Хайам, старинный собутыльник Хараппы и непременный спутник во всех похождениях, тоже начал сбрасывать вес в это же время — под благотворным влиянием огнепоклонницы-няньки.

Судил Хараппу Верховный суд, заседал он в Лахоре и состоял из пяти пенджабцев. А Хараппа, если помните, был родом из усадьбы Мохенджо, что в краю Синд. Главным в обвинении были показания бывшего начальника службы безопасности Тальвар уль-Хака. Подсудимый в свою очередь обвинил Тальвара в клевете: тот, дескать, пытается спасти собственную шкуру. Не удержавшись, Искандер даже один раз чертыхнулся, за что судьи строго выговорили ему.

— Простите, я немного не в себе,— извинился подсудимый.

— Нас это не касается,—ответил председатель суда.

Тут-то Искандер и сорвался.

— Хватит с меня! — закричал он.— Сколько можно оскорблять и унижать!

Председатель суда приказал полицейским вывести его, «пока не придет в себя». А другой судья бросил:

— И с нас хватит его истерик. Он что, забыл, что уже не премьер-министр?! Терпеть его фокусы мы больше не будем!

Все эти слова запечатлены в протоколе.

Процесс длился полгода, Искандера Хараппу и отсутствующего Гаруна Хараппу приговорили к смертной казни через повешение. Искандера сразу же перевели в камеру смертников при лахорской тюрьме. Для обжалования приговора ему дали неделю вместо положенного месяца.

Искандер заявил:

— Бессмысленно искать справедливости там, где ее нет. К черту обжалования!

В ту же ночь госпожу Тальвар уль-Хак, некогда носившую имя Навеид Хайдар, или просто — Благовесточка, нашли в спальне: она ушла из жизни «через повешение». На полу под ногами валялся обрывок веревки, очевидно, первая попытка не удалась: беременная Благовесточка оказалась слишком тяжелой. Но все же довела дело до конца. В волосах у нее красовалась веточка жасмина, а воздух был напоен ароматом самых дорогих на свете духов «Радость» от Жана Пату, известнейшего французского парфюмера, так что смрада не чувствовалось. Посмертная записка, приколотая английской булавкой к неприлично вздувшемуся на животе платью, гласила, что Благовесточке страшно производить на свет детей в арифметической прогрессии. Свое мнение о муже она так и не огласила. Да, Тальвар уль-Хак не предстанет перед судом, хотя обвинений предостаточно.

На похоронах дочери Реза Хайдар зачарованно смотрел на загадочную и отчужденную фигуру, закутанную в черное покрывало — на свою жену Билькис. Ему вспоминалось их знакомство в столь далеком Красном форте, запруженном беженцами. Тогда она была вся на виду — нагая; теперь же ее не разглядеть — все скрыла одежда. Так и ее жизнь, подумалось ему, это путь от света к мраку, от девичьей открытости к старческой затаенности.

— Эх, Билькис,— прошептал он,— что ж мы с тобой наделали?

— Поплакать захотелось? — чуть не в крик ответила она.— Ну, поплачь, поплачь над загубленной жизнью. Ты ее загубил! Стыд тебе и позор!

Да, она давно уже не прежняя ясноликая девушка, в которую он влюбился. Словно видение из другого мира. Теперь ее разум померк. И в разгар похорон Реза приказал полковнику Шудже отвезти ее домой.

Порой ему чудится, что стены дрожат, словно судороги дергают бетонные влажные плиты. Тогда он закрывает глаза, веки тяжело опускаются, отгораживая, будто железными щитами, от всего вокруг. Можно наконец вспомнить, кто он такой. И, облачившись в светонепроницаемую броню, он произносит: я Искандер Хараппа, премьер-министр, Председатель партии Народный фронт, муж Рани, отец Арджуманд, верный любовник... Он не помнит, как звали ту женщину, заставляет себя открыть глаза, пальцами поднимает веки — стены по-прежнему вибрируют. Ему на голову валятся огромные тараканы, он смахивает их на пол, давит ногой, они хрустят, словно ореховая скорлупа. Барабаном ухает в голове.

Сколько места занимает смерть, если камера смертника три метра в длину, два в ширину, два с половиной в высоту? И в этих метрах заключена его жизнь, его смерть. За дверью его ждет тюремный двор, последняя сигара и... безмолвие. Я НЕПРЕМЕННО ПОПРОШУ ГАВАНСКУЮ. «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТУ». У НИХ ТОЖЕ ВСЕ КОНЧИЛОСЬ СМЕРТЬЮ... Его заключение называют одиночным, но он не один: по ступням ползают мухи и беззастенчиво совокупляются; комары, устроившись на запястьях (откуда можно высосать побольше крови), запасают ее впрок, скоро она уже никому не пригодится; в коридоре сторожат четверо часовых. Одним словом, грех жаловаться на одиночество. Иногда даже пускают к нему адвокатов.

Дверь из железных брусьев не задерживает вонь из сортира. Зимой Искандер хоть и дрожит от холода, зато не страдает от зловония. Летом же кажется, что испражнениями наполнена вся камера, они пузырятся, расползаются, обволакивают его, залезают в нос, выталкивают из орбит глаза, хотя слез в них давным-давно нет. Искандер объявляет голодовку в знак протеста, и когда сил больше нет даже двигаться, его мучители завешивают сортир одеялами и включают вентилятор. Но стоит ему попросить воды, ему приносят чуть ли не кипяток и долго приходится ждать, пока она остынет.

Болит грудь. Он харкает кровью. Случается, течет кровь и из носа.

От свержения до виселицы — два года, проведенных в застенке бок о бок со смертью. Сначала в лахорской тюрьме, потом в столичной, откуда, случись ему попасть в камеру с окном, можно увидеть дворец, в котором он некогда властвовал. Когда из первой «одиночки» его перевели в следующую, он, как ни странно, не почувствовал никакой перемены. Как будто ему нарочно накидывали на голову мешок, тычками понуждали куда-то идти, везли (возможно, и самолетом) — все лишь для того, чтобы нарушить его представление о пространстве и времени,— и возвращали на прежнее место, к начальному или скорее, наоборот: к конечному пункту. Две камеры как две капли воды походили друг на друга, и Искандер не верил, что его перевезли в столицу, пока его не убедили допущенные к нему адвокаты.

На ногах у него денно и нощно кандалы. Стоит во сне резко повернуться — и сталь бередит лодыжки. Лишь на один час в сутки (чтобы погулять и опорожниться) снимают с него оковы.

— Духом я силен,— уверяет он адвокатов.— Я не из того дерева сделан, что легко горит.

Камера смертников: как она мала, но как много вмещает. Память его жадно вбирает все осязаемое, все конкретное. Мухи, комары да тараканы — друзья ему, он знает их наперечет, их можно потрогать, раздавить, посадить на себя. Дверь его узилища из шести брусьев. Да еще жалкий матрац — пять месяцев вытребывал его Искандер — пожалуй, это последняя его победа. Еще есть оковы, кувшин с водой — до него не дотронуться — обожжешься. Но должно быть и что-то еще, непременно должно, ведь в камере-одиночке сокрыт ключ к тайне смерти. Но где ж искать его? Хоть бы кто нацарапал подсказку на стене.

А что, если это сон? (Иногда приходит и такая бредовая мысль.) Но тогда этот сон видит кто-то другой, и сам он — действующее лицо в этом сне, иначе он не смог бы потрогать мух и тараканов, и вода не обжигала бы... значит, он сам кому-то снится. Но кому? Всевышнему? Нет. Искандер силится вспомнить лицо Резы Хайдара.

Незадолго до конца наступает просветление. Он, Хараппа, вывел нынешнего главу государства из мрака запустения на свет. Глава — вездесущая, всепожирающая. А эта маленькая, зарешеченная клеть — клеточка в страшной Главе. Реза Хайдар — это и есть Смерть! ИЗ МРАКА — ВО СВЕТ; ОТ НИЧТОЖНОСТИ — К МОГУЩЕСТВУ; Я СОЗДАЛ ЕГО, Я — ЕГО ОТЕЦ, ОН — МОЕ СЕМЯ. И ВОТ Я СТАЛ МЕНЬШЕ ЕГО. ГАРУНА ХАРАППУ ОБВИНЯЮТ В УБИЙСТВЕ ОТЦА, А НЕ ОТЦЕУБИЙЦА ЛИ САМ ХАЙДАР? ВЕДЬ ОН ЛИШАЕТ МЕНЯ ЖИЗНИ.

И еще один шаг к истине, после чего мелочи уже не докучают. Отец должен стоять выше сына. Но я сейчас принижен, а он — возвышен. Все наоборот: отец становится ребенком. Реза обращает меня в своего сына. А сын у него родился мертвым, и пуповина — петлей на шее. Значит, и моя судьба — петля. Ему вдруг открывается суть камеры-одиночки, и дрожащих стен, и вони, и барабанного ритма страшного сердца. Он — во чреве у Смерти, во чреве, которое выталкивает

не в жизнь, а в небытие, вот его тащит по влагалищу времени и выплевывает во мрак с петлей (уж не пуповиной) на шее и отходят не материнские воды, а его собственные испражнения. Он покинет чрево Смерти в свой день и час. Проделает последний путь, и его крепко прихватит петля.

Адвокаты все-таки уговорили Искандера Хараппу подать прошение о пересмотре приговора Верховного Суда. Прошение рассматривалось в новой столице семерыми судьями. Когда решение было принято, прошли уже полтора года искандерова заточения. А еще через полгода тело бывшего премьер-министра доставили в Мохенджо. Привез его Тальвар уль-Хак, к тому времени он уже вернулся к полицейской службе.

Выборы так и не состоялись. Реза Хайдар самовольно занял президентский пост, об этом знает каждый.

А как там Суфия Зинобия?

Снова повернем время вспять. Итак, сегодня выборы, повсюду жгут костры. Реза Хайдар развеивает пепел из окна машины. Искандер Хараппа еще и не подозревает о грядущей расправе. А Омар-Хайам пребывает в глубочайшем унынии.

Прогнали айю Шахбану, няньку-огнепоклонницу, и Омар-Хайаму стало страшно: привидения юности вторгаются в жизнь сегодняшнюю. От него понесла еще одна девушка-огнепоклонница, еще одна мать растила бы ребенка без отца. Неужто всю жизнь будет повторяться одно и то же? Эта мысль раскаленными тисками сдавила голову, даже дышать трудно. Беспокоило его и другое: как-то поведет себя теперь Реза Хайдар? Шахбану уличена в преступной связи, и — шила в мешке не утаишь — ясно, к кому она наведывалась каждую ночь. Итак, на глазах у всех благоверных он совершил тягчайший грех: изменил жене в доме ее отца! Жестокое предательство!

Но Резу Хайдара волновало совсем другое, если и предательство, то не омарово. После того как он сжег окровавленное покрывало, его не покидала мысль: а не переигрывает ли Тальвар уль-Хак в роли примерного зятя? Ведь ему чуть не перегрызли горло; его спортивная карьера жестоко оборвалась. Не исключено, что он просто дожидается удобной минуты, чтобы отомстить.

— Какой же я дурак! — отчитывал себя Реза.— Мне б догадаться, отдать покрывало на анализ крови. Вдруг козья. Теперь все в прах обратилось!

Ах, как понятны отцовские чувства, как не хочется ему признавать одержимость дочери. Обратились в прах не только улики, но и вера фактам, чувство долга и ответственности. Реза Хайдар уже подумывал, а не предать ли забвению эту страшную историю... но в ту же ночь ему во сне явился святой старец Дауд и наорал на генерала: когда ж он, в конце концов, поверит, что в дочь его вселился дьявол, и испытание это послано Вседержителем, чтобы проверить, насколько крепка вера Резы. Так что пусть выбирает: либо жизнь дочери, либо вечная Господня любовь. Очевидно, и после смерти Дауд продолжал дряхлеть, ибо предстал перед Резой как никогда похожим на мумию. Он довольно нелюбезно (но из добрых побуждений) предупредил, что улучшения не предвидится, выходки Суфии Зинобии будут все ужаснее, что в конце концов из-за них оборвется и карьера Резы. Проснувшись, Реза ударился в слезы, ибо во сне он предстал таким как есть, то есть готовым ради Создателя пожертвовать даже родной дочерью. «Вспомни Авраама»,— утешил он себя и вытер глаза.

Итак, в то утро и Реза Хайдар, и Омар-Хайам Шакиль были немало огорчены: жизнь их, закусив удила, неслась куда-то вопреки их

воле, и правила ею цепкая десница Судьбы. Реза понял: выхода нет — нужно обо всем рассказать мужу Суфии Зинобии. А на его шалости с нянькой придется закрыть глаза. Сейчас дело куда серьезнее, и негоже скрывать от зятя.

Когда генеральский адъютант заявился к Омар-Хайаму Шакилю и уныло, с некоторым даже смущением известил того, что главнокомандующему требуется сопровождающий врач на предстоящей рыбалке, душа у Омар-Хайама ушла в пятки. Какое важное дело вынудило Хайдара на целый день уединиться с ним, Омар-Хайамом, в то время как по всему городу дождем сыплются праздничные фейерверки, знаменующие окончание выборов. «Вот и влип,— мрачно подумал он.— Удружила мне айя Шахбану!» Его повезли в горы Багирагали, в пути он боялся и слово вымолвить.

Реза Хайдар сказал, что они будут рыбачить на горной речке, известной своими красотами, лесистыми берегами и преданием: в реке жил водяной, который терпеть не мог рыбу и всячески ее изводил. Поэтому жирная форель, чей путь пролегал через эту речку, с бóльшим удовольствием лезла на крючок даже к самому незадачливому и нерасторопному рыбаку. Впрочем, в тот день ни Реза, ни Омар-Хайам не поймали ни рыбины.

Отвернулась от них форель, да и только. Почему ж не было клева? Неужто эти два почтенных мужа досадили форели больше, чем водяной? Не в силах проследить ход форельей мысли, рискну выдвинуть собственное (не более логичное) предположение. Рыба — вольно или невольно — доверяется крючку, хватает его и верит в неотвратимость такого исхода. Рыбная ловля — это борьба умов. Человек посредством удочки и лески поверяет рыбе свои замыслы, а та их разгадывает. На этот раз маленькие бедолаги предпочли козни своего водяного ужасным людским задумкам... Хотите — принимайте мое объяснение, хотите — не принимайте, только факты говорят сами за себя. Целый день простояли тесть и зять, не снимая высоких рыбацких сапог, в горной речушке, а садки так и остались пустыми. Вот какой строгий приговор вынесла форель рыбакам!

А говорили они о делах прямо-таки кошмарных. Вокруг шумят сосны, порхают бабочки, и тем страшнее и невероятнее кажутся слова. Реза Хайдар одержим мыслью, что все замышляют ему отомстить, и холодеет от ужаса: ведь сейчас он вверяет свою судьбу в руки человека, чьего брата он, по сути дела, расстрелял. Ох уж эти зятья, того и гляди погубят.

Немудрено, что сомнения и тревоги Хайдара распугали всю рыбу.

Как бы ни верил висельник Хараппа, что человек всю жизнь может готовиться к отмщению, как бы ни потворствовал я этой проклятой теории, заразив ею Хайдара, все одно: я ни за что не соглашусь изобразить моего героя (то бишь Омар-Хайама) расчетливым мстителем, который терпеливо дожидается своего часа. Я даже предположил, что он вполне искренне увлекся Суфией Зинобией. И вообще (а может, и из-за этой последней частности) я не собираюсь сдавать авторских позиций. Прошло столько лет, а Омар-Хайам ни словом, ни делом не дал ни малейшего повода подозревать его в грядущей страшной мести. По-моему, он совершенно определенно предпочел семейство Хайдар своему собственному; ни на Омаре-муже, ни на Омаре-зяте давным-давно не почивает тень Омара-брата, слезами омывающего память брата Бабура, которого он и в глаза не видел, который для него темнейшая из темных лошадок, и ставка на нее еще не сделана.

Писателю нелегко: он всегда видит больше, чем его подслеповатые герои. Да помогут мне три омаровы матушки!

Что касается Резы, то вряд ли он очень трагично принимал свалившуюся на него беду, иначе не рассказал бы Омар-Хайаму все без

утайки: и про обезглавленных мальчишек, и про следы спермы, и про окровавленное покрывало. Ну, а коль скоро для Резы горе — не беда, не след горевать и нам.

Стоят два рыбака в быстрой горной речушке, а над их головами собираются грозовые тучи: людскому глазу они пока неприметны, а вот рыбий народец их почуял. В животе у Омар-Хайама заныло от страха: теперь он страшится не столько Резы Хайдара (ясно, что тот не попрекнет его связью с Шахбану), сколько Суфии Зинобии. Страшно и то, к чему подталкивает его тесть.

Реза упомянул Авраама, из любви к Богу пожертвовавшего сыном. Сейчас все проще: один безболезненный укол—и жертва забудется вечным сном. По щекам Хайдара катились слезы, падали в реку, а соль отпугивала и без того недоверчивую форель.

— Вы — врач,— заключил Хайдар.— Вам и карты в руки.

Вот еще пример того, как душа воздействует на тело. В гипнотическом забытьи человек может обрести колоссальную силу. Он не чувствует боли, руки наливаются стальной мощью, ноги несут точно ветер. Все это — явления из ряда вон выходящие. Суфия Зинобия, казалось, без всякой посторонней помощи впадала в такое состояние. Так, может, и вылечить ее удастся гипнозом? Надо найти, откуда бьет ключом ее ярость, засыпать этот ключ, похоронить. Надо выяснить, что питает ее злобу, и умирить ее. Помните? Некогда Омар-Хайам был медицинским светилом, именно профессиональный интерес связал его много лет назад с Суфией Зинобией. И вот еще раз можно доказать свое мастерство. И Реза, и Омар-Хайам в ту пору как бы проверялись: один — Всевышним, другой — наукой. Мужчины подобного склада никогда не устоят перед соблазном лишний раз доказать свою силу.

— Я тщательно ее обследую,— пообещал Омар-Хайам.— Попробуем ее вылечить.

Бессмысленно искать единственную причину каждому нашему деянию. Можно ли поверить, что Омар-Хайам, доселе не ведавший стыда, вдруг преисполнился решимости и отваги из-за угрызений совести? Что его слова «попробуем ее вылечить» продиктованы стыдом из-за Шахбану? И что именно стыд подвигнул его рисковать собственной жизнью? Впрочем, неоспоримо и другое (что я и не берусь оспаривать): Омар-Хайам явил мужество. Это не такой частый гость в нашей жизни, как, скажем, зло. Что ж, воздадим Омар-Хайаму должное.

А вот генерал Хайдар отнесся к решению зятя по-иному:

— Дурак, ты дурак! Если в ней снова проснется дьявол, твоей же глупой голове не поздоровится!

От рассуждений к делу: несколько дней Омар-Хайам наблюдал за Суфией дома. Вот она играет с неисчислимыми детишками, учит их прыгать со скакалкой, лущит им орешки. Болезнь ее явно прогрессирует. Если раньше организм сопротивлялся пробуждавшимся силам зла, то теперь — никаких последствий, иммунная система больше не страдала, глубокое обморочное забытье не повторялось. Суфия Зинобия мало-помалу свыклась со своей двойственностью, с ужасом думал Омар. В любой момент приступ может повториться, а в доме полным-полно детей. Да, он научился замечать близящуюся опасность: вот загораются огоньки у нее в глазах, нет-нет да и мелькнут желтые искорки. Он очень внимательно присматривался к Суфие Зинобии и видел то, что другие не замечали: в жене его все больше и больше проступал Зверь; в ней боролись два существа, одинаковые по форме и безнадежно противоположные по содержанию. По искоркам в ее глазах он понял, что научно ее поведение не объяснить. Он отрицал одержимость человека дьяволом, ибо таким образом люди снимают с себя ответственность за свои же поступки; он не особенно верил в Бога. Но забыть глаза Суфии Зинобии он тоже не мог: они горели

огнем, который не увидишь в глазах людей, то разгоралось пожарище, затеянное Зверем. А подле Суфии Зинобии резвились ее маленькие племянницы и племянники. «Сейчас или никогда!» — решил он и обратился к ней, как встарь обращались мужья к женам:

— Будь ласка, женушка, иди за мной в мои покои.

Она поднялась и покорно двинулась за ним. Зверь в ту минуту еще не проснулся. Но когда они вошли в спальню, Омар совершил ошибку — приказал ей лечь в постель, не объяснив, что и не думает ни брать ее силой, ни взывать к ее супружескому долгу. Она, конечно, неверно истолковала его слова, и враз у нее в глазах вспыхнуло пламя, она соскочила с постели и пошла на него, нацелив руки смертоносными крючьями.

Омар-Хайам открыл рот и хотел было закричать, но вид жены был столь ужасен, что он поперхнулся собственным криком. Он неотрывно смотрел в ее зрачки — в них разверзался ад — и, как рыба без воды, беспомощно шевелил губами. А Суфия Зинобия рухнула на пол, ее крутило и ломало, язык вывалился, на губах вспучилась розовая пена. Очевидно, Суфия Зинобия отчаянно боролась со Зверем, бедная девушка отдавала последние силы, чтобы защитить мужа от самой себя. Потому и уцелел Омар-Хайам, хотя и заглянул в глаза Зверя, порожденного Стыдом. Хотя и оцепенел он от бесовского пламени, но Суфия Зинобия долго сопротивлялась Зверю, и Омар-Хайаму все же удалось стряхнуть с себя его чары. А Суфия каталась по полу, отчаянно билась и с такой силой ударилась об изножие постели, что разбила его в щепы. Омар, улучив момент, схватил свою сумку, достал шприц и ампулу с успокоительным, и в самое последнее мгновение, когда Зверь уже брал верх — сникнув, Суфия Зинобия обратилась в тихое, дремлющее дитя — и готовился изничтожить ее навсегда, Омар-Хайам глубоко воткнул шприц ей в крестец, не удосужась обезболить укол, и до конца нажал на поршень. Суфия Зинобия вздохнула и забылась.

В доме, построенном архитекторами-ангрезами, конечно же, был чердак. Ночью, когда прислуга уже спала, Реза Хайдар и Омар-Хайам перенесли бесчувственное тело Суфии Зинобии наверх. Возможно (во тьме не разглядеть), они завернули ее в ковер.

Омар-Хайам наотрез отказался сделать укол, оказавшийся бы последним в жизни Суфии. Я НЕ СТАНУ ЕЕ УБИВАТЬ. ОНА СПАСЛА МНЕ ЖИЗНЬ. А КОГДА-ТО И Я СПАС ЕЕ. Но в излечение он больше не верил — достаточно вспомнить огненный взор самого великого на свете гипнотизера. И не убить, и не излечить. Хайдар с Шакилем договорились, что до поры Суфие Зинобии лучше пребывать во сне. Ее ожидала жизнь в бесчувствии. Хайдар принес длинные цепи, и девушку привязали к стропилам. Ночь за ночью они приходили на чердак, заложили кирпичами чердачное окно, приделали огромные засовы на двери. Два раза в сутки Омар-Хайам незаметно проникал в темную комнату (чем не темница для смертников), доставал шприц и вводил в щуплое тельце на тонком ковре питательные вещества и снотворное, так что девушка из одной сказки перекочевала в другую: из «Красавицы и Зверя» в «Спящую красавицу».

— А что делать? — беспомощно пожимал плечами Хайдар.— Ты же понимаешь, у меня тоже рука не поднимется.

Родным растолковали, что у каждого рыльце в пушку, все ответственны за Суфию Зинобию. А потому тайну не разглашали. «Фальшивое чудо» просто исчезло. Раз — и нет! Вот так!

Когда объявили, что Верховный Суд оставил в силе смертный приговор Искандеру Хараппе, но мнения судей разошлись (четверо поддержали приговор, трое выступили против), адвокаты уверили Хараппу, что помилование обеспечено.

— Не волнуйтесь. Раз нет единодушия, нельзя человека на виселицу отправлять.

Один из судей, проголосовавший за помилование Хараппы, даже сказал:

— Ну вот, все хорошо, что хорошо кончается.

Искандеру также сказали, ссылаясь на прецедент, что глава государства в таких случаях должен проявить акт милосердия.

— Увидим,— бросил защитникам Искандер.

Прошло полгода. Узник все томился в одиночной камере, когда его навестил извечно печальный полковник Шуджа.

— Я принес вам сигару «Ромео и Джульетта», кажется, ваши любимые.

Выкурив сигару, Хараппа решил, что настал его смертный час, и начал молиться на изысканном арабском.

— Простите, сэр, вы, видно, не так поняли,— прервал его Шуджа.

Он объяснил, что пришел совсем по иному поводу: от Хараппы требовалось полностью признать свою вину и удостоверить это своей подписью. Тогда вопрос о помиловании будет решен положительно. Услышав такое, Искандер Хараппа собрал остатки сил и обрушился с бранью на грустнолицего офицера, чья афганская кровь взыграла от оскорбительных слов. Искандеру Хараппе они сулили одно — смерть. Непристойности его кололи как никогда, и Шуджа болезненно воспринимал каждый укол; он понял, какому унижению подвергся два года назад в Багирагали Реза Хайдар, и с трудом сдерживал накипавшую ярость. Но долго терпеть унижение не хватило сил, и когда Искандер Хараппа обозвал его педрилой и посоветовал отсосать у собственного внука, Шуджа, хотя по возрасту и не годился еще в деды, медленно поднялся и выстрелил бывшему премьер-министру прямо в сердце.

Зверь многолик. И некоторые его личины печальны.

Ночью мертвеца повесили на тюремном дворе. Заключенные выли и стенали, колотили жестяными кружками, пели, поминая Искандера. Палача после той ночи никто не видел. Не спрашивайте меня, что с ним сталось. Я не всеведущ. Палач просто исчез. Раз — и нет! А тело сняли с эшафота, самолетом отправили в Мохенджо, там-то Рани и разорвала у него на лице полотняный покров. Грудь его она так и не увидела. Его похоронили как мученика, и у его могилы, прикоснувшись к надгробию, исцелялись хромые и прокаженные. Особо отмечали, что мученик весьма способствовал врачеванию зубной боли.

А о последовавшем за его смертью самоубийстве Дюймовочки сказать больше нечего. Повторяться не хочу, дух покойной никого из живых не тревожил.

В ту ночь, когда на тюремном дворе вешали Хараппу, президенту Резе Хайдару вспомнились слова Билькис о ракете, от которой отваливается ступень за ступенью. Дауд обрел свою Мекку, Билькис и Суфия сокрылись каждая под своей чадрой, Благовесточка и Искандер обрели вечный покой, болтаясь в висельной петле. Находящимся подле него зятьям Хайдар не доверял и мало-помалу чувствовал, как вокруг него смыкается вселенская пустота. Искандер Хараппа уже болтался в петле с мешком на голове, а Резе Хайдару все слышался его голос:

— Ничего, старина, от меня так просто не отделаешься. Я, ох какой упрямый, когда захочу.

Звонким золотым колокольчиком звенел голос висельника в ушах Резы. Тот, испугавшись, даже вскрикнул:

— Сукин сын! Неужто жив?!

Брань президента ошеломила палача (он еще не успел бесследно исчезнуть), но и в его ухо пропел насмешливый голос:

— Чего, глупый, шарахаешься? Будто невдомек, что тут творится?

Ох уж этот нескончаемый монолог висельника! Он преследовал Резу со дня искандеровой смерти до последнего утра собственной жизни. Насмешливый, напевный, холодный голос то советовал (например, не гнать адъютанта, потому что тот непременно расскажет всем страшную правду), то дразнил. («Ах, господин президент, вам еще учиться да учиться управлять этим балаганом»). Слова, точно в китайской пытке, капля за каплей били по голове и днем, и даже ночью. То они напоминали с издевкой о былом (о малых певчих птичках, о колышке, к которому кто-то себя привязывал), то понуждали думать о будущем («А сколько, Реза, думаешь протянуть, а? Год? Два?»). Резу Хайдара мучил не только искандеров голос. Мы уже видели, что его однажды навестил и призрак боголюбца Дауда. Скоро он снова объявился, уселся на правое президентское плечо и начал нашептывать. Итак, справа — Бог, слева — Дьявол, такова незримая истина о правлении президента Резака-Резвака.

Два противоборствующих Голоса завладели президентским умом. Оттого-то за время своего правления Реза Хайдар брал то влево, то вправо, то снова влево, то снова вправо.

В пьесе русского писателя Николая Эрдмана «Самоубийца» есть слова: «То, что может подумать живой, может высказать только мертвый».

Мертвые появляются вновь, но, чтобы не нарушать равновесия, исчезают живые: палач исчез (раз — и нет), ушла из жизни Дюймовочка Аурангзеб. И самое неприятное известие я приберег на конец. В ту ночь, когда повесили Искандера Харампу, Омар-Хайам обнаружил, что исчезла его жена, дочь Резы Хайдара — Суфия Зинобия.

Чердак пуст. Цепи порваны, стропила сломаны. А в окне, заложенном кирпичами, зияет огромная пробоина, очертаниями напоминающая человеческий силуэт.

— Господи, помоги,— воззвал Омар-Хайам, лишенный в детстве благословения, обривания и обрезания. Видно, чутье подсказало ему, что пора Вседержителю вмешаться в ход событий.

Глава двенадцатая.
Твердым курсом

Великий французский революционер Дантон, которому в годину террора суждено было лишиться головы, с грустью замечает: «...все же Робеспьер и народ добродетельны». Говорит он это со сцены лондонского театра, точнее, не сам, а актер, и не свои слова, а драматурга Георга Бюхнера в английском переводе, и говорится это не в те времена, а сегодня. Не берусь судить, родились ли эти слова на французском, немецком или английском, но сама мысль на удивление малоубедительна, потому что подразумевает, что весь народ подобен Робеспьеру. Дантон, возможно, и герой революции, но и ему знакомы пороки: он любит вино, красивую одежду, женщин. Эти-то пороки (в чем незамедлительно убеждаются зрители) и позволили Робеспьеру (хорошему актеру в зеленом камзоле) ниспровергнуть его. И когда Дантона отправляют на свидание со старинной подругой, мадам Гильотиной, собирательницей голов, нам уже внушили, что это вовсе не из-за политических интриг. Голову ему отсекают (на диво правдоподобно) за его страсти и страстишки. Сластолюбие губительно. А народ, как и Робеспьер, добродетелен, ему тоже подозрительно эпикурейство.

Пьеса учит нас, что истинный конфликт в Истории — извечное противоборство эпикурейцев и пуритан. Забудьте о всяких там левых и правых, социалистах и капиталистах, белых и черных. Сражаются

Добродетель с Пороком, Воздержание с Развратом, Бог с Дьяволом — так устроен мир. М а д а м, м с ь е — д е л а й т е ж е с т а в к и!

Я смотрел эту пьесу в большом театре, заполненном на треть. Мало в старом Лондоне любителей политических спектаклей. Да и те, кто пришел, отзывались потом о пьесе неодобрительно. Беда ее, несомненно, в том, что в ней слишком много о гуляке Дантоне и мало — о суровом мстителе Робеспьере. О чем и сожалели зрители.

— Мне больше понравился греховодник,— вздохнула одна дама. Спутники с ней согласились.

Со мной пьесу смотрели три гостя из Пакистана. Они остались очень довольны.

— Хорошо тебе,— позавидовали они,— тут у вас вон какие спектакли ставят!

И рассказали, как недавно в университете города П. пытались поставить «Юлия Цезаря». Власти встревожились, узнав, что пьеса призывает к убийству главы государства. И еще того хуже: героев собирались одеть в современную одежду. В момент убийства генерал Цезарь представал в мундире при всех регалиях. На университет оказали отчаянное давление, дабы воспрепятствовать постановке. Благородные люди науки хотели защитить древнего автора (хотя и с очень «военным» именем) от нападок военных цензоров. Те предложили компромисс: пусть университет ставит пьесу как есть, но исключит одну-единственную, совершенно неудобоваримую сцену убийства. Уж так ли она необходима?

Наконец, режиссер пришел к гениальному, поистине Соломонову решению: он пригласил на роль Цезаря известного английского дипломата, облачил его в полную военную форму (колониальную, разумеется). Армейские чины враз успокоились. Пьесу поставили. Отыграли премьеру и, когда зажегся свет, увидели в первом ряду одних генералов! Они неистово хлопали в ладоши, приветствуя столь патриотическую постановку: как-никак освободительное движение Рима покончило с засильем империализма.

Уверяю вас, все это я не придумал. Мне на ум приходят слова супруги некоего британского дипломата — о ней я уже упоминал. Сейчас ее вопрос мог прозвучать бы так: «А почему бы римлянам не убрать Цезаря? Ну, вы сами понимаете, как это делается...»

Однако я отвлекся от Бюхнера. Нам с друзьями понравилась «Смерть Дантона». В эпоху Хомейни такая пьеса как нельзя кстати. Но дантоновы (или бюхнеровы?) слова о народе нас обеспокоили. Ибо если народ подобен Робеспьеру, то как оказался в героях Дантон? Почему его так приветствовали на суде?

— Дело в том,— высказался мой друг,— что оппозиция всегда существует, но в данном случае оба противоборствующих лагеря — в каждом человеке.

Мы все подобны не только Робеспьеру, но и Дантону, то есть мы Робестоны и Данпьеры. И несоответствия уживаются. Сколько порой несовместимых и разноречивых мнений бок о бок соседствуют в моей голове! Думаю, и у остальных людей — так же.

Искандер Хараппа — отнюдь не Дантон. Реза Хайдар — не Робеспьер от пяток до макушки. Искандер Хараппа, спору нет, репутацию гуляки и повесы оправдал, но ведь этот сластолюбец считал, что он всегда и неоспоримо прав. А восемнадцать шалей свидетельствуют, что и террор был ему не чужд. А участь арестанта-смертника, выпавшую ему, он сам уготовил многим и многим людям. Это штрих немаловажный. А с другой стороны, если нам не безразлична судьба пострадавших от террора, значит, мы должны (даже если не хотим) сострадать и Хараппе. Ну, а Реза Хайдар? Разве можно поверить, будто он делал все без желания, что не ставил свою волю во главу угла, хотя и утверждал, что старается во имя Создателя?

Искандер и Реза тоже — Данпьер и Робестон. И это многое объясняет, но никоим образом не извиняет.

Когда Омар-Хайам увидел в кирпичной кладке на чердаке брешь, очертаниями напоминавшую силуэт жены, он решил, что Суфия Зинобия мертва. Нет, он не ожидал найти ее бездыханное тело на лужайке под окном. Он понял, что чудовище — этот жар и пламень, что снедали Суфию,— наконец-то дотла спалили ее душу (так выгорают дома и от них остаются лишь стены). Судьба отказала девушке в росте, и та умалилась донельзя, просто исчезла. А то, что сейчас ходит-бродит по ничего не подозревающему городу, не имеет ничего общего с Суфией Зинобией, то вырвалось на волю зло, уже ничем не сдерживаемый Зверь пошел вершить страшное дело.

— К черту все! — выругался про себя Омар-Хайам.— Похоже, весь белый свет рехнулся.

Жила-была мужнина жена. Два раза в день муж делал ей уколы снотворного. Два года пролежала она на ковре, как спящая красавица, чей беспробудный сон прервет лишь поцелуй высокородного принца. Однако судьба отказала красавице в поцелуях. И колдовская сила снотворных лекарств победила. Но в душе девушки жил Зверь, и его-то было не усыпить. Некогда его породил Стыд, а сейчас злобное чудище, скрываясь под личиной девушки, жило своей, обособленной жизнью. Оно воевало со снотворным, неторопливо, мало-помалу, клеточка за клеточкой подчиняло себе девичье тело, заполняя его злом, и удержу этому злу нет, ибо Зверь, отведавший крови, не прельстится травой. Лекарственные силы сломлены, Зверь поднимается и рвет цепи...

Выпустила Пандора беды из своего ящика и сама ж от них пострадала.

Даже из-за опущенных век бьет желтое пламя, от кончиков пальцев до корней волос — все в огне. Конечно, Суфия Зинобия мертва, я в этом не сомневаюсь. От нее ничего не осталось, все поглотило адское пламя. На погребальном костре тело корчится, дергается, мертвец то вдруг сядет, то задергает ногами, то улыбнется. Огонь — точно кукольник марионеткой — управляет трупом, дергая за нервы-ниточки. И в костре рождается страшная иллюзорная жизнь...

Жил-был Зверь. Набрал он силу, улучил минуту и, пробив кирпичную стену, выпрыгнул на волю.

В последующие четыре года (то есть в период правления Резы Хайдара) к Омар-Хайаму пришла старость. Никто этого поначалу не заметил, ведь поседел доктор уже давным-давно. Но стукнуло ему шестьдесят, и ноги, носившие столько лет непомерную тяжесть, взбунтовались. После того как ушла айя Шахбану, никто уже не потчевал Омар-Хайама мятным чаем и ласками. И он снова растолстел. От пояса брюк начали отскакивать пуговицы. Тут-то и забастовали его ноги. Каждый шаг давался с муками, не помогала и верная трость (с сокрытым кинжалом) — он не расставался с ней с той поры, когда еще пил и гулял в компании Искандера Хараппы. Часами напролет просиживал он в камышовом кресле на чердаке — в бывшем узилище Суфии Зинобии,— уставившись на брешь в кирпичной стене, единственное напоминание о покинувшей его супруге.

Он больше не работал в престижной больнице и почти всю пенсию отсылал в старый дом в приграничном городке К. Там все еще жили три старухи-вековухи и никак не давались в лапы смерти, не в пример Бариамме: та тихо и скромно почила вечным сном, обложенная со всех сторон подушками. Лишь к вечеру в доме поняли, что случилось... Еще Омар-Хайам посылал деньги одной бывшей няньке-огнепоклоннице, а сам жил-поживал под кровом Резы Хайдара, грыз оре-

шки и смотрел из чердачного окна, будто провожал кого взглядом, хотя на улице — ни души. Из книг он знал, что подверженность гипнозу свидетельствует о развитом воображении человека, в гипнотическом состоянии у него раскрываются дремлющие творческие способности, и он как бы перерождается сам и преобразует окружающую жизнь по своим меркам. Порой Омар-Хайаму казалось, что перемены в Суфии Зинобии — суть ее желания, ибо даже сам себе человек не может внушить то, чего не хочет. Значит, она сама, своим воображением выпестовала Зверя. В таком случае, рассуждал Омар-Хайам, набив рот орешками, вся история Суфии Зинобии — нагляднейший пример, сколь опасно необузданное воображение. Буйство, время от времени накатывавшее на Суфию Зинобию, порождено не чем иным, как буйным же ее воображением.

— Стыд на мою голову,— сообщил Омар птахе, притулившейся на подоконнике — сижу, болтаю, думаю, бог знает что, а сам пальцем о палец не ударю.

«Стыд на мою голову»,— думал и Реза Хайдар. С тех пор как пропала дочь, мысли о ней терзали его. Ее детски слабое тело, неуверенная походка одно время стали даже раздражать его. ДОЧЬ ЕДВА РАНЬШЕ ОТЦА НЕ УМЕРЛА. НО И ЭТОГО МАЛО ОКАЗАЛОСЬ. А в голове наперебой звенели голоса: то Искандера, то Дауда, то Искандера, то Дауда. Собственных мыслей не слышно. А теперь беглянка начнет мстить. И в один прекрасный день утащит его в преисподнюю. Если он сам дочь раньше не сыщет. Но кого послать на розыски, кому поверить тайну? «Моя идиотка-дочь после менингита совсем рехнулась, вообразила себя гильотиной и давай людям головы с плеч обрывать. Вот ее фотография. Нужно доставить ее живой или мертвой за приличное вознаграждение». Нет, это невозможно. Не под силу.

Ах, как бессильны сильные мира сего! Президент утешает себя: образумься, да она ж погибнет, может, уже погибла, ничего о ней не слышно. Нет никаких известий — это уже приятное известие. А если она где и объявится, ее можно будет утихомирить. Но иногда мелькало в его сознании лицо маленькой девочки с правильными, но суровыми чертами, оно укоряло... а в ушах звенело и дребезжало: Искандер и Дауд шептали, спорили. И Реза метался то влево, то вправо. Так докучали ему и мертвые и живые. Взгляд у него сделался дикий и загнанный.

Как и Омар-Хайам, президент Реза Хайдар пристрастился к орешкам и поедал их в огромном количестве. Когда-то их очень любила Суфия Зинобия, она часами сосредоточенно и с удовольствием лущила их — тоже своего рода психоз: сил тратишь много, а орешек мал — и вкуса не почувствуешь.

— Генерал Хайдар,— обращается к Резе английский телекомментатор,— опираясь на мнение осведомленных источников, наблюдателей, многие из наших зрителей интересуются, как вы опровергнете суждение и каково ваше мнение относительно утверждения, что введение исконно мусульманских наказаний, как порка и отсекание рук, может быть истолковано, в какой-то степени, с определенной долей истины, согласно некоторым высказываниям, как, простите за выражение, варварство?

Реза Хайдар улыбается камере, это улыбка человека вежливого, хорошо воспитанного и искушенного в правилах этикета.

— Это не варварство,— отвечает он.— Почему? Вот вам три довода.— Он начинает считать, загибая пальцы.— Первое: согласитесь, закон сам по себе не зло и не добро. Важно, кто закон применяет. В данном случае — я, Реза Хайдар, поэтому ни о каком варварстве и речи быть не может. Второе: вы, сэр, согласитесь, что мы не дикари, не вче-

ра с деревьев слезли, верно? Мы же не выстраиваем людей, не приказываем: «Руки вперед!» — не рубим их топором мясника. Ни в коем случае! Вся процедура будет происходить при соблюдении правил гигиены, под наблюдением врачей, с использованием обезболивающих средств и тому подобное. И третье: все эти законы, мой дорогой друг, мы не из пальца высосали. Они — в священных, божественных словах, запечатлены в Писании. А раз это слова Божьи, могут ли они нести варварство? Ни в коем случае! Несомненно, что-то иное.

Он решил не переселяться в президентский дворец в новой столице; ему больше нравилось в резиденции главнокомандующего, и это несмотря на то, что по коридорам стаями носились орущие, воюющие с няньками дети. Поначалу, правда, пришлось переночевать раз-другой в президентских покоях — в те дни проходила всеисламская конференция, и со всего света в столицу съехались главы мусульманских государств, причем каждый привез с собой мать. И началось светопреставление. Собравшись вместе на женской половине дворца, старухи тут же затеяли свару, отчаянно борясь за первенство. Они без конца слали сыновьям срочные депеши, прерывали заседания, жалуясь на то, что их честь и доброе имя порочат и смертельно оскорбляют. Из-за чего главы правительств чуть не с кулаками набрасывались на коллег-обидчиков, иной раз едва не доходило до объявления войны. У Резы Хайдара матери не было, некому его и оконфузить. Впрочем, и без этого ему хватало волнений. В первый же вечер конференции, находясь в своем дворце — этом огромном зале ожидания,— он не слышал ничего, кроме всезаглушающего голоса Искандера Хараппы. На этот раз назойливый висельник решил, видно, дать своему преемнику несколько добрых советов. Голос призрака, раздражающе-напевный, начал с весьма общих и вольных цитат (лишь много позже Реза Хайдар выяснил, что цитировал бесплотный дух из книг безбожника и чужеземца Никколо Макиавелли). Всю ночь Реза не сомкнул глаз, а в ушах неотступно жужжало и жужжало.

— Покорив страну,— наставлял Хараппа,— завоеватель должен свершить все жестокости не медля и разом. Горькие пилюли лучше глотать не жуя, тогда и не так горько будет.

Реза Хайдар не удержался и заорал:

— Да замолчи ты! Заткнись!

На президентский крик тут же сбежалась охрана, предполагая, что спальня подверглась вторжению жалобщиц-матерей. Резе пришлось, превозмогая стыд, соврать:

— Ничего, ничего. Все в порядке. Просто сон нехороший, только и всего.

— Прости, Реза,— прошептал ему в ухо Искандер,— я ведь хотел помочь.

Закончилась конференция, склочные старухи больше не докучали, и Реза тут же перебрался в старый дом, там он чувствовал себя спокойно, да и голос святого старца Дауда в правом ухе преобладал над бархатным шепотом Искандера в левом. Реза научился прислушиваться только к правой стороне, жизнь стала терпимее, и дух Искандера Хараппы уже не мучил столь сильно, хотя и не отступался.

Реза Хайдар стал президентом уже в новом, пятнадцатом веке, и сразу все кругом стало меняться. Своим бесконечным надоедливым монологом Хараппа добился одного: Реза отшатнулся от него и угодил в объятия старого святого союзника, богоугодника Дауда. Помнится, давным-давно, совершенно случайно, его шею обвила башмачная гирлянда. Помнится у Резы была гатта — шишка на лбу, свидетельствующая о его богомольности, он был из тех, кто за словом Божьим в карман не полезет, и чем настырнее нашептывал Искандер, тем отчетливее Реза сознавал, что уповать ему можно только на Вседержителя. Старца Дауда он слушал внимательно, даже когда тот проскрипел:

— Здесь, в Мекке, грех на каждом шагу. Святыни надо блюсти, это твоя первая и главная забота.

Очевидно, даже смерть не вывела упрямого старика из заблуждения. Он по-прежнему считал, что некогда вместе с Резой прилетел в святая святых мусульман, в Мекку, там, где Священный камень — Кааба.

Как же поступил Реза? Он ввел сухой закон, закрыл прославленный старый пивоваренный завод в Багире, и от «пантеры» — легкого бодрящего пива — остались лишь приятные воспоминания. Реза решительно перекроил программу телевидения, и люди поначалу бросились в ремонтные мастерские, не иначе телевизор сломался: показывает лишь богословские лекции, не могут же муллы целый день с экрана вещать. В день рождения Пророка Реза Хайдар приказал во всех мечетях страны ровно в девять часов поутру дать сигнал сирены, и каждый, кто не остановился совершить намаз, был брошен за решетку. Нищие во всех городах страны (в том числе и в столице), памятуя о том, что Коран обязует каждого верующего давать милостыню, воспользовались боголюбивыми настроениями в президентском дворце и устроили несколько массовых демонстраций, требуя законом установить минимальное подаяние в пять рупий. Однако они явно недооценили боголюбие президента. Только за первый год своего правления он посадил в тюрьму сто тысяч попрошаек и побирушек, а заодно и две с половиной тысячи сторонников Народного фронта (объявленного уже вне закона) — эти ничем не лучше нищих. Президент провозгласил, что Бог и Социализм — понятия несовместимые, поэтому доктрина исламского социализма — главное в политической платформе Народного фронта — самое страшное, немыслимое богохульство.

— Искандер Хараппа никогда не верил в Бога,— всенародно заявил Реза,— и, на словах укрепляя единство народа, он на самом деле разрушал его.

Новая доктрина «несовместимости» очень пришлась по душе американцам — они держались того же мнения, хотя их Бог существенно отличался от мусульманского.

— О тех, кто злодейством добыл себе корону,— нашептывал Искандер,— читай главу восьмую «Государя» Макиавелли. Не поленись, она очень короткая.

Но теперь-то Реза Хайдар знал, как бороться со своим злым заушным демоном — вместо того чтобы по его совету обратиться к историческим аналогам в книгах Агафокла Сиракузского и Оливеротто да Фермо, Реза перечеркнул все козни Хараппы, доверившись советам Дауда. Но Хараппа не сдавался, он заверял, что его побуждения бескорыстны, старался внушить Резе, что умело и неумело совершенная жестокость разнятся, как небо и земля; что со временем жестокость нужно умалить и, напротив, даровать народу блага, но постепенно и понемногу — так им будут дольше и полнее радоваться. Но пока что возобладали даудовы наущения. Президент явно предпочитал их искандеровым, и скоро святой старец завоевал полное доверие Резы Хайдара. Утвердившись, он повелел Резе запретить кинофильмы, для начала хотя бы зарубежные; запретить женщинам появляться на улице без чадры; даудов дух требовал, чтоб Хайдар железной рукой проводил твердый курс. Стоит упомянуть и о том, что в те дни благочестивые студенты стали появляться в аудиториях с оружием. Если профессор не выказывал истовой веры, в него постреливали. А случись женщине появиться на улице в облегающей одежде, ее могли заплевать мужчины. За сигарету, выкуренную в месяц поста, расплачивались жизнью. Пришлось заменить всю правовую систему, так как юристы обнаружили свою полную профессиональную несостоятельность, то и дело выступая против государственных нововведений. Теперь заправляли делами мусульманские суды, во главе которых Реза

поставил уважаемых старцев: их бороды напоминали сентиментальному президенту об усопшем святом угоднике. Да, в стране правил Аллах, и чтобы ни у кого не оставалось сомнений, Реза время от времени удостоверял Его силу: так, некоторые закосневшие в безбожии личности бесследно исчезали, вроде детей из трущоб. Их стирал с лица земли Вседержитель, раз — и нет!

В те же годы у Резы Хайдара было очень много дел государственных и очень мало времени для дел семейных. Некогда заботиться о двадцати семи внуках, он вверил их попечительству отца и нянек. Однако его приверженность идеалу семьи общеизвестна, и он явил это всему народу. Раз в неделю он виделся с Билькис. В этот день он вез ее на телестудию — президента и его супругу смотрела вся страна. Начиналась передача с молитвы: Резу Хайдара показывали крупным планом, он клал поклоны, не жалея гатты — богомольной шишки на лбу. Позади, как и подобает верной жене, молилась Билькис.

С ног до головы ее закрывала чадра, да и камера показывала ее чуть расплывчато. Перед началом съемок Реза несколько минут молча сидел рядом с женой. Он заметил, что всякий раз она берет с собой рукоделье. Билькис — не Рани, и шали вышивкой не украшала. Занятие она нашла себе проще и загадочнее: она сшивала вместе огромные лоскуты черной материи. Долго Реза стеснялся спросить жену, что это она шьет, но в конце концов любопытство взяло верх и, убедившись, что никто не услышит, президент спросил у жены:

— Чего это ты все шьешь да шьешь? Будто опоздать боишься, даже сюда шитье приносишь?

— Саваны,— спокойно ответила она, и по спине у Резы поползли мурашки.

Через два года после смерти Искандера Хараппы против воли Аллаха выступили женщины. Их демонстрации — хитрая уловка, решил Реза, и бороться с ними нужно осторожно. И он поспешал не торопясь, хотя старец Дауд осыпал его бранью, призывал раздеть мерзавок догола и вздернуть на первом попавшемся суку. Реза проявил небывалую гуманность: он приказал полицейским, разгонявшим демонстрации, по возможности не бить женщин в грудь. Наконец, Всевышний оценил его добродетельные усилия. Хайдару донесли, что демонстрации организует некая Нур-бегум, она разъезжает по городам и деревням и разжигает антирелигиозные страсти. И все же Реза не решился попросить Аллаха отправить злодейку в тартарары — нельзя ж, в конце концов, все выклянчивать у Создателя. Зато, когда он получил сведения, что эта Нур-бегум и впрямь злодейка, долгое время переправлявшая в гаремы арабских шейхов девушек и малолетних девочек, Реза вздохнул с праведным облегчением. Теперь он вправе арестовать ее, никто и слова поперек не скажет. Даже Искандер Харапа похвалил его:

— Ты, Реза, способный ученик. Похоже, мы тебя недооценивали.

«Твердость во имя Аллаха» — таков девиз Хайдара. После расправы над Нур-бегум он добавил к девизу еще одну строку: «Всевышний помогает деятельным». Чтобы обеспечить «твердость во имя Аллаха», Реза насадил армейских офицеров в дирекцию едва ли не каждого предприятия в стране. Его генералы были повсюду, армия, как никогда, вторглась во все сферы жизни. Реза убедился, что такой курс приносит замечательные плоды. Однажды его посетили три генерала, самых молодых и толковых в генеральном штабе: Радди, Бекар и Фисадди. Они предъявили неопровержимые доказательства измены генерала Сальмана Туглака. Вместе с шефом полиции Тальвар уль-Хаком, зятем Резы, и полковником Шуджой, его давнишним адъютантом, Туглак готовил переворот.

— Глупцы они! — с сожалением тихо проговорил Реза.— Видите, до чего пьянство доводит? За стакан виски они готовы заплатить всеми нашими достижениями!

Лицо у президента сделалось грустным-прегрустным — не хуже, чем у Шуджи. Но в душе Реза радовался. До сих пор, вспоминая тот утренний разговор с Туглаком, он стыдился себя — глупо тогда держался! Что касается адъютанта, то генерал Хайдар подумывал, как бы отделаться от него, еще со времени конфуза с Искандером Хараппой в одиночной камере городской тюрьмы. А Тальвар уль-Хаку Реза перестал верить много лет назад.

— Слуга, предающий одного хозяина, предаст и другого,— назидательно сказал он молодым генералам, хотя в мыслях было другое: ясновидение Тальвар уль-Хака до смерти напугало президента, выходит, зять знал все про Суфию Зинобию, а значит, он знал слишком много...

Реза похлопал каждого генерала по спине и заключил:

— Что ж, теперь все во власти Всевышнего.

И к утру трое заговорщиков бесследно исчезли — словно ветром сдуло. А в резиденции главнокомандующего заорало-заревело сразу двадцать семь глоток, причем все одинаково подвывали и одновременно захлебывались слезами. Обитателям дома пришлось сорок дней ходить с затычками в ушах. Потом дети поняли, что отец не вернется, и враз смолкли. И снова дед забыл об их существовании — до самого последнего дня своего президентства.

По преданности молодых генералов Реза Хайдар понял, что армии сейчас живется вольготно, и менять что-либо не в ее интересах.

— Все распрекрасно! — тешил он себя.— Положение мое твердо, незыблемо.

Вот тут-то и объявилась опять в его жизни дочь — Суфия Зинобия.

Можно, я вставлю словечко-другое о возрождении ислама? Много времени не отниму.

Пакистан не похож на Иран. Возможно, слова мои покажутся неправомерными: ведь до прихода к власти в Иране Хомейни Пакистан считался одним из двух теократических государств в мире (второе — Израиль). По-моему, все же в Пакистане муллы никогда не определяли жизнь общества. У религиозных фанатиков из партии «Джамаат» есть сторонники в студенческой среде и вне ее, но на выборах они собирали сравнительно немного голосов. Сам основатель этого движения, Джинна, не очень-то впечатляет своей набожностью. Ислам и мусульманское государство для него, скорее, понятия политики и культуры. Богословию он отводит далеко не главную роль.

Возможно, теперешние руководители несчастной страны проклянут меня за такие слова. Жаль. Думается, ислам мог бы сплотить все народности в Пакистане после откола Бангладеш. Но из ислама сделали миф, фетиш, сколь великий, столь и недоступный. Ведь во имя общей веры и синдхи, и белуджи, и пенджабцы, и патаны, не говоря уж о мусульманах-иммигрантах, могли бы сплотиться, забыв о разногласиях.

Когда мифы рядом и их можно потрогать, они теряют привлекательность. А когда их навязывают, «кормят» ими чуть не силком, они и вовсе вызывают отвращение.

Что станет с человеком, если его насильно день и ночь кормить несъедобной пищей?

Его потянет блевать, вытошнит. Организм восстанет против такого питания. Да, дорогой читатель.

Так называемый «исламский фундаментализм», то есть догмы мусульманства, пронизавшие все сферы жизни, в Пакистане насаждались не «снизу», а «сверху». Любой диктаторский режим своекорыстно берет на вооружение религиозные постулаты. В народе уважают высокие слова, не всякий решится возразить — ведь это значит идти против Веры. Вот так религия и поддерживает диктаторов, вооружая

их словами могущественными и великими. И простые люди не сразу увидят, что слова эти опозорены, оскоплены и осмеяны.

И все ж ими кормят и кормят народ, пока людей не затошнит. И вот тогда пропадает вера в Веру, не в само богопослушание, а в религию как основу государства. Диктатора низвергают, и выясняется, что с ним низвергнут и Бог, развенчан миф, которым прикрывалось государство. И страна оказывается перед выбором: либо хаос и распад, либо новая диктатура. Впрочем, есть и третья возможность, не стану исключать и ее, не такой уж я пессимист. Заключается она в том, что миф старый заменяется на новый. Точнее, на три новых мифа, что всегда под рукой: свобода, равенство, братство.

Весьма рекомендую.

Много позже, во время панического бегства из столицы, Реза Хайдар вдруг вспомнил о белой пантере, о которой шли разговоры, когда арестовывали Харапшу, и в ужасе содрогнулся, сообразив, что к чему.

В ту пору слухи быстро угасли, ведь никто не видел воочию страшного зверя, кроме одного деревенского паренька, Гафара, но можно ли ему верить? Он так страшно все представил, что люди решили: белая пантера живет лишь в фантазии выдумщика. По его словам пантера «не сплошь белая, у нее черная голова, а на теле шерсти вообще нет, она будто лысая. И ходит как-то странно». Газеты преподнесли этот рассказ как шутку, читатели, хоть и улыбаются снисходительно, все же любят заметки о чудовищах. Но генерал Хайдар, вспомнив об этом несколько лет спустя, похолодел от ужаса: ведь белая пантера из Багирагали — это предзнаменование, грозное пророчество; это призрак самого Времени, будущего, крадущегося по дебрям прошлого. «Мальчишка и впрямь видел пантеру, да только никто не поверил», — с горечью подумал Реза.

А вновь объявилась пантера вот как: однажды утром Омар-Хайам Шакиль по обыкновению сидел у чердачного окна, а старуха уборщица Асгали, выведенная из себя этой омаровой привычкой (ей надоело подметать на чердаке, к тому ж Омар-Хайам повсюду бросал скорлупу от орешков), по-старушечьи прошамкала:

— Вот придет зверь да съест всех нерях, которым плевать на труд честных женщин! — От старухи разило дешевым одеколоном.

Слово «Зверь» пробилось сквозь пелену омаровых грез, и он перепугал Асгали, неожиданно рыкнув:

— Что ты хочешь этим сказать?

Она решила, что хозяин прогонит ее, как и Шахбану, что беззлобное замечание он принял за поношение. Но потом успокоилась и еще укорила его (такое позволительно старым слугам) за то, что не понимает шуток. А потом пояснила:

— Просто снова слухи поползли. Надо ж бездельникам языками почесать. И вы, сахиб, близко к сердцу сплетни не принимайте.

До самой ночи бушевала в душе Омар-Хайама буря; причину он боялся назвать даже самому себе, но ночью, во время короткого забытья, ему приснилась Суфия Зинобия. Она появилась на четвереньках и совершенно нагая, как и ее мать во время легендарного огненного смерча, оборвавшего ее юность. Более того: в отличие от матери на дочери не было даже и лоскутка от дупаты — символа скромности и стыда. Омар-Хайам проснулся но сон все не отходил. Перед глазами маячил призрак его жены, в лесной чащобе она охотилась на людей и зверей.

После этого месяц, а то и дольше, Омар-Хайам, сбросив более чем шестидесятилетнюю вялость и сонливость, действовал очень решительно. Несмотря на больные ноги, он добирался до конечной автобусной остановки, заговаривал с суровыми горцами из приграничных районов и расспрашивал их кое о чем, не скупясь на деньги. По-

являлся он и на скотобойнях, тяжело опираясь на трость, приходил в те дни, когда крестьяне привозили на убой всякую живность. Частенько примечали его и на базарах, и в харчевнях: непомерно толстый господин в сером костюме и с тростью задавал вопросы и внимательно-внимательно слушал.

Мало-помалу картина прояснялась: вновь стали поговаривать о белой пантере. Примечательно, что слухи о ней доходили с разных концов страны: и из Игольной долины — от рабочих-газовщиков, приезжавших на автобусе; и с Севера — от перепоясанных патронными лентами кочевников с ружьями в руках. Что и говорить, большая страна (даже и без Восточного крыла), край пустынь и болот с редкими мангровыми деревьями, край горных круч и бездонных ущелий. И казалось, из каждого уголка ползли в столицу слухи о пантере. Черная голова, светлое, безволосое тело, неуклюжая походка.

Вновь и вновь приходилось Омар-Хайаму слушать осмеянный всеми рассказ Гафара от самых разных, но почти всегда неграмотных путников. Каждый из них свято верил, что его рассказ единственный и неповторимый и что страшилище могло объявиться только в его краю. Омар-Хайам не разубеждал их — зачем обижать людей?

А меж тем пантера не щадила ни животных, ни людей; иной раз нападала на деревни, уничтожала целые стада, от ее воя стыла кровь в жилах. Людоедов боялись во все времена, но на этот раз прямо душа уходила в пятки.

— Разве зверюга может оторвать человеку голову, чтоб через дыру вытащить внутренности и сожрать? — изумленно вопрошал Омара двухметровый детина, приехавший с границы, и в голосе у него сквозил детски-доверчивый страх.

Омар-Хайам узнал, что в некоторых деревнях образовались отряды обороны: крестьяне нанимали горцев-кочевников, и те целую ночь несли караул. В свидетельствах очевидцев всегда было много хвастовства: они непременно наносили чудищу раны, порой — смертельные: «Вы, сахиб, не поверите, я ей прямо меж глаз пулю из охотничьего ружья всадил, но эта зверюга, видно, дьяволица, повернулась и прямо на глазах исчезла. Таких не подстрелишь!»

Да хранит нас Всевышний... А белая пантера меж тем превращалась в легенду. Утверждали, что она и летать умеет, и исчезать прямо на глазах, и вырастать выше дерева.

Росла она и в воображении Омар-Хайама Шакиля. Он долго никому не рассказывал о своих домыслах, но мысли докучливым хороводом кружили подле него бессонными ночами, а днем собирались вокруг кресла на чердаке, где просиживал Омар-Хайам, щелкая орешки. Он представлял себе ее, нет, его — Зверя. Ишь, хитрюга, подальше от городов держится, знает, что, как ни велика его сила, все ж и на него управа найдется: пули, газы, танки. Но до чего же быстроног! Так и мелькает то здесь, то там по окраинам страны, и легенды, возникшие в разных краях, годами бродят по стране, не встречаясь. Лишь в омаровой памяти они складывались воедино, в единый образ, и из ночной тьмы проступали истинные черты пантеры. «Суфия Зинобия,— сказал он в открытое окно,— теперь я тебя вижу».

Вот она ковыляет на четвереньках, на руках и ногах уже наросли толстые мозоли. Черные, некогда обкромсанные матерью волосы отросли и свалялись на голове, точно мех. Белая кожа — наследие предков-мохаджиров — обветрилась и опалилась солнцем; как боевые шрамы, запечатлелись на ней царапины от колючек, звериных когтей, расчесы. Глаза горят, от нее разит испражнениями и смертью.

— Впервые в жизни девочка на свободе,— с невольным сочувствием подумалось Омар-Хайаму.— Сейчас, наверное, она горда собой: своей силой, своими похождениями, вознесшими ее к легенде, и уж никто не посмеет указать ей, что делать, и как себя держать, и какой

надлежит быть. Ничьи увещеванья не догонят ее теперь, хватит, наслушалась!

Возможно ли, рассуждал Омар-Хайам, человеку обрести достоинство в зверином обличье?

И тут же рассердился на себя, ведь Суфии Зинобии больше нет, не осталось никакого сходства с дочерью Билькис Хайдар, Зверь, завладевший ею, изменил Суфию навеки.

— И не следует больше ее по имени называть,— решил было Омар-Хайам, но в мыслях она все равно осталась хайдаровой дочерью, его женой, Суфией Зинобией Шакиль.

Омар понял, что нельзя долее скрывать от Резы Хайдара свою тайну, и пошел рассказать о проделках генеральской дочери, но столкнулся с генералами Радди, Бекаром, Фисадди — они выходили из президентского кабинета, и на лицах у всех застыло ошалелое блаженство. С тех пор как Реза приблизил их (после несостоявшегося переворота генерала Туглака), они ног под собой от счастья не чуяли, сейчас же вышли едва живые после более чем продолжительной молитвы. Они сообщили Резе о том, что русские ввели войска в соседнюю северо-западную страну А. К их изумлению, президент вскочил с кресла, расстелил четыре молитвенных коврика и призвал всех незамедлительно отблагодарить Всевышнего за такое благодеяние. С полчаса все четверо отбивали поклоны, и у троих молодых генералов образовались начатки гатты — богомольной шишки, которой так гордился Реза. Наконец, президент выпрямился и объяснил, что вторжение русских — последнее звено в цепи божьей стратегии: теперь его правительство еще более утвердится, так как получит непременную поддержку великих держав. Генерал Радди мрачновато возразил: дескать, американцы сейчас больше думают, как бы поэффективнее провести демарш против Олимпийских игр в Москве. Реза Хайдар не успел даже рассердиться, как друзья Радди, Фисадди и Бекар принялись громко поздравлять друг друга и пожимать руки.

— Ну, теперь пусть толстозадый янки раскошеливается! — воскликнул Фисадди, намекая на американского посла.

А Бекар уже вслух мечтал о закупках новейшего вооружения на пять миллиардов долларов: ракет, которые могут менять курс, не расходуя лишнего топлива; систем обнаружения, способных в радиусе десяти тысяч миль распознать и чужеземного комара. Генералы так увлеклись, что «забыли» передать президенту еще одно немаловажное известие. Первым вспомнил Радди, и не успели товарищи остановить его, как он выболтал секретнейшую информацию: господин Гарун Хараппа объявился в престижном районе Кабула, столице государства А. Друзья Радди, испугавшись, как бы их товарищ снова не навлек на них гнев президента, поспешили и на этот раз выгородить товарища и стали уверять Резу, что сведения еще нуждаются в подтверждении, что после оккупации Кабула русскими оттуда поступает всяческая дезинформация; попытались отвлечь его внимание, заговорив о беженцах. Но президент, непонятно почему, улыбался все шире и шире.

— Да я готов хоть десять миллионов беженцев оттуда принять,— воскликнул он,— взамен за одного-единственного, кто к ним удрал. Теперь у меня на руках все козыри.

Генералы растерялись: нужно ведь как-то объяснить президенту, что новый просоветский режим в А. встретил Гаруна Хараппу с распростертыми объятиями, и сейчас он сколачивает террористическую группу, вооруженную советским оружием, обученную палестинскими инструкторами. Назвал он ее «Аль-Искандер» в честь любимого дядюшки.

— Прекрасно! — ухмыльнулся Хайдар.— Теперь, по крайней мере мы можем показать всей стране, что Народный фронт — кучка трусливых зайц и бабников.

И он заставил генералов еще раз молитвой отблагодарить Аллаха.

В приятнейшем расположении духа проводил Реза молодых коллег за порог своего кабинета, и когда ошалелые генералы, пошатываясь, удалились, он любезно поприветствовал Омар-Хайама:

— Ну, зачем пожаловал, кобелина?

Тонкий юмор благодушного президента откликнулся иными чувствами в сердце Омар-Хайама, и он чуть не с радостью ответил:

— По делу чрезвычайно тонкому и секретному.

С каким угрюмым удовлетворением следил Омар-Хайам за тем, как, пока за плотно закрытой дверью излагал свои соображения и наблюдения: радостное оживление покинуло лицо президента, оно побледнело, посерело от страха.

— Так-так,— изрек Реза Хайдар.— А я было уж тешил себя надеждой, что она умерла.

«Я бы сравнил ее с бурливой рекой,— зашептал у него в левом ухе Искандер Хараппа,— она затопляет долины, сносит дома, вырывает с корнем деревья. Все живое обращается в бегство перед неистовым потоком, но никакая сила его не остановит, и остается лишь смириться. Вот так Судьба являет свою силу там, где на пути ее не возвигнуты дамбы и плотины».

— Какие еще плотины? — вслух вскричал Хайдар, что еще больше утвердило Омар-Хайама в мысли, что тяготы жизни сказались на президентском рассудке.— Ну разве я в состоянии чем-нибудь отгородиться от собственной дочери?

Но ангел-советчик в правом ухе молчал.

Как падает диктаторский режим? Давнишняя мудрость гласит: «Падение тирании заложено в ее сути». С таким же успехом можно утверждать, что и зарождение, и первые шаги, и становление тоже заложены в ее сути. А порой жизнь тирании продлевается силами, так сказать, извне.

Ай-ай-ай! Я совсем забыл, что рассказываю всего лишь сказку : моего диктатора свергнут силы волшебные. «Ловко вывернулся»,— несомненно скажут критики. И я, разумеется, соглашусь, да, согласусь, только прибавлю:

— А вы сами когда-нибудь попробуйте избавиться от диктатора! И не беда, если моим словам недостает добродушия.

К концу четвертого года правления Резы Хайдара белая пантера стала появляться уже на подступах к столице. Все чаще находили убитых людей и животных, все чаще попадалась на глаза людям сама пантера; кольцо слухов все теснее смыкалось вокруг столицы. Генерал Радди сказал президенту, что эти акты вандализма — несомненно дело рук банды «Аль-Искандер», руководимой Гаруном Харапшой. В ответ, к немалому его удивлению, президент дружески хлопнул генерала по спине и вскричал:

— Все как по нотам разыграно. Не такой уж вы идиот, каким казались.

Реза созвал журналистов и объявил: «В «деле обезглавленных» повинны гнусные бандиты, засылаемые из соседней страны при поддержке русских, а командует ими выродок Гарун, задавшийся целью подорвать моральные устои нашего народа, ослабить нашу неколебимую веру в Аллаха, сбить нас с твердого курса. Но, заверяю вас, это им не удастся!»

В глубине души, однако, копошился страх — ведь только что Реза расписался в полной беспомощности перед собственной дочерью. И вновь у него мелькнула мысль, что все годы восхождения, создание в стране твердыни порядка — не более чем самообман: что к высотам власти вела его коварная Немезида, чтобы потом с этих высот и низвергнуть. Ведь против Резы восстала его собственная плоть и кровь, от такой измены никто на белом свете не спасет. Что ж, от Судьбы не уйдешь! И, чувствуя приближающийся неотвратимый конец, президент впал в уныние, перепоручив повседневные государственные заботы своим любимцам, генералам. Он прекрасно понимал, что, случись любому из многочисленных отрядов, прочесывающих страну в поисках бандитов-террористов, обнаружить и убить белую пантеру, в ней тут же опознают Суфию Зинобию, имя Хайдара смешают с грязью, и у власти он, конечно же, не удержится. Но даже если она и не попадет в руки преследователей, все равно беды не миновать: белая пантера, словно по спирали, сужая круг за кругом, двигалась к центру — к той комнате, по которой бессонными ночами вышагивает Реза Хайдар и где у него под ногами хрустит скорлупа от орешков. Не смыкал глаз и Омар-Хайам Шакиль: он все сидел у чердачного окна и вглядывался в не предвещавшую ничего доброго ночь.

Никто больше не жужжит в президентское правое ухо. Старец Дауд умолк навеки. И молчание это мучило и угнетало еще больше, чем все более и более злорадные напевы Искандера Хараппы в левом ухе. Реза Хайдар понял, что Всевышний бросил его на произвол судьбы, и генерала поглотила пучина отчаяния.

Я не изменил мнения о Гаруне Хараппе, фигляром он был, фигляром и остался. Время порой зло подшучивает над своими жертвами, и Гарун, некогда оравший с черепашьей спины революционные призывы, в которые никогда не верил, шутовски призывавший изготовлять бутылки с горючей смесью, вдруг оказался в той самой роли, которую всегда презирал — пресловутым вожаком отпетых головорезов.

И Рани, и Арджуманд Хараппа с разрешения властей опубликовали (не выезжая из Мохенджо) заявления, осуждающие террористическую деятельность. Но Гарун, как и всякий глупец, проявил истинно ослиное упрямство — он и ухом не повел. Казнь Искандера только усугубила дело: в сознании Гаруна окончательно померк образ некогда любимой Благовесточки. От любви до ненависти — один шаг, и теперь имя «Хайдар» действовало на Гаруна, как красная тряпка на быка. Но вот еще одна ухмылка Судьбы: сам того не ведая, Гарун помог режиму Хайдара продержаться чуть дольше. Он захватил гражданский самолет на аэродроме в К. и тем самым отвлек внимание прессы и общественности от скандала с белой пантерой.

Генерал Радди, вызванный по тревоге в связи с захватом самолета, придумал гениальный план: он приказал местной полиции задабривать и улещивать бандитов Хараппы как только можно.

— Передайте им, что в стране происходит переворот,— предложил Радди и сам подивился снизошедшему вдохновению, — что Хайдара арестовали, а узниц Мохенджо вот-вот освободят.

Глупый Гарун Хараппа клюнул на эту приманку и задержал самолет, полный пассажиров, на взлетной полосе, дожидаясь, когда его призовут принимать власть.

День выдался знойный. В салоне самолета испарения пассажиров, обратясь в капельки на потолке, дождиком сыпали на головы сидевших. На борту кончились еда и питье. Гарун — этот простодушный нетерпеливец — связался по радио с диспетчерской службой и потребовал, чтобы в самолет доставили обед. Требование его встретили весьма уважительно — разве будущий вождь народа может хоть в чем-то терпеть отказ?! Очень скоро к самолету было подано столько

всевозможных яств, что впору устраивать банкет. С диспетчерской службы настоятельно просили Гаруна отобедать, а к выходу его незамедлительно пригласят, как только улягутся страсти. Бандиты ели-пили вдосталь, ведь такой обед и во сне не приснится, а как сладко кружится голова от шипучих напитков! Не прошло и часа, как сон и впрямь сморил всех, несмотря на жару. Полицейские без единого выстрела взяли всю банду, нацепив каждому наручники.

Генерал Радди обыскал всю резиденцию главнокомандующего в поисках Хайдара. Нашел он его на чердаке, столь же мрачном, сколь и президентское настроение. Рядом сидел Омар-Хайам. Оба молчали.

— Прекрасные известия, сэр! — начал Радди, но к концу доклада понял, что опять попал впросак, так как президент напустился на него:

— Значит, упрятал Хараппу за решетку?! А с кого теперь прикажешь спрашивать за убийства?

Генерал Радди зарделся точно девушка, извинился, но не утерпел и, чтобы хоть что-то понять, спросил:

— Но, сэр, раз мы покончили с бандой «Аль-Искандер», значит, и с «делом обезглавленных» тоже. Разве не так?

— Сам ты безголовый. Уйди с глаз моих долой! — проворчал президент, и Радди почувствовал, что сердитые слова — лишь далекий отголосок гнева былого, а сейчас Реза смирился перед чем-то таинственным, но неизбежным. Радди пошел к двери, под ногами хрустела ореховая скорлупа.

А убийства, конечно, не кончились. Гибли крестьяне, бездомные собаки, козы. Круг злодейств плотно сомкнулся вокруг старого города и новой столицы, смерть подбиралась к хайдарову дому. Убивали без счета, без разбора, просто так, как садист-маньяк или одержимый иной жуткой страстью. После ареста Гаруна Хараппы разумные толкования этих зверств иссякли, и людей мало-помалу стал охватывать ужас. Вдвое больше отрядов было послано на поиски убийцы, но кровавая спираль не обрывалась, все кружила, подбиралась все ближе. В газетах уже без иронии поговаривали о чудовище. В одной статье писали, что «похоже, будто зверь привораживает своих жертв, так как ни разу не обнаружено следов борьбы». А с карикатуры огромная кобра взглядом испепеляла полчища вооруженных до зубов мангустов.

— Недолго ждать,— вслух произнес на чердаке Реза Хайдар.— Близится конец.

Омар-Хайам кивнул. Ему казалось, что Суфия Зинобия пробует свои силы, проверяет гипнотический взгляд уже не на одиночках, а на все больших и больших группах. Люди теряли способность двигаться, обороняться, а ее руки тянулись к их шеям.

— Как знать, скольких она разом порешить может, — размышлял Омар-Хайам,— то ли полк, то ли целую армию, а то и всех на свете.

Скажем прямо: Омар-Хайам трусил. Реза, уверовав в неизбежный исход, решил, что дочь подбирается к нему. Но ничуть не меньше ей, возможно, хотелось расквитаться с мужем, посадившим ее на цепь. Или с матерью которая иначе как Стыдоба ее не величала.

— Нужно бежать,— сказал Омар-Хайам Резе, но тот, казалось, не слышал. Обреченность притупила слух, в левом ухе неумолчно бормотал Искандер, а на правое давила тишина — где ж тут услышать? Человек, оставленный Богом, сам предпочтет умереть.

Когда их тайна раскрылась, Омар-Хайам поразился: каким чудом удалось так долго утаивать правду. Уборщица Асгари, не попрощавшись сбежала, не в силах, видно, сражаться с ореховой скорлупой, заполонившей весь чердак. А может, она первой из прислуги почуяла

надвигающуюся беду, угадала, что ждет каждого обитателя этого дома. Во всяком случае, скорее всего, Асгари и разнесла весть по всему городу. Видно, и впрямь власть Резы подходила к концу, так как две газеты осмелились намекнуть, что дочь президента — опасная маньячка и при отцовском попустительстве сбежала из дома довольно-таки давно. Отец же, как писалось в чересчур обнаглевшем журнале, «даже не счел нужным поставить в известность соответствующие органы». Ни радио, ни пресса, разумеется, не связывали напрямую исчезновение Суфии Зинобии с «делом обезглавленных», но к этому шло, и на базарах, на автостанциях, за столиками в дешевых кафе уже называли истинное имя чудовища.

Реза созвал троих генералов: Радди, Бекара и Фисадди — и те в последний раз услышали, как президент, собрав по крупицам остатки былого влияния, пытается командовать.

— Это подрывные элементы! Их нужно арестовать! — потребовал он, взмахнув перед генералами газетой.— И упрятать их так, чтоб света вольного не видели! Чтоб ни слуху ни духу больше не было!

Генералы вежливо позволили Хайдару выговориться, и Радди, радостно, точно исполнилась его заветная мечта, произнес:

— Господин президент, мы считаем, что подобная мера была бы неразумной.

— Не сегодня завтра меня посадят под домашний арест,— предупредил Хайдар Омар-Хайама.— Посадят, как только найдут повод. Я же говорил: конец, занавес опускается. Надо ж, каков пострел! Как я его не разглядел! Да, чутье с годами уходит. В нашей стране любой генералишка, коли задумал, непременно военный переворот устроит. Хотя поначалу-то, может, хотел только пошутить.

Как падает диктаторский режим? Триумвират генералов дает прессе полную волю. В печати начинают мелькать некоторые губительные для диктатора намеки: некогда весьма странным образом погибли индюшки у Дюймовочки Аурангзеб; потом неприятность на свадьбе младшей дочери Хайдара, когда Тальвар уль-Хаку едва не свернули шею; припомнили и обезглавленных мальчишек в трущобах — таковы последние известия.

— Люди, что сухое дерево,— сетует Реза Хайдар.— От таких искр враз возгорятся.

И вот наступает последняя ночь.

За оградой дома с утра собираются люди, толпа все растет. Даже ночью слышны песни, выкрики сколь шутливые, столь и оскорбительные. А где-то вдали — свистят, жгут костры, перекликаются. Где ж Суфия Зинобия? Придет ли она сегодня? И если не сегодня, то когда? Чем все кончится? — размышляет Омар-Хайам. Ворвется во дворец толпа? Его забьют до смерти, резиденцию разграбят или сожгут? Или по-иному: люди, словно библейские воды, расступятся, отведут взоры и пропустят Ее, их воительницу. Пусть исполняет за них всю грязную работу, пусть Зверь с огненными глазами служит им... Нет, такого быть не может! Другая безумная мысль: наверное, и охрану у дворца сняли, какой солдат решится ступить в дом, где вот-вот объявится Смерть? Тихий шорох в коридорах, точно крысиные лапки топочут,— то бегут прочь слуги, скатав постели в узлы, водрузив их на голову: носильщики и посыльные, полотеры и садовники, айи и служанки. Кое-кто ведет детишек. При свете дня они показались бы чересчур холеными для своих убогих одежд, но сейчас ночь, и их примут за бедняцких отпрысков. Всего детей двадцать семь. Омар-Хайам слу-

шает, как тихо ступают двадцать семь пар ног, он пытается сосчитать. Но вместо этого будто слышит мысли этого невидимого племени, кочующего в ночи: «Чего же вы ждете?»

— Умоляю! Попробуем все-таки выбраться отсюда! — стонет Омар-Хайам.

Но Реза сломлен. Впервые в жизни в критический момент глаза его не в состоянии увлажниться.

— Не удастся. Кругом народ. А за ним — войска! — И он беспомощно пожимает плечами.

Скрипит, открываясь, дверь. Входит женщина, хрустит под ногами ореховая скорлупа. Это — всеми забытая Билькис. В руках у нее — бесформенные балахоны из тех, что она шила все годы, проведенные в заточении. Это просторные женские накидки, и у Омара зарождается надежда. Ведь под этими — с головы до пят — накидками можно сокрыться и скрыться!

— Саван не только мертвые носят, но и живые,— просто говорит Билькис.— Надевайте!

Омар-Хайам вырывает накидку из ее рук, торопится обрести женское обличье. Сама же Билькис напяливает женский балахон на смиренную голову мужа.

— Сын твой уродился дочерью,— говорит она,— теперь тебе личину менять. Я знала, что шила, знала, что пригодится.

Президент не сопротивляется, его берут за руку, выводят из комнаты, и три фигуры в черном уже не распознать меж слуг, что спешат по мрачным коридорам прочь из дома.

Каково Резе Хайдару? В невероятной, как сон, яви? Во всеобщей сумятице и неразберихе? В женском платье? Да еще в черном?

Женщинам в чадре вопросов не задают. Они минуют толпу, цепь солдат, джипы, грузовики. Наконец, Реза подает голос:

— Ну, и дальше что? Куда теперь?

Омар-Хайама переполняет чувство, словно он смотрит сон с середины. Вот он слышит свой голос:

— Пожалуй, я знаю куда.

А как там Суфия Зинобия?

На опустевший дворец она нападать не стала. Ее так и не поймали, не убили, ее вообще больше не видели в округе. Будто враз утолила она свой страшный голод; или будто и вовсе ее не существовало, лишь в слухах да в сплетнях жила эта химера, этот мираж, увиденный бесправным народом, мираж, порожденный людской яростью; или будто она на время скрылась из виду, готовясь, выжидая — в пятнадцатом веке должен пробить ее час!

Книга V.
Судный день

Дорога их подходит к концу. Черных накидок и чадры не снимают, трясутся ли в автобусах, прячутся ли по укромным уголкам на автостанциях. Они пробираются на юго-запад. На больших скоростных автобусах не ездят, предпочитают останавливать маленькие, пригородные, и так — от селения к селению. Перевалили Потварское плато, миновали приречные равнины, а взгляды их устремлены к границе за городком К. Денег у них в обрез, потому едят мало, зато пьют вдосталь: и ядовито-зеленые целебные настои, и чай, которым всех стран-

ников и странниц угощают из больших алюминиевых котлов, а когда и воду из илистых озер, где спасаются от жары изнемогающие буйволы. Днями напролет они не обмолвятся ни словом, на маленьких автобусных станциях в очереди ожидающих они стараются держаться спокойно, когда мимо проходят полицейские в шортах, ощупывая взглядом пассажиров, постукивая дубинками по своим голым ляжкам. А как унизительно для Резы и Омар-Хайама ходить в женскую уборную. Да, бегство — обитель жалкая.

Их так и не схватили. Никому и в голову не придет, что президент в женском платье спасается бегством в тряском автобусе третьего класса. Но страх и отчаяние не уходят, и не сомкнуть беглецам глаз ни днем ни ночью. Через всю взбаламученную страну лежит их путь. А в душном мареве тесного пригородного автобуса по радио передают модные песенки с бесконечными охами, вздохами и всхлипами, да последние известия: здесь восстание, там перестрелка. Дважды автобусы с беглецами попадают в заторы из-за демонстрантов, и Реза с Омар-Хайамом гадают: а не здесь ли, в безымянном городишке, среди песков, найдут они свой конец в горящем автобусе. Но нет, их пропускают, и все близится и близится граница. За ней манит надежда: вдруг найдется освященный верой, спасительный уголок в соседней стране, где правит благочестие, где боголюбивый народ приветит изгнанника-президента с шишкой на лбу. И тогда, может, даже Ей не достать его, может, отступится жестокая Немезида, и не отомстит ему дочь — плоть от плоти его.

Так утопающий Реза, потеряв под женским одеянием мужскую гордость, хватался за соломинку надежды.

На границе полиция уже бессильна. Там шеренги бетонных столбиков шагают по пустыне. Омар-Хайам помнит рассказы о том, как через границу хаживали все кому не лень. Помнит он и старика Заратуштру, который пошел по миру из-за такой «свободы», ибо открытая граница — что пустыня, поживиться нечем. За этим воспоминанием тянется и другое — о Фарах Родригеш, и комок подкатывает к горлу, точнее, клубок, в который вплетена и другая жизнь — айи Шахбану. И тут на него опять находит дурнота. Помнится, облако, севшее прямо на границу, испугало его так, что он лишился чувств, едва не упав на руки Фарах. И вот сейчас вновь начинает кружиться голова, вновь возвращается мучитель-недуг. Он набрасывается на Омара внезапно, например, в автобусе: чьи-то куры клюют ему в затылок, в проходе сидят крестьяне, их мутит и они блюют прямо на омаровы ноги. А он будто вернулся в детство, и ему видится самое страшное — разверзшаяся бездонная пропасть. Снова все внутри дрожит от ужаса, голова идет кругом, и из самых сокровенных уголков души поднимаются упреждающие слова: что бы ни говорили, не забывай: граница — это и есть край твоего света, за ним — пустота; и все задумки перебраться за границу своего бытия — бредовый сон, погоня за пригрезившейся землей обетованной. Возвращайся в Нишапур, шепчет внутренний голос. Туда, именно туда ты и стремился всю жизнь с того дня, как уехал учиться.

Но страх побеждает дурноту, и, собравшись с силами, он на этот раз не падает в обморок.

Самое страшное — в самом конце. Они садятся в автобус, который завершит их путешествие на автостанции в городке К. И тут до них доносится чья-то шутка, от которой волосы встают дыбом:

— Ишь, до чего наша страна дожила,— фыркает водитель,— уже и мужики в женское рядятся! Под чадрой ходят!

Сам он — огромный детина, ручищи — точно бревна, все лицо заросло волосами.

В автобусе едут газодобытчики, рабочие с бокситового карьера. Они враз преображаются: кто-то залихватски свистит, кто-то отпускает шуточки, издевки, чьи-то руки уже щиплют беглецов-беглянок за

задницы. «Вот и все,— мелькает мысль у Омар-Хайама,— влипли, попались, конец нам!» Вот-вот чья-нибудь рука сорвет с них чадры, а уж хайдарово лицо известно каждому. Но тут вдруг он слышит голос Билькис:

— Стыд на ваши головы! — Автобус враз умолкает, ведь сомнения нет — говорит женщина.— До чего ж пали мужчины в ваших краях, если к женщинам как к шлюхам относятся!

Пассажиры смущенно молчат. Водитель краснеет и просит крестьян на передних сиденьях уступить места женщинам.

— Так, уважаемые, вам спокойнее будет ехать, никто вас не тронет, для меня это вопрос чести. И так уж автобус мой осрамили.

Пассажиры пристыженно притихли, а Омар-Хайам Шакиль и его спутники, пережив смертельный испуг, уже за полночь добрались до автобусной станции на окраине К. Омар-Хайам, тяжело переваливаясь на больных ногах (привычную трость пришлось оставить), вконец измученный, повел Резу и Билькис по темным улочкам к огромному особняку меж военным городком и базаром. Там он приподнял чадру и по-особенному свистнул: раз, другой, пока не зашевелилась штора в окне на верхнем этаже. Опустилось механическое устройство — детище Якуба-белуджа — и, словно ведро из колодца, подняло гостей в Нишапур, родовое гнездо Шакиль.

Три матушки увидели, кто у них в гостях, по очереди ахнули (видно, после долгих лет заточения они сняли слишком тесные корсеты со своих душ), устроились поудобнее на старом, скрипучем диване-качалке и заулыбались. Улыбка (одна на троих) была блаженна и простодушна, но ее копии на одинаково сморщенных и ввалившихся губах будили отчетливую, хотя и необъяснимую тревогу. Несмотря на глубокую ночь, одна из старушек (измученный путешествием Омар-Хайам все же признал в ней маму Чхунни) велела сыну тотчас же идти на кухню и приготовить чай, будто Омар-Хайам отлучался не на долгие годы, а лишь на минуту-другую.

— Слуг у нас больше нет,— извинилась мама Чхунни перед Резой Хайдаром — тот наконец сорвал с себя чадру с покрывалом и замертво рухнул в кресло; состояние его лишь отчасти объяснялось усталостью.— Но мы просто обязаны встретить первых за пятьдесят лет гостей чашкой чая.

Омар-Хайам проковылял на кухню и вернулся с сервизом на подносе, но заслужил лишь снисходительный упрек второй любящей матушки, усохшей вполовину Муни.

— Ей-богу, ты неисправим! Мальчик мой, что ты принес? Посмотри-ка в горке и принеси самый лучший сервиз,— и указала на большой, тикового дерева шкаф, где, к великому изумлению, Омар обнаружил давным-давно затерявшийся сервиз из тысячи предметов с гарднеровских заводов царской России, рукотворное чудо, о котором еще в детстве Омар-Хайама слагали легенды. Его даже бросило в жар при виде явившегося из небытия сокровища, а в голове закрутились тревожные мысли: вспомнились детские страхи, возродив изредка посещавшие его жутковатые предчувствия, что в доме живут лишь привидения да тени прошлого. Но голубые с розовым чашки и блюдца, десертные тарелочки вполне осязаемы. И он трепетно, до конца еще не веря в чудо, водрузил их на поднос.

— Ну а теперь сбегай в кладовку и принеси пирог!— скомандовала младшенькая матушка, восьмидесятилетняя Бунни, голос у нее радостно задрожал, но причину она не удосужилась объяснить. Омар-Хайам удивленно хмыкнул и заковылял на поиски давным-давно засохшего шоколадного пирога — последней дани ТАКАЛЛУФУ, под знаком которого и проходило это необыкновенное чаепитие, больше похожее на причудливо-кошмарный сон.

— Ну вот, сейчас ты умница,— похвалила его Чхунни, с трудом нарезая окаменелый пирог.— Мы всегда потчуем высоких гостей чаем с пирогом.

Омар-Хайам заметил, что в его отсутствие матушки, обезоружив Билькис своим неистощимым светским обаянием, вынудили ее расстаться с чадрой и покрывалом. Обнаружилось ее безбровое, пепельно-серое от усталости и недосыпа лицо, похожее на посмертную маску. Лишь по красным пятнышкам на скулах можно догадаться, что она жива. От вида Билькис Омар-Хайаму сделалось совсем невмоготу. Чашка в руке звякнула о блюдце, а сердце защемило, вернулись былые страхи, вспомнилось его детство в этом похожем на склеп доме; там даже живые превращаются, как в волшебном зеркале, в привидения. Но вот Билькис заговорила, и омаровы страхи точно ветром сдуло — так поразили его необычные и непонятные слова.

— Раньше жили великаны,— отчетливо и задумчиво произнесла Билькис.

ТАКАЛЛУФ вынудил ее начать беседу, но Билькис уже отвыкла от светской болтовни, разучилась плести словесные кружева, прибавьте к этому источившее ее душу и тело долгое затворничество, не говоря уж о чудачестве, взыгравшем в последние годы. Билькис чинно отливала из чашки, ослепительно улыбалась в ответ на триединую улыбку хозяек, и, очевидно, ей представлялось, что она рассказывает забавный анекдот или остроумно шутит о вычурности моды.

— Раньше по земле ходили великаны,— со значением повторяет Билькис.— Настоящие гиганты, поверьте мне.

А три матушки знай себе поскрипывают-покачиваются на диване, и лица у них внимающие и сосредоточенные. Зато Реза Хайдар и ухом не ведет, закрыл глаза и что-то ворчит.

— А сейчас верх взяли пигмеи,— доверительно продолжает Билькис. — Мелюзга всякая. Муравьи. Когда-то и он был великаном, — она ткнула большим пальцем в сторону сонного мужа.— Сейчас не поверите, но, честное слово, был. Пройдет по улице, так все дыхание затаят: кто от почтения, а кто от страха. Причем не где-нибудь, а у вас в городе. И вот, сами видите, даже великан может обмельчать, стать пигмеем, съежиться, скукожиться. Ведь он сейчас меньше клопа! Пигмеи, кругом одни пигмеи, муравьи и клопы. Стыд великанам! Стыд! За то, что обмельчали, так я думаю.

Пока Билькис сетовала, матушки с серьезным видом кивали, а в заключение поспешили согласиться.

— Вы совершенно правы!— любезно промолвила Чхунни, а Муни подпела:

— Да, пожалуй, великаны и впрямь были.

А Бунни подвела итог:

— Но ведь были и есть еще ангелы, а они всегда рядом. Мы в этом уверены.

Билькис попивала чай, и посмертная маска сходила с ее лица, напротив, она необычайно раскраснелась, видно, ей очень хотелось обрести утешение в этом нелепейшем собрании, хотелось убедить себя, что здесь покойно, потому-то с такой отчаянной быстротой она и сблизилась с тремя древними старухами. Но Омар-Хайам стараний Билькис не замечал. В тот миг, когда его младшая матушка упомянула ангелов, он вдруг понял, чем вызвано необычное радостное возбуждение трех сестер. Сейчас, участвуя в этом безумном представлении, они, что называется, «с листа» говорили свои роли, боясь обмолвиться о некоем давно погибшем юноше. Старушки приветливо улыбались, но за приветом скрывалась черная дыра, вроде той, что остается в кирпичной кладке после бегства узницы. Старушки тщательно обходили страшный провал, который, увы, не запечатлел силуэта Бабура Шакиля — имени его в тот вечер не произносили. Да, да, в тот вечер к ним припожаловал Реза Хайдар, сам им в руки дался, как тут

не взволноваться и не возрадоваться. Естественно, они считали, что Омар-Хайам привел его в дом с единственной целью. И как могли старались не испортить дела, улестить и успокоить свои жертвы, чтоб, не дай бог, чета Хайдар не заподозрила подвоха и не сбежала. С другой стороны, у них гора свалилась с плеч: наконец-то прямо на глазах свершится долгожданная месть. И голова у Омар-Хайама пошла кругом. Он чувствовал, что матушки заставят его безжалостно и хладнокровно лишить Резу Хайдара жизни прямо под крышей Нишапура.

Наутро он проснулся от того, что Билькис со стуком захлопывала окна. Омар-Хайам через силу сполз с мокрой от пота постели, ноги дрожали и подкашивались от слабости, каждый шаг давался с еще большим трудом. Все же он вышел за порог посмотреть, что происходит. Три матушки стояли и наблюдали, как по всему дому вихрем носится Билькис, захлопывает окна так яростно, будто кто крепко ей досадил, закрывает ставни, опускает шторы. Омар вдруг словно впервые увидел, как высоки и стройны матушки — точно руки, воздетые к небу. Они стояли с одинаково озабоченными лицами, поддерживая друг друга под локоть, и даже не пытались остановить разбушевавшуюся Билькис. Хотел было сделать это Омар-Хайам — ведь при закрытых окнах воздух в доме враз загустел и напитался резкими острыми запахами, будто в нос залили пряную похлебку,— но матушки остановили его.

— Она у нас в гостях,— прошептала мама Чхунни,— если понравится, может и насовсем остаться.

Старушка-прозорливица истолковала действия Билькис правильно: наскиталась, бедолага, не верит больше ни в какие границы, ни в то, что за ними. Билькис старалась отгородиться от всего мира, надеясь — а вдруг он и вовсе исчезнет. И сестры Шакиль поняли ее намерения без слов.

— Она настрадалась, — сказала Муни Шакиль и загадочно улыбнулась,— но у нас она найдет покой.

Омар-Хайам уже задыхался, ему не хватало воздуха, не хватало пространства. Он заразился клаустрофобией. Но не только ею. В воздухе витала и другая зараза. Вот свалилась на пол в жарком беспамятстве Билькис, и Омар понял причину и слабости, и потливости, и дрожи в ногах.

— У меня малярия,— с трудом проговорил он, все вокруг закрутилось-завертелось, и он рухнул рядом с Билькис — словно в холодный колодец провалился, хотя тело его пылало.

А в это время Реза Хайдар пробудился от нехорошего сна: ему привиделся некогда расчлененный Синдбад Менгал, ныне при всех членах, только голова покойника торчала из живота, а ноги —ослиными ушами — из шеи. Менгал отнюдь не упрекал Резу, а лишь предупредил, что, судя по тому, как разворачиваются события, через несколько дней и самого генерала-сахиба на кусочки порежут. Храбрец-Резец, еще толком не проснувшись, вскочил с кровати, вопя «караул», но и его уже снедала малярия. Задыхаясь, генерал упал навзничь и затрясся, как в лютый мороз. Подошли сестры Шакиль, поглядели, как бьется Реза в ознобе.

— Вот и хорошо,— успокоенно проговорила Бунни Шакиль,—похоже, генерал еще погостит у нас.

Малярия — это леденящее пламя. Оно сжигает границу между явью и забытьем, так что Омар-Хайам не знал наверное, происходило ли все наяву или он бредил. То, лежа в темной комнате, он слышал, как Билькис кричит что-то о менингите, о каре господней и о суде: Всевышний наслал болезнь на дочь в городе, где познала стыд мать.

То ему прислышалось, как громогласно Реза просит принести кедровых орешков. То он явственно видел фигуру забытого Эдуарду Родригеша, и тот укоризненно качал головой, держа на руках мертвого младенца. А может, это все явилось ему в бреду. Когда, как ему казалось, наступали минуты просветления, он звал матушек и просил их записать названия лекарств. Какие-то лекарства — он помнил точно — ему давали, поднимали ему голову, совали в рот белые таблетки. Но, нечаянно раскусив одну, он почувствовал вкус мела, в его воспаленном мозгу полыхнуло подозрение, что матушки и не думали посылать за лекарствами. Огненными сполохами мелькали и другие мысли: а вдруг сестры Шакиль рады-радешеньки, что малярия сама сделает за них черное дело, вдруг они готовы даже единственного сына принести в жертву, только чтоб он ненавистных Хайдаров в могилу с собой забрал. Может, они спятили, а может, и я, думал Омар-Хайам, но тут снова накатывал приступ малярии, и даже думать становилось невмоготу.

Порой казалось, что сознание вернулось. Из-за ставен и закрытых окон с улицы доносились сердитые голоса, выстрелы, взрывы, где-то били стекло; если все это слышалось наяву, значит, в городе неспокойно. Ну да, он отчетливо помнит, как кричали: «Гостиница горит!» А может, все-таки он бредил? Как ни пленила Омара малярийная трясина, воспоминания все же прокрадывались к нему. Да, он точно слышал, как горела гостиница, как обрушился золотой купол, как взвилась напоследок разноголосица оркестра и смолкла под обвалившимся потолком. Еще вспомнилось утро, когда едкий дым с гостиничного пепелища проник в Нишапур — не задержали его ни ставни, ни рамы. Серым облаком просочилась пепельная смерть в спальню Омар-Хайама, еще отчетливее понял он, что находится в доме теней и духов. Но когда он спросил матушку (которую?) о пожаре в гостинице, та (кто?) ответила:

— Закрой глаза и успокойся. Какой еще пепел, что за выдумки?

Но Омара не покидала уверенность, что за окном все переменилось, старым порядкам пришел конец. Рушились прежние устои, возникали новые. Словно весь мир сотрясался от землетрясения, разверзались бездны, восставали сказочные дворцы и тут же обращались во прах; словно законы Немыслимых гор стали действовать и на равнине. В бреду, в жарких тисках болезни, в тяжелом смрадном воздухе, казалось, не выжить, возможно только умереть. Внутри него тоже происходили и оползни, и потрясения, тоже что-то рушилось в груди, ломались какие-то шестеренки, механизм его тела работал с перебоями, нарушился его тон.

— Видно, вконец износился мотор,— сказал он вслух в ту пору Застывшего Времени.

Подле его постели сидели на скрипучем диване-качалке матушки. Как этот диван появился у него в спальне, для чего? Может, это просто тень, мираж — Омар отказывался верить, зажмуривал глаза, открывал вновь минуту (а может, и неделю) спустя, а матушки все так же сидели; ага, значит, состояние его ухудшилось, ведь бредовые идеи лишь усиливаются. Сестры печально сетовали на то, что дом уже не столь велик, как прежде.

Мы теряем комнату за комнатой,— пожаловалась тень Бунни.— Сегодня мы не смогли найти кабинет твоего дедушки. Помнишь, где он был? А сейчас за той дверью столовая, хотя быть такого не может, она в другом конце коридора.

Чхунни кивнула:

— Да, печально. Ах, как судьба безжалостна к старикам! Всю жизнь спишь в одной комнате, и в один прекрасный день — раз! — и ее нет, даже лестницы не сыскать.

— Жаль, — поддакнула и средненькая мама Муни. — Усыхает дом,

садится, как старая стиранная дешевая рубашка. Скоро меньше спичечного коробка станет, и окажемся мы на улице.

Последнее слово за Чхунни.

— А окажись мы под палящим солнцем, не под защитой стен,— пророчествовала старшая матушка,— мы мигом в прах обратимся, и нас ветром развеет.

Потом он снова впал в забытье. Очнувшись, не увидел ни дивана-качалки, ни матушек. Он лежал на огромной постели о четырех столбцах, по ним змеи все подбирались и подбирались к вышитым на балдахине райским кущам. На этой постели умер дед. Омар-Хайам чувствовал себя сильным и здоровым. Значит, нужно вставать. Он спрыгнул на пол и босиком в одной пижаме пошел по комнатам. Наверное, это мне чудится, подумал он, но удержаться уже не мог. Ноги больше не болели, они несли его по захламленным коридорам: множество вешалок, рыбьих чучел в стеклянных витринах, сломанных бронзовых часов. Нет, дом отнюдь не усох, не уменьшился, а наоборот, разросся: перед Омар-Хайамом — двери всех комнат и домов, где он когда-либо бывал. За каждой дверью — его судьба. Он распахнул заросшую паутиной дверь и отшатнулся: то была операционная столичной больницы, над операционным столом склонились люди. Заметив его, они замахали ему — подходи, друг! Но Омар-Хайаму страшно взглянуть на лицо пациента. Он резко повернулся и вышел, под ногами захрустела ореховая скорлупа. А вокруг — уже двери резиденции главнокомандующего. Омар-Хайаму захотелось обратно, в свою спальню, он побежал, но коридоры петляли и кружили. Наконец они вывели его к свадебному блестящему зеркалами шатру. Он очутился на свадьбе, в зеркальном осколке ему увиделось лицо невесты, на шее у нее была петля. «Лучше б тебе умереть!» — выкрикнул Омар-Хайам, и все гости воззрились на него. Одеты они были в рубище: нарядной публике небезопасно появляться на улицах города. И все они пели известную прибаутку: «Стыд и срам, стыд и срам — хорошо знакомы вам». Он снова побежал, но все медленнее, все грузнее тело, все жирнее — вислые подбородки, вот они опустились на грудь, живот складками упал на колени, и вот Омар-Хайам уже не в силах и шагу ступить, обливается потом от натуги, его бросает то в жар, то в холод, и негде искать спасения, кажется ему. Как вдруг, метнувшись назад, чувствует: на плечи легонько опускается белый, мокрый от пота саван... Омар-Хайам понял, что лежит в постели.

И слышится ему знакомый голос (но определить чей, удалось не сразу). Это Хашмат-биби. Ее слова доносятся из облака:

— Единственный ребенок. Такие вечно в своих фантазиях живут.

Но он оказался в семье не единственным ребенком.

Горит, горит он в леденящем пламени. И у него менингит? Вот у его постели — Билькис. Она гневно тычет пальцем в пирог.

Там яд. Они отравили пирог малярийным ядом! — бросает обвинение Билькис.— Конечно, мы изголодались, вот и не утерпели, наелись!

Какая возмутительная клевета! Какое пятно на добром имени семьи! Он пытается защитить матушек, их гостеприимство. Пирог, конечно же, черствый, но, право, зачем так зло шутить? Ведь по дороге что только не пили, ясно, организм ослаблен. А Билькис лишь плечами повела, шагнула к буфету и стала швырять одну за другой тарелки и блюдца знаменитого сервиза об пол, и от тысячи предметов осталась лишь кучка розово-голубой пыли. Омар-Хайам закрыл глаза, но попал лишь в другое видение: Реза Хайдар в форме, на каждом плече по мартышке. На правом — похожа на старца Дауда, она прикрыла лапками рот, на левом — копия Искандера Харапши, почесывает под мышкой. Сам Хайдар закрыл руками уши, а Искандер, вдоволь начесавшись, прикрыл руками глаза, но неплотно, подглядывая.

— Наступает конец всем рассказам, наступает конец света, а затем — Судный день,— произносит мартышка-Хараппа.

Кругом огонь, восстают мертвые, корчась в языках пламени...

Иногда болезнь затихала, и Омар-Хайаму снились иные, правдивые сны, но о том, о чем он знать никак не мог. Вот начались распри меж тремя генералами. Народные волнения не прекращаются. Великие державы изменили свою позицию, сочтя армейский режим ненадежным. Арджуманд и Гарун выходят на свободу. Возродившись, они пришли к власти. Итак Кованые Трусы и ее единственный возлюбленный взяли бразды правления в свои руки. Низвергнуто господство ислама, поднят на щит миф о мученике-Хараппе. Сажают в тюрьму, мстят, отдают под суд, вешают противников, льется кровь, вновь сошлись бесстыдство и стыд. А в Мохенджо по земле пошли трещины.

Привиделась ему и Рани Хараппа. Она так и осталась в усадьбе и в один прекрасный день прислала дочери в подарок восемнадцать искуснейше расшитых шалей. Это предрешило ее судьбу: Арджуманд посадила мать под домашний арест. Тем, кто творит новые мифы, недосуг возиться с вышитыми обвинениями. Рани остается доживать век в доме под насупившейся крышей, там, где из крана течет кровавокрасная вода. Рани наклоняет голову к Омар-Хайаму Шакилю и шепчет приговор-эпитафию самой себе:

— Пока Рани Хараппа на свободе, всему свету угрожает опасность!

Наступает конец всем рассказам, наступает конец света, а затем — Судный день.

Мама Чхунни говорит ему:

— Тебе еще кое о чем следует знать.

А Омар-Хайам беспомощно распластался меж деревянными змеями, его бросает то в жар, то в холод, взгляд воспаленных глаз блуждает. Ему не хватает воздуха: словно некий чудесный судия похоронил его под огромной кучей шерсти. Или — огромный кит на мели, он задыхается, его уже поклевывают птицы. Но сейчас, кажется, он не бредит, три матушки и впрямь сидят подле него, сейчас они поведают ему тайну. Голова у Омар-Хайама идет кругом — он закрывает глаза.

И впервые в жизни слышит он последнюю семейную тайну, пожалуй, самую ужасную. Это история его прадеда Хафизуллы и его брата Руми. Каждый выбрал себе невесту, прежде отвергнутую другим. Полный разлад у братьев наступил, когда Хафиз пустил по городу слух, что братнина жена — более чем легкого поведения, что Руми отыскал ее в квартале самых низкопробных вертепов. Жена Руми не преминула отомстить. Она призналась мужу: дескать, потому так злобствует его брат-ханжа, что сам хотел переспать с ней — уже после женитьбы — да она дала ему от ворот поворот. Руми Шакиль исполнился холодного презрения и тут же, подсев к письменному столу, сочинил анонимное ядоточивое послание брату, в котором рассказал об измене его жены с известным музыкантом — виртуозом ситара. Он бил наверняка, так как писал правду. Хафиз Шакиль помертвел, прочитав письмо,— ведь он так доверял жене! Почерк брата он узнал тут же. Жена призналась в измене сразу. Дескать, она всегда любила этого музыканта и убежала бы с ним, не выдай ее родители замуж за Хафиза. После чего омаров прадед слег. Когда жена пришла проведать его, держа на руках их сына, болящий положил правую руку на грудь и обратил последние слова к несмышленому сыну.

— Видно, вконец износился мотор,— грустно произнес он.

И в ту же ночь умер.

— Ты повторил его слова,— напомнила Муни Омар-Хайаму,— ты бредил и, конечно, не понимал, о чем говоришь. Тот же смысл — те же слова. Теперь ты понимаешь, почему мы рассказали эту историю.

— Ты знаешь теперь все,— продолжала мама Чхунни,— в нашей семье братья всегда были злейшими врагами. Наверное, сам догадываешься, что и ты не исключение.

— У тебя тоже был брат,— закончила Бунни,— и ты втоптал память о нем в грязь!

В детстве, когда он еще не покинул Нишапура, матушки отказали ему в праве на стыд. Теперь они обратили этот разящий меч против него же.

— Отец твоего брата был Архангел,— прошептала у его изголовья Чхунни,— потому-то мальчик и не задержался на этом свете. А тебя породил сам Дьявол.

Омар-Хайам уже погружался в трясину беспамятства, но последние слова он разобрал — никогда раньше матери так дружно не поднимали вопрос об отце. Он понял, до чего матушки ненавидят его, и, к своему удивлению, почувствовал, что ненависть эта давит непосильной ношей и тянет вниз-вниз, в бездонную пучину небытия. Омар-Хайам, шестидесятилетний старик, барахтался под мерзкой жирной тушей материнского презрения. Они откармливали это презрение много лет, предлагая на закуску себя, свои воспоминания об убитом Бабуре — все ему, ненавистному и любимому выкормышу. А тот жадно пожирал их подношенье, вырывая его из длинных костлявых рук трех сестер.

Их ныне мертвый сын, Бабур, за всю свою короткую жизнь благодаря матушкам так и не избавился от чувства неполноценности перед старшим братом, удачливым, немало достигшим. Ведь это Омар уберег от ростовщичьей лавки все матушкины реликвии прошлого, он отогнал Пройдоху от родительского гнезда. За всю жизнь старший брат так и не увидел младшего. Для матушек дети — что розги, то старшим младшему грозили, потом — наоборот. Вот и не выдержал Бабур, задохнулся от матушкиного безмерного почитания Омар-Хайама, сбежал в горы, и враз все поменялось у матушек: теперь их мертвый сын стал укором живому. ТЫ ПОРОДНИЛСЯ С УБИЙЦЕЙ БРАТА. ТЫ ПРЕСМЫКАЛСЯ ПЕРЕД ВЛАСТЬ ИМУЩИМИ. И видится Омар-Хайаму сквозь закрытые глаза, как матушки надевают ему на плечо гирлянду своей ненависти. Да, на этот раз он не ошибся: мокрая от пота борода его трется о рваные шнурки, потертые, но издевательски высунутые язычки башмаков — на шее у него башмачная гирлянда.

Зверь многолик. Чем захочет, тем и обернется. И Омар-Хайам чувствует, как чудище ворочается у него в кишках и принимается пожирать его нутро.

Однажды, проснувшись на рассвете, генерал Реза Хайдар ощутил стеклянный звон в ушах, словно разбивались вдребезги тысячи окон, и понял, что болезнь пошла на убыль. Он вздохнул и сел в постели.

— Я победил тебя, малярия! — довольно воскликнул он.— Старый Резак еще повоюет!

Звенеть в ушах перестало, и Реза поплыл по морю тишины — впервые за долгие четыре года умолк и голос Искандера Хараппы. За стеной дома каркали вороны, но сейчас они были ему милее соловьев.

«Значит, я пошел на поправку!» — подумал Реза Хайдар. И только тут увидел, в каком ужасном он положении. Видно, все время постель не меняли и за больным не убирали — он лежал среди собственных испражнений. Простыни пожелтели от пота и мочи, кое-где пропитались плесенью, да и по телу от нечистот пошли пятна.

— Так вот, значит, как эти старые перечницы о госте заботятся! Ну, я им покажу! — гаркнул он в пустой спальне.

Плачевное состояние его отнюдь не отразилось на радужном настроении. Генерал встал с постели, ноги почти не дрожали. Он стряхнул все зловонные покровы своего недомогания, потом осторожно, сморщившись от омерзения, собрал постельное белье в охапку и выбросил в окно.

— Вот вам, ведьмы старые! Придется за своими гнусными тряпками на улицу показаться.

Совершенно голый Реза пошел в ванную и принял душ. Смыв с мыльной пеной смрад болезни, он исполнился благодушия и стал подумывать о возвращении к власти.

— А что мне мешает? — спросил он самого себя.— Никто в стране еще ничего не знает. Еще не поздно. Почему бы не попробовать?

На него нахлынул прилив нежности к собственной супруге, ведь она вырвала его из лап недругов, надо сейчас же отыскать ее, объясниться.

— Я ее ни в грош не ставил! — корил он себя.— А она просто молодчина!

Воспоминания о Суфие Зинобии беспокоили его не более чем дурной сон. Да и вообще, может, это одно из бредовых видений трепавшей его малярии. Обвязавшись полотенцем, он вышел из ванной — нужно найти одежду.

— Если Билькис еще не выздоровела, буду денно и нощно ее выхаживать,— поклялся он,— не оставлю ее на растерзание этим выжившим из ума стервятницам.

Одежду он так и не нашел.

— Вот черт! — вырвалось у него богопротивное слово.— Неужто не могли оставить мне рубашку с шароварами!

Он открыл дверь, позвал. Молчание. Оно, казалось, затопило весь дом.

— Что ж, придется им меня в таком виде лицезреть! — решил Реза, потуже обмотался полотенцем и пошел искать жену.

Одна комната, другая, третья — везде пусто и темно. Четвертая — та самая, он догадался по вони.

— Суки! — отчаянно крикнул он пустому коридору, раскатившему его голос.— Стыда у вас нет!

Он открыл дверь — смрад стоял еще более тяжелый, чем у него в комнате. Билькис Хайдар недвижно лежала в грязи и зловонии.

— Все в порядке, Биллу,— шепнул он,— пришел твой Резец-молодец. Сейчас вымою тебя, не беспокойся. Ух, зверюги! Да я их заставлю дерьмо языком слизывать. В носы им его насую!

Билькис не ответила. Реза принюхался и лишь тогда понял, в чем дело.

Кроме вони испражнений учуял он и другой страшный запах. Словно висельной петлей перехватило горло. Реза опустился на пол, забарабанил по каменной плите и заговорил; получилось сердито, хотя на душе было совсем иное:

— Господи, Биллу, что ты еще придумала! Ты что, притворяешься, меня разыгрываешь? К чему это! Ведь не умерла же ты в самом деле!

Но Билькис уже перешла свою последнюю границу.

Реза Хайдар смутился — нехорошо мертвой выговаривать — и тут увидел, что прямо перед ним стоят три сестры Шакиль, прикрыв лица надушенными носовыми платками. Мама Чхунни держала в руке древний мушкет, некогда принадлежавший ее деду Хафизулле. И целила прямо в грудь Резе. Впрочем, мушкет ходил ходуном у нее в руке, и вряд ли она поразила бы цель. К тому же смертоносное оружие по

причине несказанной старости разорвалось бы прямо в руках Чхунни, нажми она на курок. Положение Резы усугублялось тем, что остальные сестры были тоже вооружены. Платки они держали в левой руке, а в правой у Муни был устрашающего вида тесак, с убранной каменьями рукоятью. Крошка Бунни сжимала древко копья со ржавым, но несомненно острым наконечником. Радужное настроение, не попрощавшись, покинуло Резу Хайдара.

— Тебе б вместо нее умереть! — провозгласила Чхунни Шакиль.

С хорошим настроением у Резы почему-то улетучилась и вся злоба на старух.

— Бог нас рассудит! — бросил Реза и подначил: — Ну, что ж вы, смелее!

— Он правильно сделал, что привел тебя,— задумчиво продолжала Бунни.— Молодец наш сынок. Дождался, пока тебя свергнут. Теперь тебя и убить не стыдно, ты уже все одно мертвяк. Так что это — казнь мертвеца.

— Да и Бога нет,— добавила Муни.

Чхунни ткнула мушкетом в сторону Билькис.

— Возьми ее на руки,— приказала старуха.— Так, грязную и бери. И неси, да побыстрее.

Реза поднялся на ноги. Полотенце сползло с бедер, подхватить его он не успел и предстал перед тремя сестрами в чем мать родила. Они целомудренно ахнули.

Свежевымытый и совершенно голый, генерал Реза Хайдар понес вонючее и грязное тело жены по коридорам Нишапура, а три сестры кружили подле него, точно вороны над падалью.

— Сюда, сюда иди.— Чхунни ткнула широким раструбом дула в спину Резы, и тот вошел в темное помещение, откуда ему уже не выйти. Он понял, что находится в подъемнике, тот вплотную примыкал к окну и загораживал свет. Реза решил: что бы ни случилось, он не произнесет ни слова. Но, оказавшись в подъемнике, не сдержал изумления:

— Что вы задумали?! Выпроваживаете нас?

— Такой знатный генерал у нас в городе! — задумчиво сказала Муни.— Столько старых друзей захотят его повидать! Какой прием окажут, знай они, кто к ним пожаловал.

Итак, голый Реза Хайдар оказался рядом с телом жены в подъемнике, а три сестры отошли к щитку с рычагами и кнопками.

— Этот механизм сработан большим умельцем,— пояснила Чхунни.— В ту пору жили мастера на все руки. Этого звали Якуб-белудж. Мы передали ему с нашей незабвенной Хашмат-биби просьбу, и он сокрыл в этом механизме кое-какие секреты. И сейчас мы их проверим — в первый и последний раз.

Реза Хайдар ничего из сказанного не понял, лишь крикнул:

— Выпустите меня поскорее! Зачем время тянуть?!

То были его последние слова.

Каждая из сестер взялась за рычаг, и Муни сказала напоследок:

— Мы попросили его встроить кое-что в стенки. Думалось, для собственной защиты. Но, согласитесь, месть сладостна.

Резе Хайдару на мгновение вспомнился Синдбад Менгал, но тут сестры одновременно нажали на рычаги, и поэтому трудно судить, кто нажал чуть раньше или чуть сильнее. Старинные пружины Якуба-белуджа сработали превосходно, открылись потайные ниши, из них стрелами вылетели смертоносные длинные кинжалы, впились в тело Резы — в глаза, в шею, в пах, в живот — и располосовали его. Язык отрезало начисто, и он вывалился на колени генерала. В горле у Резы заклокотало, он дернулся и затих.

— Оставим их там,— повелела Чхунни сестрам.— Подъемник нам больше не нужен.

Приступы следовали один за другим, виски то сжимало, то отпускало, будто в схватках при родах. В камере было видимо-невидимо малярийных комаров, но они почему-то не торопились нападать на следователя, мужчину с увечной шеей. На голове у него был белый шлем, в руке — хлыст.

— Ручка и бумага перед вами,— говорит он.— Не сознаетесь во всем чистосердечно — не рассчитывайте на помилование.

— Где мои матушки? — жалобным ломающимся голосом подростка спрашивает Омар-Хайам. Он то басит, то пускает петуха и весьма этим смущается.

— Шестьдесят пять лет, а ведет себя как маленький,— фыркает следователь.— Не тяните, у меня времени мало. Меня ждут играть в поло.

— А меня и впрямь могут помиловать?— спрашивает Омар-Хайам.

Следователь лишь досадливо пожимает плечами:

— Всякое возможно. Бог всемогущ, вы скоро в этом убедитесь.

— А о чем мне писать? — думает Омар-Хайам. И берется за ручку.— Я во многом могу сознаться: бросил родной дом, обжорствовал, пьянствовал, занимался гипнозом. Соблазнял девушек, а со своей женой не спал. Злоупотреблял орешками. Мальчишкой любил подглядывать, безумно увлекся малолетней да вдобавок умственно отсталой девочкой, не сумел отомстить за смерть брата. Я его, правда, не знал. Трудно мстить за чужих людей. Признаюсь: я относился к родным как к чужим.

— Это все никому не нужно,—обрывает его следователь.—Что вы за человек? Каким нужно быть подонком, чтобы всю вину свалить на матушек, пусть-де их за решетку сажают.

— Я не жил, а сидел на обочине жизни. Не я, а другие люди играли главные роли в моей собственной жизни. Хайдар и Хараппа — вот их имена. Один пришлый, другой местный. Один набожный, другой безбожник. Один военный, другой гражданский. И женщины играли тоже главные роли. А я лишь смотрел из-за кулис и не знал, какая роль у меня. Я признаюсь в карьеризме, в пристрастии к своей профессии врача, даже в борцовских поединках я выступал как личный врач. Еще признаюсь: я боялся спать.

— Мы топчемся на месте,— следователь уже сердится.— Улики против вас неопровержимы. Ваша трость-кинжал, ее подарил вам Искандер Хараппа, заклятый враг потерпевшего. Мотив убийства очевиден, как очевидна и подвернувшаяся возможность. Так к чему вам ловчить и юлить? Вы просто поджидали удобный момент, вы жили двойной жизнью: втерлись в доверие к родным потерпевшего, а потом заманил супругов в ловушку — пообещали переправить за границу, они и клюнули. Что ж, приманка завидная. А потом вы совершили зверское убийство, нанеся множество ножевых ран. Все это очевидно. Так что кончайте валять дурака и пишите признание.

— Не виноват я,— говорит Омар-Хайам.— Трость-кинжал мне пришлось оставить еще в резиденции главнокомандующего.

Вдруг он чувствует в карманах что-то тяжелое. Следователь протягивает карающую руку, и Омар, увидев на ладони следователя нечто страшное, тоненьким срывающимся голоском кричит:

— Это мне матушки подложили!

Но что толку оправдываться. На ладони у его мучителя аккуратно нарезанные кусочки тела Резы Хайдара, его усы, глаза, зубы.

— Нет тебе прощенья! — произносит Тальвар уль-Хак, поднимает пистолет и стреляет Омар-Хайаму в сердце. Вся камера вдруг занима-

ется пламенем. Под ногами у Омар-Хайама разверзается пропасть, накатывает дурнота, весь мир погружается во мрак.

— Признаюсь! — кричит он, но уже поздно. Мрак поглощает его, и темное пламя сжигает дотла.

За долгие годы люди уже привыкли не обращать внимания на особняк сестер Шакиль, и только к вечеру заметили и возгласили по всей округе, что парадная дверь распахнута — такого не припомнят даже старожилы. Значит, случилось нечто из ряда вон выходящее. Почти никто не удивился, увидев лужу застывшей крови подле подъемника. Долго стояли люди перед открытыми дверьми, не решались не то что войти, даже заглянуть в дом, хотя и изнывали от любопытства. Вдруг, как по беззвучной команде, все разом ринулись к входу: сапожники и нищие, газодобытчики и полицейские, молочники, банковские служащие, женщины прямо верхом на ослицах, мальчишки с обручами и палками, лоточники, акробаты, кузнецы, жены и матери — одним словом, все.

Обитель гордыни трех заносчивых матушек смиренно дожидалась своей участи, отданная во власть зевак и прохожих. Люди сами поразились вдруг проснувшейся в них ненависти к этому дому, ненависти, капля за каплей копившейся шестьдесят пять лет в недрах памяти. Круша все на своем пути, люди бросились искать старух. Такой же тучей налетает саранча. Со стен срывали старинные гобелены, и ветхая ткань прямо в руках обращалась во прах; взламывали крышки у шкатулок и находили пачки денег и кучи монет, которые давно уже не имели хождения; распахивали скрипучие двери, старые петли не держали, и двери валились на пол; переворачивали постели, вытряхивали из кухонных ящиков столовое серебро; переворачивали ванны и откручивали золоченые ножки; в поисках сокровищ вспарывали обивку диванов; а старый диван-качалку выбросили на улицу из ближайшего окна. Люди словно очнулись от колдовского сна, получили наконец объяснение старинной, долго мучившей их тайне. Потом они будут изумленно смотреть друг на друга, не веря своим глазам, и гордость будет бороться в их душах со стыдом. «Неужто это наших рук дело?— станут вопрошать они.— Ведь мы же простые люди».

Стемнело. Сестер так и не нашли.

Зато нашли тела в подъемнике. А сестры Шакиль исчезли. Больше их никто никогда не видел — как в Нишапуре, так и вообще на белом свете. Они покинули свое гнездо, но, возможно, сдержали слово: оказавшись под палящим солнцем, мигом обратились в прах и его развеяло ветром. А может, у них выросли крылья и унесли сестер на запад, к Немыслимым горам. Во всяком случае, такие сильные женщины на полпути не останавливаются. Как скажут, так и сделают.

Ночь. В комнатушке под самой крышей нашли старика. Он лежал на огромной постели под балдахином на четырех столбцах, по которым все ползли и ползли деревянные змеи. Видно, от шума он пробудился, сел на постели и угрюмо пробормотал:

— Значит, я еще жив.

Кожа была у него пепельно-серая, болезнь источила его всего, и кто он — по виду не догадаешься. Он походил на пришельца с того света, и люди испугались.

— Я хочу есть,— сказал он, с удивлением разглядывая незваных гостей с дешевыми электрическими фонариками и дымящимися факелами. Потом он спросил, кто они и что им надобно в его покоях. Люди попятились и поспешили убраться восвояси. А полицейским крикнули, что в этом гнездилище смерти кто-то есть, не то живой, не то мертвый — не разберешь. Сидит на постели и важничает. Полицейские поспешили было наверх, но тут на улице вдруг поднялись крики, и они бросились обратно — выяснить, в чем дело, и навести порядок. А ста-

рик поднялся с постели, облачился в серый шелковый халат, аккуратно сложенный матушками у него в ногах, хлебнул из кувшина свежего лаймового сока (лед едва растаял). Тут-то и до него донеслись крики.

Необычные то были крики. Они то поднимались до визга, то вдруг пугающе-внезапно обрывались. Скоро он понял, кто приближается к дому. Только одно существо могло оборвать крик жертвы, взглядом подчинив ее своей воле. И теперь чудовище не насытится, пока не доберется до него, Омар-Хайама; чудовище не обмануть, от него не сбежать. Оно уже несется по ночным улицам городка и его не остановить. Вот оно уже топочет по лестнице. Слышен его рев.

Омар-Хайам стоял подле постели и ждал. Так ждет молодой муж возлюбленную в первую брачную ночь. А рык все громче, все ближе, несется по ветру смертоносное пламя. Вот распахнулась дверь. Напрягшись, он вгляделся во тьму — там горели два желтых огня. Наконец, он различил Суфию Зинобию: на четвереньках, совершенно голая, с налипшей грязью, кровью, калом, с листьями и веточками на спине, со вшами в волосах. Она увидела его, и ее пронзила дрожь. Поднявшись на задние лапы, она простерла к нему передние.

— Вот и пожаловала наконец, женушка, — только и успел сказать Омар-Хайам, цепенея под ее взглядом.

Он сопротивлялся страшным чарам, но ее взгляд притягивал, и вот он уже в упор смотрит в желтые огненные глаза и видит, как в душе у Суфии мелькнуло сомнение, заколебалось неистовое пламя, будто на миг и ей представилось невозможное: она — невеста и входит в спальню своего суженого. Но пламя тут же пожрало видение, и, подойдя к застывшему Омар-Хайаму, жена сомкнула руки на шее супруга.

Его обезглавленное тело бездыханной колодой рухнуло на пол, а Зверь, насытившись, снова притих. Суфия стояла, пошатываясь и недоуменно моргая. Откуда ей знать, что, будь то сказка или быль, всему суждено кончиться разом; что всепожирающее пламя только еще разгоралось; что в Судный день и судьям держать ответ; что Зверь стыда долго не проживет в любой плоти, он растет, кормится, распирает оболочку, и, наконец, она лопается, взрывается.

И этот взрыв сотрясает все вокруг, сокрушает старый дом, а Зверь огненным шаром катится по земле, расплывается огненным морем, поднимается в небо облаком, созерцает опустевшую сцену нашего представления, и мне уже не увидеть того, чего нет. А облако образует силуэт великана, серого и обезглавленного — медленно, как во сне, плывет он по небу, на прощанье вздывая руку.

■

Из классики XX века

ДЖЕЙМС ДЖОЙС

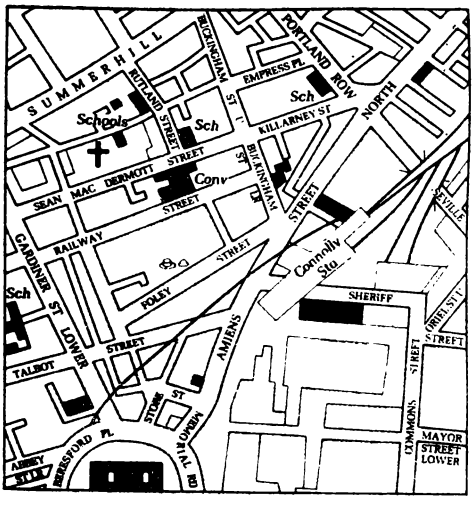
Улисс

РОМАН

Перевод с английского
В. ХИНКИСА и С. ХОРУЖЕГО

Андреас Жадковски. Джеймс Джойс. 1985.

15



Вход в город ночи со стороны Мэббот-стрит. Поодаль трамвайное кольцо, скелеты рельсов прямо на немощеной земле, красные и зеленые блуждающие огоньки, знаки опасности. Закопченные лачуги с разинутыми дверями. Редкие фонари, слабая радужная игра на их стеклах. Стоит ледяная гондола Рабайотти, вокруг нее чахлые людишки обоего пола. Расхватывают вафли, в которых зажаты куски медного и свекольного снега. Начинают их сосать, медленно расползаются. Дети. Гондолы лебединое увенчанье, вздымаясь, пронзает тьму, блестит белым и голубым в луче маяка [*]. *Посвисты зовут, откликаются.*

З о в. Постой, сладенький я к тебе.

О т к л и к. На задах, за конюшней.

Пучеглазый глухонемой идиот, пуская слюни обвислым ртом, дергается, трясется в трясучке. Вокруг хороводом дети, он в кольце их ручонок.

Д е т и. Kithogue[1]! Привет!

И д и о т *(поднимает трясущуюся левую руку, гугнит).* Фхыхэ!

П р о д о л ж е н и е. Начало см. в № 1 — 8.

[1] Левша *(ирл.)*.

Д е т и. Где-где светит свет?

И д и о т *(брызжа слюной).* Фхыпхыхо.

Они отпускают его. Дергаясь, он уходит. На веревке, протянутой между оградами, качается карлица и считает вслух. Смутная фигура раскинулась у помойки, заслонившись рукой и шапкой; она храпит, ворочается, мычит, скрежещет зубами и храпит дальше. Пигмей, роющийся на свалке, взойдя на ступеньку, приседает, чтобы взвалить на плечи мешок с тряпьем и костями. Возле него карга с чадящей масляной лампой заталкивает еще одну бутылку ему в мешок. Он забирает добычу, криво нахлобучивает фуражку, молча отчаливает. Карга тащится к себе в логово, мотая лампой. Рахитик, сидящий на крыльце, скрючась, с бумажным мячиком на резинке, ползет за ней боком, толчками, цепляется за подол, встает на ноги. Пьяный фабричный, качаясь, обеими руками хватается за ограду. На углу маячат двое рослых патрульных в дождевиках, руки на чехлах дубинок. Где-то разбивается тарелка; визжит баба; скулит детеныш. Мужская ругань громыхает, стихает, молкнет. Тени скользят, крадутся, выглядывают из нор. В лачуге, при свечке, воткнутой в пустую бутылку, девка вычесывает золотушному детенышу перхоть из головы. Из переулка голос Сисси Кэффри, пронзительный, еще молодой.

С и с с и К э ф ф р и.

В подарочек Молли
За лихость в застолье
Дам ножку гуся,
Эх, ножку гуся.

Рядовой Карр и рядовой Комптон, с тросточками под мышкой, бредут, спотыкаясь, затем разом поворачиваются и, как по команде, издают залп, подражая испусканию газов. Из переулка мужской смех. Дюжая мужебаба с бранью на них.

М у ж е б а б а. Чума на вас, распердяи. Девки из Кевена помощней.

С и с с и К э ф ф р и. Повезло мне. Кевен, Кутхилл, Белтэрбет. *(Поет.)*

В подарочек Нелли
За резвость в постели
Дам ножку гуся,
Эх, ножку гуся.

Рядовой Карр и рядовой Комптон оборачиваются, отругиваясь, мундиры их в тусклом фонарном свете ярко-кровавы, белобрысые стриженые башки в черных гнездах фуражек. Стивен Дедал и Линч пробираются сквозь толпу поблизости от красномундирных.

Р я д о в о й К о м п т о н *(тыкает пальцем).* Дорогу пастору.

Р я д о в о й К а р р *(оборачиваясь, окликает).* Эй-эй, пастор!

С и с с и К э ф ф р и *(голос ее забирает выше).*

Она сразу клюнет
И кой-куда сунет
Эх, ножку гуся.

Стивен, помахивая ясеневой тросточкой, зажатой в левой руке, весело распевает входной псалом из пасхальной службы. Линч, в жокейском картузике, надвинутом низко на лоб, сопровождает его с насмешливо-недовольной миной.

С т и в е н. Vidi aquam egredientem de templo a latere dextro. Alleluia[2].

Из двери высовываются голодные обломанные клыки старой сводни.

С в о д н я *(сиплым шепотом).* Тсс! Поди сюда, что скажу. Тут целочка есть. Только тсс!

---

[2] И узрел я поток, из храма истекающий с правой стороны. Аллилуйя *(лат.)*.

Стивен *(altius aliquantulum).* Et omnes ad quos pervenit aqua ista [3].

Сводня *(ядовито сплевывает им вслед).* Коновалы из Тринити. Трубы фаллопиевы. В штанах ни пенса, один хрен.

Эди Бордмен сидит рядом с Бертой Сапл, засопев, смахивает шалью под носом.

Эди Бордмен *(язвительно).* И, значит, эта мне говорит: а я тебя видела на Фейтфул-плейс с твоим ухажером, с этим подлизой в шляпе фасона пошли-в-постельку. А я ей на это, да неужто? Уж чья б корова мычала. Меня еще покамест не накрывали с женатым шотландцем в бардаке. Вот так вот я ей. Ну, штучка! Притом вдобавок постукивает. Упрямства как у осла! А еще было, гуляла сразу с двумя, с Килбрайдом, он механик, и с Олифантом, с капралом.

Стивен *(triumphaliter).* Salvi facti sunt [4].

Размахивая ясеневой тросточкой, он колеблет фонарный луч, раскалывает свет над миром. Бело-рыжий спаниель подкрадывается сзади к нему, рычит. Линч отпускает ему пинка.

Линч. Ну и что?

Стивен *(оглядываясь).* А то, что именно жест, а не музыка, не запахи, стал бы универсальным языком, тем даром языков *, что сделает зримым не обыденный смысл, а первую энтелехию, структурный ритм.

Линч. Порнософическая филотеология. Метафизика на Мекленбург-стрит!

Стивен. Шекспир был под башмаком у строптивой, Сократа заклевала его мегера. Даже премудрый Стагирит, и того некая прелестница зацапала, взнуздала и оседлала *.

Линч. Эва!

Стивен. Как бы там ни было, кто желает два жеста, изображающие ломоть и кувшин? Вот движение, что изображает ломоть и кувшин хлеба или вина у Омара *. Подержи тросточку.

Линч. Да провались эта рыжая палка. Скажи лучше, куда мы идем?

Стивен. К Джорджине Джонсон, к la belle dame sans merci[5], ad deam qui laetificat iuventutem meam [6], о похотливый линкс [7].

Насильно сует ему трость и медленно, запрокидывая назад голову, вытягивает и разводит руки, пока они не раскинулись на полную ширь, ладони вниз в пересекающихся плоскостях, пальцы слегка раздвинуты, левая рука выше.

Линч. Ну и какая тут кувшин хлеба? Хотя все одно. Что это, что здание таможни. Изображай, изображай. Возьми костыль свой и ходи.

Они идут дальше. Томми Кэффри на четвереньках подбегает к фонарному столбу, обхватывает его и карабкается наверх маленькими рывками. С верхней перекладины соскальзывает вниз. Столб обхватывает Джеки Кэффри, собираясь влезать. С другой стороны к фонарю приваливается фабричный. Близнецы ныряют во тьму. Фабричный, шатаясь, зажав одну ноздрю пальцем, извергает из другой мощную соплю. Потом он взваливает столб на плечо и тяжко прет сквозь толпу со своим пылающим факелом.

От реки медленно подползают змейки тумана. Зловонные испарения поднимаются от луж, от выгребных ям, от сточных канав, от свалок и от помоек. Зарево брезжит где-то на юге от устья реки. Фабричный прет, прорезая толпу, правя к трамвайному кругу, пьяно шатаясь. С дальней стороны, из-под железнодорожного моста появляется

---

[3] *(весьма громко).* И все они пришли к потоку тому *(лат.).*

[4] *(торжествующе).* И были они спасены *(лат.).*

[5] Дама прекрасная и безжалостная *(франц.).*

[6] К богине, веселящей юность мою *(лат.).*

[7] Lynx, рысь *(лат.).*

Блум, красный, запыхавшийся, рассовывая по карманам хлеб и шоколад. В витрине парикмахерской Гиллена он видит сборный портрет храбреца Нельсона. Вогнутое зеркало сбоку являет ему любвенесчастного забропокинутого гогоремычного Буфлуффума. Важный Гладстон глядит на него в упор — на Блума каков он есть. Он следует мимо, сраженный было взглядом грозного Веллингтона, но в выпуклом зеркале ухмылка уже вновь оживляет поросячьи глазки и жирные щечки Польдика-толстомордика. У дверей Антонио Рабайотти Блум останавливается, блестя каплями пота под яркой дуговой лампой. Исчезает. Через миг опять появляется, спешит дальше.

Блум. Рыба с картошкой. Не то. Ага!

Исчезает к Олхаузену, торговцу свининой, под опускающуюся дверную завесу. Вскоре выныривает из-под нее, пыхтящий Польди, блудный Блумуфф. Держит в каждой руке по свертку, в одном — еще теплая свиная ножка, в другом — холодная ножка баранья, посыпанные немолотым перцем. Стоит, отдуваясь. Наклоняется вбок, прижимает к боку сверток, кряхтит.

Блум. Ох, аж в боку колет. И что я как угорелый?

Как следует отдышавшись, медленно движется к освещенным путям. Снова блеснуло зарево.

Блум. Это что еще? Вспышки какие-то. Прожектор?

Остановился возле Кормака, вглядываясь.

Блум. То ли Aurora borealis[8], то ли сталь плавят? Ах да, пожарная ехала. Ну и ладно, на юге. Ничего полыхает. А вдруг его дом. В районе Беггарс-буш. Нам не грозит. *(Бодро мурлычет.)* Лондон, Лондон весь горит, на пожар бегите! *(Видит в конце Талбот-стрит фабричного, прущего сквозь толпу.)* Этак я его упущу. Бежим. Быстро. Лучше тут перейду.

Бросается через улицу. Крики мальчишек.

Мальчишки. Эй, мистер, глаза дома забыл?

Два велосипедиста проносятся вплотную к нему, бумажные фонарики их покачиваются, звонки трезвонят.

Звонки. Стой-той-той!

Блум *(застывает, пораженный внезапной болью).* Ох!

Оглядевшись по сторонам, резко кидается вперед. В сгущающемся тумане к нему коварно подкрадывается дракон пескоразбрасыватель, он едет на малой скорости, во лбу мигает большая красная фара, с шипеньем и треском искрит дуга. Вожатый жмет на педаль сигнального гонга.

Гонг. Динь Дон Трень Брень Блям Блюм.

Яростно взвизгнули тормоза. Блум, подняв руку в белой полисменской перчатке, торопится унести с рельсов ноги, которые внезапно не слушаются его. Вожатый, едва не налетев на свою баранку курносым носом, окруженный проводами и рычагами, проезжая, орет.

Вожатый. Ты, полные штаны, ты что тут трюки выкидываешь?

Блум, выбравшись на обочину, опять останавливается. Свиноногой рукой утирает грязь со щеки.

Блум. Нет прохода. На волосок, зато колотье прошло. Надо бы снова взяться за упражнения по Сэндоу. Стойку на руках. И оформить страховку от несчастного случая на улице. У Провиденшел. *(Ощупывает брючный карман.)* Талисман бедной мамы. Каблук легко может в рельсах застрять, шнурки — в колесе запутаться. Уже мне однажды черный ворон ободрал башмак колесом. У Леонард на углу. Третий раз везучий. Полные штаны. Наглец. Стоит пожаловаться. У них плохие нервы от напряжения. Может тот самый, что утром загородил мне ту модницу. Тот же тип красоты. Но

[8] Северное сияние *(лат.)*.

ловко сообразил. Ноги-то у меня заплетались. Зерно истины в каждой шутке. Та жуткая канава на Лэд-лейн. Что-нибудь я вредное съел. Считается, к невезению. Почему бы? Наверно, мясо плохое. Знак зверя *. *(На мгновение закрывает глаза.)* Что-то голова кружится. Ежемесячная мигрень или другое подействовало. Туман в мозгу. Какая усталость. Просто не могу больше. Ой!

Зловещая фигура стоит у магазина О'Бейрна, прислонясь к стенке и скрестив ноги, лицо незнакомое, меченное темною ртутью. Из-под широкополого сомбреро смотрит на него взглядом, не обещающим ничего хорошего.

Блум. Buenas noches, señorita Blanca. Que calle es esta? [9].

Фигура *(делает знак рукой и произносит бесстрастно).* Пароль. Sraid Мэббот.

Блум. Ага. Мерси. Эсперанто. Slan leath. *(В сторону.)* Шпион Гэльской лиги, тот шут гороховый подослал.

Идет дальше. Путь преграждает тряпичник с мешком за плечами. Блум берет влево, мешконос влево.

Блум. Позвольте.

Он виляет вправо, тряпконос вправо.

Блум. Позвольте.

Сторонится от него, огибает боком, минует и идет дальше.

Блум. Держись правей, правей, правей. Если в Степсайде Турклуб поставил дорожный указатель, благодаря кому такое доброе дело? Только благодаря мне, тому, кто там заблудился, а после выступил на страницах «Ирландского велосипедиста» с заметкой «В дебрях Степсайда». Держись, держись, держись правей. Тряпичник в полночь стал смелей. Похоже, забор. Первое место, куда направляется убийца. Смыть свои грехи мира *.

Джеки Кэффри, за которым гонится Томми Кэффри, со всего разбега налетает на Блума.

Блум. Ох!

Шатнувшись на слабых ногах, останавливается. Томми и Джеки испарились. Блум скотоногими руками охлопывает себя по загашнику с бумажником, по часовому кармашку, внутреннему карману, по прелестям греха и по мылокартофелине.

Блум. Берегитесь карманников. Старая воровская уловка. На ходу столкнется с тобой и срежет бумажник.

Вокруг рыщет приблудный пес, носом к земле, принюхиваясь. Смутная фигура чихает. Появляется бородатый согбенный человек, на нем долгополый кафтан сионских старейшин и серая ермолка с вишневыми кисточками. Роговые очки низко сползли на нос. Желтые потеки яда на бескровном лице.

Рудольф. И таки снова растранжирил полкроны. Два раза за один день. Но я говорил тебе: никогда не води компанию с пьяными гоим. Э? Тебе не сколотить никакие деньги.

Блум *(стоит понуро, спрятав за спину свертки, ощущая спиной свиное тепло и бараний холод).* Ja, ich weiss, papachi [10].

Рудольф. Что же ты делаешь в таком месте? Или у тебя нет души? *(Дрожащие когти ощупывают безмолвное лицо Блума.)* Или ты не сын мой, не Леопольд, внук Леопольда? Или ты не милый мой сын Леопольд, что оставил дом отца своего и оставил бога своих праотцов Авраама и Иакова?

Блум *(осторожно).* Да, это так, папа. Мозенталь. Все, что осталось от него.

Рудольф *(суров и мрачен).* И таки однажды тебя привели домой пьяного как свинья и после траты все деньги. Хорошие деньги. Как ты зовешь их, эти юноши что бегают?

---

[9] Добрый вечер, сеньорита Бланка. Как называется эта улица? *(исп.)*

[10] Да, папа, я знаю *(идиш)*.

Блум *(узкоплечий юноша в голубом элегантном оксфордском костюме, жилете с белой отделкой, каштановой тирольской шляпе, при часах Уотербери чистопробного серебра на двойной цепочке «Принц Альберт» с печаткою и брелоками. Одна сторона костюма покрыта засыхающей грязью).* Кроссмены, папа. Это же единственный раз.

Рудольф. Единственный! По уши весь в грязи. Рука порезана. Столбняк. Они таки сделают тебе капут, Леопольдлебен. Ты должен быть осторожно с этими юноши.

Блум *(неуверенно).* Они меня подговорили пробежать спринт. А там было грязно и я нечаянно поскользнулся.

Рудольф *(с презрением).* Goim nachez! [11] Прекрасная картина для твоей бедной матери!

Блум. Мама!

Элен Блум *(в чепце с лентами, как у барыни из райка, в кринолине и с турнюром наподобие вдовы Твэнки; блуза с пуговками на спине и рукавами фонариком, серые перчатки, камея; волосы уложены в сетку. Она появляется над перилами лестничной площадки, держа криво в руке подсвечник, испуганно и пронзительно вскрикивает).* О милостивый Боже, что они сделали с ним! Мои сол*и! (Подбирает подол и роется бурно в кармане своей полосатой нижней юбки. Оттуда летят флакон, медалька с Агнцем Божиим, сморщенная картофелина, кукла из целлулоида.)* Святая Божия Матерь, но где же, где же ты был?

Блум, бормоча невнятно, потупив взгляд, пытается засунуть свои свертки в карманы, и без того набитые, терпит неудачу, стоит, продолжая что-то бубнить.

Голос *(резко).* Польди!

Блум. Кто это? *(Пригнувшись, неловко закрывается от удара.)* К вашим услугам.

Он поднимает глаза. Мираж финиковых пальм, и прямо перед ним — прекрасная женщина в костюме турчанки. Ее пышные округлости туго теснятся в алых шальварах и блузке, расшитой золотом. Широкий желтый кушак опоясывает ее стан. Белая чадра, лиловеющая в ночи, закрывает ее лицо, оставляя лишь черные большие глаза и волосы цвета воронова крыла.

Блум. Молли!

Мэрион. Ой ли? С этого дня, золотой мой, изволь говорить миссис Мэрион, когда ты ко мне обращаешься. *(Насмешливо.)* Наш бедненький муженек не застудил ли ножки, гуляя так долго?

Блум *(переминаясь с ноги на ногу).* Нет-нет. Совершенно ничуть.

Он дышит глубоко, возбужденно, глотая воздух, он спрашивает, надеется, вот тут для нее свиные ножки на ужин, ему надо столько ей высказать, извинения, желание, он словно весь в трансе. На лбу у нее блестящая монета, драгоценные кольца на пальцах ног Лодыжки соединены тонкой цепочкой. Подле нее верблюд, на голове у которого красуется высокий тюрбан, на спине — седло с балдахином, откуда свисает шелковая лесенка с бесчисленным множеством ступенек. Он переступает на месте, беспокойно дергая крупом Она сердито хлопает его по окорокам, и на ее запястьях звякают златозмейки звонкогневно. Ругает его по-мавритански.

Мэрион. Nebrakada! Femininum!

Верблюд, подняв переднюю ногу, срывает с дерева большой плод манго и протягивает госпоже, держа его своим раздвоенным копытом, моргая. Потом опускает голову и, посапывая, выгнув шею, неуклюже примеривается стать на колени. Блум сгибается и подставляет спину, как в чехарде.

---

[11] Гойское счастье! *(идиш)*

Блум. Я бы мог вам... То есть как ваш меменеджер... Миссис Мэрион... если вы...

Мэрион. Так что уловил перемену? *(Медленно ласкает пальцами свой стан, увешанный украшениями. В ее взгляде мягкая дружелюбная насмешка.)* Эх, Польди-Мольди, чурка ты неотесанная! Тебе бы надо повидать жизнь. Повидать белый свет.

Блум. Я все время хотел вернуться за этим лосьоном, воск с померанцевым цветом. В четверг рано закрывается. Я завтра с утра, первым делом. *(Хлопает себя по карманам.)* Эта блуждающая почка. А!

Он показывает на юг, потом на восток. Восходит новенький, чистенький кусок лимонного мыла, источая свет и душистость.

Мыло.

Я и Блум, мы всех важней, всякий видит сам:
Придает он блеск земле, я же — небесам.

В диске солнцемыла появляется веснушчатая физиономия аптекаря Свени.*

Свени. Три и пенни, будьте любезны.

Блум. Да-да. Это для моей супруги, миссис Мэрион. По особому рецепту.

Молли *(ласково)*. Польди!

Блум. Чего изволите, сударыня?

Молли. Ti trema un poco il cuore? [12]

Презрительно отворачивается и уходит, холеная и пухленькая, соблазнительно семеня, напевая дуэт из «Дон Жуана».

Блум. Но вы уверены с этим Voglio? Я в смысле произноше... *Бредет следом, за ним терьер, вынюхивая. Старая сводня берет его за рукав, поблескивают волоски на ее бородавке.*

Сводня. Десять шиллингов, целка. Свежачок, не притрагивались. Пятнадцать. И никого там, один папаша ее, бухой в подкладку. *Показывает рукой. В приотворенных дверях своей темной каморки стоит Брайди Келли, робкая, забрызганная дождем.*

Брайди. Хэтч-стрит. Может, у вас есть настроение?

Слабо ойкнув, взмахнув шалью, словно летучая мышь крыльями, она убегает. Дюжий детина гонится за ней большими сапожищами. Спотыкается о ступеньки, встает и исчезает во мраке. Доносятся слабые смешки, потом затихают.

Сводня *(ее волчьи глаза горят)*. Ишь, как ему приспичило. Ты слушай, в шикарном заведении ты девушку не найдешь. А тут за десять. Да не телись час, гляди в штатском засекут. А эта, из шестьдесят седьмого, сучка.

Герти Макдауэлл хромает к нему, строя нежные глазки. С жеманными ужимками вынимает из-за спины и показывает ему, скромно потупясь, запятнанное кровью белье.

Герти. Все мое достояние земное тебе я вверяю дабы ты. *(Понизив голос.)* Вы это сделали. Ах, я ненавижу вас.

Блум. Я? Когда? Это вам приснилось. Я вас первый раз вижу.

Сводня. А ну, отойди от джентльмена, ты, аферистка. Пишет обманные письма джентльмену. Ходит на панель, пристает к мужчинам. Твоей матери давно пора выдрать тебя как следует, шлюха ты эдакая.

Герти *(Блуму)*. Вы подглядели все секреты у меня в нижнем яшичке. *(Гладит его рукав, хнычет.)* Несчастный женатик! Я тебя люблю за то, что ты мне так сделал.

Она уходит, ступая боком, прихрамывая. Посреди мостовой стоит миссис Брин в мужском фризовом пальто с большими накладными карманами. Ее глаза широко раскрыты, во взгляде бездна лукавства, улыбка обнажает все ее травоядные козьи зубы.

---

[12] Забилось ли сильней твое сердце?* *(итал.)*

Миссис Брин. Мистер...

Блум *(солидно откашлявшись)*. Сударыня, мы имели удовольствие в нашей последней корреспонденции от шестнадцатого сего...

Миссис Брин. Мистер Блум! Здесь, в самом гнездилище порока! Ха-ха, вы славно попались! Нет, каков негодник!

Блум *(поспешно)*. Не надо имя так громко. Что это вы вообразили? Не выдавайте меня. У стен есть уши. Как ваши дела? Ведь мы целую вечность. Вы изумительно выглядите. Абсолютно безупречно. Погода стоит совсем по сезону. Черное преломляет тепло. А я, представляете, решил срезать, тут короче домой. Места интересные. Приют Марии Магдалины, спасение падших женщин *. Я секретарь...

Миссис Брин *(протестующе машет пальцем)*. Нет уж, нет уж, не сочиняйте! Я кой-кого знаю, кому это не понравится. Вот погодите, все расскажу Молли! *(Лукаво.)* Итак, сию минуту полный отчет или же горе вам!

Блум *(оглянувшись назад)*. Она часто говорила, что ей хотелось бы побывать. Как вельможи в трущобах. Ради экзотики. Будь она богата, держала бы негритянскую прислугу в ливреях. Отелло, черный зверь. Юджин Стрэттон. Даже комики под негров в ливерморовском балагане. Братья Боухи. Чуть ли не трубочисты.

Выскакивают Том и Сэм Боухи, два черных эстрадника в белых костюмах, ярко-алых носках, перекрахмаленных манишках стиля самбо, с огромными алыми астрами в петлицах. У каждого болтается банджо. Их негроидные руки, странно маленькие и бледные, дергают тенькающие струны. Блестя бивнями и белками, стоя спиной к спине, гремя грубыми башмаками, они выбивают отчаянную дробь, носок — пятка, пятка — носок, разом тренькая, распевая, смачно причмокивая жирными негритосскими губами.

Том и Сэм.

Кто-то есть у меня в доме с моей Диной,
Кто-то есть у меня в доме, знаю-знаю,
Кто-то есть у меня в доме с моей Диной,
Он бренчит на старом банджо.

Они срывают черные маски со своих толстых добродушных физиономий и, наяривая, нажаривая, притопывая, пристукивая, утанцовывают в кекуоке чук-чуки-чук чири-чичи.

Блум *(с кисло-сладкой улыбкой)*. Так не позволить ли нам маленькую вольность, если вы расположены? Быть может, вы бы не возражали оказаться в моих объятиях — о, всего на крошечную долю секунды?

Миссис Брин *(в веселом ужасе)*. Фу, какой бред! Поглядите на себя в зеркало!

Блум. Ради старых времен, а? Я просто имею в виду вчетвером, этакое небольшое слияние двух наших супружеств. Знаете, у меня к вам всегда была слабость. *(Меланхолически.)* Ведь это я вам прислал валентинку со стихами про газель.

Миссис Брин. Всеблагие угодники, но вид у вас — чистый цирк! Это же умереть. *(Протягивая руку, строго допрашивает.)* А что это вы там прячете за спиной? Отвечайте сразу, как примерные дети.

Блум *(берет ее кисть свободной рукой)*. И это была Джози Пауэлл, прелестнейшая дебютантка в Дублине! Как мчится время! Не вспоминаете ли вы, обращаясь к прошлому с ретроспективным упорядочением, тот давний рождественский вечер, новоселье Джорджины Симпсон, когда играли в Ирвинга Бишопа *, читать чужие мысли или найти булавку с завязанными глазами? Следующему игроку: угадайте, что спрятано в этой коробочке!

Миссис Брин. С вашей трагикомической декламацией вы были первым львом этой вечеринки. И вы отлично справились с ролью. Вы ведь всегда имели успех у женщин.

Блум *(заправский кавалер, в смокинге с шелковыми отворотами, с голубым масонским значком в петлице, при черной бабочке и перламутровых запонках, поднимает высокий граненый бокал шампанского).* Леди и джентльмены, я предлагаю тост за Ирландию, дом и красу.

Миссис Брин. Давние милые дни, в памяти стерлись они. Старая сладкая песня любви.

Блум *(многозначительно понижая голос).* Признаюсь вам, что я просто чайник от любопытства, не чайник ли сейчас кое-что кое у кого.

Миссис Брин *(живо подхватывает).* Еще как чайник! Я прямо вся чайник, как Лондон. *(Игриво задевает его бедром.)* Потом еще были игры с тайнами в гостиной, хлопушки с елки и наконец мы уселись под веточкой омелы на оттоманке у лестницы. И никого нам не надо было.

Блум *(в красной наполеоновской треуголке с янтарным полумесяцем, пальцы его медленно скользят вдоль ее запястья к мягкой, влажной, пухлой ладошке; она мило уступает ему).* Сейчас пора ночного колдовства. Я вынимал из этой ручки занозу, бережно, осторожно. *(Надевая на палец ей рубиновое кольцо.)* Là ci darem la mano.

Миссис Брин *(в цельнокроеном бальном платье, синем, оттенка лунного света, на лбу у нее мишурная диадема сильфиды, бальная книжечка упала подле синелунной атласной туфельки. Мягко изгибая ладонь, дыша учащенно).* Voglio e non... Ах, вы такой горячий! Вы прямо обжигаете. Левая рука ближе к сердцу.

Блум. И когда вы неожиданно сделали этот выбор, все говорили, что это точно по сказке. Чудище и красавица. Нет, этого я вам никогда не смогу простить. *(Подносит сжатый кулак ко лбу.)* Подумать только! Вы тогда значили для меня все! *(Хрипло.)* Женщина, это убивает меня!

Дэнис Брин в белом цилиндре, с рекламными щитами Уиздома Хили, шаркает мимо них в ночных шлепанцах, с пыльной косматой бородой, торчащей вперед, и что-то бормочет, адресуясь то вправо, то влево. Малыш Олф Берген, наряженный пиковым тузом, идет за ним по пятам, передразнивая его движения и корчась от хохота.

Олф Берген *(издевательски тыкает в рекламный щит).* К.к.: ку-ку.

Миссис Брин *(Блуму).* А внизу играли в смешные фанты. *(Бросает лукавый взгляд.)* Но что же вы не поцеловали мою ладошку, чтоб все прошло? Вам ведь хотелось.

Блум *(шокирован).* Лучшая подруга Молли! Как вы это можете?

Миссис Брин *(ее сочный язычок, выглянув между губ, посылает ему поцелуй голубки).* Ах-ах. Пошлите вопрос в газету. А там у вас подарочек для меня?

Блум *(с нарочитой небрежностью).* Так, кое-что на ужин. Кошер. Как живется в доме без паштетов Сливи. Я был на «Лии». Миссис Бэндмен Палмер. Проникновенная исполнительница Шекспира. К сожалению, выбросил программку. Тут неподалеку отличное место по части свиных ножек. Вот пощупайте.

Появляется Ричи Гулдинг, на голове у него пришпилены три дамские шляпы, в руке кренящий его набок черный фирменный портфель Коллиса и Уорда, на котором намалеваны известкой череп и кости. Открыв портфель, показывает, что тот набит доверху свиными сосисками, вяленой треской, копченой селедкой и коробочками пилюль.*

Ричи. Лучшее, что есть в Дублине.

Плешивый Пэт озабоченным зябликом торчит на обочине, с салфеткою на руке, готовый ко услугам слуга.

Пэт *(приближается, держа криво блюдо, с которого капкапкапает соус).* Бифштекс с почками. Бутылка пива. Хи хи хи. Пэт служит, клиент ждет тужит.

Ричи. Божемой. Яне елсу тра.

Понурив голову, уныло шагает дальше. Фабричный, шатаясь, бредущий мимо, пыряет его своим горящим двузубцем.

Ричи *(хватается за поясницу, вскрикнув от боли).* А-ай! Почки мои! Огонь!

Блум *(показывая на фабричного).* Шпик. Не привлекайте внимания. Не выношу бессмысленную толпу. Я тут не ради развлечения. Попал в большие затруднения.

Миссис Брин. Вы вечно плели всякие небылицы, чтоб подлизаться.

Блум. Я вам расскажу маленький секрет, как я попал сюда. Но только полная тайна. Даже Молли ни слова. Тут совершенно особая причина.

Миссис Брин *(сгорая от любопытства).* О, ни за что на свете.

Блум. Может быть, пройдемся, вы не хотите?

Миссис Брин. Да-да.

Сводня тщетно делает знаки. Блум удаляется с миссис Брин. Терьер трусит следом, скуля жалобно, виляя хвостом.

Сводня. Жидовский недоносок!

Блум *(на нем серый котелок, спортивный костюм овсяного цвета с веточкой жимолости в петлице, модная кремовая рубашка, клетчатый шейный платок с андреевским крестом, белые гетры, рыжекрасные башмаки; на груди бинокль, через руку легкий бежевый плащ).* А вы помните, как давным-давно, в незапамятные времена, когда Милли, мы ее звали Марионеткой, только что отняли от груди, мы все вместе поехали на скачки в Фэрихаус?

Миссис Брин *(строгого фасона элегантный темно-синий костюм, велюровая белая шляпа, вуаль-паутинка).* В Лепардстаун.

Блум. Да-да, Лепардстаун. Молли там выиграла семь шиллингов на трехлетке, ее звали Тайна, а после мы все возвращались домой через Фоксрок в каком-то немыслимом допотопном тарантасе и вы были тогда во всем своем блеске в той новой шляпке из белого велюра с отделкой из кротового меха это вам миссис Хейс присоветовала ее купить мол цену снизили стало всего девятнадцать и одиннадцать, а там один кусок проволоки да вельветовая тряпка, ручаюсь вам чем угодно она это специально сделала...

Миссис Брин. Еще бы не специально, лживая кошка! Лучше не напоминайте мне! Чудная советчица!

Блум. Потому что она гораздо меньше вам шла чем та миленькая блестящая тока с крылышком колибри которой я так любовался на вас вы правда в ней были сплошное очарование хотя неужели не жалко было их убивать, жестокая вы душа, это же крохотушки у них сердечко с маковую росинку.

Миссис Брин *(поглаживая его руку, кокетливо).* О да, я была ужасно жестокая!

Блум *(тихо, таинственно, убыстряя речь).* А Молли уписывала мясной сандвич из корзинки с провизией миссис Джо Галлахер. По правде сказать, хотя у нее хватало и законников и поклонников, меня никогда особенно не волновал ее стиль. Она была...

Миссис Брин. Как-то слишком...

Блум. Вот именно. И Молли все смеялась, как Роджерс и Чудила О'Рейли начали кукарекать, когда мы проезжали мимо фермы, и тут мимо нас прокатил в коляске Маркус Терциус Мозес, чаеторговец, со своей дочкой, ее все звали Плясунья Мозес, и у нее на коленях сидел пудель, ужасно важный, и вы у меня спросили, не случалось ли мне читать или слышать или видеть или встречать...

Миссис Брин *(с волнением).* Да, да, да, да, да, да, да.

Ее фигура рядом с ним тает. Он идет дальше, к адским вратам, за ним сзади скулящий пес. В подворотне стоит баба и мочится по-коровьи, наклонясь вперед и расставив ноги. Возле закрытого трактира кучка гуляк-мастеровых обступила старшого с перебитым носом, который заправляет им какую-то басню, отпуская хриплые шутки. Двое безруких, отделясь, сцепились, рычат, барахтаются в шутовской потасовке закосевших калек.

Старшой *(пригнувшись, гнусавит в нос).* И когда значит Кернс на Бивер-стрит слез с лесов он думаете куда опростался прямо в ведерко с пивом что дерановы штукатуры поставили там на стружках.

Мастеровые *(гогочут, выставляя волчьи пасти).* Га, штоб ему!

Их шапки, заляпанные краской, покачиваются. Покрытые известкой и клеем своих лачуг, калеки без конечностей, резвясь, подпрыгивают вокруг него.

Блум. Опять совпадение. Они думают, это смешно. Как бы не так. Среди бела дня. Старался дойти. Хорошо, женщин не было.

Мастеровые. Во заливает, штоб ему! Прослабило. Штоб ему, прямо в пиво!

Блум идет дальше. Дешевые шлюхи парами и поодиночке, в платках и простоволосые, зазывают изо всех переулков, дверей, углов.

Шлюхи.

Чудак, куда так спешишь?
Как там твой колышек?
А у тебя есть спичка?
Поди-ка, я тебе сделаю, она вскочит.

Блум продирается через их клоаку в сторону освещенной улицы, что видна дальше. Оттопырив занавеску в окне, граммофон выставил наружу медный помятый хобот. В сторонке содержательница подпольного кабака рядится с фабричным и двумя солдатами.

Фабричный *(рыгая).* Игде этот чертов дом?

Содержательница. Пердон-стрит. Бутылка крепкого — шиллинг. Я женщина честная.

Фабричный *(ухватив за шиворот солдат, шатаясь, вместе с ними трогает с места).* Британская армия, вперед!

Рядовой Карр *(за его спиной).* Здорово он надрался.

Рядовой Комптон *(со смехом).* Не говори!

Рядовой Карр *(фабричному).* Казармы Портобелло, а там столовка. Спросишь Карра. Просто Карра, и все.

Фабричный *(горланит).*

Мы вексфордские. Парни.

Рядовой Комптон. Слышь! А как тебе старшина?

Рядовой Карр. Беннет? Да это ж мой кореш. Люблю Беннета, милягу.

Фабричный *(горланит).*

Позорные цепи.
Свободу родимой земле.

Шатаясь, бредет вперед, волоча их за собой. Блум останавливается в нерешимости. Подходит пес, вывалив язык, тяжело дыша.

Блум. Ищи ветра в поле. Дома все разбросаны. Поди угадай, куда они делись. Пьяный ходит вдвое быстрей. Сплошная неразбериха. Сперва эта сцена на Уэстленд-роу. Потом вскочил в первый класс, когда билет в третий. Потом остановку проехал. Поезд с паровозом сзади. Мог бы завезти в Малахайд или в ночное депо или с другим столкнуться. Все от второй выпивки. В меру — это один раз. Чего я за ним? Все-таки он самый приличный из всего сборища. Если б не услышал про миссис Бьюфой-Пьюрфой, не зашел бы и его не встретил. Фатум. А он промотает те денежки. Тут контора

помощи бедным. Раздолье для всяких махинаций. Так-так, у вас затруднения? Что легко пришло, легко уйдет. Мог бы расстаться с жизнью из-за этого трамгонгфардугрельсджаггернаута, хорошо, что не растерялся. Хотя присутствие духа не всегда спасает. В тот день, если бы прошел мимо окон Трулока на две минуты поздней, получил бы пулю. Отсутствие тела. А если бы только продырявило одежду, мог бы взыскать за угрозу для жизни пятьсот фунтов. Кто б это был там? Туз какой-нибудь из клуба на Килдер-стрит. Храни господи его егерей. *(Разглядывает на стенке фаллический рисунок мелом, с подписью «Сладкий сон».)* Комики! Вот Молли нарисовала в Кингстауне, на замерзшем стекле в вагоне. А это на что похоже? *Размалеванные куклы глядят из окон, стоят в раскрытых дверях, куря дешевые сигареты. Сладкий тошнотворный дымок плывет к нему круглыми и овальными кольцами.*

Кольца. Сладкие прелести. Прелести греха.

Блум. Что-то у меня с позвоночником. Дальше или вернуться? Еще этой свинины набрал. Наешься ее — сам свинеешь. Головы нет. Пустая трата. Переплатил шиллинг и восемь пенсов. *(Приблудный пес, виляя хвостом, тычет в его ладонь мокрым холодным носом.)* Странно, чего их всех ко мне тянет. Даже тот зверюга сегодня. Сначала лучше заговорить с ними. Они как женщины, любят rencontres[13]. Только вони, как от хорька. Chacun son goût[14]. А может, он бешеный. Собачья жизнь. Не знает, что ему делать. Хороший песик, хороший! Фидо! Славный пес! Гарриоун! *(Волкодав ложится на спину, бесстыдно вихляясь, лапами попрошайничая, вывалив черный длинный язык).* Влияние окружения. Отдай, и дело с концом. Если никто тут. *(Ласково подзывая, он неуклюже и воровато, крадучись словно браконьер, отступает в темный вонючий угол, за ним по пятам сеттер. Развернув один сверток, собирается бросить свиную ножку, помедлив, берется за баранью.)* Весомо для трех пенсов. С другой стороны, я ведь держу в левой руке. Требует большего усилия. Отчего? Меньше, потому что меньше работает. Ладно уж, бросай. Два и шесть.

Не без сожаления выпускает из рук свиную ножку и сверток с бараньей. Мастиф неуклюже ворошит сверток, жадно набрасывается на мясо, рыча, с хрустом разгрызая кости. Безмолвно, настороженно приближаются двое патрульных в дождевиках с капюшонами. Перешептываются между собой.

Патрульный. Блум. Блума. Блуму. Блум.

Каждый из них кладет руку на плечо Блума.

Первый патрульный. Задержан при нарушении. Загрязнял общественные места.

Блум *(запинаясь)* Но я делаю добро другим.

Стая бакланов и чаек жадно взмывает с тинистых вод Лиффи, в клювах у них кусочки сладкого пирожка.

Чайки. Кау кау каррош кирожок.

Блум. Друг человека. Выдрессирован лаской.

Показывает рукой. Боб Дорен, опасно покачиваясь на высоком табурете, наклоняется над чавкающим спаниелем.

Боб Дорен. Ах ты шелудяга. Дай лапку. Ну дай лапку.

Бульдог рычит, шерсть у него на загривке встает дыбом, меж коренными зубами, сжимающими свиную кость, сочится бешеная слюна. Боб Дорен валится беззвучно в провал, ведущий в подвал.

Второй патрульный. Защита животных от жестокого обращения.

Блум *(с жаром)*. Благородное дело! Я отчитал кучера конки на мосту Хэролдс-кросс за то, что он плохо обращается с лошадью,

---

[13] Встречи *(франц.)*.

[14] У каждого свой вкус *(франц.)*.

вся холка хомутом стерта. И что же, он меня еще обложил за мою заботу. Притом был мороз, и этот вагон был последний. А все рассказы из цирковой жизни в высшей степени аморальны.

Синьор Маффеи, бледный от ярости, в костюме укротителя львов, с брильянтовыми запонками на пластроне рубашки, выступает вперед, держа цирковой затянутый бумагой обруч, ползущий кольцами кнут и револьвер, который он наводит на жрущего дога.

Синьор Маффеи *(со злобной усмешкой).* Леди и джентльмены, перед вами моя дрессированная борзая. Не кто иной, как я, укротил Аякса, свирепого мустанга пампасов, с помощью моего патентованного седла с шипами для плотоядных. Хлестать по брюху плетью с узлами. Вздергивание на блоке с придушиваньем за горло сделает покорной овечкой самого несговорчивого льва, будь он хоть сам Leo ferox [15], ливийский людоед. Докрасна раскаленный лом и особые мази, втираемые в обожженное место, создали нам Фрица Амстердамского, мыслящую гиену. *(Сверкает глазами.)* Мне известно индийское заклинание *. Его действие достигается блеском моих глаз и этих брильянтов, что у меня на груди. *(С чарующей улыбкой.)* А теперь позвольте представить вам мадмуазель Руби, красу арены.

Первый патрульный. Так. Фамилия, адрес.

Блум. Вы знаете, я забыл. Ах, да! *(Снимает свою шляпу-люкс, раскланивается.)* Доктор Леопольд Блум, дантист. Вы слышали, конечно, про пашу фон Блюма. Несметные миллионы. Доннерветтер! Владеет половиной Австрии. И Египта. Двоюродный брат.

Первый патрульный. Подтверждения.

Из-за кожаного ободка внутри блумовой шляпы выпадает карточка.

Блум *(в красной феске, в полном одеянии кадия с широким зеленым кушаком, с поддельным орденом Почетного легиона, торопливо поднимает и подает карточку).* Имею честь. Член Клуба Молодых Офицеров Армии и Флота. Мои поверенные: фирма Джон Генри Ментон, Бэйчлорз-уок, 27.

Первый патрульный *(читает).* Генри Флауэр. Без определенного места жительства. Бродяжничество, создание помех уличному движению.

Второй патрульный. Алиби. Вы получаете предупреждение.

Блум *(вытаскивает из нагрудного кармана измятый желтый цветок).* Флауэр, цветок. Вот он, этот цветок. Мне дал его один человек, я не знаю его фамилии. *(Убедительным тоном.)* Вы ведь знаете эту старую шутку, роза Кастилии. Блум. Смена фамилии. Вираг. *(Интимно и доверительно понижает голос.)* Вы понимаете, сержант, мы помолвлены. Тут замешана женщина. Сердечные сложности. *(Слегка подталкивает плечом второго патрульного.)* Конечно, порой случается и Ватерлоо. Как-нибудь вечерком заходите на бутылочку старого бургонского. *(Второму патрульному, бойким тоном.)* Я вас познакомлю, инспектор. С ней без промаха. Проделает все, не успеете оглянуться.

Выплывает темное, меченное ртутью лицо, за ним женская фигура под вуалью.

Темная ртуть. Его разыскивают в Замке. Его выгнали с позором из армии.

Марта *(под густой вуалью, алая ленточка вокруг шеи, в руке номер «Айриш таймс»; показывая на него, с упреком).* Генри! Леопольд! Лионель, моя утрата! Верни мне доброе имя.

Первый патрульный *(сурово).* Пройдемте в участок.

Блум *(испуганно пятится назад, надевает шляпу, потом, приложив правую руку к сердцу, отведя локоть под прямым углом, делает*

[15] Лев свирепый *(лат.).*

знак масона второй ступени). Нет-нет, глубокочтимый мастер, это распутница. Личность установлена ошибочно. Лионская почта *. Лезюрк и Дюбоск. Вы помните дело о братоубийстве Чайлдса. Мы ведь медики. Смертельный удар был нанесен топором. Я обвинен по ошибке. Пусть лучше один виновный ускользнет, чем девяносто девять будут неповинно приговорены.

Марта *(рыдает под вуалью).* Это нарушение обещания. Мое настоящее имя Пегги Гриффин. Он мне писал, что он ужасно несчастен. Бездушный соблазнитель, я на тебя пожалуюсь брату, он играет в регби защитником за «Бектайв».

Блум *(конфиденциально прикрыв рот рукой).* Она пьяна. Эта женщина под воздействием алкоголя. *(Невнятно бормочет пропуск ефремлян.)* Вшиволет *.

Второй патрульный *(со слезами на глазах, Блуму).* Вам должно быть так стыдно, так стыдно за себя.

Блум. Господа присяжные, позвольте мне объясниться. Это чистейшие небылицы. Меня неправильно поняли. Меня делают козлом отпущения. Я почтенный семьянин с репутацией без единого пятнышка. Я проживаю на Экклс-стрит. Моя супруга, я дочь заслуженного военачальника, отважного джентльмена и человека чести, по имени, как там его, генерал-майор Брайен Твиди, одного из наших храбрецов, которые одерживают для Британии победы на поле брани. Он получил повышение за геройскую оборону Роркс-Дрифт *.

Первый патрульный. Полк.

Блум *(обращается к галерее).* Королевские Дублинские Стрелки, дети мои, соль земли, известные всему миру. Мне кажется, я вижу среди вас кое-кого из старых товарищей по оружию. К. Д. С. Вместе с нашей столичной полицией, что охраняет наш покой, самые ловкие, самые мужественные парни на службе у нашего монарха.

Голос. Предатель! Да здравствуют буры! Кто освистывал Джо Чемберлена?

Блум *(кладет руку на плечо первого патрульного).* Мой старый папаша тоже был мировой судья. Я как и вы, сэр, такой же твердокаменный британец. Я сражался под нашими знаменами в беззаботной войне *, за короля и державу, под начальством генерала Гофа, того, что в парке, получил ранения при Блумфонтейне * и при Спайон-Коп*, упоминался в приказах. Я делал все, что в силах белого человека. *(Тихо, с чувством.)* Джим Бладсо *. Лодку к берегу держи.

Первый патрульный. Профессия или род занятий.

Блум. Род моей деятельности — литература. Я писатель и журналист. Кстати, в настоящее время мы как раз выпускаем сборник премированных рассказов, это мой замысел, нечто абсолютно новое. Я связан с английской и ирландской прессой. Если вы позвоните... *Подходит Майлс Кроуфорд дергающейся походкой, зажав гусиное перо в зубах. Его багровый клюв пламенеет в ореоле соломенной шляпы. Одна рука помахивает связкой испанских луковиц, другая прижимает к уху телефонную трубку.*

Майлс Кроуфорд *(его петушиные сережки болтаются).* Алло, семьдесят семь восемьдесят четыре. Редакция «Уикли сортир» и «Фрименс дисталл». Парализуем Европу. Кто-кто? Из суда? Кто писатель? Это Блум-то?

Мистер Филип Бьюфой, бледный, стоит на свидетельском месте в аккуратной визитке, с уголком платка из нагрудного кармана, в отутюженных сиреневых брюках и лакированных башмаках. В руке у него пухлый портфель с наклейкой «Мастерские удары Мэтчена».

Бьюфой *(растягивая слова).* Нет, вы ни в какой мере, вы ни в малейшей степени, насколько я знаю. Я просто не допускаю такой мысли. Ни один, родившийся джентльменом, ни один, имеющий хотя бы слабые признаки джентльмена, никогда не опустится до такого позорного поведения. Он из таких, милорд. Плагиатор. Сколь-

зкий негодяй, прикидывающийся писателем. Бесспорно установлено, что он, следуя подлой своей натуре, обокрал мое популярнейшее творение, истинный шедевр, чистой воды алмаз, с любовными сценами ниже всякого подозрения. Книги Бьюфоя о любви, о роскоши и богатстве, знакомые, без сомнения, вашей светлости, знамениты по всей империи.

Блум *(хмурый, пристыженно и кротко бормочет).* Вот только то место, где про смеющуюся чаровницу, рука в руке, насчет него я бы хотел отклонить обвинение, если позволите...

Бьюфой *(вздернув губу в надменной улыбке, окидывает зал взглядом).* Полнейший осел! Никаких слов не хватит для вашей бездонной тупости! Я думаю, вам незачем так себя утруждать по этому поводу. Здесь присутствует мой литературный агент, мистер Дж. Б. Пинкер. Надеюсь, милорд, что мы получим возмещение издержек, как это положено свидетелям, не правда ли? Мы весьма оскудели по вине этого жалкого щелкоперишки, этой реймсской сороки*, даже не учившейся в университете.

Блум *(бурчит под нос).* Университет жизни. Плохая литература.

Бьюфой *(взрывается криком).* Это гнуснейшая ложь, это показывает его моральную гнилость! *(Потрясает портфелем.)* Вот здесь у нас, милорд, неоспоримые доказательства, corpus delicti[16], образец моего зрелого творчества, обезображенного клеймом зверя.

Голос с галереи.

Моисей, еврейский царь,
Подтирался «Таймсом» встарь.

Блум *(собравшись с духом).* Передержки.

Бьюфой. Подлая скотина! Да тебя в луже утопить, гнида! *(Обращаясь к суду.)* А вы посмотрите на его личную жизнь! Она у него не двойная, нет, четверная! На людях ангел, а дома черт. Да его имя нельзя при дамах произносить! Первейший интриган века!

Блум *(обращаясь к суду).* А он, холостой, каким образом...

Первый патрульный. Король против Блума. Вызовите свидетельницу Дрисколл.

Секретарь. Мэри Дрисколл, кухарка!

Появляется Мэри Дрисколл, молодая служанка в стоптанных туфлях. На согнутой руке у нее надето ведро, в другой руке швабра.

Второй патрульный. Еще одна! Вы из того злосчастного сословия?

Мэри Дрисколл *(возмущенно).* Я вам не девка. Я самого честного поведения, служила у последних хозяев четыре месяца. Хорошее место, шесть фунтов в год, да еще наградные, и каждую пятницу выходной, а пришлось уйти, потому как он приставал.

Первый патрульный. В чем вы его обвиняете?

Мэри Дрисколл. Он ко мне подкатился известно с чем, ну только я об себе выше понимаю, пускай я бедная.

Блум *(в мягкой домашней куртке, фланелевых брюках и шлепанцах, небритый, с взъерошенными волосами; примирительно).* Я ведь с тобой обращался как с благородной. Вещицы дарил на память, изумрудные подвязки, куда шикарней, чем в твоем положении пристало. Заступился за тебя, не подумав, когда тебя обвинили в покраже. Всему есть мера. Играй по-честному.

Мэри Дрисколл *(с жаром).* Вот как перед Богом, если я когда брала эти устрицы!

Первый патрульный. По поводу нанесенного оскорбления. Было ли нечто совершено?

Мэри Дрисколл. Он меня застал за домом, на задах, ваша честь, когда хозяйка пошла утром за покупками, и просит булавку.

---

[16] Состав преступления *(лат.).*

А сам как облапит, у меня в четырех местах потом синяки были. И два раза пробовал под юбку залезть.

Блум. Она сама отвечала действиями.

Мэри Дрисколл *(презрительно)*. Да мне своей швабры жалко было, вот что. Я его окоротила, милор, а он говорит: только ты никому не сказывай!

Всеобщий смех.

Джордж Фотрелл *(секретарь королевского и мирового суда, звучным голосом)*. К порядку! К порядку! Сейчас обвиняемый огласит ложное заявление.

Блум, не признавая себя виновным, держа в руке распустившуюся кувшинку, начинает длинную бессвязную речь. Здесь еще услышат, что скажет его защитник в своем прочувствованном обращении к суду. Он потерпел полное крушение в жизни, но, хоть и был заклеймен как паршивая овца, если можно так выразиться, желает стать на путь исправления, загладить прошлое чистой, как у сестер, жизнью и вернуться к природе словно невинное домашнее животное. Родившись семимесячным, он был заботливо вскормлен и выпестован престарелым, прикованным к постели родителем. Возможно, случались ошибки и промахи блудного отца. однако он хотел бы открыть новую страницу и теперь, наконец-то очутившись в двух шагах от позорного столба, вести тихую домашнюю жизнь на закате дней, проникнутую теплом трепетного семейного лона. Акклиматизированный британец, в тот летний вечер с площадки паровоза на Кольцевой линии он видел пускай урывками между тем как дождик собирался было, но передумал мелькавшие в окнах любвеобильных семейных очагов в Дублине и в городской округе истинно буколические сцены райского счастья с обоями от Докрелла шиллинг и девять пенсов рулон, невинных детишек, родившихся британцами, лепечущих молитвы Святому Младенцу, юных школьников, склонившихся над своими уроками, примерных девушек, сидящих за фортепьяно или возносящих жаркие хвалы Всевышнему, собравшись со всем семейством вокруг горящего рождественского камина, а по проселкам, по зеленым тропинкам гуляли colleens со своими кавалерами под мелодии аккордеона с органным звучанием металлическая отделка из сплава «Британия» четыре регистра и двенадцать мехов, просто даром, самый выгодный случай какой...

Снова смех. Он бормочет бессвязные слова. Репортеры жалуются, что не могут расслышать.

Протоколистка и стенографистка *(не отрываясь от своих записей)*. Закройте у него крантик.

Профессор Маккью *(за столом для журналистов, чихая, подбадривает)*. Чихай на них, парень. Выкладывай все как есть.

Следует перекрестный допрос, предмет рассмотрения — Блум и ведро. Большое ведро. Лично Блум. Расстройство желудка. На Биверстрит. Да, резь. Да, нестерпимо. Ведро штукатуров. Шел, еле крепясь. Неописуемые мучения. Подобно смертельной агонии. Около полудня. Любовь или бургонское. Да, немного шпината. Критический момент. В ведро не заглядывал. Никого. Довольно грязно. Не до конца. Старый номер «Осколков».

Возгласы и свистки сливаются в кошачий концерт. Блум, в порванном сюртуке, выпачканном известкой, в помятом и съехавшем набок цилиндре, с нашлепкой из пластыря на носу, неслышимый, продолжает говорить.

Дж. Дж. О'Моллой *(в парике и мантии адвоката, тоном горестного протеста)*. Не место здесь предаваться непристойному зубоскальству над бедным смертным, который злоупотребил алкоголем. Мы не в зверинце, и не на студенческой попойке, и не разыгрываем пародию на правосудие. Мой подзащитный — дитя, бедный иммигрант, который начал на голом месте, приехав сюда безбилетни-

ком на пароходе, и теперь пытается честно, в поте лица своего, зарабатывать хлеб свой. Пресловутый проступок, о котором здесь так трубят, был совершен в результате минутного отклонения наследственности, вызванного галлюцинацией, и вольности, подобные той, что вменяется ему в вину, вполне дозволены и привычны на его родине, в земле фараонов. Prima facie [17], я обращаю ваше внимание на то, что здесь отсутствовали попытки к соитию. Близость не имела места, и оскорбление, на которое жаловалась девица Дрисколл, то есть покушение на ее добродетель, более не повторялось. Я усматриваю здесь атавизм. В семействе подзащитного отмечены случаи лунатизма и кораблекрушений. Если бы обвиняемый мог говорить, поведать бы он смог такую повесть, которая показалась бы нам одною из самых необычайных, какие только можно найти в книгах. Он ведь и сам, милорд, словно обломок крушения, у него слабая грудь, болезнь бедняков, чахотка. Его оправдание в том, что он монгольской расы и не отвечает за свои действия. Не все дома, вы понимаете.

Блум *(босой, тщедушный, в блузе и штанах кули, поджимая от стеснения пальцы ног, таращит крошечные кротовьи глазки, ошарашенно озирается вокруг, потирая ладонью лоб. Потом поддергивает штаны и с восточною учтивостью привествует суд, показывая большим пальцем на небо).* Его делай осень пиликласна нось. *(Простодушно напевает.)*

Мальсика холосая
Нозку свинки плинесла
Отдала два глосика...

Крики и свист заглушают его.

Дж. Дж. О'Моллой *(запальчиво обращаясь к толпе).* Это слишком неравный бой. Клянусь Стиксом, я не позволю, чтобы над моим подзащитным, каков бы он ни был, так бесновалась и глумилась стая гиен и шакалов. На смену закону джунглей пришли заповеди Моисея. Я утверждаю, и утверждаю категорически, отнюдь не желая чинить противное целям правосудия, что обвиняемый не был пособником преступления и истица не подвергалась насилию. Мой подзащитный относился к этой юной особе как к своей родной дочери. *(Блум берет руку Дж. Дж. О'Моллоя и подносит к губам.)* Я представлю опровергающие свидетельства, и я абсолютно бесспорно докажу, что здесь снова орудует невидимая рука. Виновный неизвестен — хватайте Блума. Мой подзащитный застенчив и робок от природы, он меньше всех на свете способен сделать что-либо неблаговидное, что-либо оскорбительное для скромности или же бросить камень в грешницу, которая пошла по кривой дорожке, когда какой-нибудь негодяй, повинный в ее падении, заставил ее служить своему сластолюбию. Он хочет идти прямым путем, и я считаю его самым безупречным из всех людей, которых мне доводилось знать. В данный момент он находится в трудных обстоятельствах, поскольку ему пришлось заложить свои обширные владения в глубинах Малой Азии в Агендат Нетаим, диапозитивы которого сейчас вам будут показаны. *(Блуму.)* Я бы советовал вам проявить великодушие.

Блум. Пенни на каждый фунт.

На стену направляют вид озера Киннерет, в серебристой дымке смутно видны пасущиеся стада. Моше Длугач, альбинос с глазками хорька, в синих рабочих брюках, стоит на галерее, держа в каждой руке лимон и свиную почку.

Длугач *(сиплым голосом).* Берлин W 13, Бляйбтройштрассе. *Дж. Дж. О'Моллой восходит на невысокую приступку и с важностью берется за отвороты мантии. Лицо его удлиняется, становится бледным и бородатым, глаза западают, скулы загораются пятнами боль-*

[17] Первым делом *(лат.).*

ного румянца: чахоточное обличье Джона Ф. Тэйлора. Он подносит платок ко рту и разглядывает скоротечную розово-красную кровь.

Дж. Дж. О'Моллой *(едва слышно).* Прошу прощения, у меня сильнейший озноб, я только недавно поднялся после болезни. Несколько тщательно подобранных слов. *(Обретает птичью голову, лисьи усы и длиннорылое красноречие Сеймура Буша.)* Когда приходит время ангелу открыть книгу, если только достойно жить что-либо преображенное душой или преображающее душу, зачатое задумчивым лоном, я говорю: даруйте обвиняемому святую привилегию сомнения.

В суд передают бумагу, на которой что-то написано.

Блум *(в придворном платье).* Могу представить самые наилучшие рекомендации. Господа Коллен и Коулмен. Мистер Уиздом Хили, мировой судья. Мой старинный патрон Джо Кафф. Мистер В. Б. Диллон, бывший лорд-мэр Дублина. Я вращался в блестящем кругу самых очаровательных... Цариц дублинского света. *(Небрежно.)* Нынче вечером на узком приеме у вице-короля я совсем заболтался со старым приятелем, с сэром Робертом, королевским астрономом, и с его женой, леди Болл. Сэр Боб, говорю ему...

Миссис Йелвертон Барри *(на ней опаловое бальное платье с большим декольте, длинные, по локоть, перчатки цвета слоновой кости, накидка с собольей оторочкой и кирпичным подбоем, в волосах гребень с брильянтами и эгретка).* Констебль, арестуйте его. Он мне прислал анонимное письмо, когда мой муж был на Манстерской выездной сессии в Северном Округе Типперэри, нарочно изменил почерк на детские каракули и подписался Джеймс Розголюб. Он там писал, что увидел с галерки мои бесподобные округлости, когда я сидела в ложе театра «Ройял» на представлении «Цикады» *, которое давали по просьбе наместника. Я воспламенила его, он там писал. И он мне сделал непристойное предложение нарушить мой супружеский долг в следующий четверг, в полпятого по меридиану Дансинка. Он также предлагал прислать мне по почте произведение мсье Поль де Кока «Девушка в трех корсетах».

Леди Беллингам *(в шляпке, кутаясь в кроличью под котик мантилью, выходит из своего ландо и подносит к глазам черепаховый лорнет, который вынимает из пышной муфты опоссумова меха).* И мне также. Да, я думаю, это та же сомнительная личность. Потому что однажды в ненастный день он закрыл дверцу моей кареты возле дверей дома сэра Торнли Стокера *, это было во время ужасных холодов в феврале девяносто третьего, когда у меня в доме замерзли даже клапан бака над ванной и решетка сливной трубы. А после этого он мне прислал цветок эдельвейса, добытый им в мою честь, так он сказал, на горных вершинах. Я отдала его осмотреть ученому специалисту по ботанике и получила сведения, что это был цветок картофеля домашнего, похищенный из теплиц показательной фермы.

Миссис Йелвертон Барри. Позор ему!

Врывается толпа шлюх и оборванцев.

Шлюхи и оборванцы *(вопят).* Держи вора! Молодчага, Синяя Борода! Тройное ура Ицке Мойше!

Второй патрульный *(извлекает наручники).* А вот и браслетки.

Леди Беллингам. Он мне писал разными почерками, расточал льстивые комплементы, называл Венерой в мехах * и уверял, что ужасно сочувствует моему продрогшему выездному лакею, Палмеру, хотя тут же признавался в зависти к его шапке-ушанке и овчинному тулупу, а также и к тому, что он имеет счастье быть так близко к моей особе, когда стоит за моим сиденьем в ливрее с родовыми гербами Беллингамов, на черном поле золотая оленья голова. Он самым неподобающим образом восхвалял нижние части моей

фигуры, мои полные икры в шелковых чулках, натянутых туго до предела, и весьма пылко распространялся о прочих моих сокровищах, которые, как он сказал, он живо воображает себе в мечтах, хотя они и скрыты бесценным кружевом. Он побуждал меня, и притом уверял, что считает это своей жизненной миссией, чтобы я осквернила супружеское ложе и совершила бы адюльтер как можно скорей, при самой первой возможности.

Баронесса Толбойс *(в амазонке и котелке, в ботфортах со шпорами, алом жилете и желтых мушкетерских перчатках с расшитыми раструбами; шлейф амазонки подобран, в руке охотничий хлыст, которым она то и дело похлопывает себя по голенищу).* И меня также. Он увидел меня в Феникс-парке на игре в поло, на матче Вся Ирландия против Остальной Ирландии. Я знаю, глаза у меня сверкали божественно, когда я смотрела, как драгунский капитан Денни Железная Рука делает победный бросок на своем любимом Кентавре. Этот плебейский Дон Жуан следил за мной, притаившись за кэбом, а потом прислал мне в двойном конверте неприличную фотографию, из тех, что продают на парижских бульварах из-под полы, они оскорбительны для всякой дамы. Она до сих пор у меня. На ней полураздетая сеньорита, тоненькая, хорошенькая (как он торжественно заверил, его жена, заснятая им с натуры), совершает незаконное сношение с мускулистым тореро явно разбойничьего вида. Он уговаривал меня делать то же самое, предаваться греху с гарнизонными офицерами. Он умолял меня, чтобы я выпачкала его письмо абсолютно неназываемым образом, а также наказала бы его, чего он вполне заслуживает, уселась бы на него верхом и погоняла, хлеща кнутом что есть сил.

Леди Беллингам. И меня.

Миссис Йелвертон Барри. И меня.

Несколько самых уважаемых дублинских дам поднимают недостойные письма, полученные ими от Блума.

Баронесса Толбойс *(охваченная внезапным порывом ярости, топает ножкой, зазвенев шпорами).* Клянусь Богом, я это сделаю. Я буду хлестать и хлестать этого мерзкого труса, пока хватит сил. Я сдеру с него шкуру заживо.

Блум *(в испуге зажмуривается).* Как, здесь? *(Корчась от страха.)* Опять! *(Съеживается, тяжело дыша.)* Я люблю опасность.

Баронесса Толбойс. Ну погоди! Сейчас тебе станет жарко! Ты у меня запляшешь!

Леди Беллингам. Распишите-ка ему штаны хорошенько! Отделайте гнусного выскочку во все цвета!

Миссис Йелвертон Барри. Позор! У него ни малейшего оправдания! Женатый мужчина!

Блум. Все на меня. Я ведь имел в виду только так, отшлепать. Так чтобы разогревало, пощипывало, но не до крови. Утонченная порка для стимуляции кровообращения.

Баронесса Толбойс *(с издевательским смехом).* Ах, вот как, любезный? Ну что ж, Бог свидетель, сейчас ты получишь сюрприз на всю жизнь, уж ты мне поверь, самую беспощадную порку, какая только доставалась кому-нибудь. Ты разбудил яростную тигрицу в моей душе.

Леди Беллингам *(мстительно потрясая своим лорнетом и муфтой).* Помучай его, прижги, Ханна, милочка. Перцу ему под хвост. Разделай гадкого пса так, чтобы едва жив остался. Кошкой-девятихвосткой его. Устрой ему вивисекцию и кастрацию.

Блум *(весь дрожа, съеживается, складывает ладони с умоляющим видом).* О, какой холод! Какой озноб! Всему виной ваша упоительная красота. Забудем, простим. Это фатум. Пощадите меня, на один этот раз. *(Подставляет другую щеку.)*

Миссис Йелвертон Барри *(сурово).* Вы не должны его щадить, баронесса! Его надо как следует проучить!

Баронесса Толбойс *(рывком сдергивая перчатку).* Пощады не будет! Свинья, грязный пес, и отроду был таким! Смеет обращаться ко мне! Да я его засеку до черноты прямо на улице, у всех на глазах. Всажу в него шпоры со всего маха. Он рогоносец, это все знают. *(Яростно рассекает воздух хлыстом.)* А ну-ка сюда, сэр! Не мешкать, живо! Сию минуту спускайте с него штаны.

Блум *(трясущийся, суетливо повинуется).* Погода была такая теплая.

Проходит Дэви Стивенс с кудрявой шевелюрой, в кольце мальчишек-газетчиков.

Дэви Стивенс. «Вестник Сердца Иисусова» и «Ивнинг телеграф» с приложением по случаю Дня Святого Патрика. Сообщаются новейшие адреса всех дублинских рогоносцев.

Высокопреподобный каноник О'Ханлон в златотканой парчевой ризе возносит и выставляет на поклонение мраморные часы. Отец Конрой и преподобный Джон Хьюз, О. И., стоящие перед ним, склоняются долу.

Часы *(дверца в них раскрывается).*

Ро — га.
Ро — га.
Ро — га.

Слышно, как позвякивают медные пружины кровати.

Пружины. Жик-жик, жика-жика, жик-жик.

Завеса тумана стремительно раздергивается, и за ней делаются видны сидящие на скамье присяжных Мартин Каннингем, старшина, в высоком цилиндре, Джек Пауэр, Саймон Дедал, Том Кернан, Нед Лэмберт, Джон Генри Ментон, Майлс Кроуфорд, Ленехан, Падди Леонард, Флинн Длинный Нос, Маккой и некто со стертыми чертами, Безликий *.

Безликий. Езда без седла. Вес по возрасту. Ей-ей, он уж ее организовал.

Присяжные *(все их головы поворачиваются к нему).* Правда?

Безликий *(злобно).* Задница выше кумпола. Сто шиллингов на пять.

Присяжные *(все их головы согласно кивают).* Мы почти все так и думали.

Первый патрульный. Он у нас на заметке. Еще одну девицу лишил косичек. Объявлен розыск: Джек Потрошитель. Награда тысяча фунтов.

Второй патрульный *(с почтительным страхом шепчет).* И в черном весь. Видать, мормон. Анархист.

Секретарь *(громким голосом).* Принимая во внимание, что Леопольд Блум, без определенного места жительства, известен как террорист, фальшивомонетчик, двоеженец, сводник и рогоносец и представляет общественную опасность для граждан города Дублина, а также принимая во внимание, что в настоящем судебном заседании достопочтенный...

Его светлость сэр Фредерик Фолкинер, главный судья Дублина, в серокаменных судейских одеждах, поднимается со скамьи, каменнобородый. В руках у него зонтик-жезл. Изо лба выдаются мощные моисеевы рога.

Главный судья. Я положу конец гнусной торговле живым товаром, и я избавлю Дублин от этой позорной язвы. Неслыханно! *(Надевает черную шапочку.)* Извольте распорядиться, господин главный инспектор, чтобы его взяли со скамьи подсудимых и заключили в тюрьму Маунтджой на такой срок, какой будет угоден Его Величеству, и там предали смертной казни через повешение, исполнение

чего всецело вверяется вашей ответственности, да помилует Господь вашу душу. Уведите его.

Черная шапочка нисходит на его голову. Появляется главный инспектор Длинный Джон Феннинг, куря большую пахучую сигару.

Длинный Джон Феннинг *(обводит сцену тяжелым взглядом и вопрошает густым раскатистым басом).* Ну, кто повесит Иуду Искариота?

Г. Рамболд, цирюльник, в кроваво-красном камзоле и фартуке кожевника, с мотком веревки через плечо, поднимается на эшафот. За поясом у него дубинка со свинцом и палица, утыканная гвоздями. Злобно потирает хищные руки с надетыми на них кастетами.

Рамболд *(главному судье, со зловещей развязностью).* Гарривешатель, ваше величество, гроза Мерси. По пять гиней вертлюжок. Была бы шея, веревку сыщем.

Звонят колокола на церкви Святого Георгия, гулкий, медленный, замогильный звон.

Колокола. Эй-гей! Эй-гей!

Блум *(впадая в отчаяние).* Постойте. Остановитесь. А чайки. Доброе сердце. Я видел. Невинность. Девушка перед клеткой обезьян. В зверинце. Похотливые шимпанзе. *(Задыхается.)* Тазовый бассейн. Ее наивный румянец обезоружил меня. *(Не может справиться с волнением.)* Я покинул эти пределы. *(Просительно обращается к одной из фигур в толпе.)* Хайнс, можно два слова вам? Вы знаете меня. Можете не отдавать мне эти три шиллинга. Если вам нужно еще немного...

Хайнс *(холодно).* Я вас впервые вижу.

Второй патрульный *(показывает в угол).* Бомба там.

Первый патрульный. Адская машина с часовым механизмом.

Блум. Нет-нет. Это свиная ножка. Я был на похоронах.

Первый патрульный *(берется за свою дубинку).* Лжец! *Гончая поднимает морду, и все видят серое цинготное лицо Падди Дигнама. Он слопал все. От него исходит гнилостное дыхание пожирателя падали. Он вырастает до человеческих размеров и очертаний. Шкура таксы превращается в темный саван покойника. Зеленый, кровью налитый глаз сверкает. Половина одного уха, весь нос и большие пальцы рук отъедены упырями.*

Падди Дигнам *(глухим голосом).* Это правда. Это были мои похороны. Доктор Финьюкейн засвидетельствовал смерть от естественных причин, когда я заболел и помер.

Он поднимает к луне изуродованное пепельное лицо и тоскливо воет.

Блум *(торжествующе).* Вот, слышите!

Падди Дигнам. Блум, я дух Падди Дигнама. О слушай, слушай, слушай!

Блум. Это голос Исава.

Второй патрульный *(крестясь).* Это как же такое может быть?

Первый патрульный. Про это нет в кратком катехизисе.

Падди Дигнам. Это метемпсихоз. Привидения.

Голос. Ну и дичь.

Падди Дигнам *(убежденным тоном).* Прежде я был в одном из служащих мистера Джона Генри Ментона, стряпчего, поверенного по присягам и свидетельствам, Бэйчлорз-уок, 27. Сейчас я покойник, гипертрофия сердечной стенки. Не повезло. Жена, бедняжка, ее силы были и так подорваны. Как она там, держится? Заберите у нее ту бутылку хереса. *(Осматривается кругом.)* Фонарь. Мне бы надо справить потребность. Топленое молоко что-то не пошло впрок. *Представительная фигура Джона О'Коннелла, управляющего, выступает вперед, держа связку ключей на траурной ленте. Рядом с ним*

отец Гробби, настоятель, с раздутым брюхом и кривой шеей, в стихаре, в цветном ситцевом платочке вместо ночного колпака, сонно сжимает жезл, сплетенный из маковых стеблей.

Отец Гробби *(зевнув, затягивает хрипло и квакающе).* Намине. Джекобс. Вобисквит [18]. Аминь.

Джон О'Коннелл *(через мегафон, с грозными завываниями сирены).* Покойный Дигнам, Патрик Т.!

Падди Дигнам *(вздрогнув, настораживает уши торчком).* Высокие ноты. *(Извиваясь, вытягивается вперед, припадает ухом к земле.)* Голос моего хозяина!

Джон О'Коннелл. Погребальное свидетельство УМ-Ъ 85000. Секция 17. Дом Ключей. Участок 101.

Падди Дигнам с явным усилием вслушивается, думает, хвост палкой, уши торчком.

Падди Дигнам. Молитесь за упокой души его.

Уползает вниз через подвальный люк, полы савана волочатся по шуршащему гравию. За ним ковыляет жирная старая крыса, черепашьи лапы как ножки грибов под серым панцирем. Голос Дигнама доносится приглушенным лаем из-под земли: «Дигнам помер и зарыт, он на кладбище лежит». Том Рочфорд, красногрудый как снегирь, в фуражке и бриджах, выпрыгивает из своей машины о двух колонках.

Том Рочфорд *(кланяется, приложив руку к груди).* Рувим Дж. Ставлю флорин, что найду его. *(Отважно и зорко оглядев люк.)* Ну, мой черед. В Карлоу, вперед, за мной!

Делает в воздухе лихое сальто-мортале и скрывается в люке. Два диска в колонках, качнувшись, выставляют круглые глаза нулей. Все исчезает. Блум пробирается дальше через клоаку. Сквозь туман доносится чивиканье поцелуев, звуки рояля. Он останавливается перед освещенным домом, прислушиваясь. Поцелуи, выпархивая из гнездышек, вьются вокруг него, чирикают, щебечут, воркуют.

Поцелуи *(щебечут).* Лео! *(Чирикают.)* Звонкий жаркий чуткий сладкий для Лео! *(Воркуют.)* Чмок-чмок! Умм-юмм! О-оо! *(Чирикают.)* Цви-вить! Сюд-сюда! Лео-по! *(Щебечут.)* Лео-ле, Лео-люб! *(Чирикают.)* Лео-лео, люб-люб!

Они снуют, перепархивают на его одеждах, яркие и быстрые блестки, серебристые искорки.

Блум. Мужское туше. Печальная музыка. Церковная музыка. Может быть тут.

*Зоя Хиггинс *, девица легкого поведения в сапфировой узкой юбке с тремя бронзовыми пряжками, с черной узенькой бархаткой на шее, кивает ему, спускается со ступенек и подходит вплотную.*

Зоя. Вы ищете кого-нибудь? Он там внутри с другом.

Блум. Это заведение миссис Мак?

Зоя. Нет, это дальше, тут восемьдесят один, миссис Коэн. Бывает, дальше зайдешь, хуже найдешь. Матушка Пантуфля. *(Как старому знакомому.)* Нынче она сама при деле с ветеринаром, этот жучок ей говорит все верные ставки и платит за ученье ее сынка в Оксфорде. Работа сверхурочная, но сегодня ей повезло. *(С подозрением.)* А вы, часом, не папаша ему?

Блум. Ничего подобного!

Зоя. А то оба в черном. Тогда, небось, котик не прочь побаловаться?

Его плоть чутко отзывается на приближение ее пальцев. Она скользит рукой по его левому бедру.

Зоя. Где там орешки?

Блум. Сбоку. Интересно, что всегда справа. Наверно, то тяжелей. Мой портной, Мизайес, говорит, из миллиона у одного так.

---

[18] Искаж. Nomine... Vobiscum — имя... с вами *(лат.)*.

З о я *(внезапно встревожившись).* У тебя твердый шанкр.

Б л у м. Это вряд ли.

З о я. Я же чувствую.

Запустив руку в левый карман его брюк, она вынимает оттуда твердую почерневшую сморщенную картофелину. Приоткрыв рот с влажными губками, глядит то на нее, то на Блума.

Б л у м. Семейный талисман. На счастье.

З о я. А это для Зои, правда? За то, что я такая миленькая?

Жадно сует картофелину к себе в карман, потом берет его под руку, прижимается тесно и горячо. Он принужденно улыбается. Звучит восточная музыка, медленно, такт за тактом. Он смотрит в ее карие глаза, обведенные краской. Улыбка его теплеет.

З о я. Узнаешь меня в следующий раз.

Б л у м *(с тоскою покинутого).* Газели милой никогда я в жизни не любил, хотя судьба...

Газели скачут, пасутся на горных склонах. Невдалеке озера. По берегам их темные тени кедровых рощ. Веет душистый аромат, пряный смолистый дух восходит ввысь пахучими прядями. Восток горит, сапфировое небо прочерчивает полет бронзовых орлов. Под ним лежит город женщин, белый и обнаженный, в прохладной неге и роскоши. Струи фонтана шепчутся в окружении дамасских роз. Огромные розы шепчут о пурпуре виноградных гроздьев. С таинственным шепотом источается вино, вино стыда, крови, страсти.

З о я *(шепча-мурлыча в такт музыке, улыбается, сладостные губы одалиски увлажнены бальзамом из розовой воды и свиного жира).* Шорах ани веноввах, беноит Ершалоим [19].

Б л у м *(очарован).* По твоему выговору я так и думал, что ты от доброй лозы.

З о я. А ты не слышал, что думать вредно?

Игриво покусывает его ухо маленькими златопломбыми зубками, обдавая густым застоялым чесночным духом. Розы, расступаясь, являют взору золотую усыпальницу царей и гниющие их останки.

Б л у м *(слегка отшатывается, продолжая вяло поглаживать ее правую грудь неловкой плоской ладонью).* А ты из Дублина?

З о я *(поймав выбившуюся прядь, ловко вплетает в завиток).* Извини-подвинься. Я англичанка. А у тебя подымить не будет?

Б л у м *(в прежней позиции).* Я редко курю, милочка. Так, иногда сигару. Детское баловство. *(Игриво.)* Для рта бывают занятия и получше, чем сосать вонючую палку.

З о я. Ну-ну, валяй. Разводи агитацию.

Б л у м *(в шляпе апаш, в брюках из грубого вельвета и в черной блузе рабочего с алым развевающимся галстуком-бантом).* Род человеческий неисправим. Сэр Уолтер Рэли привез нам из Нового Света эти клубни * и эту траву, из коих первое при поглощении убивает инфекции, второе же отравляет слух, зрение, сердце, память, волю, разум — словом, все. Таким образом, он привез к нам яд на целый век раньше, чем тот, другой, забыл его имя, привез нам пищу. Самоубийства. Лживость. Все наши нравы. А поглядеть на нашу общественную жизнь!

С дальних колоколен доносится полночный звон.

З в о н. Возвратись, Леопольд! Лорд-мэр Дублина!

Б л у м *(в одеянии олдермена, с цепью).* Избиратели Арран-куэй, Иннс-куэй, Ротонды, Маунтджоя и Северных Доков, я заверяю вас, что самое наилучшее — это провести линию трамвая от скотного рынка к реке. Вот музыка будущего. Вот моя программа. Cui bono? [20] Однако наши пиратствующие Летучие Голландцы на корабле-призраке своих капиталов...

---

[19] Дщери Иерусалимские! черна я, но красива *(древнеевр.— Книга Песни Песней Соломона, 1, 4).*

[20] Кому выгодно? *(лат.)*

Из толпы избирателей. Трижды тройное «ура» нашему будущему главному магистрату!

Северным сиянием загорается факельное шествие.

Факельщики. Урра!

*Именитые горожане, местные тузы и почетные граждане пожимают руку Блуму и поздравляют его. Тимоти Хэррингтон *, трижды бывший лордом-мэром Дублина, весьма внушительный в пурпурной мантии мэра, с золотой цепью и в белом шелковом галстуке, переговаривается с советником Лорканом Шерлоком, locum tenens. Оба горячо кивают в общем согласии.*

Бывший лорд-мэр Хэррингтон *(на нем белого шелка широкий шейный платок, золотая цепь мэра и пурпурная мантия, в руке жезл).* Чтобы речь олдермена сэра Лео Блума была напечатана за счет налоговых сумм. Чтобы дом, в котором он был рожден, был украшен памятною доской. И чтобы проезд, прежде называвшийся Коровий Выгул, вблизи Корк-стрит, именовался отныне Бульваром Блума.

Советник Лоркан Шерлок. Принято единогласно.

Блум *(пламенно).* Эти летучие голландцы или, верней, липучие голландцы, когда они валяются на коврах у себя в кают-компании, со скуки играя в кости, до чего им дело? Машины — вот одна их забота, их химера, их талисман. Приспособления и автоматы, механические страшилища, наштампованные упыри для взаимного истребления, мерзостные ублюдки, которых плодит алчность капиталистов, похотливо прилипших, присосавшихся к нашему опроституированному труду. Бедняки отдыхают с голоду, а они себе откармливают своих королевских оленей, они себе стреляют базанов и фекасов, купаются в золоте, плавают в платине. Их барство таит коварство, а наше государство это их царство, и до каких же пор, товарищи, это кошмарство...

Бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Повсюду вырастают триумфальные арки, торжественные обелиски, праздничные флагштоки. Над улицей протянулись полотнища с лозунгами: «Cead Mile Failte» [21] *и «Мах Тов Мелек Израиль»* [22]*. Во всех окнах теснятся взволнованные зрители, по преимуществу дамы. Выстроенные вдоль дороги полки Королевских дублинских стрелков, Собственных Его Величества шотландских пограничных гвардейцев, Камеронских горцев и Валлийских стрелков, стоя по стойке смирно, сдерживают натиск толп. Школьники облепили все телеграфные и фонарные столбы, все водосточные и печные трубы, подоконники и карнизы, ограды, парапеты и желоба, приветственно свистя и вопя. Вдали возникает облачный столп. Слышится мелодия «Кол Нидре»* [23]*, *исполняемая на флейтах и барабанах. Подходят передовые, над ними вздымаются в небо императорские орлы, реют знамена, колышутся пальмовые ветви. Посреди гражданских флагов высоко возносится хоругвь папы римского на древке из золота и слоновой кости. Приближается ядро шествия, его возглавляют Джон Хауард Парнелл, городской церемониймейстер, в шахматном плаще, атлонский младший герольдмейстер и герольдмейстер ольстерский. Далее следуют достопочтенный Джозеф Хатчинсон, лорд-мэр Дублина, его светлость лорд-мэр Корка, их милости мэры Лимерика, Голуэя, Слайго и Уотерфорда, двадцать восемь ирландских пэров-представителей, сердары, гранды и махараджи, несущие тронный балдахин, Дублинская столичная пожарная команда, капитул финансовых святых в порядке своей плутократической иерархии, епископ Даунский и Коннорский, Его высокопреосвященство Майкл кардинал Лог*, архиепископ Армаский, примас всея Ирландии, Его преосвященство, высокопреподобный док-*

[21] Сто Тысяч Приветствий *(ирл.).*

[22] Как Прекрасен Царь Твой, Израиль *(древнеевр.).*

[23] Все обеты *(древнеевр.).*

тор Вильям Александер, архиепископ Армаский, примас всея Ирландии, главный раввин, президент пресвитерианцев, главы общин баптистов, анабаптистов, методистов и моравских братьев, а также почетный секретарь Общества друзей. За ними движутся цеха, гильдии и городское ополчение с развернутыми знаменами: бондари, птицеводы, жерновщики, рекламные агенты, нотариусы, массажисты, виноторговцы, бандажисты, трубочисты, салотопы, ткачи бархатов и поплинов, ветеринары, итальянцы-зеленщики, отделочники церквей, изготовители обувных рожков, хозяева похоронных заведений, торговцы шелками, камнерезы, аукционеры, пробкоделы, страхователи от пожаров, красильщики и пятновыводильщики, экспортеры спиртных напитков, розлитых по бутылкам, скорняки, рисовальщики ярлыков, гравировальщики родовых печатей, конюхи, менялы, поставщики принадлежностей для крикета и стрельбы из лука, изготовители сит, скупщики яиц и картофеля, чулочники и перчаточники, подрядчики по водопроводным и канализационным работам. За ними движутся камер-юнкеры, Черный Жезл, герольдмейстер Ордена Подвязки, Золотая Трость, шталмейстер, лорд обергофмаршал, президент геральдической палаты, великий коннетабль, несущий меч королевства, железную корону св. Стефана, потир и библию. Четыре пеших горниста трубят в трубы. Лейб-гвардейцы отзываются приветственными звуками рогов. Под триумфальной аркой появляется Блум с обнаженной головой, в алой бархатной мантии, отороченной горностаем; в руках у него жезл святого Эдуарда *, держава и скипетр с голубем, меч милосердия. Он восседает на белоснежном коне, у которого длинный, развевающийся алый хвост, роскошный чепрак и золотая уздечка. Неистовый восторг. Дамы с балконов осыпают его лепестками роз. Воздух напоен их благоуханием. Приветственные клики мужчин. Пажи Блума бегут среди толпы с ветками боярышника и стеблями крапивы.*

Пажи Блума.

Птичий царь крапивник,
Мы тебя искали,
В день святого Стефана
В кустиках поймали.

Кузнец *(бормочет).* Как Бог свят! Неужто ж это Блум? Ведь с виду и тридцати одного не дашь.

Мостильщик и Каменотес. Вот знаменитый Блум, величайший реформатор мира. Шапки долой!

Все обнажают головы. Женщины жадно перешептываются.

Миллионерша *(златоусто).* Он просто изумителен!

Аристократка *(аристократично).* Сколько этот человек повидал!

Феминистка *(мужественно).* А сделал!

Колокололитейщик. Классическая внешность! У него лоб мыслителя.

Погода к Блуму. Яркие лучи воссияли на северо-западе.

Епископ Даунский и Коннорский. Мне выпала честь представить вам вашего несравненного императора-президента и короля-премьера, сиятельнейшего, милостивого и могущественного правителя сего царства. Боже, храни Леопольда Первого!

Все. Боже, храни Леопольда Первого!

Блум *(в далматике и пурпурной мантии, епископу Даунскому и Коннорскому, с достоинством).* Благодарю вас, высококакойтотам сэр.

Вильям, архиепископ Армаский *(в пурпурном облачении и широкополой шляпе).* Обязуешься ли во царствовании твоем соблюдать, дабы закон и милость исполняемы были во всех твоих решениях и приговорах в Ирландии и землях, принадлежащих ей?

Блум *(клянется, положив правую руку себе на яйца).* Да поможет мне в том Всевышний. Все сие обещаюсь соблюдать.

Майкл, архиепископ Армаский *(выливает Блуму на голову банку бриллиантина).* Gaudium magnum annuntio vobis. Habemus carneficem[24]. Леопольд, Патрик, Эндрю, Дэвид, Джордж, да приими помазание!

Блум облачается в златотканую мантию и надевает рубиновое кольцо. Он восходит и утверждается на Камне Предназначения. Пэры-представители надевают свои двадцать восемь корон. Несется ликующий звон колоколов от церквей Христа, святого Патрика, святого Георгия и с веселой Малахайд. Со всех сторон взлетают огни фейерверка благотворительного базара Майрас, образуя в небе фаллопиротехнические символы. Пэры присягают на верность, один за другим приближаясь и преклоняя колена.

Пэры. И становлюсь вассалом вашим всецело и безраздельно, дабы служить вам верой и правдой.

*Блум поднимает правую руку, на которой сверкает бриллиант Кохинор *. Конь его ржет. Тотчас воцаряется тишина. Межконтинентальные и межпланетные телеграфные передатчики приготовились передать сообщение.*

Блум. Подданные мои! Сим назначаем мы верного нашего скакуна Копулу Феликс[25] нашим наследственным Великим Визирем, а также объявляем, что с сего дня отвергли мы прежнюю супругу нашу и даровали августейшую нашу руку принцессе Селене, красе ночи.

Бывшую морганатическую супругу Блума поспешно увозят на черном вороне. Принцесса Селена, в синелунных одеждах, увенчанная серебряным полумесяцем, выходит из паланкина, принесенного двумя великанами. Взрыв приветствий.

Джон Хауард Парнелл *(поднимает королевский штандарт).* Прославленный Блум! Преемник моего великого брата!

Блум *(обнимая Джона Хауарда Парнелла).* Благодарим тебя от души, Джон, за эту поистине королевскую встречу в зеленом Эрине, земле обетованной наших общих предков.

Ему подносят хартию, где записаны городские вольности, и вручают ключи от Дублина, лежащие скрещенными на алой подушке. Он показывает всем, что у него зеленые носки.

Том Кернан. Вы заслужили это, ваша честь.

Блум. Ровно двадцать лет назад в этот день мы победили извечного нашего врага при Ледисмите *. Наши гаубицы и фальконеты в верблюжьих запряжках отменно обработали его порядки. На поллиги вперед! Они наседают! Все уже потеряно! Неужели отходим? Нет и нет! Мы их погнали как стадо! Вперед! Наступаем! Развернувшись с левого фланга, наша легкая кавалерия * пронеслась через высоты Плевны и с боевым кличем «Честной Саваоф» изрубила сарацинских пушкарей всех до единого.

Бригада наборщиков «Фримена». Слушайте! Слушайте!

Джон Уайз Нолан. Вот человек, вырвавший из тюрьмы Джеймса Стивенса.

Ученик Синемундирной школы. Браво!

Старожил. Вы гордость своего отечества, сэр, должен вам это прямо сказать.

Торговка яблоками. Вот такой человек и нужен Ирландии.

Блум. Возлюбленные мои подданные, над вами занимается заря новой эры. Я, Блум, истинно говорю вам, она уже при дверях.

---

[24] Радость великую возвещаю вам. У нас есть палач *(лат.).*

[25] Счастливые Узы *(лат.).*

Даю вам в том слово Блума, скоро внидете все во град грядущий златой, в новый Блумусалим в Новой Гиберии будущего.

Тридцать два рабочих с кокардами всех графств Ирландии, под началом подрядчика Дервана, возводят новый Блумусалим. Это — исполинское сорокатысячекомнатное сооружение с хрустальной крышей, выстроенное в форме гигантской свиной почки. В ходе строительства сносится целый ряд зданий и памятников. Правительственные учреждения временно переводятся в пакгаузы. Множество жилых домов сравнивают с землей. Их обитателей размещают в бочках и ящиках, помеченных красными буквами Л. Б. Несколько бедняков сваливаются с лестницы. Обрушивается часть городской стены, усеянная сотнями верноподданных зрителей.

Зрители *(умирая).* Morituri te salutant[26]. *(Умирают.)*

Из потайной дверцы выскакивает человек в коричневом макинтоше. Длинным вытянутым пальцем указывает на Блума.

Человек в макинтоше. Не верьте ни одному его слову. Это — Леопольд Макинтош, известный поджигатель. Его настоящее имя Хиггинс.

Блум. Пристрелить его! Христианская собака! И кончим о Макинтоше!

Пушечный залп. Человек в макинтоше исчезает. Блум скипетром сбивает маковые головки. Поступают известия о скоропостижной смерти многих могущественных врагов, скотоводов, членов парламента, членов постоянных комиссий. Телохранители Блума раздают милостыню Великого Четверга, памятные медали, хлебы и рыбы, значки общества трезвости, дорогие сигары, бесплатные суповые кости, резиновые презервативы в закрытых пакетиках, перевязанных золотой нитью, сливочные тянучки, ананасные леденцы, любовные записочки, сложенные треугольником, готовое платье, котлеты в тесте, бутыли дезинфицирующей жидкости Джейса, товарные купоны, сорокадневные индульгенции, фальшивые монеты, колбасы из молочных поросят, театральные контрамарки, единые сезонные билеты для всех трамвайных маршрутов, билеты Венгерской королевской лотереи с привилегией от властей, талоны на бесплатный обед, дешевые издания Двенадцати Худших Книг в Мире: «Фрицы и лягушатники» (политическое), «Уход за ребенком» (инфантильное), «50 блюд за 7 с половиной шиллингов» (кулинарическое), «Был ли Иисус солнечным мифом?» (истерическое), «Изгони эту боль» (медицинническое), «Все о Вселенной для младенцев» (позывательное), «Фыркнем все разом» (юморительное), «Путеводитель рекламного агента» (жирнолистика), «Любовные письма матушки-повитухи» (эротическое), «Кто есть кто в космосе» (астрософическое), «Песни, запавшие в душу» (мелодическое), «Грошовый путь к миллионному состоянию» (сберегательное). Несусветная сутолока и суматоха. Женщины протискиваются к Блуму, чтобы коснуться края его одежды. Леди Гвендолен Дюбеда, мощно растолкав толпы, прыгает к нему на лошадь и под восторженные вопли зрителей целует в обе щеки. Вспышки магния. Мамы и папы поднимают грудничков и ползунков.*

Женщины. Батюшка наш! Батюшка!

Груднички и ползунки.

Я хороший тихий мальчик,
Лео мне подарит мячик.

Блум наклоняется над малюткой Бордменом, ласково щекочет ему животик.

Малютка Бордмен *(икает, из ротика течет свернувшееся молочко).* Аля ля ля.

Блум *(пожимает руку слепому юноше).* Мой более чем Брат!* *(Обнимает за плечи престарелых супругов.)* Дорогие мои старые друзья! *(Играет в пятый угол с оборванными уличными детишками.)*

[26] Умирающие тебя приветствуют *(лат.).*

И — раз! Фьюйть! *(Укачивает близнецов в колясочке.)* Часики тик-так, тик-так, вот, сапожник, мой башмак. *(Жонглирует, показывает фокусы, вынимает изо рта шелковые платки, красные, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, синие, фиолетовые.)* Как однажды Жак-звонарь голубой схватил фонарь. 32 фута в секунду. *(Утешает вдову.)* Разлука молодит сердце. *(Отплясывает разудалый шотландский танец, шутовски дергаясь и вихляясь.)* Эй, шевелись, черти! *(Целует пролежни ветерана, прикованного к постели.)* Почетные раны! *(Шутливо ставит подножку тучному полисмену.)* К. к.: ку-ку. К. к.: ку-ку. *(Шепчет на ушко краснеющей официантке и добродушно смеется.)* Плутовка, ну и плутовка! *(Съедает сырую репу, поднесенную фермером Морисом Баттерли.)* Отличная вещь! Чудесно! *(Отказывается принять три шиллинга, которые хочет ему вручить Джозеф Хайнс, журналист.)* Нет и нет, дружище, даже не думайте! *(Снимает с себя пальто и отдает нищему).* Прошу вас, возьмите это. *(Затевает гонки ползком с увечными стариками и старухами.)* Вперед, парни! Ползи веселей, девчата!

Гражданин *(в избытке чувств роняет слезу на свой изумрудный шарф).* Да благословит его Бог!

Трубят бараньи рога, призывая к молчанию. Поднимают знамя Сиона.

Блум *(величественно сбрасывает плащ, являя свою дородность, развертывает список и читает торжественно).* Алеф Бет Гимел Далет Хагада Тефилим Кошер Йом-Кипур Ханука Рош-Гашана Б'Най Брит Бар Мицва Маца Ашкеназим Мешуге Талиф.

Джимми Генри, младший секретарь городской управы, оглашает официальный перевод.

Джимми Генри. Отныне открывается Суд Совести. Его Христианнейшее Величество изволит вершить правосудие под открытым небом. Бесплатные медицинские и юридические советы, разгадывание ребусов, решение разнообразных задач. Сердечно приглашаются все желающие. Дано в нашем верном граде Дублине в год I Райской Эры.

Падди Леонард. Как мне избавиться от налогов и пошлин?

Блум. Уплатить их, мой друг.

Падди Леонард. Покорно благодарю.

Флинн Длинный Нос. А я могу заложить свою страховку от пожара?

Блум *(педантично).* Сэры, да будет вам известно, что согласно гражданскому праву вы связаны вашими собственными обязательствами в течение полугода в размере пяти фунтов.

Дж. Дж. О'Моллой. Истинный Даниил, да что там! Нет! Сам Питер О'Брайен!

Флинн Длинный Нос. А где ж это я запорву пять фунтов?

Сикун Берк. А если с мочевым пузырем неладно?

Блум.

Acid. nit. hydrochlor. dil., 20 minims
Tinct. nux vom., 5 minims
Extr. taraxel. liq.. 30 minims
Aq. dis., 3 p. в день.

Крис Каллинан. Чему равен параллакс субсолярной эклиптики Альдебарана?

Блум. Рад вас слышать, Крис. К. II.

Джо Хайнс. А почему вы не в форме?

Блум. Когда мой блаженной памяти пращур носил форму австрийского деспота в сырой темнице, где были ваши пращуры?

Бен Доллард. Анютины глазки?

Блум. Украшают (озеленяют) наши общественные парки.

Бен Доллард. Когда случаются близнецы?

Блум. Отец (патер, папа) призадумывается.

Ларри О'Рурк. Патент бы на всю неделю для моей новой распивочной. Вы ж помните меня, сэр Лео, с тех пор, как жили в седьмом доме. Посылаю дюжину портера для вашей мадамы.

Блум *(холодно)*. Вы злоупотребляете моей снисходительностью. Леди Блум не принимает подарков.

Крофтон. Уж это праздник так праздник.

Блум *(внушительно)*. То, что вы называете праздником, я называю священнодействием.

Алессандро Ключчи. Когда же у нас будет наш дом ключей?

Блум. Я стою за реформу городских нравов, за десять заповедей в их чистом виде. Старые горизонты сменятся новыми. Единение всех, евреев, мусульман и язычников. Три акра и корову каждому из детей природы. Катафалки люкс на автомобилях. Физический труд, обязательный для всех. Парки должны быть открыты круглосуточно. Электрические посудомойки. Туберкулез, слабоумие, войны и нищенство воспрещаются. Всеобщая амнистия, еженедельный карнавал с разрешенными вольностями для масок, наградные для всех, всемирный язык эсперанто и всемирное братство. Довольно патриотизма пропойц и жуликов, раздутых водянкой. Свободные финансы, свободная рента, свободная любовь и свободная гражданская церковь в свободном гражданском государстве.

О'Мэдден Берк. Свободная лиса в свободном курятнике.

Дэви Берн *(зевает)*. Ииииииииааааааахх!

Блум. Смешанные расы и смешанные браки.

Ленехан. А как насчет смешанных бань?

Блум объясняет тем, кто поблизости, свои планы социальных преобразований. Все выражают согласие и поддержку. Появляется хранитель музея на Килдер-стрит, он тянет платформу, на которой покачиваются статуи обнаженных богинь — Венеры Каллипиги, Венеры Пандемос, Венеры Метемпсихоз и гипсовые фигуры, также обнаженные, изображающие девять новых муз — Торговли, Оперной Музыки, Любви, Рекламы Промышленности, Свободы Слова, Многократного Голосования, Гастрономии, Личной Гигиены, Курортных Концертов, Обезболивания Родов и Популярной Астрономии.

Отец Фарли. Он англиканец, агностик, всяковер, он хочет подорвать нашу святую веру.

Миссис Риордан *(рвет свое завещание)*. Я разочаровалась в вас! Вы нехороший человек!

Матушка Гроган *(снимает башмак, чтобы запустить им в Блума)*. Ах ты, скотина! Негодяй паршивый!

Флинн Длинный Нос. Спой-ка нам, Блум. Какую-нибудь старую сладкую песню.

Блум *(залихватски заводит)*.

Я клялся, что я не покину ее,
Она мне разбила все сердце мое.
Мое труляля труляля труляля.

Прыгунчик Холохан. Старина Блум! Его ни с кем не сравнишь, единственный в своем роде.

Падди Леонард. Опереточный ирландец!

Блум. Какая опера похожа на хромого в Гибралтаре? Роза и костыль.

Смех.

Ленехан. Плагиатор! Долой Блума!

Сивилла под покрывалом *(пылко)*. Я блумистка, и я горжусь этим. Я верю в него, несмотря ни на что. Я жизнь за него готова отдать, второго такого комика нет на свете.

Блум *(подмигивает окружающим)*. Готов спорить, она красотка.

Теодор Пьюрфой *(в рыбацком картузе и непромокаемой*

куртке). Он использует механические средства, чтобы помешать священным целям природы.

Сивилла под покрывалом *(вонзает себе в грудь кинжал).* Мой герой, мое божество! *(Умирает.)*

Множество пылких и очаровательных дам также совершают самоубийства, они закалываются, топятся, пьют синильную кислоту, волчий корень, мышьяк, вскрывают себе вены, отказываются от пищи, бросаются под паровые катки, с колонны Нельсона, в главный чан пивоварни Гиннесса, задыхаются, сунув голову в газовую печь, вешаются на модных подвязках, выбрасываются из окон различных этажей.

Александр Дж. Дауи *(громогласно).* Собратья во Христе и во антиблумстве, сей человек по имени Блум — поистине исчадие адово и поругание христианскому миру. С колыбели одержим сатанинской похотью, этот смердящий козел мендесский явил раннюю склонность к детскому распутству, какое приводит на память грады долины, с некой развратной старухой. Сей низкий лицемер, закоренелый в бесчестьи, он и есть тот бык белый, о коем сказано в Апокалипсисе. Он поклоняется Блуднице Вавилонской, и козни исходят из ноздрей его вместе с дыханием. Ему по заслугам костер, котел кипящего масла. Калибан!

Толпа. Линчевать его! Зажарить живьем! Он еще хуже Парнелла. Мистер Фокс! *

Матушка Гроган швыряет свой башмак в Блума. Хозяева лавочек по Нижней и Верхней Дорсет-стрит забрасывают его разными бросовыми предметами, костями, жестянками из-под сгущенного молока, гнилой капустой, хлебными корками, овечьими хвостами, ошметками сала.

Блум *(в смятении).* Да это просто солнечный удар, это опять какая-то скверная шутка. Клянусь Творцом, невинен я как снег, не тронутый лучами солнца! * Это был мой брат Генри. Он мой двойник. Он живет в Долфинс-барн, дом номер два. То клевета, ужаснее змеи*, навлекла на меня ложные обвинения. Собратья и соотечественники, sgeul i mbarr bata coisde gan capall[27]. Я прошу моего старого друга, доктора Мэйлахи Маллигана, специалиста по вопросам пола, дать медицинское заключение обо мне.

Доктор Маллиган *(в кожаной куртке автомобилиста и зеленых очках-консервах, вздетых на лоб).* У доктора Блума наблюдается бисексуальная аномалия. Он недавно сбежал из частной лечебницы доктора Юстейса для душевнобольных мужчин. Он был рожден вне брака и страдает наследственной эпилепсией, развившейся в результате необузданных половых излишеств. В предыдущих поколениях отмечены случаи слоновой болезни. Налицо явные симптомы хронического эксгибиционизма. Присутствует также скрытое двурушничество. Он преждевременно облысел по причине мастурбации, сделавшей из него идеалиста-извращенца и обратившегося распутника со вставными зубами. На семейной почве он временно утратил память и, как я полагаю, перед другими он не грешен, а лишь другие перед ним. Я произвел внутривагинальное обследование и, применив тест на кислотность к 5427 анальным, подмышечным, грудным и лобковым волоскам, свидетельствую, что он virgo intacta [28]. *Блум прикрывает половые органы своей шляпой-люкс.*

Доктор Мэдден. Налицо также выраженная гипоспадия. В интересах потомков я предлагаю заспиртовать пораженные части и сохранить их в национальном тератологическом музее.

Доктор Кроттерс. Я произвел анализ мочи пациента. Она белковидна. Слюноотделение недостаточное, коленный рефлекс прерывист.

---

[27] **История, высосанная из пальца, что повозка без лошади** *(искаж. ирл.).*

[28] **Нетронутая девственница** *(лат.).*

Доктор Панч Костелло. Весьма заметен fetor judaicus [29].

Доктор Диксон *(зачитывает медицинское заключение).* Профессор Блум представляет собой законченный образец нового типа — женственного мужчины. Его душевные качества просты и привлекательны. По мнению многих, он очень милый человек, чудесная личность. В целом, он не лишен странностей, застенчив, однако не слабоумен, в медицинском смысле. Он написал юрисконсульту Общества Содействия Обратившимся Священникам прекраснейшее письмо, настоящую поэму, где все полностью разъясняется. Практически он абсолютный трезвенник и, как я могу подтвердить, спит на соломенной подстилке и питается лишь самой спартанской пищей, сухим горохом, подобранным у зеленщика. И летом и зимой он носит власяницу ирландской работы и каждую субботу подвергает себя самобичеванию. Насколько мне известно, он некогда содержался в исправительной колонии Гленкри для малолетних преступников, в качестве правонарушителя первого разряда. Согласно другому сообщению, он был рожден после смерти отца. Я взываю к вашему милосердию во имя самого священного слова из всех, какие только случалось произносить нашим органам речи. Он вскоре ждет ребенка.

Все охвачены сочувствием. Женщины падают в обморок. Богатый американец собирает пожертвования в пользу Блума. Дождем сыплются золотые и серебряные монеты, банковские чеки, банкноты, драгоценности, облигации казначейства, подлежащие оплате векселя, долговые расписки, обручальные кольца, часовые цепочки, медальоны, браслеты и ожерелья.

Блум. Ах, я так мечтаю стать матерью.

Миссис Торнтон *(в одежде няни-сиделки).* Прижмись ко мне крепче, милочка. Уже скоро кончится. Крепче, милая, крепче. *Блум крепко обнимает ее и производит на свет восемь желтых и белых мальчиков. Они появляются на ступенях лестницы, устланной красным ковром и уставленной экзотическими растениями. Все осьмяшки красивы, с лицами из благородных металлов, хорошо сложены, прилично одеты и прекрасно воспитаны, бегло говорят на пяти живых языках и имеют широкие интересы в различных науках и искусствах. Имя каждого четкими буквами отпечатано на груди рубашки: Назодоро, Голдфингер, Хризостом, Мэндоре, Силверсмайл, Зильберзельбер, Вифаржан, Панаргирос* [30]. *Им тут же вверяют высокие и ответственные посты в разных странах, они становятся директорами банков, железнодорожными диспетчерами, президентами компаний с ограниченной ответственностью и вице-президентами синдикатов отелей.*

Голос. Блум, ты Мессия бен Иосиф или бен Давид?

Блум *(загадочно).* Ты сказал.

Брат Обирало. Тогда сотвори чудо, как отец Чарльз.

Бэнтам Лайонс. Предскажи, кто выиграет Сент-Леджер.

Блум ходит по канату, прикрывает левый глаз левым ухом, проникает сквозь стены, взбирается на колонну Нельсона и виснет на бровях с ее верхнего уступа, глотает двенадцать дюжин устриц (с раковинами), исцеляет нескольких золотушных, изменяет черты лица, приобретая неотличимое сходство со многими историческими фигурами, лордом Биконсфилдом, лордом Байроном, Уотом Тайлером, Моисеем Египетским, Моисеем Маймонидом, Моисеем Мендельсоном, Генри Ирвингом, Рипом ван Винклем, Кошутом, Жан-Жаком Руссо, бароном Леопольдом Ротшильдом, Робинзоном Крузо, Шерлоком Холмсом, Пастером, поворачивает каждую ногу одновременно

[29] Еврейская вонь *(лат.).*

[30] Золотой нос *(итал.),* Золотой палец *(англ.),* Златоуст *(греч.),* Позолоченная рука *(франц.),* Серебряная улыбка *(англ.),* Сам серебряный *(нем.),* Ртуть *(франц.),* Весь серебряный *(греч.).*

в равных направлениях, обращает вспять морской прилив и затмевает солнце, вытянув свой мизинец.

Бриани, папский нунций *(в форме папского зуава, в стальной кирасе на груди, в ручных и ножных латах, с пышными мирскими усами и в темной бумажной митре).* Leopoldi autem generatio [31]. Моисей родил Ноя, Ной родил Евнуха, Евнух родил О'Халлорана, О'Халлоран родил Гугенхейма*, Гугенхейм родил Агендата, Агендат родил Нетаима, Нетаим родил Ле Гирша*, Ле Гирш родил Иесурума, Иесурум родил Маккея, Маккей родил Остролопского, Остролопский родил Смердоза*, Смердоз родил Вейсса, Вейсс родил Шварца[32], Шварц родил Адрианополя, Адрианополь родил Аранхуэца, Аранхуэц родил Луи Лоусона, Луи Лоусон родил Ихаводоносора *, Ихаводоносор родил О'Доннелла Магнуса, О'Доннелл Магнус родил Христбаума, Христбаум родил Бен Маймуна, Бен Маймун родил Пыльного Руди, Пыльный Руди родил Бенамора, Бенамор родил Джонс-Смита, Джонс-Смит родил Саворгнановича, Саворгнанович родил Ясписа, Яспис родил Вентетюньема [33], Вентетюньем родил Сомбатхея*, Сомбатхей родил Вирага, Вираг родил Блума et vocabitur nomen eius Emmanuel [34].

Рука мертвеца* *(пишет на стене).* Блум — это бессия.

Мандавош *(в снаряжении лесного разбойника).* А что ты делал в коровнике за Килберреком?

Малютка-девочка *(гремя погремушкой).* И под мостом Баллибох?

Остролист. И в Чертовом Овраге?

Блум *(отчаянно краснеет, весь с головы до ягодиц, три слезы падают из его левого глаза).* Пощадите мое прошлое.

Ирландские арендаторы, согнанные с земли *(в поддевках и бриджах, с доннибрукскими дубинками).* Sjambok [35] его! *Блум с ослиными ушами усаживается у позорного столба, скрестив руки и вытянув ноги, насвистывая «Don Giovanni, a cenar teco». Сиротки из приюта в Артейне, взявшись за руки, кружатся вокруг него. Девицы из Миссии Тюремных Врат, взявшись за руки, кружатся в обратную сторону.*

Сиротки из Артейна.

Он пес, свинья и грязный хам,
Решил, что он любимчик дам!

Девицы из тюремных врат.

Как увидишь хэ
Прихвати себе
И скорее в пэ
Заходи не бэ.

Хорнблоуэр *(в ефоде и егерском картузике, возвещает).* И понесет он грехи народа Азазелю, духу, пребывающему в пустыне, и Лилит, привидению ночному. И побьют камнями они его и осквернят его, да, все они от Агендат Нетаима и от Мицраима, земли Хама.

Все забрасывают Блума картонными бутафорскими камнями. Пьяницы, бредущие из кабаков, и бездомные псы во множестве подходят к нему и оскверняют его. Появляются Мастянский и Цитрон в лапсердаках, с длинными пейсами, и тычут бородами в Блума.

Мастянский и Цитрон. Велиал! * Лемляйн из Истрии *, лже-Мессия! Абулафия! Отрекись!

С утюгом под мышкой приближается Джордж Р. Мизайес, портной Блума, и подает счет.

---

[31] Вот родословие Леопольда* *(лат.).*

[32] Weiss, schwarz — белый, черный *(нем.).*

[33] Vingt-et-unieme — двадцать первый *(франц.).*

[34] ...и нарекут имя Ему: Еммануил *(лат.— Книга пророка Исаии, 7, 14).*

[35] Отхлестать *(африкаанс).*

Мизайес. За переделку брюк одиннадцать шиллингов.

Блум *(потирает руки, приободрившись).* Как в добрые старые времена. Бедняга Блум!

Рувим Дж. Додд, чернобородый Искариот, злой пастырь[*], *неся на плечах тело своего утонувшего сына, подходит к позорному столбу.*

Рувим Дж. *(хриплым шепотом).* Сука одна продала. Уже за мусорами чешут. Рви когти на первой громыхалке.

Пожарная команда. Баамм!

Брат Обирало *(надевает на Блума высокий остроконечный колпак и желтое одеяние, на котором вышиты нарисованные языки пламени. Вешает ему на шею мешок с порохом и предает в руки гражданских властей, напутствуя).* Остави ему долги его.

По единодушной просьбе общественности лейтенант Майерс из Дублинской пожарной команды поджигает Блума. Раздаются рыдания.

Гражданин. Хвала небу!

Блум *(в тканом хитоне с буквами И. Х. С., как феникс, высится среди языков пламени).* Не плачьте обо мне, дщери Эрина. *(Показывает дублинским репортерам следы ожогов.)*

Дочери Эрина в черных одеждах, с большими молитвенниками и длинными зажженными свечами в руках, преклоняют колена и молятся.

Дочери Эрина.

Почка Блума, молись за нас.
Цветок Банный, молись за нас.
Ментор Ментона, молись за нас.
Рекламный Агент для «Фримена», молись за нас.
Масон Милосердный, молись за нас.
Мыло Блуждающее, молись за нас.
Прелести Греха, молись за нас.
Музыка без Слов, молись за нас.
Укротитель Гражданина, молись за нас.
Друг всех Подвязочек и Панталончиков, молись за нас.
Повитуха Всемилостивая, молись за нас.
Картофелина, охраняющая от всякой Чумы и Язвы, молись за нас.

Хор из шестисот голосов под управлением Винцента О'Брайена[*] *исполняет хорал из «Мессии» Генделя «Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель», аккомпанирует на органе Джозеф Глинн. Блум немеет, съеживается, обугливается.*

Зоя. Болтай-болтай, покуда не почернеешь.

Блум *(с улыбкой во взоре, в старой шляпчонке, за ленту которой заткнута глиняная трубочка*[*]*, в запыленных башмаках, с красным узелком эмигранта, ведет на соломенной веревочке черную, как мореный дуб, свинью).* Ну-к, надоть идти, хозяйка, не то, сдохни все козлы в Коннемаре, ужо мне выдубят шкуру. *(Со слезою во взоре.)* Все это безумие. Патриотизм, скорбь по умершим, музыка, будущее нации. Быть или не быть. Сон жизни подошел к концу. Окончи же его с миром. А они пускай живут дальше. *(Смотрит печально вдаль.)* Песенка моя спета. Одна небольшая порция мышьяку. Задернуть занавески. Письмо. А после этого лечь и обрести покой. *(Тихо вздыхает.)* Довольно. Я прожил свое. Прощайте. Прощайте.

Зоя *(поправляя свою бархатку, равнодушно).* Ты что, серьезно? Тогда пока. *(Насмешливо.)* Ты, видно, встал сегодня с левой ноги, а может, кончил слишком быстро со своей кралей. Я вас насквозь вижу.

Блум *(с горечью).* Мужчина и женщина, любовь, что это все? Бочка и затычка. Тошно, хватит с меня. Пропади все пропадом.

Зоя *(вдруг рассердившись).* Терпеть не могу этих вшивых ломак. Хоть и со шлюхой, а надо по-человечески.

Блум *(с раскаянием).* Правда, что-то я нелюбезен. Вы это необходимое зло. Так ты откуда? Из Лондона?

Зоя *(словоохотливо).* Из Свиндона, где свинки на органах играют. Вообще-то я из Йоркшира, то есть там родилась. *(Отводит его руку, нащупывающую ее сосок.)* Слушай, Томми-мышонок. Брось-ка это да займись чем похуже. У тебя есть с собой на короткий заход? Десять шиллингов?

Блум *(улыбаясь, кивает медленно).* Больше, моя гурия, больше.

Зоя. За больше любовь подольше. *(Ласково похлопывает его бархатными лапками.)* Ну как, пошли, поглядишь новую пианолу у нас в салоне? Я уж для тебя расстараюсь.

Блум *(в нерешительности почесывая затылок с беспрецедентным изумлением уличного разносчика, внезапно оценившего изысканную симметрию ее сочных груш).* Кой-кто смертельно бы ревновал, узнай она только. Чудище с зелеными глазами*. *(Серьезно.)* Ты же знаешь, как это трудно, что тебе объяснять.

Зоя *(она польщена).* О том сердце не болит, чего глаз не видит. *(Поглаживает его.)* Ну, пойдем, пойдем.

Блум. Смеющаяся чаровница! Рука, что качает колыбель.

Зоя. Детка!

Блум *(в рейтузиках и пальтишке, большеголовый, с шапкой темных волос, раскрыв широко глаза, зачарованно смотрит на ее переливчатую юбку, пухлым пальчиком считает пряжки на ней и лепечет, высовывая мокрый язычок).* Лаз ва тли — тли тла тлаз.

Пряжки. Любит. Не любит. Любит.

Зоя. Молчание знак согласия. *(Маленькие растопыренные коготки завладевают его рукой, указательный палец чертит на его ладони условный знак тайного наставника, влекущий к неотвратимому.)* Руки горячие значит глотка замерзла.

Он колеблется, одолеваемый музыкой, запахами, соблазнами. Она ведет его за собой к ступеням, манит запахом подмышек, порочностью подведенных глаз, шуршаньем юбки, в змеистых складках которой таится едкий звериный дух всех самцов, обладавших ей.

Самцы *(разя серной вонью похоти и навоза, с утробным ревом встают на дыбы в стойлах, мотают ошалелыми головами).* Харрош!

Зоя и Блум подходят к дверям, у которых сидят две сестры-проститутки. Они с любопытством разглядывают его из-под нарисованных бровей, улыбаются в ответ на торопливый поклон. Он нечаянно спотыкается.

Зоя *(вовремя подхватив его проворной рукой).* Гоп-ля! Наверх не падать.

Блум. Праведник упадет семь раз*. *(На пороге останавливается, пропускает ее.)* По правилам, после вас.

Зоя. Сначала дама, потом кавалер.

Переступает порог. Он медлит. Она оборачивается и тянет его. Он перескакивает порог. В прихожей на вешалке из рогов висят мужская шляпа и дождевик. Блум снимает свою шляпу, затем, увидев их, хмурится, затем улыбается, занятый какими-то мыслями. Дверь на антресолях распахивается. Мужчина в красной рубашке и серых брюках, в темных носках проходит вихлявой обезьяньей походкой, задрав кверху лысую козлобородую голову, обняв полный кувшин с водой, двухвостые черные подтяжки болтаются сзади до самых пят. Быстро отвернувшись от него, Блум наклоняется, чтобы разглядеть на столике в прихожей спаниельи глаза бегущей лисы; затем, подняв голову, принюхиваясь, идет следом за Зоей в салон. Свет люстры затенен абажуром из розоватой шелковистой бумаги. Мотылек кружит и кружит вокруг, стукаясь, отлетая. На полу линолеум с рисунком из ромбов цвета нефрита, лазурита и киновари. На нем отпечатки ног во всевозможных сочетаниях, пятка к пятке, пятка к

подъему, носок к носку, сомкнутые ступни, мавританский танец некогда ступавших подошв, бестелесных призраков в беспорядочном смешеньи. На стенах обои с просторным узором из ивовых ветвей. Перед камином экран из павлиньих перьев. Линч сидит на войлочном коврике у камина, скрестив по-турецки ноги и обернув картуз козырьком на затылок. Он медленно отбивает такт жезлом. Китти Риккетс, костлявая бледная проститутка в матросском костюме, в замшевых перчатках, отогнутых, чтобы показать коралловый браслет, сидит на краю стола, держа в руке сумочку из колец, качая ногой и поглядывая на свое отражение в большом зеркале, что висит в золоченой оправе над камином. Из-под блузы у нее болтаются кончики шнурков от корсета. Линч с насмешкой показывает на парочку у пианино.

Китти *(кашляет, прикрыв рот рукой).* Она малость придурковата. *(Крутит у виска пальцем.)* Шарики за ролики. *(Линч задирает ей подол своим жезлом, показываются белые нижние юбки. Она немедленно оправляет свой туалет.)* Прошу не забываться. *(Икнув, быстро наклоняет свою матросскую шляпу, из-под которой поблескивают крашенные хной волосы.)* Ах, простите!

Зоя. Пупсики, свет на сцену. *(Подходит к люстре и открывает газ до предела.)*

Китти *(глядя на газовое пламя).* Чего это ей взбрело?

Линч *(загробным голосом).* Входит призрак и домовые.

Зоя. Все похлопаем Зое.

Жезл в руке Линча загорается блеском, это медная кочерга. Стивен стоит у пианолы, на которую брошены небрежно его шляпа и тросточка. Двумя пальцами он еще раз повторяет ряд чистых квинт. Флорри Талбот, толстая рыхлая блондинка в поношенном платье цвета заплесневелой клубники, лениво распласталась в углу дивана, слушая. Ее вялая рука свисает плетью за валик, на сонном веке большой набрякший ячмень.

Китти *(снова икает и взбрыкивает ногой).* Ах, простите!

Зоя *(тут же откликаясь).* Твой парень тебя вспоминает. Завяжи узелок на комбинации.

Китти Риккетс низко наклоняет голову. Ее боа размыкает кольца, скользит по плечам, спине, рукам, креслу на пол. Линч поддевает свернувшуюся гусеницу своим жезлом. Китти обвивает шею змеей, гнездясь в ней. Стивен оглядывается на фигуру, сидящую в картузе козырьком на затылок.

Стивен. На самом деле, вовсе не важно, сочинил ли это Бенедетто Марчелло* или нашел готовым. Обряд — отдохновенье поэта. Это может быть древний гимн Деметре или сопровождение к «Coela enarrant gloriam Domini» [36]. Это допускает столь разные тональности и лады как гиперфригийский и миксолидийский и столь несхожие тексты как галдеж священников перед алтарем Давида то бишь Цирцеи да что это я Цереры и наводка Давида главному своему тромбонщику насчет всетвердущества его всемогущества. Mais nom de nom[37], все это из другой оперы. Jetez la gourme. Faut que jeunesse se passe [38]. *(Умолкает; с улыбкой показывая на картуз Линча, заливается смехом.)* С какой стороны у тебя шишка мудрости?

Картуз *(погрузившийся в мрачный сплин).* Липа! Оно так, потому что оно так. Бабья логика. Жидогрек это грекожид. Крайности сходятся. Смерть высшая форма жизни. Липа!

Стивен. Ты как нарочно запоминаешь все мои ошибки, и ахинеи, и похвальбы. Сколько мне закрывать глаза на такое предательство? Оселок!

---

[36] Небеса проповедуют славу Божию... *(лат.— Псалтирь, 18, 2).*

[37] Но, черт побери *(франц.).*

[38] Прожигайте жизнь. Надо же почувствовать молодость *(франц.).*

Картуз. Липа!

Стивен. Раз так, вот тебе еще. *(Нахмурясь.)* Причина заключается в том, что доминанта и тоника разделены наибольшим возможным интервалом, который...

Картуз. Который! Ну, чего дальше? Не можешь.

Стивен *(с усилием).* Интервалом, который. Есть наибольший возможный эллипс. Совместимый с. Финальным возвращением. Октава. Которая.

Картуз. Которая?

Снаружи, с оглушающим ревом, граммофон заиграл «Град Священный».*

Стивен *(с силой).* То, что идет на край света, чтобы не пересечься с самим собой. Бог, солнце, Шекспир, коммивояжер, достигнув пересечения с собою в самой реальности, обретают самих себя. Погоди. Погоди секунду. Этот окаянный рев на улице. Себя, какими они в самих себе были предобусловлены стать. Ессо! [39]

Линч *(с насмешливым гогочущим смешком подмигивает Блуму и Зое Хиггинс).* Как вам прохвесор, а?

Зоя *(с живостью).* Уж береги мозги, он больше знает, чем ты успел позабыть.

Флорри Талбот глядит на Стивена с ожирелой тупостью.

Флорри. А мне сказали, этим летом светопреставление будет.

Китти. Да неужто?

Зоя *(хохочет).* Господь неправедный!

Флорри *(обиженно).* Про Антихриста даже в газетах было. Ой, нога зачесалась.

Проходят с выкриками оборванные мальчишки-газетчики, стуча босыми пятками, волоча хвостатого змея.

Газетчики. Экстренный выпуск! Результаты скачек на коньках. Морской змей в Королевском канале*. Благополучное прибытие Антихриста.

Стивен оборачивается и видит Блума.

Стивен. Время, времена и полвремени*.

*Рувим Дж. Антихрист, вечный жид, выставив за спиной руку с цепкой раскрытой горстью, тяжко выступает вперед. У чресл его сума странника, откуда торчат долговые расписки и неоплаченные счета. Он держит длинный багор, с крюка которого разбухшею бесформенной грудой свисает на подтяжках тело его единственного сына *, спасенное из вод Лиффи. В густеющем сумраке кувыркается домовой в обличье Панча Костелло*, с черепом гидроцефала, скошенным лбом, бульдожьей челюстью и вздутым багровым носом, горбатый и кривобедрый.*

Все. Что это?

Домовой *(щелкает челюстями, прыгает во все стороны, пучит глаза, визжит, скачет как кенгуру, с раскинутыми хваткими лапами, потом, резко просунув безгубую личину в развилку ног, верещит оттуда).* Il vient! C'est moi! L'homme qui rit! L'homme primigène![40] *(Неистово кружится на месте с завываньями дервиша.)* Sieurs et dames, faites vos jeux![41] *(Приседает, жонглируя. В руках у него летают крошечные планеты, как шарики рулетки.)* Les jeux sont faits![42] *(Планеты, слетясь, сталкиваются, раздается хрустящий треск.)* *Rien ne va plus![43] (Планеты, вздувшись шарами, уплывают вверх и исчезают из виду. Он растворяется прыжком в пустоту.)*

Флорри *(в тупом оцепенении, крестясь украдкой).* Светопреставление!

---

[39] Вот! *(итал.)*

[40] Он грядет! Это я! Человек, который смеется! Первобытный человек! *(франц.)*

[41] Дамы и господа, делайте ваши ставки! *(франц.)*

[42] Ставки сделаны! *(франц.)*

[43] Ставки больше не принимаются! *(франц.)*

От нее исходят женские теплые токи. Темное облако заполняет вселенную. Снаружи, сквозь плывущий туман, ревет граммофон, заглушая кашель и шарканье ног.

Граммофон.

Иерусалим!
Отвори врата свои и пой
Осанна...

Ракета взлетает в небо и лопается. На ее месте является белая звезда, возвещая погибель всего сущего и второе пришествие Илии. По бесконечному невидимому канату, протянутому из зенита в надир, сквозь туман кубарем скатывается Светопреставление, двуглавый осьминог в охотничьих килтах, гусарском кивере и клетчатых шотландских юбках, обретая форму Мэнской Треноги *.*

Светопреставление *(с шотландским акцентом).* Кто нам спляшет по горам, по горам, по горам?

Перекрывая плывущий гул и звуки надсадного кашля, глас Илии, резкий, словно крик дергача, хрипло каркает в вышине. Сам он, с лицом церковного служки, высится на кафедре, покрытой американским флагом, потея в просторном батистовом стихаре с рукавами воронкой. Стучит по кафедре кулаком.

Илия. Прекратите-ка там треп в помещении. А вы, Джейк Крейн, Креолка Сью, Дав Кэмпбелл и Эйб Киршнер, извольте кашлять с закрытым ртом. Так вот, эта вся линия обслуживается мной. Ребятки, самый момент сейчас. Божье время — ровно 12.25. Скажи мамаше, что будешь там. Живо сдавай заказ, и козырной туз твой. Бери до Вечность-Сортировочная прямым экспрессом! Немедля в наши ряды! Только еще словечко. Ты божий или ты хрен в рогоже? Если второе пришествие состоится на Кони-Айленд, готовы мы или нет? Флорри Христос, Стивен Христос, Зоя Христос, Блум Христос, Китти Христос, Линч Христос, все вы должны почувствовать эту космическую силу. Мы что, сдрейфим перед космосом? Дудки! Будь на стороне ангелов*. Будь призмой. У тебя ж есть эта вещичка внутри, высшее я. Ты можешь общаться со Христом, с Гаутамой*, с Ингерсоллом*. Ну как, чувствуете эти вибрации? Ручаюсь, чувствуете. Братия, стоит только однажды ухватить это, и дело в шляпе, бодрая прогулочка на небо за вами. Дошло до вас? Это прожектор жизни, точно вам говорю, самое забористое зелье из всех, пирог с самой лакомой начинкой. Лучшая и удобнейшая из всех внешних линий. Великолепная, сверхроскошная штука. Приводит вас в форму. Дает вибрации. Уж я-то знаю, я малость понимаю в вибрациях. Ладно, по боку шутки, вернемся к сути. А. Дж. Христос Дауи и гармониальная философия, вам это ясно? О'кей. Шестьдесят девятая западная улица, семьдесят семь. Записали? Порядок. И в любое время можете мне звонить по солнофону. Экономьте на марках, старые алкоголики. *(Рявкает.)* А теперь все разом славную нашу песню. Вместе, дружно, с огоньком, запе-вай! Плохо, еще раз! *(Ревет.)* Иеру...

Граммофон *(ревет куда громче).* Ххиерусаврасвоиосаосаосаххх... *(Игла со скрежетом царапает по пластинке.)*

Три проститутки *(закрывая уши, визжат).* Йяааай!

Илия *(в рубашке с засученными рукавами, чернолицый, кричит что есть мочи, воздевая руки).* Старший наш братец в вышних, масса Президент, послушай, что моя твоя говори. Моя крепко вери в твоя масса Президент. Моя крепко думай, мисс Хиггинс и мисс Риккетс уже забери себе религия в сердце. И моя крепко сдается, моя никогда не видала такой перепуг, как у тебя, мисс Флорри. Масса Президент, твоя приходи, помогай моя спасать наши дорогие сестры. *(Подмигивает слушателям.)* Наша масса Президент, она все знай-понимай, но она помалкивай.

Китти-Кейт. Я потеряла голову. В минуту слабости поддалась, тут вот оно и вышло, что вышло на Холме Конституции. А ме-

ня сам епископ конфирмовал, я чуть в послушницы не пошла. Моя тетка по матери замужем за Монморанси*. Я была невинная, этот водопроводчик сгубил меня.

З о я-Ф а н н и. Взяла и дала ему, интересно было.

Ф л о р р и-Т е р е з а. Пили три звездочки, французский, а после еще портвейн, из-за этого и получилось. Хилан ко мне залез в постель, ну я и согрешила.

С т и в е н. В начале было слово, в конце же мир без конца. Блаженны восемь блаженств.

Блаженства — Диксон, Мэдден, Кроттерс, Костелло, Ленехан, Баннон, Маллиган и Линч в белых халатах медиков, по четыре в ряд, маршируют в бодром темпе, гулким гусиным шагом.

Б л а ж е н с т в а *(вразнобой).* Бутылка, бифштекс, бабец, бронедог, бульджон*, барнум*, бардакум, богослужакум.

Л и с т е р *(в серых квакерских коротких штанах и широкополой шляпе, вежливым тоном).* Он из наших друзей. Мне незачем называть имена. Взыскуй света.

Шагом куранты удаляется. Входит Супер, одетый парикмахером, накрахмаленный и отглаженный до блеска, кудри накручены на папильотки. Он ведет за собой Джона Эглинтона, на котором желтое нанковое кимоно мандарина, испещренное буквами-ящерицами, и высокая шляпа в виде пагоды.

С у п е р *(улыбаясь, приподнимает пагоду, открывая выбритый купол, на маковке которого торчит косичка с оранжевым бантиком).* Я тут, понимаете, навожу на него красоту. Красота тоже блаженство. То, что причастно красоте, понимаете. Как выразился Йитс, я хочу сказать, Китс.

Д ж о н Э г л и н т о н* *(извлекает тусклый фонарь с зеленой заслонкой и светит им в угол; сварливо).* Эстетика и косметика годятся для будуара. Я ищу правду. Простую правду для простого человека. Тандераджи желает фактов и намерен их получить.

В снопе света за угольным ведром — оллав, святоокий и бородатый Мананаун Мак-Лир, погруженный в раздумье, уткнувший подбородок в колени. Он медленно выпрямляется. Из его друидовых уст веет студеным морским ветром. Вокруг головы его обвиваются миноги и угри. Он облеплен ракушками и водорослями. В правой руке его велосипедный насос. Левой он держит за две клешни огромного краба.

М а н а н а у н М а к-Л и р* *(гласом волн).* Аум! Гек! Вал! Ак! Люб! Мор! Ма! Белые йоги богов. Оккультный поймандр Гермеса Трисмегиста. *(Посвистами морского ветра.)* Пунарджанам балдапенджауб! Меня не проведешь. Сказано было некогда: берегись левого, культа Шакти. *(Кликами буревестника.)* Шакти, Шива, во тьме сокрытый Отец! *(Велосипедным насосом крушит краба. На кооперативном циферблате у него знаки зодиака. Стенает рыком океанских валов.)* Аум! Баум! Пижаум!* Я свет усадьбе, я первосортные сливки и масло.

Протянувшаяся рука иудиного скелета душит свет. Зеленый свет блекнет до розоватого. Газовая струя свистит жалобно.

Г а з о в а я с т р у я. Пфуаа! Пфииуфф!

Зоя подбегает к люстре и, поджав ногу, поправляет сетку горелки.

З о я. Кто даст курнуть, раз уж я тут?

Л и н ч *(кидает на стол сигарету).* Держи.

З о я *(вздергивает голову с видом оскорбленного достоинства).* Даму угостить сигаретой — это не палку кинуть! *(Она тянется прикурить от горелки, медленно вращая сигарету у пламени, показывая каштановые пучки под мышками. Линч своей кочергой нахально задирает ей подол сбоку. Под сапфировой тканью ее тело, нагое выше подвязок, отсвечивает русалочьей зеленью. Она невозмутимо затягивается.)* Ну как, родинку разглядел на жопе?

Л и н ч. А я не смотрю.

З о я *(невинной овечкой).* Это правда? Да, конечно, вы бы не стали. А вы не пошли бы куда подальше?

Изображая стыдливость, она в то же время искоса поглядывает на Блума и, сделав быстрый поворот в его сторону, освобождает юбку от кочерги. Волнистая голубизна снова струится по ее телу. Блум стоит, крутит большими пальцами, в его улыбке желание. Китти Риккетс, послюнив средний палец, приглаживает брови, глядясь в зеркало Липоти Вираг, базиликограммат*[44]*, стремительно скатившись по каминной трубе, важно делает два шага влево на негнущихся розовых ходулях. Он плотно запакован в несколько пальто и одет в коричневый макинтош, под которым держит свиток пергамента. В левом глазу у него монокль Кэшела Бойла О'Коннора Фицмориса Тисделла Фаррелла. На голове возвышается египетский псхент. За каждым ухом торчит гусиное перо.*

В и р а г *(каблуки вместе, кланяется).* Меня зовут Липоти Вираг, из Сомбатхея. *(Покашливает раздумчиво, сухо.)* Здесь явно налицо распутные обнажения, э? Непредвиденным образом, из зрелища задних ее частей обнаружился тот факт, что она отнюдь не носит тех интимных предметов, к которым у тебя особая тяга. След от инъекции у нее на бедре ты, надеюсь, заметил? Пойдем дальше.

Б л у м. Granpapachi [45]. Но...

В и р а г. С другой стороны, номер два, с вишневой помадой и в белой шляпе, ее волосы немало обязаны эликсиру нашего племени, из древа гофер, она в платье для прогулки и, если не ошибаюсь, слишком туго затянута, судя по тому, как она сидит. Проглотив аршин, так сказать. Ты можешь поправить меня, но я всегда полагал, что игривые манеры особ, приоткрывающих интимные части туалета, привлекают тебя своей эксгибиционинистистичностью. Если выразиться одним словом. Гиппогриф. Надеюсь, я прав?

Б л у м. Она довольно худа.

В и р а г *(с удовлетворением).* В высшей степени! Замечено справедливо, а эти накладные карманы на юбке, как и уширенный сверху покрой последней, рассчитаны, чтобы создать впечатление полных бедер. Последняя покупка на какой-нибудь сомнительной распродаже, ради которой общипали не одного птенца. Поддельный шик для обмана глаз. Отметь также, какое внимание ко всем мелочам. Не откладывай на завтра, что можно надеть сегодня. Параллакс! *(Нервически дергая головой.)* Тебе слышно, как у меня трещат мозги? Полисиллабакс!

Б л у м *(охватив локоть ладонью, пальцем подперев щеку).* У нее грустный вид.

В и р а г *(оскалив желтые зубы хорька, цинично оттягивает вниз пальцем левый глаз, хрипло, лающе).* На дурака! Берегись тех, которые работают под невинность и под глубокую скорбь. Лилия панели. У каждой имеется кнопка холостяка, которую открыл Руальдус Колумбус*. Бери ее. Приколумбь ее. Хамелеон. *(Смягчается.)* Ну хорошо, позвольте нам перейти к номеру три. Здесь невооруженному глазу представляется весьма крупная масса. Отметим, прежде всего, на ее черепе значительное количество окисленного растительного вещества. Хо-хо, она пойдет скакать! Гадкий утенок в компании, длинные колоды и корма в два обхвата.

Б л у м *(с сожалением).* Как выйдешь без ружья, вся дичь на тебя.

В и р а г. Здесь тебе предоставляются все сорта, слабой, средней и высшей крепости. Плати — выбирай по вкусу. Как ты счастлив можешь быть с любою...

---

[44] Царь букв *(греч.).*

[45] Дедушка *(идиш).*

Блум. И с...?

Вираг *(причмокивает).* Ммам! Взгляни на ее могучие холмы. Она окутана внушительным слоем жира. Несомненно, относится к млекопитающим, с учетом объема груди, как видишь, спереди у нее выдаются две выпуклости солидных размеров, грозящие за обедом окунуться в тарелку с супом; тогда как в нижней тыльной области расположены две дополнительные выпуклости, наводящие на мысль о мощной прямой кишке и выступающие самым благоприятным для пальпации образом, они поистине не оставляют желать ничего, кроме упругости. Подобная мясистость — следствие тщательного питания. При откорме в небольших клетках их печень может достигать слоновьих размеров. Шарики свежего хлеба с пажитником и бензоем, сопровождаемые порциями зеленого чая, за их короткий век успевают их оснастить природными подушками колоссальных размеров. Вполне в твоем вкусе, э? Вожделенные котлы с мясом в земле Египетской. Барахтайся в них вволю. Ликоподий. *(У него подергивается шея.)* Тарарах! Вот, опять началось.

Блум. Все-таки ячмень мне не нравится.

Вираг *(поднимает брови).* Говорят, что надо прикладывать золотое кольцо. Argumentum ad feminam[46*], как мы выражались в Древнем Риме и в Древней Греции в консульство Диплодока и Ихтиозавра. Что же до всего остального — непревзойденное средство Евы. Не для продажи. Исключительно напрокат. Гугенот. *(Опять нервический тик.)* Странные звуки. *(Хмыкает одобряюще.)* А может быть, это бородавка. Надеюсь, ты помнишь, чему я учил тебя на сей счет? Пшеничная мука с медом и мускатным орехом.

Блум *(задумывается).* Пшеничная мука с ликоподием и силлабаксом. Не так-то легко найти. Мне выпал страшно утомительный день, сплошная цепь происшествий. Постойте. Ведь бородавочная кровь сама разносит бородавки, а вы говорите...

Вираг *(строгим голосом, нос его делается более крючковатым, косящий глаз мигает).* Перестань крутить твои пальцы и подумай как следует. Вот видишь, ты забыл. Используй твою мнемотехнику. La causa è santa. Тара-тара. *(В сторону.)* Я уверен, он вспомнит.

Блум. Вы еще говорили, розмарин, если я верно понял, и действовать самовнушением на паразитические ткани. Или нет, не это, теперь я припоминаю. Исцеляет прикосновение руки мертвеца. Мнемо?

Вираг *(обрадованно).* Именно. Именно. Она. Техника. *(Энергически хлопает по своему свитку пергамента.)* Вот здесь говорится, как нужно действовать, с описанием все подробности. По указателю можно справиться обо всем, аконит при навязчивом страхе, соляная кислота от меланхолии, для приапические цели разлапушник. А сейчас Вираг расскажет об удалении. Наш старый знакомец каустик. Нужно их выморить. Срезать конским волосом у самого основания. Однако обратимся к болгарам и баскам, ты решил наконец, нравятся ли тебе женщины в мужском платье? *(С сухим смешком.)* Ты собирался посвятить год на изучение религиозных вопросов, а лето 1886 года на то, чтобы найти квадратуру круга и заработать тот миллион. Ну и бредни! От великого до смешного один шаг. К примеру, пижамы? Или, скажем, расклиненные закрытые трикотажные панталоны? Или, допустим, это сложное одеяние, комбинация вместе с панталончиками? *(Насмешливо кукарекает.)* Кукареку!

Блум в нерешительности оглядывает трех девок, затем останавливает взгляд на затененной розоватым люстре, слушает неутомимого мотылька.

Блум. Тогда я хотел сейчас иметь заканчивать. Ночные рубашки никогда не были. Отсюда следует. Но завтра это новый день бу-

---

[46*] Аргумент от женщины *(лат.).*

дет. Прошлое было есть сегодня. Что сейчас есть сейчас то завтра будет как сейчас было быть вчера.

Вираг *(нагибается к его уху и шепчет, возбужденно прихрюкивая).* Насекомые-однодневки проводят свое эфемерическое существование в многократных соитиях, привлекаемые пахучей радиацией любой посредственно презентабельной самки, у которой половой жар распространяется в дорсальную область. Попка хороший! *(Его желтый попугаячий клюв гнусаво каркает.)* На Карпатах была одна поговорка примерно в пять тысяч пятьсот пятидесятом году нашей эры. Ложка меду влечет братца Мишку сильней чем полдюжины бочек лучшего солодового уксуса. Полет медведя печет пчел. Однако оставим это. Может быть, в другой раз мы продолжим. Нам, с нашей стороны, было очень, очень приятно. *(Кашляет, наклоняет голову и задумчиво потирает нос согнутой ладонью.)* Ты будешь заметить, что этих ночных насекомых привлекает свет. Но это есть заблуждение, раз вспомни их сложный неадаптируемый глаз. О все эти каверзные вопросы смотри том семнадцать мои «Основы сексологии, или Любовная страсть», которые доктор Л. Б. назвал самая сенсационная книга года. Один пример, имеются опять-таки некоторые, чьи движения происходят автоматически. Вглядись. Для него, это его солнце. Ночные птицы, ночное солнце, ночные игры. Прижмись, Джимми! *(Дует в ухо Блуму.)* Ж-ж-ж-ж!

Блум. Помню муха или пчела таранила свою тень на стене ошалев, а потом ползала ошалев по мне под рубашку еще хорошо что...

Вираг *(с бесстрастным выражением, посмеиваясь сдобным женским смешком).* Превосходно! Шпанская мушка у него в штанишках или горчичник на его колышке! *(Возбужденно болбочет, болтая индюшиными сережками.)* Голды-болды! Голды-болды! Где же мы? Сезам, откройся! Грядет! *(Торопливо развернув свиток, начинает читать, нос светляком и коготь быстро бегают по строчкам справа налево.)* Сейчас-сейчас, мой дружок. Я дам тебе ответ, который ты ищешь. Скоро у нас будут устрицы с Ред-бэнк. Я наилучший повар. Эти сочные двустворчатые нам будут полезны, как и трюфли из Перигора, клубни, которые извлекает из почвы всеядный мистер хряк, они таки исключительно эффективны в случаях нервной слабости и мужеподобия. От них хоть и вонь, а разожгут как огонь *(Трясет головой, болбочет, подтрунивая.)* Шутник в своей тарелке. Монокль в его гляделке. *(Чихает.)* Аминь!

Блум *(рассеянно).* Гляделки нам говорят, что женщина — это худший случай двустворчатости. Всегда открытый сезам. Раздвоенный пол. Почему они и боятся паразитов, ползающих тварей. Но Ева и змий этому противоречат. Хотя не исторический факт. Явная аналогия с моей идеей. Кроме того, змеи падки до женского молока. Ползет целые мили через всеядные леса. высосать до капли груди сочной двустворчатой. Как те римлянки на полянке, про которых у Элефантулиазиса*.

Вираг *(выпятив губы, собравшиеся резкими складками, каменно и отрешенно закрыв глаза, заунывно, как псалмы, тянет чужеземным речитативом).* И коровы с набухшими выменами, как известно...

Блум. Я сейчас взвою. Простите пожалуйста. Что? Вот. *(Словно отвечая урок.)* Сами разыскивали логово гада, дабы предоставить сосцы свои его алчному сосанию. Муравей доит тлей. *(Глубокомысленно.)* Инстинкт правит миром. В жизни. В смерти.

Вираг *(склонив голову набок. ссутулив спину и выставив горбом лопатки, уставился мутными выкаченными глазами на мотылька; скрюченным когтем показывая на него. кричит).* Кто этот мот-мот? Кто такой дорогой Джеральд? Дорогой Джер это ты? О боже, он Джеральд. О, я боюсь, он будет очень очень обшигаться. Пошалуста не окашет ли кто милость таки помешать эта катастрофа, помахав

лучшая чистая салфетшио? *(Мяукает.)* Кис кис кис, поди сюда. *(Вздыхает, откидывается назад и смотрит искоса в пол, неподвижно, с отвисшей челюстью.)* Что ж, ладно. Скоро он отдохнет. *(Неожиданно щелкает челюстями в воздухе.)*

Мотылек.

Я родился, чтоб летать,
Чтоб весною ликовать
И кружиться и порхать.
Был я царь, не стану лгать,
Но ничто не вечно, глядь,
И пора уже кончать.
Ать!

(С налета ударяется в абажур, бурно трепыхая крылышками.)

Преле преле преле преле преле прелестные юбочки.

Из двери наверху слева выходит Генри Флауэр и, сделав два скользящих шага, останавливается левей середины салона. На нем темная накидка и низко опущенное сомбреро с пером. В руках сребструнные цимбалы из наборного дерева и трубка Иакова в виде глиняной женской головки с длинным бамбуковым чубуком. Черные бархатные панталоны в обтяжку и бальные туфли с серебряными пряжками. Романтический облик Спасителя, с волнистыми локонами, усиками и редкой бородкой. Журавлиные ноги с маленькими ступнями принадлежат тенору Марио, князю Кандийскому. Он поправляет кружевные манжеты, проводит по влажным губам сладострастным языком.

Генри *(низким и томным голосом, перебирая струны своей гитары).* Вот прекрасный цветок весь в цвету.

Вираг с угрожающим видом, сжав челюсти, смотрит на свет люстры. Блум углубленно созерцает Зоину шею. Галантный Генри с болтающимся двойным подбородком поворачивается к пианино.

Стивен *(бормочет про себя).* Играй с закрытыми глазами. Как папочка. Я наполнил чрево рожцами, что едят свиньи*. Уже сверх меры. Встану, пойду к моему. Можно подумать, это этот. Стиви, ты на скользкой дорожке. Надо зайти к старине Дизи или отбить телеграмму. Наша сегодняшняя встреча оставила у меня неизгладимое впечатление. Хотя наш возраст. Подробнее напишу завтра. Кстати, сообщаю, что я в подпитии. *(Снова трогает клавиши.)* Теперь минорный аккорд. Да. Впрочем, не слишком.

Альмидано Артифони протягивает свернутые трубкой ноты, грозно шевеля густыми усами.

Артифони. Ci rifletta. Lei rovina tutto [47].

Флорри. Спой что-нибудь. Спой «Старая сладкая песня любви».

Стивен. Нет голоса. Я совершенно законченный художник. Линч, я показывал тебе то письмо про лютню?

Флорри *(с тупой ухмылкой).* Кто без голосу, тот и петь любит.

В окне появляются сиамские близнецы, Филип Трезв и Филип Пьян, два оксфордских профессора с газонными косилками. Оба замаскированы лицом Мэтью Арнольда.

Филип Трезв. Послушай, что дурак умному говорит. Дело неладно. Прикинь-ка сухим пером на мокрой бумаге. Как примерный юный кретин. Получка была три фунта двенадцать, два фунта бумажками, один золотой, две кроны, если бы молодость знала. Муни en ville, Муни sur mer, у Мойры, у Ларчетта, с медиками на Холлс-стрит, у Берка. Все правильно? Я за тобой присматриваю.

Филип Пьян *(с нетерпением).* Да брось ты эту муть к богу в рай! Я никому не должен. Дай только сообразить про октавы. Вторичное раздвоение личности. Кто же мне сказал его имя? *(Его ко-*

[47] Подумайте. Вы все разрушили *(итал.)*.

силка начинает стрекотать.) Ага, вот. Зоэ му сас агапо[48]. Как будто бы я здесь был раньше. Когда только, может, с Аткинсоном, где-то у меня его карточка. Какой-то Мак. Или Тумак. Все мне талдычил про кого же, постой, про Суинберна?

Флорри. Так будет песенка?

Стивен. Дух бодр, плоть же немощна.

Флорри. А ты не кончал Мэйнут? Ты похож на одного моего знакомого оттуда.

Стивен. Я с ним покончил. *(Про себя.)* Ах, как умно.

Филип Трезв и Филип Пьян *(их косилки стрекочут, травинки порхают в ригодоне).* Умно-заумно. Покончил по кочкам. А кстати, книга, и вещь, и тросточка при тебе? Да-да, вот они. Умно-заумно, кончил-покончил. Будь в форме. Бери пример с нас.

Зоя. Запрошлой ночью приходит один священник, известно за каким дельцем, а сам весь застегнут наглухо, пальто не снимает. А я ему, да что вы таитесь, я и так знаю, вы католический поп.

Вираг. Совершенно логично с его точки зрения. Должно быть грехопадение. *(Резко, с расширившимися зрачками.)* К дьяволу папу! Ничего нового под солнцем. Я, Вираг, разоблачил Тайные Нравы Монахов и Девственниц. Почему я порвал с католической церковью. Читайте «Священник, женщина и исповедальня»*. Пенроуз. Бес Флибертиджиббет*. *(Его корчит.)* Развязав свой пояс из тростника, женщина с нежным сентиментом стыда предлагает лингаму свою влажную йони. Потом скоро мужчина приносит женщине добычу из джунглей, куски мяса. Женщина имеет проявления радости и украшает себя шкурами и перьями. Мужчина мощно любит ее йони твердым большим лингамом. *(Кричит.)* Coactus volui. Затем ветреная женщина хочет скрыться. Мужчина с силой хватает ее за руку. Женщина визжит, плюется, кусается. Мужчина, распалясь гневом, бьет женщину по ее пышной ядгане[49]. *(Кружится, пытаясь поймать свой хвост.)* Пиф-паф! Пух-пух! *(Останавливается, чихает.)* Апчхи! *(Теребит свой конец.)* Фыррх!

Линч. Ну и как, ты наложила покаяние на святого отца? Девять раз Отче наш за то, что пальнул из церковной пушки.

Зоя *(дымные пряди моржовыми усами у нее из ноздрей).* Да где ему там пальнуть. Так, знаешь, одно ощущение. С сухим счетом.

Блум. Бедняга!

Зоя *(беззаботно).* А сам виноват.

Блум. Как это?

Вираг *(его лицо сжимается в дьявольскую пасть, от которой исходит черное свечение; костлявая шея вытянута вперед. Он поднимает рыло ублюдка и завывает).* Verfluchte Goim! [50] Был ли у него отец или сорок отцов. Да его самого никогда не было. Бог свиней! У него были две левые ноги. Это Иуда Иакх *, ливийский евнух, папский бастард! *(Опускается на скрюченные передние лапы с твердо растопыренными локтями, глаз его агонизирует в дыре плоского, слитого с шеей черепа, визгливый лай разносится над умолкшим миром.)* Отродье шлюхи. Апокалипсис.

Китти. А Мэри Шортолл подхватила сифон от Голубка Джимми из синих фуражек и в больницу попала, а когда после она от него родила, младенчик глотать не мог, так и задохся от спазм на своем матрасике, и мы все на похороны сложились.

Филип Пьян *(строго).* Qui vous a mis dans cette fichue position, Филипп?

Филип Трезв *(весело).* C'était le sacré pigeon, Филипп.

Китти неторопливо снимает шляпу и, положив ее на стол, поправ-

---

[48] Жизнь моя. я тебя люблю *(греч.)*.

[49] Лингам, йони, ядгана — мужской половой орган, женский половой орган, ягодицы *(санскрит)*.

[50] Проклятые гои! *(идиш)*

ляет крашенные хной волосы. Более изящной, очаровательной головки с такими милыми кудряшками не красовалось никогда у потаскухи на плечиках. Линч нахлобучивает шляпу себе на голову. Она тут же отбирает ее.

Линч *(со смехом).* Такой вот подарочек Мечников привил человекообразным обезьянам.

Флорри *(кивает).* Локомоторная атаксия.

Зоя *(весело).* Ой-ой, где моя энциклопедия?

Линч. Три мудрые девы.

Вираг *(трясется как в лихорадке, обильная желтая икра пенится на тонких губах эпилептика).* Она торговала воском, приворотным зельем, померанцевым цветом. Пантер, римский центурион *, таки растлил ее своим детородническим орудием. *(Высовывает фосфоресцирующий скорпионий язык, сунув ладонь между ног.)* Мессия! Он ей порвал барабанную перепонку *. *(С дикими криками павиана беспорядочно дергается, бесстыдно размахивая бедрами.)* Хак! Хек! Хик! Хок! Хук! Кок! Кук!

Бен Дылда Доллард, багроволицый, мускулисторукий, власоноздрий, широкобородый, лопоухий, мохнатогрудый, лохматогривый, толстосисий, выступает вперед, лядвеи его и причинные места затиснуты в черные купальные трусы.

Бен Доллард *(прищелкивая кастаньетами в пухлых огромных лапах, весело выводит тирольские рулады своим басом-бормотоном).* Когда любовь горит в душе.

Девы, сестра Каллан и сестра Квигли, прорвавшись на ринг через служителей и канаты, бросаются к нему с распростертыми объятиями.

Девы *(в упоении).* Большой Бен! Бен my chree!

Голос. Держите-ка мне вот этого в дурацких штанах.

Бен Доллард *(захлебываясь от хохота, хлопает себя по ляжке).* Ну-ну, давайте!

Генри *(шепчет, нежно прижимая к груди отрубленную женскую голову).* Твое сердечко, любовь моя. *(Перебирая струны лютни.)* Когда явился дивный облик...

Вираг *(меняет шкуру, его пышное оперение линяет).* Вздор! *(Зевает, показывая угольно-черный зев, и снова смыкает челюсти, подтолкнув нижнюю своим свитком.)* После это сказав я отправлялся уйти. Прощай. Прости прощай. Dreck! [51]

Генри Флауэр поспешно причесывает бородку и усики карманной расческой и, плюнув на пальцы, прилизывает волосы. Рапирою себе указуя путь, скользит к дверям, и мятежная арфа висит за спиной у него. Вираг достигает дверей двумя неуклюжими скачками ходуль, задрав хвост, и мимоходом ловко налепляет на стену гнойно-желтую листовку, пришлепывая ее головой.

Листовка. К. П. Расклейка Объявлений Запрещена. Полное соблюдение тайны. Д-р Гай Фрэнкс.

Генри. Все уж потеряно.

Вираг проворно откручивает у себя голову и зажимает ее под мышкой.

Голова Врага. Шарлатан!

Уходят поодиночке.

Стивен *(Зое, через плечо).* Тот пастор-задира, что основал протестантскую ересь, тебе бы больше понравился*. Но только берегись Антисфена* собачьего мудреца, и кончины ересиарха Ария. Испустил дух в клозете.

Линч. А для нее все один Бог.

Стивен *(набожно).* И Господь Вседержитель.

---

[51] Дерьмо! *(идиш)*

Флорри. Я просто уверена, ты расстрига-священник. Или монах.

Линч. Верно-верно. Он кардинальский сын.

Стивен. Кардинальный свин. Монах ордена штопора.

Его Преосвященство Саймон Стивен кардинал Дедал, примас всея Ирландии, появляется в дверях в красной сутане, сандалиях и носках. Его прислужники смертные грехи, семь обезьяноподобных карликов, также в красном, несут за ним край его облачения, подглядывая под него. На голове у него помятый, съехавший набок цилиндр. Большие пальцы засунуты под мышки, ладони выставлены вперед. На шее четки из бутылочных пробок, посредине их свисает на грудь крест-штопор. Вытащив большие пальцы, он плавными широкими пассами призывает благодать свыше и торжественно, напыщенно возглашает.

Кардинал.

Консервио попался в плен.
Он в темницу глубокую брошен.
У него кандалы на руках и ногах,
Все три тонны, а, может, и больше.

Одно мгновение он взирает на всех, зажмурив правый глаз и надув левую щеку. Потом, не в силах остаться невозмутимым, начинает раскачиваться взад и вперед, подбоченясь, и запевает со щедрым залихватским весельем:

Селезень бедный не ведал ничего
Жо-жо-жо-жолтые лапки были у него.
Он был пухленький, жирненький, быстрый как ртуть,
Но дикарь-уткоед,
Промышляя обед,
Застрелил его, дробью пробив ему грудь.

Комары тучами вьются около его одежд. Скрещенными руками он со страдальческою гримасой расчесывает бока и взывает:

Я терплю адские муки. Клянусь ерундейшей чепухой, надо благодарить Иисуса, что среди этого мелкого народца не все заодно, не то они бы сжили меня совсем с нашего окаянного шарика.

Склонив голову набок, он раздает торопливые благословения средним и указательным пальцами, дарует пасхальный поцелуй и удаляется потешными двойными шарканьями, в съезжающем с боку на бок цилиндре, стремительно уменьшаясь до размеров собственной свиты. Карлики следуют за ним, выписывая зигзаги, пихаясь, хихикая, подглядывая, переглядываясь, обмениваясь пасхальными поцелуями. Издалека доносится его голос, мужественный и милостивый, мягкий и мелодичный:

Унесет мое сердце к тебе,
Унесет мое сердце к тебе,
И послушный ночной ветерок
Унесет мое сердце к тебе!

Ручка запертой двери поворачивается.

Дверная ручка. Тееебеее!

Зоя. Там в двери дьявол.

Мужская фигура сходит по скрипучим ступенькам, слышно, как она берет с вешалки шляпу и дождевик. Блум словно помимо воли трогается с места, идет вперед, по пути слегка прикрывает дверь, потом, нервничая, достает из кармана плитку шоколада, протягивает Зое.

Зоя *(шутливо обнюхав его шевелюру).* Хмм. Передай своей матушке спасибо. Люблю, чего обожаю.

Блум *(настораживается, услыхав мужской голос, говорящий с девками на крыльце).* Вдруг это он? После? Или из-за того, что не. Или решил добавить?

Зоя *(разрывает фольгу).* Пальцы придумали раньше вилок.

(Отломив дольку, грызет, подает другую Китти Риккетс, игриво обращается к Линчу.) Может, и тебе пилюльку? *(Он кивает. Она поддразнивает его.)* Дать или обождать? *(Он открывает рот, задрав голову. Она ведет приманку по кругу влево, его голова следом. Ведет в обратную сторону, он взглядывает на нее.)* Лови!

Она кидает кусочек. На лету цапнув ртом, он звучно разгрызает его.

Китти *(жуя).* Тот инженер, с которым я на Майрас ходила, вот у него дивные шоколадки. Внутри лучшие ликеры. А на этот базар сам вице-король приехал с супругой. Мы там столько у Тофта на карусели кружились, до сих пор в себя не приду.

Блум *(в меховой шубе Свенгали*, с наполеоновской прядью, скрестив руки на груди, нахмурил лоб в усилии чревовещателя-экзорциста, пронзительный орлиный взгляд устремлен на дверь. Затем, напрягшись, выставив левую ногу, делает быстрый повелительный пасс и, сняв правую руку с левого плеча, подает знак мастера ложи).* Изыди, изыди, изыди, кто бы ты ни был, заклинаю тебя!

Снаружи в тумане слышны удаляющиеся шаги и мужской кашель. На лице Блума облегчение. Он стоит в спокойной непринужденной позе, заложив руку за вырез жилета. Зоя протягивает ему шоколад.

Блум *(солидно).* Благодарю.

Зоя. Раз говорят, слушайся. Бери-ка!

По лестнице твердый перестук каблучков.

Блум *(берет дольку).* Возбуждающее? Рябина и мята. Но я же его купил. Ваниль, это успокоительное или? Мнемо. Рассеянный свет, и память рассеивается. Красное действует на волчанку. Цвета влияют на характер у женщин, насколько он есть у них. Эта чернота вгоняет в тоску. Ешьте и веселитесь, ибо завтра. *(Ест.)* На вкус тоже влияет, розоватость. Но я так давно не. Кажется незнакомым. Возбуж. Тот священник. Надо, чтоб вышло. Лучше поздно, чем никогда. Попробовать трюфли от Эндрюса.

Отворяется дверь. Входит хозяйка заведения, тучная Белла Коэн. На ней длинное платье цвета слоновой кости, с пышной бахромой по подолу. Ища прохлады, она обмахивается черным костяным веером, на манер Минни Хок в «Кармен». На левой руке два кольца, обручальное и придерживающее его. У нее оливковое, немного вспотевшее лицо с крупными чертами, с мясистым носом, ноздри тронуты оранжевым. Глаза сильно подведены. Заметно пробиваются усики. В ушах большие серьги с бериллами.*

Белла. Это нет слов! Я вся взопрела, как куча.

Она обводит глазами пары, затем останавливает взгляд на Блуме, властный, настойчивый. Большой веер ветерком овевает ее лицо, шею, ее вздымающиеся округлости. Ее ястребиные глаза сверкают.

Веер *(колышется быстро, потом замедленно).* Я вижу, ты женат.

Блум. Да... Не совсем, я куда-то затерял...

Веер *(приоткрывается, складывается).* И она верховодит. Под башмаком у жены.

Блум *(с тупой ухмылкой уставясь в пол).* Это верно.

Веер *(сложенный, замер у ее ушка).* Ты не забыл меня?

Блум. На. Дет.

Веер *(сложенный, у ее талии).* Это я та она о ком ты прежде мечтал? И тогда была она он ты нас знал с тех пор? И я все они и сейчас все та же?

Белла подходит к нему, легонько похлопывает веером.

Блум *(вздрагивает).* Властное создание. Прочла у меня в глазах эту дрему, которая нравится женщинам.

Веер *(похлопывая).* Мы встретились. Ты мой. Такова судьба.

Блум *(покорно).* Пышная женщина. Я ждал и желал твоего господства. Я так устал, я покинут, уже немолод. Можно сказать, я стою с неотправленным письмом, подлежащим добавочному сбору, перед ящиком для опоздавшей корреспонденции на главпочтамте че-

ловеческой жизни. Окно и дверь, открытые под прямым углом, вызывают сквозняк тридцать два фута в секунду, по закону падения тел. Только что я почувствовал приступ ишиаса в левой седалищной мышце. Это у нас семейное. Бедный папа, вдовец, он был из-за этого настоящий барометр. Он верил, что помогает тепло животных. Носил зимой жилетку на кошачьем меху. А когда уже близился к концу, то, поминая царя Давида с сунамитянкой*, клал Атоса с собой, верного и за гробом. Собачья слюна, как вы, вероятно... *(Вздрагивает.)* Ай!

Ричи Гулдинг *(входит, обремененный портфелем).* Насмешкой всегда проймешь. Лучшее, что есть в Дублине. Печенка и почки достойные принцев.

Веер *(похлопывая).* Всему приходит конец. Будь моим. Сейчас.

Блум *(в нерешимости).* Всему сейчас? Напрасно я отдал талисман. Попал под дождь, лежал на скалах, когда роса, это уже оплошность в моем возрасте. Каждый феномен имеет свою естественную причину.

Веер *(медленно указывает вниз).* Ты можешь.

Блум *(посмотрев вниз, видит у нее развязавшийся шнурок на ботинке).* На нас смотрят.

Веер *(резко указывает вниз).* Ты должен.

Блум *(желая и противясь желанию).* Я ведь умею настоящим плоским узлом. Выучился, когда был в подручных, а потом в отделе заказов по почте у Келлетта. Рука набита. Язык узелков. Позвольте мне. Окажите любезность. Сегодня я уже стоял на коленях. Ах!
Белла, немного приподняв платье и встав поустойчивей, громоздит на край стула массивную конечность с копытом в шнурованном ботинке и бабкою в шелковом чулке. Блум, с негнущимися ногами, стареющий, склоняется над копытом и деликатными пальцами продергивает в дырочки шнурки.

Блум *(упоенно бормочет).* Служить приказчиком у Менфилда, в дамском отделе, это была у меня юности любовная мечта, милые радости застегиванья кнопок и пуговок, дивный экстаз зашнуровыванья крест-накрест, до самого колена, щегольской лайковой ботиночки на атласной подкладке, такой просто немыслимо, невозможно крошечной, для леди с Клайд-роуд*. Даже на их восковой манекен, Раймонду, я ежедневно ходил смотреть, такой восторг у меня будили ее чулки-паутинки, какие носят в Париже, и пальчик ноги, как палочка ревеня.

Копыто. Понюхай мою теплую козлиную кожу. Ощути мой царственный вес.

Блум *(шнурует).* Не слишком туго?

Копыто. Если что-нибудь перепутаешь, Руки-Крюки, я наподдам твой мячик как следует.

Блум. Главное, не вдеть не в ту дырочку, как я тогда перед благотворительным балом. Дурная примета. Гнездышко в неположенном местечке у нее... у особы, упомянутой вами. На том балу она встретила... Готово!
Завязывает шнурки. Белла опускает ногу на пол. Блум поднимает голову. Прямо в упор его разят ее глаза и тяжеловесное лицо. Его глаза мутнеют, тускнут, под ними дряблые мешки, нос вздувается.

Блум *(невнятно бубнит).* В ожидании дальнейших распоряжений, милостивые государи, имеем честь быть,...

Белло *(густым баритоном, с твердым яростным взглядом василиска).* Презренный пес!

Блум *(влюбленно).* Царица!

Белло *(у него тяжелые, отвисшие щеки).* Раб прелюбодейных ляжек!

Блум *(плаксиво).* Всесильная!

Белло. Пожиратель кала!

Блум *(ее мышцы обмякли).* Вевеликолепная!

Белло. Ниц! *(Хлопает ее веером по плечу.)* Сгибай ноги! Левую отставь назад. Ты упадешь. Ты падаешь. Падай на четвереньки!

Блум *(закатив глаза в обожании, она закрывает их и визжит).* Трюфли!

*С пронзительным воплем, как в падучей, она падает на четвереньки, сопит, хрюкает, роет рылом у его ног, затем распластывается как мертвая, плотно прикрыв глаза вздрагивающими веками, в позе образцового мастера**.

Белло *(с короткой стрижкой, багровым вторым подбородком и пышными усами подковой вокруг бритого рта. На нем гамаши горца, зеленый камзол с серебряными пуговицами, свободного покроя рубашка и тирольская шляпа с пером куропатки. Руки глубоко засунуты в карманы бриджей. Он ставит ногу на шею Блума и с силой вдавливает каблук).* Подставка! Почувствуй всю мою тяжесть. Бесправный раб, падай ниц перед троном победных каблуков твоего повелителя, чтобы они гордо и ослепительно высились над тобой.

Блум *(покорно лепечет).* Клянусь, я никогда не посмею ослушаться.

Белло *(с зычным смехом).* Ну и олух! Ты еще плохо знаешь, что тебя ждет. Я решу твою жалкую судьбу, я то чудовище, которое растерзает тебя. Ставлю коктейль для всех, если я не вышибу из тебя все хитрости, голубок. Попробуй-ка, подерзи мне. Если решишься, дрожи заранее, в награду тебе дадут понюхать каблучной дисциплины в гимнастическом трико.

Блум заползает под диван и выглядывает из-под него.

Зоя *(расправляет юбку, чтобы спрятать ее).* Ее тут нет.

Блум *(зажмурив глаза).* Ее тут нет.

Флорри *(закрывает ее подолом платья).* Она этого не хотела, мистер Белло. Она исправится.

Китти. Вы уж простите ее, мистер Белло. Ведь вы простите, правда, мадамсэр?

Белло *(вкрадчиво).* Ну поди сюда, милочка. Всего на одно словечко, моя славная, мы просто назначим наказание, и все. Маленький задушевный разговор. *(Блум робко высовывает голову.)* Вот она, наша умница. *(Белло хватает ее за волосы и вытаскивает наружу.)* Я хочу лишь твоего исправления, для твоего же блага, по мягкому надежному месту. Как тут наш задик? О, такой нежный. Ну что ж, готовься.

Блум *(обмирает).* Ах, не порвите мне...

Белло *(свирепо).* Кольцо в ноздри, пытка клещами, битье палками, дыба и кнут, все это ты у меня отведаешь под звуки флейты, как нубийский раб* в древние времена. На этот раз ты попался! Ты меня запомнишь до конца дней своих. *(Его лицо наливается кровью, жилы на лбу взбухают.)* Я буду сидеть на спине у тебя как на диване каждое утро после доброго завтрака с бутылкой портера и жареной свининой от Маттерсона. *(Рыгает.)* Буду посасывать добрую сигару и читать «Газету трактирщиков с патентом». А потом, может, я прикажу, чтобы тебя забили на скотном дворе и зажарили бы на вертеле, и буду тебя смаковать по ломтику прямо из духовки, с хрустящей корочкой, запеченного как молочный поросенок с рисом и с лимоном или со смородинным соусом. Тебе будет очень больно. *(Начинает выкручивать ей руку. Блум визжит, опрокидывается на спину.)*

Блум. Не надо так больно, няня! Не надо!

Белло *(выкручивая).* Еще разок!

Блум *(стонет).* А-а, это чистый ад! Какая боль! Из меня тянут все жилы!

Белло *(кричит).* Отлично, клянусь кровавым капралом! Вот

это для меня лучшая новость в этом году! А ну-ка, черт побери, не заставляй меня ждать! *(Хлещет ее по лицу.)*

Блум *(скулит)*. Вы хотите меня побить. Я все расскажу...

Белло. Держите-ка его, девочки, сейчас я на нем усядусь.

Зоя. Ага! Пройтись по нему. Я хочу.

Флорри. И я хочу, не будь жадиной.

Китти. Нет я. Дайте-ка мне его.

Кухарка борделя, миссис Кео, сморщенная, с седыми волосьями на подбородке, в засаленном фартуке, в мужских серо-зеленых носках и башмаках, обсыпанная мукой, с заголенными красными руками, появляется в дверях, держа облепленную тестом скалку.

Миссис Кео *(кровожадно)*. Вам не надо помочь?

Они хватают Блума и пригвождают к месту.

Белло *(усаживается на лицо Блума, похрюкивая, попыхивая сигарой, не спеша вытягивая жирную ногу)*. Я вижу, Китинга Клея* выбрали вице-президентом психиатрической лечебницы в Ричмонде, так, и, надо заметить, акции Гиннесса с фиксированным дивидендом котируются по шестнадцать и три четверти. Я просто сваляла чертовского дурака, что не купила тот пакет, когда Крейг и Гарднер советовали. Все мое адское невезение, черт возьми. Да еще эта паршивая Реклама загребла двадцать к одному. *(В сердцах гасит сигару об ухо Блума.)* Где эта чертова паршивая пепельница?

Блум *(задозадавленная, прижженная)*. Аа! Оо! Чудовище! Мучительница!

Белло. Проси этого каждые десять минут. Выпрашивай. Моли об этом как раньше ни о чем не молил. *(Тычет ей в нос кукиш и вонючую сигару.)* А ну, целуй. И это и то. Целуй. *(Перебросив ногу, садится верхом и, сжимая Блума коленями, как наездник, командует.)* Гоп-гоп! Поехали за орехами! Я на нем поскачу на приз Эклипса*. *(Наклоняется вбок и грубо стискивает мошонку своего коня, покрикивая.)* Гей-гоп! Поддай! Я тебя выезжу как полагается. *(Скачет как наездник верхом, подскакивая на седле, на седле.)* Леди едет шагом, шагом, кучер едет рысью, рысью, всадник мчит во весь опор.

Флорри *(дергает Белло)*. Дайте мне теперь. Вам уже хватит. Я раньше просила.

Зоя *(дергает Флорри)*. Нет мне, мне. Ты что, еще его не прикончила, пиявка?

Блум *(задыхаясь)*. Не могу больше.

Белло. Ну уж нет. Погоди-ка. *(Переводит дух.)* Проклятье. Ага. Сейчас. Прямо затычку вышибает. *(Откупоривает себе зад и, наморщившись, крепко бздит.)* Держи-ка! *(Опять закупоривает.)* Черт побери, шестнадцать и три четверти.

Блум *(обливаясь потом)*. Не мужчина. *(Принюхиваясь.)* Женщина.

Белло *(встает с нее)*. Довольно вилять. Исполнилось то, о чем ты мечтал. Отныне ты размужчинен и полностью мой, тварь в ярме. Теперь об исправительной одежде. Ты расстанешься с мужским платьем, ты это понял, Руби Коэн? и немедленно получишь роскошные шелка, переливчатые, шуршащие, когда их надевают через голову.

Блум *(съеживается)*. Шелк, повелела госпожа! О, хрустящий! Поскрипывающий! Должен ли я касаться его кончиками ногтей?

Белло *(указывая на своих девок)*. Вот как они, такой же будешь ты, в парике с завивкой, напудренная и надушенная, с выбритыми подмышками. С тебя снимут мерки вплотную к телу. Тебя безжалостно затянут в тесный как тиски корсет из мягкого сизого гика, с планшетками китового уса, вплоть до абсолютной границы, до таза, украшенного алмазом, а фигуру, которая станет полней, чем на воле, будут одевать в облегающие платья, в прелестные невесомые юбочки с оборками, и на всем, разумеется, будет метка моего дома.

изысканное белье для Алисы*, лучшие духи для Алисы. Алиса будет себя чувствовать в шорах. Марии и Марфе сначала будет прохладно в таких воздушных нарядах, но легкие пышные кружева вокруг голых коленок тебе напомнят...

Блум *(очаровательная субретка с горчичными волосами и размалеванными щеками, с крупными мужскими руками и носом, с плотоядным ртом).* Я только два раза попробовал надеть ее вещи, на Холлс-стрит, шутки ради. Когда мы сидели на мели, я их сам стирал, чтобы выгадать на прачечной. Еще я перелицовывал свои рубашки. Чистая экономия.

Белло *(язвительно).* Маленькие заслуги, чтобы мамочка похвалила, да? А потом, нарядившись как в маскарад, задернув все шторы, кокетничал перед зеркалом, выставлял голые бедра и козлиное вымя, принимал разные позы, будто отдаваясь! Ха! Мне смешно! Черная ношеная комбинация и короткие панталончики, которые лопнули по всем швам, когда ее насиловали последний раз, то, что тебе продала миссис Мириэм Дэндрейд из отеля Шелборн, верно?

Блум. Мириэм. Черная комбинация. Дама полусвета.

Белло *(с грубым хохотом).* Убей бог, это прямо завлекательно! Так ты, значит, был пикантная Мириэм, когда выстриг себе волосы с заднего хода и улегся, блаженно обмирая, поперек постели, как миссис Дэндрейд перед тем как быть изнасилованной лейтенантом Смайт-Смайтом, мистером Филипом Огастесом Блокуэллом, Ч. П., синьором Лачи Даремо, дюжим тенором, голубоглазым Бертом, лифтером, Анри Флери, знаменитым, как сам Гордон Беннет, квартероном Шериданом, богатым как Крез, восьмым номером гребной команды старого Тринити, своим призовым ньюфаундлендом Понто и Бобс, вдовствующей герцогиней Мэнорхамилтон. *(Хохочет).* Ей-ей, от такого сиамский кот будет ржать до колик!

Блум *(лицо ее и руки дрожат).* Это из-за Джеральда я так пристрастился к корсетам, еще в школе, когда играл женскую роль в пьесе «Наоборот»*. Это все милый Джеральд. У него это началось с того, что его страшно привлекал корсет старшей сестры. А теперь душка Джеральд румянится и подводит веки золотой краской. Культ прекрасного.

Белло *(недобро посмеиваясь).* Прекрасного! Смехотворный бред! Когда ты как барышня усаживался на отполированном троне, подбирая свои оборочки.

Блум. Ради науки. Чтобы сравнить различные удовольствия, какие мы испытываем. *(Серьезно.)* И такая поза, действительно, лучше... потому что сколько раз бывало замочишь...

Белло *(резко).* Это еще что за фокусы? Вон там, в углу, для тебя опилки. Я тебе дала строгие указания, ты что, забыл? Извольте это делать стоя, сэр! Я отучу тебя от мерзких привычек! Если хоть раз я найду следы на твоих пеленках, берегись! Клянусь ослом Дорена*, ты у меня походишь по струнке. Грехи прошлого ополчаются на тебя. Их множество. Сотни.

Грехи прошлого *(нестройной разноголосицей).* У него было нечто вроде тайного брака, по крайней мере, с одной женщиной, в полутьме Черной Церкви*. Он мысленно звонил по телефону мисс Данн на Д'Ольер-стрит и говорил ей немыслимые вещи, приведя себя в непристойный вид перед аппаратом в уличной будке. Словом и делом он подстрекал одну ночную девицу отлагать фекалии и другие вещества в антисанитарном отхожем месте возле пустующих строений. В пяти общественных уборных он сделал надписи карандашом, предлагая свою законную супругу любому самцу с мощным членом. А не проводил он целые ночи на задах вонючей фабрики купоросных красок, пристраиваясь к влюбленным парочкам, да прикидывая, сколько и что и как мог бы он подглядеть? И не лежал ли он в постели как толстый боров, пожирая глазами тошнотворный об-

рывок использованной туалетной бумаги, который презентовала ему грязная шлюха, поощренная пряником и почтовым переводом?

Б е л л о *(звучно присвистнув).* Недурственно! И что же было самой отвратительной непристойностью во всей твоей преступной карьере? Выкладывай-ка нагрязноту. Изблюй все, что есть! Раз в жизни на откровенность.

Немые нечеловеческие лица выступают толпой из тьмы, они злобно косятся, невнятно стрекочут, исчезают, Буфлуффум, Польди Кок, Шнурки за пенни, старуха у Кэссиди, слепой юноша, Ларри носорог, та девушка, та женщина, та проститутка, другая та, проулок. Тот.

Б л у м. Не спрашивайте меня! Наша общая вера. Плизентс-стрит. Я не думал и половины... Клянусь всем самым святым...

Б е л л о *(повелительно).* Отвечай. Мерзкое ничтожество! Я настаиваю. Позабавь меня, расскажи неприличное или историю с привидениями, или стихи, только живо, живо! Где? Как? Когда? Со сколькими? Считаю до трех. Раз! Два! Тр...

Б л у м *(заплетающимся языком лепечет).* Я сусусунул нос в мемемерзкое...

Б е л л о *(высокомерно).* Убирайся, вонючий пес! Придержи язык! Говори, когда с тобой говорят.

Б л у м *(кланяясь).* Господин! Госпожа! Укротительница мужчин! *Воздевает руки. Браслеты падают с его запястий.*

Б е л л о *(с издевкой).* Днем ты будешь стирать и полоскать наше вонючее белье, притом и тогда, когда у нас, дам, наши недомогания, ты будешь мыть наши нужники, подоткнув подол и с посудной тряпкой вместо хвоста. Как мило, правда? *(Он надевает ей на палец рубиновое кольцо.)* Так! Этим кольцом я беру тебя. Говори, благодарю, госпожа.

Б л у м. Благодарю, госпожа.

Б е л л о. Ты будешь убирать постели, готовить для меня ванну, выносить изо всех комнат ночные горшки, в том числе и кухаркин, миссис Кео, с песком. Да, и учти, все семь вымыть начисто или вылакать как шампанское. Пей мое горяченьким! Так вот! Ты будешь передо мной на задних лапках, а не то я тебе прочту отменную лекцию о твоих прегрешениях, мисс Руби, и отделаю тебя в лучшем виде, мисс, по голому заду жесткой щеткой. Пропишу тебе так, что ты поймешь все свои ошибки. На ночь твои руки в браслетах ты обильно умастишь кремом и наденешь на них перчатки на сорока трех пуговках, свеженапудренные тальком и с надушенными кончиками пальцев. За такие милости рыцари в старину отдавали жизнь. *(Усмехается.)* Мои молодцы будут в восторге, увидев такую дамочку, а больше всех полковник, когда они придут сюда накануне свадьбы, потешиться с моей последней новинкой в золотых туфельках. Но сначала я сама с тобой развлекусь. Один мой знакомый с ипподрома по имени Чарльз Альберта Марш (я только что была с ним в постели, и еще с одним джентльменом из канцелярии лорда-канцлера) ищет служанку для всех услуг. Выпяти бюст. Улыбайся. Убери плечи. Кто сколько дает? *(Показывает на нее.)* Вот за эту вещь, обучена хозяином носить поноску, корзинка в зубах. *(Засучивает рукав и погружает руку по локоть в вульву Блума.)* Глубина подходящая! Ну как, парни? Это вас не заводит? *(Тычет рукой в покупщика.)* Свистать всех наверх, делаем почин!

П о к у п щ и к. Флорин!

Служитель Диллона звонит в колокольчик.

С л у ж и т е л ь. Брень!

Г о л о с. Переплачивает шиллинг и восемь пенсов.

Ч а р л ь з А л ь б е р т а М а р ш. Видать, еще девушка. Дыхание хорошее. Свежее.

Б е л л о *(стучит молотком).* Два шиллинга. Дешевле некуда, це-

на мизерная. Росту четырнадцать ладоней. Можете пощупать, разглядеть еёего стати. Повертите егоеё туда-сюда. Нежное тело, мягкие мышцы, шелковистая шкура. Эх, будь при мне мой золотой дырокол! Очень легко доится. Что ни день, три галлона парного. Хорош и на племя, должна принести приплод через час. Один из его предков поставил рекорд удойности, тысяча галлонов цельного молока за сорок недель. Н-но, золотце! Покажи-ка товар лицом! Н-но! *(Ставит на крупе Блума свое клеймо, инициал К.)* Вот вам! Коэн с гарантией! Два шиллинга, джентльмены, кто больше?

Темнолицый человек *(тщательно скрывая акцент).* Это вундтов этерлинков.

Голоса *(шушукаются).* Для калифа Гарун аль Рашида.

Белло *(он доволен).* Отлично. Пускай они все сбегутся. Легкая, смело укороченная юбочка, приподнятая до колен, чтоб показать белые панталончики, это могучее оружие, а чулки-паутинки с изумрудными подвязками и прямым швом, уходящим выше колен, пробудят лучшие инстинкты наших пресыщенных ловеласов. Обучись плавной семенящей походке на четырехдюймовых каблуках а ля Луи-Кэнз*, усвой греческую осанку, круп выпячен, бедра колышутся маняще, коленки скромненько вместе, целуются. Действуй на них всей силой всех своих чар. Потворствуй их содомским порокам.

Блум *(прячет зардевшееся лицо под мышку и туповато ухмыляется, сунув в рот палец).* Ага, я знаю, вы на что намекаете.

Белло. Да на что ты еще годишься, импотент? *(Нагибается и, заглядывая, грубо тычет веером между толстых жировых складок на ляжках Блума.)* Подберись! Подберись! Бесхвостый кот! Что у нас там? Куда это делся хвостик или, может, тебе его отрубили, птичка? Спой, пташечка, спой. Висит как у шестилетнего мальчонки, прудящего лужицу за повозкой. Заведи себе бочку или продай насос. *(Зычно).* Да ты можешь мужское дело или нет?

Блум. На Экклс-стрит...

Белло *(язвительно).* Я бы очень хотела пощадить твои чувства, но только твоим местом уже завладел мужчина с мускулатурой. Времена изменились, мой резвый юноша! Вот он-то уж мужчина в натуре, и рост что надо. Если б тебе, недоноску, иметь этакое орудие, узластое, шишкастое, с наростами где попало. Ручаюсь тебе, он мощно пальнул! Нога к ноге, колено к колену, живот на живот, грудь на груди! Нет, это тебе не евнух. Сзади пук рыжей поросли, что куст колючек. Погоди девять месяцев, увидишь! Черт побери, да он уже в ней чихает и брыкается во все стороны! Есть от чего прийти в бешенство, правда? Трогает за живое? *(Презрительно сплевывает.)* Тьфу, тряпка!

Блум. Я был подвергнут непристойному обращению, я... я пойду в полицию. Сто фунтов. Это неслыханно. Я...

Белло. Кишка тонка, дохлячок. Нам надо добрый ливень, а не твои жалкие брызги.

Блум. От этого с ума сойдешь! Молль! Я забыл! Прости! Молль! Ведь мы... все-таки...

Белло *(беспощадно).* Нет, Леопольд Блум, все изменилось по воле женщины, покуда ты спал пластом в Сонной Пещере. Ночь твоя длилась двадцать лет. Вернись и взгляни.

Над пустошью голос древней Сонной Пещеры.

Сонная Пещера. Рип ван Винкль! Рип ван Винкль!

Блум *(в разбитых ботинках, с заржавелым ружьишком, с исхудалым, осунувшимся, обросшим лицом, пробирается ощупью, на цыпочках, вглядевшись через ромбики стекол, взывает).* Я вижу ее! Это она! Первый вечер у Мэта Диллона! Но это платье, зеленое! И волосы выкрашены в светлый цвет, и он...

Белло *(насмешливо смеется).* Слепой сыч, это же твоя дочка, со студентом из Моллингара.

Милли Блум, светловолосая, в легких туфельках, легком зеленом платье, с голубым шарфиком, вьющимся по ветру, как у приморских красоток, на миг оторвавшись от своего возлюбленного, восклицает, широко раскрыв юные удивленные глаза:

Милли. Ой! Это же папулька! Но как же... Ой, папа, ты так постарел!

Белло. Как, изменился? Гляди, наша этажерка, наш письменный стол, за которым никогда не писали, кресло тетушки Хегарти, репродукции старых мастеров. Тут живет припеваючи мужчина со своими приятелями. Приют Рогоносцев! Отчего бы нет? Сколько у тебя было женщин, ну-ка? Шатался за ними по темным улицам, плоскостопый мозгляк, пытаясь их возбудить своим утробным урчанием. Что молчишь, мужчина с панели? Порядочные женщины, идущие с покупками. Теперь другой оборот. Получай той же монетой.

Блум. Они... Я...

Белло *(обрывает его)*. Они затопчут тот ковер, под брюссельский, что ты купил на распродаже у Рена. В своих буйных забавах с резвушкой Молль, ловя блоху у нее под рубашкой, они уронят и изуродуют статуэтку, которую ты нес домой под дождем, ценя искусство ради искусства. Потом доберутся до всех секретов у тебя в нижнем ящичке. Пустят твой астрономический справочник на раскурку трубок. И будут поплевывать в твой камин через медную решетку, которую ты купил за десять шиллингов у Хэмптона Лидома.

Блум. Десять и шесть. Так ведут себя последние негодяи. Отпустите меня. Я вернусь. Я докажу...

Голос. Клянись!

Блум стискивает кулаки и ползет вперед, зажав в зубах охотничий нож.

Белло. Квартирантом или приживальщиком? Слишком поздно. Ты устроил у себя в доме постель второго сорта, и лежать в ней другим. Твоя эпитафия уже написана. Ты на самом дне, старый пень, и крепко заруби себе это.

Блум. Справедливость! Вся Ирландия против одного! Неужели никто... *(Кусает пальцы.)*

Белло. Сдохни и пропади, если в тебе осталась хоть капля приличия или достоинства. Я бы тебе могла дать такого старого редкого винца, от которого ты в два счета слетаешь в ад и обратно. Подпиши завещание, оставь нам весь капиталец. Если нету, добудь как знаешь, наворуй, ограбь, в бога душу! И мы тебя зароем возле сортира в кусточках, и будешь там лежать в дерьме и покое, рядом со старым Рогачом Коэном, моим приемным племянником, за которого я вышла, с этим сукиным сводником и педерастом, треклятым кривошеим подагриком, и с остальными моими мужьями, сколько их там, десять или одиннадцать, не вспомню, как их, сволочей, звали, чтоб все вы там гнили в одной помойке. *(Разражаясь громким перхающим смехом.)* Мы вас удобрим навозом, мистер Цветок! *(Насмешливо писклявит.)* Пока, Польди! Пока, папулька!

Блум *(хватаясь за голову)*. Моя сила воли! Память! Я грешил! Я стра... *(Рыдает без слез.)*

Белло *(издевается)*. Поплачь, малютка, уа, уа! Крокодиловы слезы!

Блум, павший духом, плотно спеленатый для жертвоприношения, рыдает, упав ничком. Слышится похоронный звон. У Стены плача темные фигуры обрезанных, в пепле и вретищах, М. Шуломовиц, Джозеф Голдуотер, Моше Герцог, Харрис Розенберг, М. Мойсел, Дж. Цитрон, Минни Уотчмен, П. Мастянский, преподобный Леопольд Абрамовиц, кантор. Размахивая руками, они пронзительно и протяжно оплакивают вероотступника Блума.*

О б р е з а н н ы е *(с гортанным заунывным напевом осыпают его гнилыми плодами вместо цветов).* Шема Исраэл Адонаи Элоим Адонаи Эхад [52].

Г о л о с а *(со вздохами).* Итак, скончался. Да, да. Да, в самом деле. Блум? Никогда не слыхивал. Нет? Это странный был тип. Вот и вдова. Эта? Да, да.

Над погребальным костром для самосожжения вдовы подымаются пламя и дым смолистого камфарного дерева. Завеса благовонного дыма рассеивается. Выйдя из дубовой рамки, нимфа с распущенными волосами, в легких одеждах высокохудожественных чайно-коричневых тонов, спускается из своего грота и, пройдя под пологом ивовых ветвей, останавливается над Блумом.

И в ы *(шепчут листвою).* Сестра. Наша сестра. Ш-ш!

Н и м ф а *(негромко).* Смертный! *(Ласково.)* О нет, не стенай!

Б л у м *(студенистой массой переползает под ветви; в полосах солнечного света, с достоинством).* В таком положении. Я чувствовал, что от меня ждут этого. Сила привычки.

Н и м ф а. Смертный! Ты нашел меня в дурном обществе, с кафешантанными танцорками, уличными торговцами, боксерами, популярными генералами, безнравственными актерами пантомимы в телесных трико, модными исполнительницами шимми, Ла Аурора и Карини, музыкальный номер, сенсация века. Я была скрыта в розовой дешевой бумаге, пахнущей керосином. Меня окружали избитые непристойности для клубных бездельников, историйки, соблазнительные для зеленых юнцов, объявления о силуэтных открытках, самых совершенных игральных костях и бюстгальтерах, рекламы патентованных товаров, а также зачем носить бандаж, с аттестацией от джентльмена с грыжей. Интимные советы женатым.

Б л у м *(поднимает у ее ног черепашью голову).* Мы встречались прежде. На другой звезде.

Н и м ф а *(печально).* Резиновые изделия. Никогда не рвутся. Марка, предпочитаемая нашими великосветскими клиентами. Корсеты для мужчин. Излечиваю припадки, плата в случае неуспеха возвращается. Добровольные свидетельства о замечательном средстве профессора Уолдмена для развития груди. Мой бюст увеличился на четыре дюйма за три недели, сообщает миссис Гэс Раблин с приложением фотографии.

Б л у м. Ты имеешь в виду «Фотокартинки»?

Н и м ф а. Да, их. Ты унес меня оттуда, вставил в дубовую рамку с позолотой и повесил над своим брачным ложем. И однажды, в летний вечер, таясь, ты меня поцеловал в четырех местах. Ты любовно подрисовал карандашом мои глаза, мою грудь и мое стыдное место.

Б л у м *(смиренно целует ее длинные волосы).* Твои классические формы, о бессмертная красавица. Я счастлив был смотреть на тебя, восхвалять тебя как то, что причастно красоте, едва ли не молиться тебе.

Н и м ф а. Темными ночами я слышала твои хвалы.

Б л у м *(поспешно).* Да, да. Ты хочешь сказать, что я... Во сне у всех проявляется самое худшее, кроме разве детей. Я знаю, я свалился с постели, то есть меня столкнули. Говорят, что вино, если в нем полежит что-нибудь стальное, помогает от храпа. А от прочего — та английская выдумка, о которой мне на днях прислали проспект, по ошибке, спутали адрес. Говорится, будто она обеспечивает испускание без запаха и без шума. *(Со вздохом.)* Это уж всегда так. Брак, тебе имя — вероломство.

---

[52] Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть *(древнеевр.— Второзаконие, 6, 4).*

Н и м ф а *(пальцами затыкает уши).* А слова! Я их не нашла в словаре.

Б л у м Но ты поняла их?

И в ы. Ш-ш!

Н и м ф а *(закрывает лицо руками).* Чего не повидала я в этой спальне? Чего только не встречал мой взор?

Б л у м *(извиняющимся тоном).* Я понимаю. Грязное белье, сложенное грязным наружу. И кровать разболталась. Из Гибралтара морем, уже давно.

Н и м ф а *(низко опустив голову).* Хуже! Хуже!

Б л у м *(осторожно раздумывая).* Стульчак разваливается. Это не из-за ее веса. Она тогда весила ровно семьдесят кило. Как перестала кормить, набрала девять фунтов. Там просто трещина и мало клея. А? И этот нелепый горшок в оранжевую полоску, одна ручка отломана.

Слышен шум водопада, веселые каскады плеска.

В о д о п а д.

Пулафука Пулафука
Пулафука Пулафука.

И в ы *(сплетаясь ветвями).* Слушайте. Шепот. Она права, сестра наша. Мы росли у водопада Пулафука. Мы давали тень и прохладу в душные летние дни.

Д ж о н У а й з Н о л а н *(вдали, в форме Ирландского национального лесничества, приветно приподымает шляпу с пером).* Растите и умножайтесь! Давайте тень и прохладу в душные дни, о деревья Ирландии!

И в ы *(шепчут).* Кто приезжал на Пулафуку со школьной экскурсией? Кто не пошел по орехи с одноклассниками, а вместо этого укрылся под нашей сенью?

Б л у м *(с беспокойством).* Школа из Пулы? Мнемо? Я не совсем в форме сегодня. Сотрясение. Меня сбил трамвай.

Э х о. Ври давай!

Б л у м *(узкогрудый, с покатыми, подбитыми ватой плечами, в неказистом черно-сером подростковом костюмчике, который уже тесен ему, в белых теннисных туфлях, в отогнутых носочках с каемкой и красной школьной фуражке со значком).* Я был тогда мальчишка, подросток. Тогда мне хватало малого, тряский вагон, смешанные запахи из М и Ж, толпа на ступеньках старого театра «Ройял», которая сбилась в кучу (они ведь любят давку, это стадный инстинкт, и полусумрак театра, весь насыщенный сексом, разнуздывает порочность). Даже прейскурант их белья. Кроме того, жара. В то лето были пятна на солнце. Конец учебного года. Ромовые бабы в буфете. Идиллические дни.

Идиллические Дни, школьники в бело-голубых футболках и шортах, юные Доналд Тернболл, Абрахам Чаттертон, Оуэн Голдберг, Джек Мередит, Перси Эпджон, стоят под деревьями на полянке и зовут юного Леопольда Блума.*

И д и л л и ч е с к и е д н и. Деляга! Вали к нам. Ура! *(Приветственные вопли.)*

Б л у м *(неуклюжий подросток в теплых варежках, в повязанном мамочкой шарфе, забросанный градом снежков, пытается встать).* Еще! Мне шестнадцать! Ну, красота! Звоните во все колокола на Монтегю-стрит. *(Жиденьким голоском восклицает.)* Ура лучшей из школ!

Э х о. Осел!

И в ы *(с тихим шелестом).* Она права, сестра наша. Шепот. *(По всему лесу слышны шепот и поцелуи. Лица гамадриад глядят из листвы, из стволов, превращаясь в распускающиеся цветы.)* Кто осквернил нашу безмолвную сень?

Нимфа *(стыдливо, сквозь веер пальцев).* Как! Прямо под открытым небом?

Ивы *(низко клонясь к земле).* О да, сестра. На нашей девственной мураве.

Водопад.

Пулафука Пулафука
Фуфуфука Фуфуфука.

Нимфа *(широко раскрыв веер пальцев).* О! Какой позор!

Блум. Я рано развился. Юность. Фауна. Я принес жертву богу лесов. Цветы расцветают весной. Стояла пора любви. Капиллярное притяжение это естественный феномен. Лотти Кларк, льняные волосы, я подсматривал в папин театральный бинокль, как она раздевалась перед сном, шторы были плохо задернуты. Она была озорница, любила жевать всякие травинки. Скатывалась по траве с горки у моста Риальто, чтобы меня соблазнить своими дикими шалостями. У них там росло кривое дерево, она на него залезла, и я. Тут и святой бы не устоял. В меня как демон вселился. А потом, кому это было видно?

Валкий Телок с маленькими белыми рожками просовывает сквозь листву жующую мокроносую морду.

Валкий Телок *(тянет, пуская слюни, его выпуклые глаза роняют крупные слезы).* Мнее. Мнее вии.

Блум. Простое удовлетворение потребности. Я... *(С наболевшей страстью.)* Ни одна девочка не хотела, когда я пробовал ухаживать. Я был замухрышка. Они не хотели со мной играть...

Высоко на мысу Хоут пробирается через рододендроны коза с полным выменем, с заячьим хвостиком, роняя орешки.

Коза *(блеет).* Бее-бе-бе-бе! Коз-коз-козаа!

Блум *(раскрасневшийся, с непокрытой головой, в колючках утесника и чертополоха).* Законно обручены. Обстоятельства меняют дело. *(Напряженно смотрит вниз, на залив.)* Тридцать два кувырком в секунду. В газетах кошмар. Приступ головокружения у Илии. Падение с утеса. Печальный конец типографского служащего.

В серебристобезмолвном летнем воздухе кукла Блума, спеленатая как мумия, скатывается круговращательно с оконечности Львиной Головы в винноцветные ожидающие воды.

Блумумия. Блублублубульк!

Вдали, у края залива, между маяками Бейли и Киш, проплывает «Король Эрина», из трубы валит черный дым, расстилаясь к берегу.

Советник Наннетти *(с желтым ястребиным профилем, в темном альпаковом пиджаке, стоит в одиночестве на палубе, заложив руку за вырез жилета и декламируя).* Когда моя страна займет свое место среди наций нашей планеты, вот тогда, но не прежде, чем тогда, пусть будет написана моя эпитафия. Я закон...

Блум. Чил. Пуфф!

Нимфа *(надменно).* У нас, бессмертных, как ты убедился сегодня, нет такого места и нет волос там. Мы чисты и холодны как камень. Мы питаемся электрическим светом. *(Соблазнительно изгибает тело, взяв пальчик в рот.)* Ты обращался ко мне. Я слышала сзади. Как же ты мог?..

Блум *(пристыженно водит ладонью по кустикам вереска).* Да, я был как полнейшая свинья. И клизмы ставил. Треть пинты кассии и столовая ложка каменной соли. Вводить поглубже. Шприц от Гамильтона Лонга, друг женщины.

Нимфа. В моем присутствии. Пуховка для пудры. *(Покраснев, делает книксен.)* Не говоря уж о прочем.

Блум *(удрученно).* Да. Peccavi![53] Я чтил тот живой алтарь, где спина уже перестает называться так. *(С неожиданною горячностью.)*

---

[53] Я грешил! *(лат.)*

А почему надушенная изящная ручка, украшенная драгоценностями, рука, что правит...

Фигуры скользят, змеятся цепочкой среди деревьев, образуя медлительный лесной узор, томно перекликаясь.

Голос Китти *(в чаще).* Покажи-ка нам одну из этих подушечек.

Голос Флорри. На, смотри.

Тетерев взлетает в кустах, ошалело хлопая крыльями.

Голос Линча *(в чаще).* Ух! Горяченькая!

Голос Зои *(в чаще).* Из горяченького местечка.

Голос Вирага *(вождь птичьего племени, в военной синей раскраске, в уборе из перьев, потрясая копьем, мчится широкими прыжками через заросли тростника, топча шишки и желуди).* Горяч! Горяч! Берегитесь Сидящего Быка!

Блум. Это сильней меня. Теплый отпечаток ее теплого тела. Даже сидеть там, где сидела женщина, особенно если у нее бедра были раздвинуты, как бы в преддверии высшей близости, а уж совсем особенно, если она, садясь, повыше подняла полы на подкладке из белого сатина. Тут уже полнота женского. Она пленяет и переполняет меня.

Водопад.

Плеполняет Пулафука
Пулафука Пулафука.

Ивы. Ш-ш! Говори, сестра!

Нимфа *(безглазая, в белом одеянии монахини, в апостольнике и наколке с большими крыльями; мягко, с отсутствующим взором).* Монастырь Транквилла. Сестра Агата. Гора Кармел, явления в Ноке и в Лурде. Желаний нет больше. *(Склонив голову, со вздохом.)* Только эфирность. Туманно-кефирная чайка, туда ль ты летишь, отвечай-ка.

Блум привстает. Сзади на брюках у него отлетает пуговица.

Пуговица. Трик!

Две девки из Кума, в шалях, приплясывают под дождем, визгливо выкрикивая.

Девки.

Панталоны Леопольда на одной булавке.
А булавка упадет —
Как же он домой дойдет,
Как же он домой дойдет?

Блум *(холодно).* Ты разрушила чары. Последняя капля. Если бы существовала только эфирность, то где вы были бы все, новицы, послушницы? И трусят и хочется, как осел, когда мочится.

Ивы *(серебряная фольга их листвы осыпалась, костлявые одряхлевшие руки трясутся).* Листопад!

Нимфа *(с исказившимися чертами, что-то нащупывает в складках своего платья).* Какое кощунство! Посягнуть на мою добродетель! *(На платье у нее появляется большое влажное пятно.)* Запятнать мою невинность! Ты не достоин касаться одежд чистой женщины. *(Ее рука что-то хватает в складках одеяния.)* Но погоди. Не петь тебе больше любовных песен, сатана. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь *(Вынимает кинжал и, облаченная в доспехи рыцаря-храмовника, разит его в чресла.)* Некум!

Блум *(вскочив, удерживает ее руку).* Эй! Небракада! Живуча как кошка! Извольте честно, сударыня. Без обрезательного ножа. Лиса и виноград, верно? Мало вам вашей колючей проволоки? Распятие слишком тонко? *(Хватает ее вуаль.)* Тебе кто нужен, святой аббат, или Брофи, хромой садовник, или бессточная статуя водоноса, или добрая матушка Альфонс*, а братец Лис?

Нимфа *(с криком убегает, оставив у него вуаль, ее гипс трескается, из трещин вылетают облачка вони).* Поли...!

Блум *(ей вдогонку).* А то вы сами не пускаетесь во все тяжкие! Нечего дергаться, ты и так в разной слизи. Мне кое-что про это известно. Вся ваша сила в нашей слабости. А ну-ка, сколько нам полагается как производителям? Сколько на бочку с вас? Я читал, вы на Ривьере оплачиваете своих кавалеров. *(Убегающая нимфа рыдает.)* Ха! Я шестнадцать лет надсаживаюсь как последний раб. И что, суд мне присудит хотя бы пять шиллингов содержания? Водите за нос других, а меня не выйдет. *(Принюхивается.)* Это еще что. Лук. Гнилой. Сера. Жир.

Перед ним стоит Белла Коэн.

Белла. Узнаешь меня в следующий раз.

Блум *(хладнокровно оглядывает ее).* Отцвела. Овца-перестарок рядится ярочкой. Зубы уже подгуляли, наросла шерсть, где не следует. Сырой лук перед сном улучшил бы тебе цвет лица. И какой-нибудь массаж против двойного подбородка. Глаза пустые, точь-в-точь как стеклянные глаза у твоего лисьего чучела. Что же, такие и подходят ко всему остальному. Кончено. Я не трехствольный мушкет.

Белла *(презрительно).* Да, ты не тянешь. *(Ее матерая волосатая дыра гавкает.)* Фбхрахт!

Блум *(презрительно).* Сперва почисти свою игрушку, у тебя там соки твоего жеребца капают с гребешка. Возьми пук сена да подотрись.

Белла. Знаю я тебя, рекламщик! Дохлый мерин!

Блум. Видал я его, бандерша! Торговка люэсом!

Белла *(поворачивается к пианино).* А кто тут из вас играл марш мертвых из «Саула»?

Зоя. Я. Поберегите-ка свои мозоли. *(Мигом подскочив к пианино, колотит по клавишам скрещенными руками.)* Прогулка кота по крыше. *(Оглядываясь.)* А? Кто там крутит любовь с моими кисоньками? *(Мигом обратно к столу.)* Все что твое мое, а все что мое то мне.

Китти с недовольным видом облепляет зубы серебряной фольгой. Блум подходит к Зое.

Блум *(ласково).* Отдай, пожалуйста, ту картофелину, хорошо?

Зоя. А это фант, это фантик, хорошая штучка.

Блум *(с чувством).* Это же ведь пустяк, а для меня память, от бедной мамы.

Зоя.

Эта штучка мне нужна
Спросит бог, а где она
А ты скажешь, я не знаю
Тебя выгонят из раю.

Блум. С ней связаны воспоминания. Мне бы хотелось ее иметь.

Стивен. Иметь иль не иметь, вот в чем вопрос.

Зоя. Держи. *(Задирает подол, открывая голую ляжку, и извлекает картофелину, закатанную в отворот чулка.)* Кто спрятал, тот и найдет.

Белла *(нахмурившись).* Что это еще? У нас тут не варьете. И не разбейте мне пианино. Кто здесь платит?

Подходит к пианоле. Стивен, порывшись в кармане, вытягивает за уголок банкноту и подает ей.

Стивен *(с театральной учтивостью).* Это молочко я надоил от козла почтенной дублинской публики. Прошу прощения, мадам. Если позволите. *(Неверной рукой тыкает в Линча и Блума.)* Мы все ставим на этих скачках, и Клинк и Линк. Dans ce bordel où tenons nostre état[54].

---

[54] В сем бардаке, где мы засели *(франц. — Ф. Вийон. Баллада о толстой Марго).*

Линч *(подает голос от камина).* Дедал! Дай ей благословение за меня.

Стивен *(вручает Белле монету).* Золотой. Уже у нее.

Белла *(смотрит на деньги, потом на Стивена, потом на Зою, Флорри и Китти).* Вы хотите трех девушек? У нас здесь по десять шиллингов.

Стивен *(восторженно).* Сто тысяч извинений. *(Снова порывшись, выуживает и подает ей две кроны.)* Позвольте, brevi manu[55], у меня неладно со зрением.

Белла подходит к столу пересчитать деньги, Стивен беседует сам с собой односложными речениями. Зоя наклоняется над столом. Китти заглядывает через плечо Зои. Линч встает, поправляет картуз и, обняв Китти за талию, присоединяет свою голову ко всей группе.

Флорри *(силится встать).* Ох! До чего ногу отсидела. *(Ковыляет к столу. Блум тоже подходит).*

Белла, Зоя, Китти, Линч, Блум *(пререкаясь скороговоркой).* Этот джентльмен... десять шиллингов... платит за троих... да постойте минутку... джентльмен платит отдельно... кто тут трогает?.. ой... ты гляди, кого щиплешь... вы на ночь или на время?.. кто?.. это ложь, с вашего позволения... джентльмен заплатил, как настоящий джентльмен... выпить... одиннадцать уж когда было.

Стивен *(стоя у пианолы, делает жест отвращения).* Никаких бутылок! Что-что, одиннадцать? Загадка.

Зоя *(подняв юбку, прячет полсоверена в чулок).* Добываем тяжким трудом на спинке.

Линч *(приподняв Китти, отставляет ее от стола).* Пошли!

Китти. Обожди-ка. *(Цепко когтит две кроны.)*

Флорри. А меня?

Линч. Опля!

Приподнимает ее, несет и плюхает на диван.

Стивен.

Лис уж поет, кочет в полет,
Колокол в небе
Одиннадцать бьет.
Бедной душе ее с неба долой
Час улетать настает.

Блум *(спокойно кладет полсоверена на стол между Беллой и Флорри).* Кажется, так. Позвольте. *(Забирает фунтовую бумажку.)* Три по десять. В расчете.

Белла *(восхищенно).* Вам палец в рот не клади, старый вы греховодник. Прямо поцеловала бы.

Зоя *(показывая на Блума).* Его? Куда хочешь без мыла влезет. *Линч опрокидывает Китти на диван и целует. Блум с банкнотой подходит к Стивену.*

Блум. Это ваше.

Стивен. Почему такое? Le distrait или беззаботный нищий. *(Сызнова роется в кармане, вытаскивает пригоршню монет. Что-то падает.)* Упало.

Блум *(нагнувшись, подбирает и подает ему коробок спичек).* Вот.

Стивен. Люцифер*. Спасибо.

Блум *(рассудительно).* Возможно, вам лучше отдать мне деньги на сохранение. Зачем платить лишнее?

Стивен *(отдает ему всю наличность).* Сперва будь справедлив, а уж потом щедр.

Блум. Я буду, только мудро ли это? *(Считает.)* Один, семь, одиннадцать, еще пять. Шесть. Одиннадцать. За то, что вы, может быть, потеряли, не отвечаю.

---

[55] Не мешкая *(лат.).*

Стивен. Почему кочет? Пропарокситон[56]. Как утверждает Лессинг, важен застывший миг. Голодный лис. *(Громко смеется.)* Хоронит свою бабку. Наверно, он убил ее.

Блум. Здесь один фунт шесть шиллингов одиннадцать пенсов. Для ровного счета, фунт семь.

Стивен. Не имеет ни малейшей важности.

Блум. Да, но...

Стивен *(подходит к столу).* Пожалуйста, сигарету. *(Линч с дивана бросает сигарету на стол.)* Итак, Джорджина Джонсон скончалась и вышла замуж. *(На столе появляется сигарета. Стивен смотрит на нее.)* Чудо. Салонная магия. Замуж. Гм. *(Загадочный и меланхоличный, он чиркает спичкой и принимается зажигать сигарету.)*

Линч *(глядя на него).* Знаешь, если спичку держать поближе, у тебя будет надежда зажечь.

Стивен *(подносит спичку ближе к глазам).* Глаза линкса. Надо носить очки. Вчера разбил. Шестнадцать лет назад*. Расстояние. Глазу все кажется плоским. *(Отдаляет спичку. Она гаснет.)* Мозг мыслит. Вблизи — вдали. Неизбежная модальность зримого. *(Таинственно нахмурившись.)* Гм. Сфинкс*. Зверь, у которого две спины в полночь. Замуж.

Зоя. На ней женился один коммивояжер и увез с собой.

Флорри *(кивает).* Мистер Агнер из Лондона.

Стивен. Агнер. Агнец. Агнец из Лондона, который берет на себя грех мира*.

Линч *(обнимая Китти на диване, звучно затягивает).* Dona nobis pacem[57].

Сигарета выскальзывает из пальцев Стивена. Блум поднимает ее и бросает в камин.

Блум. Лучше не курить. Вам нужно поесть. Если бы не тот окаянный пес. *(Зое.)* У вас ничего не найдется?

Зоя. А что, он голодный?

Стивен *(с улыбкой простирая к ней руку, выводит на мотив клятвы из «Гибели богов»).*

Hangender Hunger,
Fragende Frau,
Macht uns alle kaputt[58].

Зоя *(трагически).* Гамлет, я нюх родного твоего отца! *(Берет его за руку.)* Красавчик голубоглазый, дай погадаю по руке. *(Показывает на его лоб.)* Нет морщин — нет ума. *(Считает.)* Два, три, Марс это храбрость. *(Стивен качает головой).* Детей нет.

Линч. Молодец среди овец. Мальчик, который не умел бояться. *(Зое.)* Кто тебя научил хиромантии?

Зоя *(оборачиваясь к нему).* Спроси мою бороду, которой у меня нет. *(Стивену.)* Я по лицу вижу. Глаза вот такие. *(Она нагибает голову и хмурит лоб.)*

Линч *(со смехом дважды шлепает Китти по заду).* Осердясь. Розгой хлясь.

*Дважды слышен свист розги. У гроба пианолы крышка резко откидывается, оттуда, как чертик из бутылки, выскакивает круглая лысая маленькая головка отца Долана**.

Отец Долан. Кто тут захотел розги? Ты разбил очки? Маленький ленивый выдумщик. По глазам вижу.

Милостивая, снисходительная, начальственная, укоряющая голова ректора Джона Конми поднимается из гроба пианолы.

---

[56] Слово с ударением на предпоследнем слоге *(греч.)*.

[57] Мир нам даруй *(лат.)*.

[58] Ноющий голод,
Женщин расспросы
Нас в могилу сведут *(нем.)*.

Ректор Джон Конми. Ну полноте, отец Долан. Полноте. Я уверен, что Стивен хороший мальчик.

Зоя *(разглядывая ладонь Стивена).* Женская рука.

Стивен *(шепчет).* Продолжай. Лги. Прижмись. Ласкай меня. Я никогда не мог прочесть Его почерк, если не считать дактилоскопии Его большого пальца на пикше.

Зоя. В какой день ты родился?

Стивен. В четверг. Сегодня.

Зоя. Четверговое дитя далеко пойдет шутя*. *(Смотрит линии у него на руке.)* Линия судьбы. Влиятельные друзья.

Флорри *(показывает).* Воображение.

Зоя. Бугор Луны. У тебя будет встреча с... *(Вдруг резко уставившись в ладонь.)* Про плохое я тебе не скажу. Или все равно хочешь знать?

Блум *(отводит ее пальцы и подставляет свою ладонь).* Вреда больше, чем пользы. Вот, почитай мою.

Белла. Покажите-ка. *(Повернув руку Блума к себе.)* Так я и знала. Узловатые пальцы, бабник.

Зоя *(разглядывает ладонь Блума).* Решетка. Дальняя морская дорога и женитьба на деньгах.

Блум. Не сходится.

Зоя *(с живостью).* Ага, вижу. Короткий мизинец. Твоя наседка тебя совсем заклевала. Опять не сходится?

Чернушка, большая наседка, высиживающая яйцо в меловом кругу, поднимается, расправляет крылья и кудахчет.

Чернушка. Куд-куда ко-ко-коо. *(Боком отходит от снесенного яйца и вперевалочку удаляется.)*

Блум *(показывая на свою руку).* Шрам это несчастный случай. Двадцать два года назад упал и порезался. Мне было тогда шестнадцать.

Зоя. Вижу, сказал слепой. Ты нам чего поинтересней.

Стивен. Видишь? Движется к единой великой цели. Мне сейчас двадцать два. Шестнадцать лет назад ему тоже было двадцать два. Шестнадцать лет назад я двадцатидвухлетний упал. Двадцать два года назад он шестнадцатилетний упал со своей лошадки. *(Морщится.)* Ушиб где-то руку. Надо пойти к зубному. А деньги?

Зоя шепчется с Флорри, обе хихикают. Блум высвобождает руку и рассеянно выводит по столу медленные каракули с обратным наклоном.

Флорри. Что-что?

Кэб номер триста двадцать четыре, запряженный кобылкою с вызывающим задом, на козлах Джеймс Бартон (Хармони авеню, Доннибрук), резво катит мимо. На сиденьях развалились Буян Бойлан и Ленехан. Сзади на запятках примостился коридорный из «Ормонда». Печально поверх занавесок глядят Лидия Дус и Майна Кеннеди.

Коридорный *(подскакивая на запятках, показывает им нос).* У кого-то зачесалось, заче-заче-зачесалось!

Бронза и золото перешептываются.

Зоя *(шепчет Флорри).* Шепотом. *(Продолжает шептать ей.)*

Буян Бойлан перегибается из кэба наружу, его шляпа тонкой соломки набекрень, в зубах красный цветок. Ленехан, в морской фуражке и белых туфлях, угодливо снимает длинный волос с плеча буянова пиджака.

Ленехан. Хо-хо! Что мы зрим! Похоже, ты смахивал паутину кой с каких дырочек?

Бойлан *(сыто ухмыляется).* Ощипал птичку.

Ленехан. Подходящая ночная работка.

Бойлан *(подмигивает, растопырив толстые тупоноготные пальцы).* Товарчик для Буяна! Высшее качество или деньги назад. *(Тычет ему в нос указательный палец.)* Вот, нюхни-ка.

Ленехан *(наклоняется со смехом).* Умм! Омар под майонезом! Умм!

Зоя и Флорри *(дружно хохочут).* Ха-ха-ха!

Бойлан *(твердо спрыгнув на землю, окликает громко, во всеуслышание).* Эй, Блум, здравствуй! Миссис Блум оделась уже?

Блум *(в темно-синей плюшевой лакейской ливрее, в коротких панталонах, желтых чулках и пудреном парике).* Боюсь, что еще нет, сэр. Последние мелочи туалета...

Бойлан *(бросает ему шестипенсовик).* Возьми на выпивку. *(Небрежно вешает шляпу на оленьи рога, растущие у Блума на лбу.)* Проводи меня. У меня маленькое личное дельце к твоей жене. Ты понял?

Блум. Да, сэр. Благодарю, сэр. Мадам Твиди изволит принимать ванну, сэр.

Мэрион. Он должен это считать за большую честь. *(С игривым плеском высовываясь из воды.)* Рауль, иди сюда, милый, вытри меня. Я тут в костюме Евы. На мне только новая шляпа да каретная щеточка.

Бойлан *(весело, с загоревшимися глазами).* Грандиозно!

Белла. Что-что? Что такое?

Зоя нашептывает ей.

Мэрион. И пускай он смотрит, pishogue! Сводник! И хлещет себя! Я напишу какой-нибудь дюжей шлюхе или Бартоломоне, женщине с бородой, чтобы они его вздули до рубцов, толщиной не меньше, чем в дюйм, и пусть принесет об этом квитанцию с подписью и с печатью.

Бойлан *(стискивает себя).* Ишь, прямо не удержать этого озорника. *(Устремляется вперед на негнущихся кавалерийских ногах.)*

Белла *(хохочет).* Хо-хо-хо!

Бойлан *(бросает Блуму через плечо).* Можешь подглядывать в скважину и тешиться сам с собой, пока я буду ей заправлять.

Блум. Благодарю, сэр, я так и сделаю, сэр. А можно мне, сэр, позвать еще двух дружков, чтобы они были очевидцами действий и сделали снимки? *(Протягивает баночку с мазью.)* Прикажете вазелин, сэр? Или померанцевый цвет?.. Теплой водички?..

Китти *(с дивана).* Расскажи, Флорри, расскажи. Что там...

Флорри шепчет ей. Шепчутся шелестят лепечутся любверечи звонкоуст плещется словоплеск.

Майна Кеннеди *(закатывая глаза восторженно).* О, это, наверно, как запах герани и спелых персиков! О, он обожает просто каждый ее кусочек! Сплелись! Покрывает поцелуями!

Лидия Дус *(приоткрыв ротик).* Чмок-чмок. Ой, он ее носит по комнате и делает с ней! Верхом на палочке. Их слышно до самого Парижа и до Нью-Йорка. Как будто у них полные рты земляники со сливками.

Китти *(смеется).* Хи-хи-хи!

Голос Бойлана *(сладкий и низкий, хриплый, утробный).* Ых! Ыбыянбыйлан брралдррал!

Голос Мэрион *(низкий и сладкий, хриплый, горловой).* Ох! Ооещеещоохочуещоооааах?

Блум *(стискивая себя, с дико расширенными глазами).* Наружу! Прячь! Наружу! Паши ее! Еще! Пали!

Белла, Зоя, Флорри Китти. Хо-хо! Ха-ха! Хи-хи!

Линч *(показывает).* Зеркало перед природой*. *(Смеется.)* Хе-хе-хе-хе!

Стивен и Блум смотрят в зеркало. Там появляется лицо Вильяма Шекспира, безбородое, с застывшими параличными чертами, венчаемое отражением оленьих рогов, вешалки в передней.

Шекспир *(с важностью чревовещает).* Так пустоту ума смех громкий выдает*. *(Блуму.)* Мнил ты аки невидимым пребыти. Вот

и глазей. *(Кричит и хохочет черным каплуном.)* Ягого! Как там у меня Отелло отельчески придушил свою Вездеходу! Хо-хо! Ягогого!

Блум *(трем шлюхам, с уязвленной улыбкой).* А когда я услышу, о чем вы шутите?

Зоя. Не успеешь дважды жениться, один раз овдоветь.

Блум. Ошибки прощают. Даже великий Наполеон, когда с него снимали мерки вплотную к телу после его смерти...*

Миссис Дигнам, вдовица, щеки и носокнопка покраснели от скорбных разговоров, слез и крепленого хереса, торопливо семенит мимо в трауре, в криво надетой шляпке, на ходу подкрашивая и припудривая щеки, губы и нос, лебедушка, подгоняющая выводок лебедят. Из-под юбки у нее видны будничные старые брюки покойного мужа и его огромные подвернутые башмаки. Она держит страховой полис Шотландских вдов и большой зонтик-колокол, под которым умещается весь ее выводок, Пэтси, скачущий на одной обутой ноге, с отстегнутым воротничком, болтая свертком со свиными котлетами, хнычущий Фредди, Сьюзи с плачущим рыбьим ртом, Элис с барахтающимся младенцем. Она подгоняет их шлепками, все ее паруса и вымпелы вьются по ветру.

Фредди. Ма, ну чего ты меня так тащишь!

Сьюзи. Ой, мамочка, бульон убегает!

Шекспир *(в бессильной ярости паралитика).* Кропер вавадабу дет на втором.

Лицо Мартина Каннингема, бородатое, сменяет безбородый облик Шекспира. Зонтик-колокол пьяно раскачивается, детишки отбегают в сторону. Под зонтиком появляется миссис Каннингем в кимоно и в шляпе фасона Веселая вдова. Она плавно скользит, приближаясь бочком, кланяясь, японисто извиваясь.

Миссис Каннингем *(поет).*

На Востоке слыву я первейшей!

Мартин Каннингем *(бесстрастно взирая на нее).* Чудесно! Чертова неуемная вертихвостка!

Стивен. Et exaltabuntur cornua iusti[59]. Царицы соединялись с быками-рекордистами. Вспомните Пасифаю*, в угоду чьей похоти мой древнедавний прадедок соорудил первую исповедальню. Не забудьте и мадам Гриссел Стивенс, а также свиносальных отпрысков рода Лэмбертов*. И Ноя, который напился. И ковчег у него раскрылся.

Белла. Попрошу без этого. Тут не такое заведение.

Линч. Не трогайте его. Он у нас из Парижа.

Зоя *(подбежав к Стивену, прижимается к нему).* Ой, правда? А ты нам выдашь парлефрансе?

Стивен, нахлобучив шляпу, оказывается одним прыжком у камина и застывает, подняв плечи, расставив руки как плавники, с приклеенной неживой улыбкой.

Линч *(кулаками по дивану).* Ррам прам прам пррамммм.

Стивен *(невнятной скороговоркой, дергаясь, как кукла на ниточке).* Тысячи мест для разорительных развлечений вечера с милыми дамами продающими перчатки и еще кое-что может быть свое сердце пиво и сосиски блестящее заведение на самый эксцентрический вкус скопом кокотки как в бочке селедки наряды чудесны не отличишь от принцессы отплясывают канкан парижская клоунада тупей не надо для холостых иностранцев что по-английски двух слов не свяжут какой шик это надо видеть какие сладострастные ощущения. Жантмены комильфо дезир плезир приглашаем визитэ наше представление оляля рай и ад с настоящие похоронные свечки и джентльмены плачут золотом и так каждый вечер. У нас самый дерзкий потрясающий вери шокинг насмешка над религия мсье мо-

[59] ...и вознесутся роги праведника *(лат.— Псалтирь, 74, 11).*

жет найти в целый мир. Приходят роскошные дамы полные скромности а потом все сбрасывают все и визжат и стонут глядя как мужчина-вампир растлевает монашенку, совсем юную свеженькую в dessous troublants [60]. *(Громко щелкает языком.)* Оляля! Ce pif qu'il a! [61]

Линч. Vive le vampire! [62]

Девки. Браво! Парлефрансе!

Стивен *(запрокинув голову и гримасничая, с громким смехом аплодирует самому себе).* Полный успех, все смеются. Ангелы, смахивающие на шлюх, и святые апостолы, здоровенные, с бандитскими мордами. Дамы полусвета в туалетах, весьма приятных для глаз, сияют бриллиантами и красотой. Или мсье любить предпочесть те очень современный причуд, слабость старенький человек? *(Обрисовывает нечто гротескными жестами; девки и Линч невольно повторяют его движения.)* Резиновая фигура женщины складная или в натуральную величину можно подглядывать девственная нагота такая лесбийская поцелуи пять раз десять раз. Жантмены войти поглядеть в зеркала все положения как на трапеция весь механик и также если мсье пожелать особенный номер ужасный зверский мясник делать чик-чик в теплый кусок печенка или омлет на животе pièce de Shakespeare.

Белла *(хлопая себя по животу, падает на диван, сотрясаясь от хохота).* Омлет на... Хо! хо! хо! хо! омлет на...

Стивен *(с жеманными ужимками).* Я тебя так любить, душка сэр. Я тебе говорить англичански, для двойной entente cordiale. О да, mon loup [63]. Какая плата? Ватерлоо. Ватерклозет. *(Вдруг резко умолкает, подняв вверх палец.)*

Белла *(с хохотом).* Омлет...

Девки *(с хохотом).* Анкор! Анкор!

Стивен. Послушайте. Мне приснился арбуз.

Зоя. Поезжай за границу, закрути любовь с иностранкой.

Линч. Вокруг света в поисках жены.

Флорри. Сны надо понимать наоборот.

Стивен *(протягивает вперед руки).* Это было здесь. Квартал проституток. На Серпентайн авеню Вельзевул показал мне ее, толстую вдовицу. А где расстелен красный ковер?

Блум *(подходя к Стивену).* Послушайте...

Стивен. Нет, я летал. Враги мои были подо мной. И во веки веков. Мир без конца. *(С криком.)* Pater! Свободен!

Блум. Послушайте же...

Стивен. Он сломит мой дух, да? О, merde alors! [64] *(Кричит, его хищные когти заостряются.)* Гей! Ого-го!

Голос Саймона Дедала, хотя и сонный, немедленно отзывается ему.

Саймон. Полный порядок! *(Неуверенно снижается на сильных коршуньих крыльях, парит кругами, испуская подбадривающие клики.)* Эгей, малыш! Ну как, побеждаешь? Хо-хо! Пфе! В одном стойле с этими полукровками. Я бы не подпустил их к себе на крик осла. Нос не вешать! Выше наш флаг! Летящий алый орел в серебряном поле. Герольдмейстер ольстерский! Эгегей! *(Издает тявканье гончей, ведущей гон.)* Тявтяв! Хевхевхевхев! Гей, малыш!

Обойные ветви и просветы стремительно раскатываются по равнине. Жирный лис, поднятый с лежки, хвост палкой, схоронив свою бабушку, мчится из кустов к полю, сверкая глазами, пытаясь высмотреть барсучью нору под листьями. За ним гончая стая, носом к земле, вынюхивая след, тявкая, распалясь жаждой крови. Охотники и

---

[60] Соблазнительное белье *(франц.).*

[61] Ну и носище у него! *(франц.)*

[62] Да здравствует вампир! *(франц.)*

[63] Здесь: мой зверек *(франц.).*

[64] Черт с ним, раз так! *(франц.)*

охотницы из Общества, слившись воедино со стаей, алчут убийства. От мыса Шесть Миль, от Флэтхауса, от Девятой Мили тучей движутся пешие с суковатыми палками, острогами, арканами, вилами, пастухи с кнутами, медвежьи загонщики, бьющие в тазы, тореадоры со шпагами, седые негры, размахивающие факелами. В орущей толпе игроки в кости, в орлянку, в ремешок, шулера. Воры, наводчики, охрипшие букмекеры в высоких колпаках звездочетов оглушительно и разноголосо галдят.

Толпа.

Программа скачек! Программа скачек!
Десять к одному!
Принимаю ставки! Ставки принимаю!
Десять к одному кроме одной! Десять к одному кроме одной!
Попытайте счастья в настольных скачках!
Десять к одному кроме одной!
Плачу до пятисот, парни! Выплачиваю до пятисот!
Даю десять к одному!
Десять к одному кроме одной!

Темная лошадка без всадника, точно призрак, проносится мимо финишного столба, ее грива пеною под луной, зрачки звезды. За ней остальные, взбрыкивая, становясь на дыбы. Кони-скелеты: Корона, Максим Второй, Мускат, Выстрел герцога Вестминстерского, Отпор, Цейлон герцога Бофора, взявший Парижский приз. На них карлики в ржавых доспехах, подскакивая, скок скок, на седлах, на седлах. Последним, под мелкой изморосью, Северный Петух, фаворит, запаренная каурая кляча, на ней Гэрретт Дизи, яичный картуз, зеленый камзол и оранжевые рукава, вцепившись в поводья, с хоккейной клюшкой на изготовку. Его кляча, больная шпатом, взбрыкивая задними ногами в белых гетрах, трусит кремнистым путем.

Ложи оранжистов *(издеваясь).* Эй, мистер, ты лучше слезь и толкай! Последний рывок! К ночи как раз поспеешь!

Гэрретт Дизи *(прямой, негнущийся, грозит им клюшкой, его исцарапанное ногтями лицо залеплено почтовыми марками, голубые глаза мерцают при свете люстры, меж тем как кляча тщится пойти правильным галопом).* Per vias rectas!

Коромысло с ведрами обрушивается на него и на его взбрыкивающего одра, поток бульона из баранины, в котором пляшут звездочки и монетки моркови, ячменя, лука, репы, картошки.

Ложи Зеленых. Славный денек, сэр Джон! Славный денек, ваша честь!

Рядовой Карр, рядовой Комптон и Сисси Кэффри проходят под окнами, горланя песню не в лад.

Стивен. Чу! Наш друг, шум на улице!

Зоя *(поднимает руку).* Тише!

Рядовой Карр, рядовой Комптон и Сисси Кэффри.

Но сердце мое тянется
Эх к розочке из Йоркшира...

Зоя. Ко мне то есть. *(Хлопает в ладоши.)* Танцуем! Танцуем! *(Подбегает к пианоле.)* Кто даст два пенса?

Блум. Кто...

Линч *(дает ей мелочь).* Держи.

Стивен *(щелкает пальцами в нетерпении).* Скорей! Скорей! Где там мой жезл жреца? *(Устремясь к пианино, хватает свою тросточку, трикратно пристукивая ногой в торжественном танце.)*

Зоя *(крутит рукоятку).* Вот так.

Бросает в щель две монетки по пенни. Загораются золотые, красные, фиолетовые огни. Валик медленно вращаясь, колеблясь, мурлычет вальс. Маэстро Гудвин, в парике с косичкой, в придворном платье,

поверх которого заношенный безрукавый плащ, с дрожащими руками, сгорбленный вдвое грузом мафусаиловых лет, семенит через комнату. Крошечный, садится за пианино и ударяет по клавишам руками-палками без кистей, кивая в такт с женской грацией; косичка на парике подпрыгивает.

З о я *(кружится, пристукивая каблучком).* Танцуйте же. Тут хоть один годится из вас? Кто станцует? Стол только уберите.

Пианола, мигая разноцветными огнями, играет в ритме вальса вступление к «Моей йоркширской девчонке». Стивен, бросив тросточку на стол, берет за талию Зою. Флорри и Белла отодвигают стол к камину. Стивен, обняв Зою с нарочитою деликатностью, вальсирует с ней по комнате. Блум стоит в стороне. Рукав Зои, соскользнув с поднятого предплечья, открыл белый телоцветок прививки. Профессор Маджинни просовывает между занавесей ногу, на кончике которой крутится высокий цилиндр. Ловким броском он вскидывает его на голову и, модношляпый, скользит конькобежцем в комнату. На нем серо-голубой сюртук с бордовыми шелковыми отворотами, шейный платок кремового тюля, зеленый жилет с непомерным вырезом, стоячий воротничок с белым галстуком, узкие сиреневые брюки, бальные лакированные туфли и канареечные перчатки. В петлице огромный георгин. Он вертит в разные стороны почти невидимую тросточку, затем прочно вклинивает ее под мышку. Плавным движением прикладывает руку к груди, раскланивается, трогает свои пуговицы и цветок.

М а д ж и н н и. Поэзия движения, искусство ритма и пластики. Никакого отношения ни к Ливенстону, ни к мадам Легтет Берн. Устройство костюмированных балов. Уроки осанки. Метода Катти Ланнер*. Вот так. Прошу смотреть на меня! Мой хореографический талант. *(Делает три па менуэта на легких пчелиных ножках.)* Tout le monde en avant! Révérence! Tout le monde en place! [65]

Вступление заканчивается. Маэстро Гудвин, продолжая стучать по клавишам едва заметными палками, сморщивается, уменьшается, исчезает, пустой плащ сползает со стула. Мелодия вальса звучит уверенней, тверже. Стивен и Зоя легко кружатся. Огни вспыхивают, сменяются, гаснут, золотой, розовый, фиолетовый.

П и а н о л а.

Два паренька беседуют о девочках своих,
Любимых, что остались далеко...

Из угла выпархивают утренние часы, золотоволосые, с осиными талиями, хрупкими целомудренными руками, в девственно голубом, в легких сандалиях. Они грациозно танцуют, прыгая через скакалки. За ними, в янтарно-золотом, полуденные часы. Сплетаясь хохочущим хороводом, сверкая высокими гребнями в волосах, они пускают зайчики шаловливыми зеркальцами, высоко поднимая руки.

М а д ж и н н и *(прихлопывая руками в неслышных перчатках).* Carré! Avant deux! Дышите ровно! Balancé! [66]

Полуденные и утренние часы вальсируют на своих местах, кружатся, сближаются, изгибаются в поклоне своим визави. Позади них кавалеры, выгнув дугою руки, опускают ладони к их плечам, касаются их, снова отнимают ладони.

Ч а с ы. Вы можете коснуться моего.

К а в а л е р ы. Могу ли я коснуться вашего?

Ч а с ы. О, лишь слегка!

К а в а л е р ы. О, совсем слегка!

П и а н о л а.

Какая у ней талия, у девочки моей.

---

[65] Все продвигаются вперед! Поклон! Все на местах! *(франц.)*

[66] Квадрат! Вперед парами!.. Покачиваемся! *(франц.)*

Зоя и Стивен кружатся быстрей, раскованней. Вечерние часы выходят из длинных закатных теней, разбросанно, нерешительно, у них томные взоры, щеки слабо тронуты хной и румянами. Они в серой кисее, темные рукава, как крылья летучей мыши, трепещут под свежим ветерком.

Маджинни. Avant huit! Traversé! Salut! Cours de mains! Croisé![67]

Ночные часы поодиночке крадутся на свободное место. Утренние, полуденные, вечерние часы отступают перед ними. Они в масках, у них кинжалы в волосах, браслеты с глухими колокольчиками. Окутанные покрывалами, они утомленно кланяются.

Браслеты. Эй-гей! Эй-гей!

Зоя *(кружась, прикладывает ладонь ко лбу).* Ах!

Маджинни. Les tiroirs! Chaîne de dames! La corbeille! Dos à dos![68]

Они сплетаются в медленные арабески, ткут и распускают узор, приседая в поклоне, кружась, кружа головы бедняжкам.

Зоя. Голова закружилась.

Оставив его, падает на стул. Стивен подхватывает Флорри и кружится с нею.

Маджинни. Boulangère! Les ronds! Les ponts! Chevaux de bois! Escargots![69]

Переплетаясь, отступая, меняя руки, ночные часы образуют подвижную мозаику, смыкаясь каждый с каждым выгнутыми дугою руками. Флорри топчется неуклюже со Стивеном.

Маджинни. Dansez avec vos dames! Changez de dames! Donnez le petit bouquet à votre dame! Remerciez![70]

Пианола.

По мне, так лучше всех,
Тарарабум!

Китти *(вскакивая).* Ой, вот это самое играли на карусели на Майрасе!

Бежит к Стивену. Тот подхватывает ее, бесцеремонно покинув Флорри. Раздается хриплый истошный режущий крик выпи. Визготреско-скрипучая махина, тофтова карусель, медленно кружит комнату вокруг комнаты ходуном.

Пианола.

Девчоночка из Йоркшира.

Зоя. Йоркширская насквозь. Все, все давайте!

Хватает Флорри и вальсирует с ней.

Стивен. Мужское соло!

Подтолкнув Китти в объятия Линча, берет ясеневую тросточку со стола, пускается в пляс. Все в вихре вальса все кружатся вьются мчатся Блумбелла Киттилинч Флорризоя желейные женщины. Стивен посреди со своей шляпотростью то лягушкой распластываясь то вскидывая немыслимо ноги под самое небо зубы стиснув рукой обхватив бедро. Под лязганье звяканье уханье буханье атуканье улюканье желтые зеленые голубые вспышки тофтова крутится махина лошадки подвешены на золотых змеях крутится растрясая ездокам все кишки фанданго подскок толчок ногой от земли снова падают.

Пианола.

Моя девчонка — с фабрики,
Одета без затей.

Все быстрей под блеск огней сбившись роем мчатся с ревомтрескомвоем валятся вкучубух. Тарарабух!

---

[67] Вперед восьмеркой! Поперек! Поклон! Меняем руки! Переход! *(франц.)*

[68] Малый круг! Дамы в цепь! Большой круг! Отвернулись! *(франц.)*

[69] Булочница! Круги! Мостики! Лошадки! Улитки! *(франц.)*

[70] Каждый со своей дамой! Меняем дам! Каждый подносит даме букет! Кавалеры благодарят дам! *(франц.)*

Тутти. Анкор! Бис! Браво! Анкор!

Саймон. Вспомни родственников твоей матери!

Стивен. Пляска смерти.

Брень снова брень звякает колокольчик служителя, конь, кобыла, вол, поросята, Конми на Христовом осле, матрос с костылем и деревянной ногой в шлюпке то скрестив руки то выбирая канат выкостыливает матросский танец матрос насквозь. Тарарабум! На клячах боровах с бубенцами лошадках гадаринских свиньях Корни в гробу стальная акула каменный Нельсон однорукий две сливами вымазанные продувные старухи летят с визгом из детской коляски без всякой тряски. Эх черт, он краше всех! Фитиль голубой пэр из бочки преп. вечерня Лав в наемной пролетке Буян слепые в три погибели велосипедисты Дилли со снежком одета без затей. И на последнем чертовом издыхании сейчас свалюсь шлепнусь старая лоханка вроде вицекороля с королевой сердце тянется эхлохвалюсь эх к розочке из шлепшира. Тарарабум!

Пары распадаются. Стивен не может остановиться, кружась, комната кружится ему навстречу. Зажмурив глаза, шатаясь, делает шаг. Огненные рельсы убегают в пространство. Солнца, звезды дико вращаются вокруг. Золотые мошки пляшут по стене. Он останавливается, как вкопанный.

Стивен. Оп!

Мать Стивена, исхудалая, окостенелая, поднимается сквозь пол комнаты в сером одеянии прокаженных, в увядшем венке из флердоранжа и рваной фате, ее безносое изможденное лицо позеленено могильной плесенью. Скудные прямые волосы. Она устремляет на Стивена пустые глазницы в синих кругах, открывает беззубый рот, неслышно говорит что-то. Хоры девственниц и исповедников поют беззвучно.

Хоры.

Liliata rutilantium te confessorum...
Iubilantium te virginum...

Бык Маллиган, стоя на верху башни в пестром наряде клоуна, желтом с красным, в шутовском колпаке с бубенчиком, глазеет на нее, держа в руке булочку с маслом.

Бык Маллиган. Она подохла. Какая жалость! Маллиган встречает скорбящую мать. *(Закатывает глаза к небу.)* Ветреник Малахия!

Мать *(с тонкою и безумной улыбкой смерти).* Я была прежде красавицей Мэй Гулдинг. Я умерла.

Стивен *(объятый ужасом).* Лемур, кто ты? Что за адская шутка?

Бык Маллиган *(трясет своим бубенцом).* Смех да и только! Клинк, пес-бедолага, отправил ее на тот свет, сучку-бедолагу. Сыграла в ящик. *(Слезы растаявшего масла капают у него из глаз на булочку.)* Наша великая и нежная мать. Эпи ойнопа понтон.

Мать *(приближается, мягко дыша на него сыростью могильного тлена).* Всем это суждено, Стивен. Женщин больше в мире, чем мужчин. И тебе тоже. Настанет час.

Стивен *(задыхаясь от страха, ужаса, угрызений).* Они говорят, что я убил тебя, мама. Он оскорбил твою память. Это ведь рак, это не я. Судьба.

Мать *(зеленая струйка желчи сбегает у нее из уголка рта).* Ты мне пел эту песню. «Горькая тайна любви».

Стивен *(со страстной жаждой).* Скажи мне то слово, мама, если теперь ты знаешь его. Слово, которое знают все.

Мать. Кто тебя спас в тот вечер, когда вы с Падди Ли вскочили на поезд в Долки? Кто тебя пожалел, когда тебе было тоскливо среди чужих? Сила молитвы безгранична. Молитва за страждущих

щие души, она есть в наставлении урсулинок, и сорокадневное отпущение грехов. Покайся, Стивен.

Стивен. Упырь! Гиена!

Мать. Я за тебя молюсь на том свете. Пусть Дилли готовит для тебя рис по вечерам, после твоей умственной работы. Многие годы я любила тебя, о мой сын, первенец мой, кого я выносила во чреве.

Зоя *(обмахиваясь экраном, что стоял у камина).* Я прямо расплавилась!

Флорри *(показывает на Стивена).* Глядите! Он побелел весь.

Блум *(подходит к окну, открывает шире).* Голова закружилась.

Мать *(с тускло горящими глазами).* Покайся! Адское пламя!

Стивен *(тяжко дыша).* Его безвредное очистительное! Трупоед! Череп и кровавые кости.

Мать *(лицо ее, придвигаясь ближе, обдает его дыханием тлена).* Берегись! *(Поднимает иссохшую почернелую руку и медленно приближает ее к груди Стивена, вытянув вперед палец.)* Берегись! Перст божий!

Зеленый краб с красными и злобными глазками, ощерясь клешнями, глубоко вонзает их в сердце Стивена.

Стивен *(задыхаясь от ярости, с искаженным, серым, постаревшим лицом).* Дерьмо!

Блум *(от окна).* Что такое?

Стивен. Ah non, par exemple![71] Игры воображения! Мне все или ничего. Non serviam![72]

Флорри. Постойте, надо ему дать воды. *(Выходит за дверь.)*

Мать *(медленно ломая руки, стенает в отчаянии).* О Пресвятое Сердце Иисусово, помилуй его! Спаси его от адской погибели, о, Пресвятое Сердце!

Стивен. Нет! Нет! Нет! Попробуйте сломить мой дух, все вы, если сумеете! Я всех вас поставлю на колени!

Мать *(хрипит в предсмертной агонии).* Господи, помилуй Стивена ради меня! Была несказанна тоска моя, когда в любви и в скорби и в муках отходил я на месте Лобном.

Стивен. Нотунг!*

Обеими руками высоко подняв трость, обрушивает ее на люстру. Сине-багровое пламя конца времен вырывается вверх, и в наступившей тьме рушатся пространства, обращаются в осколки стекло и камень.

Газовая струя. Пфук!

Блум. Стойте!

Линч *(бросившись к Стивену, хватает его за рукав).* Эй! Ну-ка стой! Не сходи с ума!

Белла. Полиция!

Стивен, выпустив трость и резко откинув голову и руки назад, отталкивается от земли и вылетает из комнаты, мимо девок в дверях.

Белла *(визжит).* Держи его!

Две проститутки бегут к дверям. Линч, Китти, Зоя выскакивают из комнаты, возбужденно переговариваясь. Блум идет следом, возвращается.

Проститутки *(сбившись у выхода, показывают).* Вон там.

Зоя *(показывая точней).* Там. Вон там что-то.

Белла. А кто заплатит за лампу? *(Хватает Блума за полу.)* Ага, вы же были с ним. Лампа разбита.

Блум *(устремляется в прихожую, оттуда обратно).* Какая еще лампа, женщина?

Одна из проституток. Он одежду порвал.

---

[71] Нет, так, к примеру! *(франц.)*

[72] Не буду служить!* *(лат.).*

Б е л л а *(тычет пальцем, глаза ее горят злобой и жадностью).* За это вот кто заплатит? Десять шиллингов. Вы свидетель.

Б л у м *(подбирает тросточку Стивена).* Я? Десять шиллингов? Вы что, мало из него вытянули? Он ведь...

Б е л л а *(громко).* Ладно, нечего читать лекцию. Тут не бардак. Тут цена десять шиллингов.

Б л у м *(оглядев снизу лампу, тянет за шнур. Пискнув, газовая струя освещает смятый абажур, розоватый, лиловый. Заносит тросточку).* Только стекло разбито. Он вот так...

Б е л л а *(отступая назад, визжит).* О боже! Не надо!

Б л у м *(отводя взмах).* Я просто показываю, как он стукнул по абажуру. Тут нет убытка и на шесть пенсов. Десять шиллингов!

Ф л о р р и *(входит со стаканом воды).* А где он?

Б е л л а. Хотите, чтобы я позвала полицию?

Б л у м. А, это мы знаем. Верный страж, что за рюмку ваш. Но только он студент Тринити. Ваша лучшая клиентура. Эти джентльмены не остаются в долгу. *(Делает масонский знак.)* Вам известно, что это значит? Он племянник вице-канцлера. Вы же не хотите скандала.

Б е л л а *(сварливо).* Тринити! Являются сюда куролесить после гребных гонок да норовят не платить. А вы тут что командуете? Где он? Я на него заявлю! Выставлю его на позор! *(Зовет.)* Зоя! Зоя!

Б л у м *(не отступает).* А если бы это был ваш собственный сын из Оксфорда? *(Предостерегающе.)* Мне ведь известно.

Б е л л а *(онемев на мгновение).* Да вы кто, инког?

З о я *(в дверях).* Там перепалка на улице.

Б л у м. Где? Что там? *(Бросает шиллинг на стол и поворачивается идти.)* Где? Это вот за стекло! Мне надо подышать горным воздухом!

Торопливо выходит через прихожую. Проститутки показывают. Флорри идет за ним, проливая воду из наклонившегося стакана. На крыльце все девки, сгрудившись, тараторят наперебой, показывая направо, где туман рассеялся. Слева подъезжает, позвякивая, кэб и останавливается у дома. Стоя в дверях, Блум замечает Корни Келлехера, который собирается слезть на землю, и рядом двух безмолвных кутил. Блум отворачивает лицо. Белла из прихожей науськивает своих девок. Те посылают звонкие жаркие сладкие чмок-чмок воздушные поцелуи. Корни Келлехер отвечает им мертвенным похотливым оскалом. Безмолвные кутилы расплачиваются с кэбменом. Зоя и Китти все еще показывают направо. Блум, отделясь от них, закутывается в пончо и в плащ калифа и сбегает вниз по ступенькам, пряча лицо. Инког Гарун аль Рашид, он проскальзывает за спинами безмолвных кутил и спешит вдоль ограды легкой поступью леопарда, оставляя за собою пахучий след, порванные обертки, пропитанные анисом. Ясеневая тросточка отмеряет его шаги. Свора ищеек, которых натравливает, размахивая хлыстом, Хорнблоуэр из Тринити, в старых серых штанах и картузе псаря, издали нагоняет его, вынюхивая след, тявкая, тяжело дыша, теряя след, рыская, вываливая языки, настигая, пытаясь схватить за пятки, за полы. Он идет, бежит, петляет, мчит во весь дух, прижав уши. Его закидывают гравием, кочерыжками, коробками от печенья, картошкой, яйцами, дохлой треской, женскими пантуфлями. По пятам за ним, обнаруженным, в неистовой гонке, в оголтелой свистопляске петляют, мчат во весь дух: патрульные 65С и 66С, Джон Генри Ментон, Уиздом Хили, В Б Диллон, Советник Наннетти, Алессандро Ключчи, Ларри О'Рурк, Джо Кафф, миссис О'Дауд Сикун Берк Безликий миссис Риордан Гражданин, Гарриоун, Тотсзобом, Гдетовидал, Невстречал, Накоготопохож, Забыл Хотюбей, Крис Каллинан, сэр Чарльз Камерон Бенджамин Доллард, Ленехан, Бартель д'Арси, Джо Хайнс Ред Мерри, издатель Брайден, Т М Хили, господин судья Фицгиббон, Джон Хау-

ард Парнелл, досточтимый Консервированный О'Сетр, профессор Джоли, миссис Брин, Дэнис Брин, Теодор Пьюрфой, Майна Пьюрфой, почтовая служительница с Уэстленд-роу, К. П. Маккой, друг Лайонса, Прыгунчик Холохан, человексулицы, человексдругойулицы, Бутсы, курносый водитель, богатая протестантка, Дэви Берн, миссис Элен Макгиннесс, миссис Джо Галлахер, Джордж Лидуэлл, Джимми Генри с мозолями, управляющий Лейреси, отец Каули, Крофтон из Таможенного Ведомства, Дэн Доусон, дантист Блум со щипцами, миссис Боб Дорен, миссис Кенфик, миссис Уайз Нолан, Джон Уайз Нолан, красиваязамужняядамаобчейкрупныйкруптерлисьвтрамваена-Клонски, продавец «Прелестей греха», мисс Дюбедаонабыда, мадам Джеральд Морен и мадам Станислаус Морен из Ребека, старший клерк у Дримми, Везерап, полковник Хейс, Мастянский, Цитрон, Пенроуз, Арон Фигфурт, Моше Герцог, Майкл Э. Герати, инспектор Трой, миссис Гелбрейт, констебль с перекрестка Экклс-стрит, старый доктор Брэди со стетоскопом, таинственный незнакомец на пляже, приблудный пес, миссис Мириэм Дэндрейд со всеми своими любовниками.

Свистопляска *(скулежгалдежвсемневтерпеж).* Вон он, Блум! Держи Блума! Держиблума! Держивора! Эй! Эй! Держи его на углу!

Под лесами на углу Бивер-стрит Блум, запыхавшись, останавливается возле шумного сборища, не ведая, о чем там вздорище, кому позорище и не выйдет ли тут, эй! эй! побоище.

Стивен *(следя за своими жестами, дыша глубоко и медленно).* Вы мои гости. Незваные. По воле пятого из Георгов и седьмого из Эдуардов. Повинна история. Басни матерей памяти.

Рядовой Карр *(к Сисси Кэффри).* Он что, оскорбил тебя?

Стивен. Я обратился к ней в звательном падеже женского рода. Вероятно, она среднего. Неродительный падеж.

Голоса. Да он и не думал. Видевши я его. Там девчонка. Он был у Коэнши. Чего за шум? Солдат со штатским связался.

Сисси Кэффри. Я гуляла с солдатами, они отошли в сторонку, им надо было, ну, понимаете, и тут вдруг этот молодой привязался. Ну только я уже верная с кем пошла, пускай я девка за шиллинг.

Голоса. Онавернаяскем.

Стивен *(замечает головы Линча и Китти).* Приветствую, Сизиф. *(Указывая на себя и на окружающих.)* Поэтическое. Прапоэтическое.

Сисси Кэффри. Да, чтоб я с ним пошла. А я уже с дружком, с солдатом.

Рядовой Комптон. А он не хочет хорошего раза по уху, этот гад? Врежь-ка ему там, Гарри.

Рядовой Карр *(к Сисси).* Он что ль тебя оскорбил, пока мы там нужду справляли?

Лорд Теннисон *(благородный поэт в куртке цветов английского флага и в брюках для крикета, без шляпы, с развевающейся бородой).* Дело их не рассуждать.

Рядовой Комптон. Врежь ему, Гарри.

Стивен *(рядовому Комптону).* Не знаю вашего имени, но вы совершенно правы. Как сказал доктор Свифт, один человек в доспехах побьет десятерых в рубашках*. Рубашка здесь синекдоха. Часть вместо целого.

Сисси Кэффри *(к толпе).* И нет, я с этими солдатиками была.

Стивен *(любезно).* Что же тут дурного? Бравый парень солдат. Я, например, полагаю, что всякая дама...

Рядовой Карр *(в фуражке набекрень, подступает к Стивену).* Слышь, начальник, а ежели тебя щас по зубам, это как?

Стивен *(смотрит в небо).* Как? Весьма неприятно. Благородное искусство самооправдания. Лично я ненавижу действие. *(Двигает рукой.)* У меня побаливает рука. Enfin ce sont vos oignons [73]. *(К Сисси Кэффри.)* Тут какое-то недоразумение. Скажи, наконец, в чем дело?

Долли Грей *(машет платком с балкона, подавая знак иерихонской героини).* Раав. Кухаркин сын, прощай. Счастливо вернуться к Долли. Пусть снится тебе подружка, которую ты оставил, а ты будешь сниться ей.

Солдаты ворочают мутными глазами.

Блум *(локтями проложив путь, решительно тянет Стивена за рукав).* Пойдемте, профессор, экипаж ждет нас.

Стивен *(оборачивается).* А? *(Высвобождает рукав.)* А почему бы мне не поговорить с ним или с любым другим человеческим существом, которое передвигается вертикально по этому сплюснутому шарику? *(Показывает пальцем.)* Я не боюсь того, к чему я могу обратиться и могу видеть его глаза. Сохраняющего вертикальность. *(Качнувшись, делает шаг назад.)*

Блум *(поддерживает его).* Сохраняйте свою.

Стивен *(с бессмысленным смехом).* У меня сместился центр тяжести. Забыл этот трюк. Давайте посидим где-нибудь и поговорим. Борьба за жизнь есть закон существования, но теперешние филиренисты, в особенности царь и английский король* придумали третейский суд. *(Хлопает себя по лбу.)* Но тут вот я должен убить священника и короля*.

Пташка Гонорейка. Вы слышали, что сказал профессор? Он профессор из колледжа.

Пистонка Полли. Да-да. Я отлично слышала.

Пташка Гонорейка. Его фразеология отмечена тонкой изощренностью.

Пистонка Полли. Да, это так. И добавлю, он изъясняется с весьма уместной драстичностью.

Рядовой Карр *(оттолкнув окружающих, выходит вперед).* Ты тут чего сказал про моего короля?

Под аркою появляется Эдуард Седьмой. На нем белая фуфайка с нашитым изображением Святого Сердца, с орденами Подвязки, Чертополоха, Золотого Руна и Датского Слона, эмблемами конных полков Скиннера и Пробина, значками стряпческой корпорации Линкольна и старейшей достопочтенной массачусетской артиллерийской бригады. Он сосет красную карамельку. На нем облачение достигшего высшего совершенства и великого мастера Великой Ложи*, на фартуке и лопатке клейма «Изготовлено в Германии». В левой руке его ведро штукатуров с печатной надписью «Defense d'uriner» [74]. Его встречают восторженными приветствиями.*

Эдуард Седьмой *(медленно, торжественно, но невнятно).* Мир, истинный мир*. Для опознания в руке у меня ведро. Привет, мои парни. *(Оборачивается к своим подданным.)* Мы пришли сюда, чтобы наблюдать честный и справедливый поединок, и мы от души желаем удачи обоим участникам. Махак макар абак [75]. *(Пожимает руки рядовому Карру, рядовому Комптону, Стивену, Блуму и Линчу.) Общие рукоплескания. Эдуард Седьмой благодарит, элегантно поднимая ведро.*

Рядовой Карр *(Стивену).* А ну, повтори.

Стивен *(нервничает, но берет себя в руки; дружеским тоном).* Я понимаю вашу позицию, хотя у меня лично в данный момент нет короля. Сейчас век патентованных лекарств. Здесь трудно вести дис-

---

[73] И потом, это вы все затеяли *(франц.).*

[74] Мочиться запрещено *(франц.).*

[75] С тобой лицемер, отец твой *(искаж. араб.).*

куссию. Однако суть в следующем. Допустим, вы погибаете за родину. *(Кладет руку на рукав рядового Карра.)* Не подумайте, что я желаю вам этого. Но я говорю: пускай моя родина погибает за меня. До сих пор она так и делала. Я не хотел ее гибели. К дьяволу смерть. Да здравствует жизнь!

Эдуард Седьмой *(кружит в воздухе над грудами убитых, в нимбе и одеянии Иисуса-шутника, с белой карамелькой на светящемся лике).*

Мой метод леченья и прост, и глубок:
Прозрел чтоб слепой, в глаза сыплю песок.

Стивен. Короли и единороги!* *(Отступает на шаг.)* Давайте пойдем куда-нибудь и... А что говорила эта девушка?..

Рядовой Комптон. Эй, Гарри, съезди-ка ему в причинное место. Двинь его в чем детей делают.

Блум *(мягко увещевает солдат).* Он ведь и сам не знает, что говорит. Хлебнул лишнего. Абсент. Чудище с зелеными глазами. Я его знаю. Он джентльмен, поэт. Не надо обращать внимания.

Стивен *(кивает, улыбается, заливается смехом).* Джентльмен, патриот, ученый и судия жуликов.

Рядовой Карр. Плевать мне, кто он такой.

Рядовой Комптон. Плевать нам, кто он такой.

Стивен. Мне кажется, я раздражаю их. Зеленая тряпка для быка.

Кевин Иген Парижский в испанской черной рубахе с кистями, в фуражке протестантского боевика делает знаки Стивену.

Кевин Иген. П'чтение. Bonjour! Эта vieille ogresse с dents jaunes.

Из-за его спины выглядывает Патрис Иген с мордочкой кролика, грызет айвовый листок.

Патрис. Socialiste!

Дон Эмиль Патрицио Франц Руперт Поуп Хеннесси* *(в средневековой кольчуге и шлеме, на котором два летящих диких гуся, закованною в латы рукой с благородным негодованием указывает на солдат).* Werf этих сопляков Fussboden, этих здоровенных porcos, джонбулей, todos облитых соусом![76]

Блум *(Стивену).* Пойдемте домой. Тут могут быть неприятности.

Стивен *(пошатываясь).* А я не стану уходить в сторону. Он возбуждает мой разум.

Пташка Гонорейка. Всякий немедленно заметит, что род его — род патрициев.

Муже баба. Зеленое выше красного, так он говорит. Вулф Тон.

Сводня. Красное не хуже зеленого, даже лучше. Ура солдатам! Ура королю Эдуарду!

Хулиган *(хохочет).* Ха-ха! И все сдаваться Де Вету!

Гражданин *(с дубиной, в необъятном зеленом шарфе).*

Прилетит, дай срок,
С неба голубок
С острыми зубами как кинжалы.
Брюхо распороть
Всем английским псам,
Что в петле вождей давили наших.

Юный Бунтарь *(с петлей на шее, обеими руками поддерживает вываливающиеся внутренности).*

Вражды ни к кому нет в душе моей,
Но отчизна дороже мне всех королей.

Рамболд, Демон-Цирюльник *(сопровождаемый двумя подручными в черных масках, выступает вперед с небольшим сак-*

[76] Швырни... на землю *(нем.)*; свиней... всех *(исп.)*.

вояжем и раскрывает его). Леди и джентльмены, вот мясницкий нож, купленный миссис Пирси, чтобы зарезать миссис Могг. А этим вот тесаком Вуазен разрубил на куски жену своего соотечественника, ее останки он завернул в простыню и спрятал у себя в погребе, горло несчастной было перерезано от уха до уха. Склянка с мышьяком, извлеченным из тела мисс Баррон, за которую Седдона отправили на виселицу.

Рывком дергает веревку, подручные бросаются на ноги жертвы и тянут книзу, рыча; язык юного бунтаря резко вываливается наружу.

Юный Бунтарь.

Ххабых памаххыца ххадуху маххехы.

Испускает дух. Мощная эрекция повешенного сквозь его смертные одежды выбрасывает на мостовую капли спермы. Миссис Йелвертон Барри, леди Беллингам и баронесса Толбойс кидаются смочить в ней свои платочки.

Рамболд. Самого чуть не так же разобрало. *(Распускает петлю.)* Веревка, на которой повесили ужасного мятежника. По десять шиллингов за кусок, с дозволения Ее Королевского Высочества. *(Сунув голову в распоротый живот повешенного, вынимает ее облепленной спутанными дымящимися кишками.)* Мой горестный долг исполнен. Боже, храни короля!

Эдуард Седьмой *(неторопливо и чинно приплясывает, побрякивая ведром, благодушно напевая).*

В день коронации кутнем,
Веселье будет допоздна,
Мы хлопнем виски и вина!

Рядовой Карр. Ну ты. Ты чего говорил про моего короля?

Стивен *(воздевая руки).* О, это уже слишком однообразно! Ничего я не говорил. Он хочет мои деньги и мою жизнь для своей британской империи, только на всякое хотенье есть терпенье. А денег у меня нет. *(Рассеянно шарит по карманам.)* Отдал кому-то.

Рядовой Карр. Кому надо твои паршивые деньги?

Стивен *(порывается уйти).* Не скажет ли кто-нибудь, где у меня всего меньше шансов столкнуться с этим необходимым злом? Ça se voit aussi à Paris [77]. Не то чтобы я... Но уж клянусь Святым Патриком!..

Женские головы сливаются воедино. Возникает Беззубая Бабуся, сидящая на поганке, в шляпе колпаком, на груди цветок смерти, пораженный чумой картофель.

Стивен. А-а! Я тебя знаю, бабка! Гамлет, отмсти! Старая чушка, что жрет собственных поросят!

Беззубая Бабуся *(раскачиваясь взад-вперед).* Любовь Ирландии, дочка царя Гороха, alanna [78]. Чужаки в моем доме, да не будет им доброй встречи! *(Завывает словно банши, вестница смерти.)* Ochone! Ochone! [79] Шелковая коровка! *(Со стенаниями.)* Ты повидал Ирландию, как держится она?

Стивен. Спроси, как я тебя выдерживаю? Жалкие фокусники! Где ж третья персона Святой Троицы? Soggarth Aroon? [80] Преподобный Ворон-стервятник?

Сисси Кэффри *(визжит).* Разнимите их!

Хулиган. Наши отступают.

Рядовой Карр *(подтянув туже пояс).* Шею сверну, кто хоть слово против моего трепаного короля!

Блум *(в тревоге).* Но он же ничего не сказал. Ни слова. Это чистое недоразумение.

---

[77] Это же самое видишь в Париже *(франц.)*.
[78] Дитя мое *(ирл.)*.
[79] Горе! Горе! *(ирл.)*
[80] Славный священник *(ирл.)*.

Рядовой Комптон. Валяй, Гарри. Дай ему в глаз. Этот гад за буров.

Стивен. Я? Когда это со мной было?

Блум *(красным мундирам)*. Мы воевали за вас в Южной Африке, ирландские пехотные части. Разве это не вошло в историю? Королевские дублинские стрелки. Отмеченные нашим монархом.

Фабричный *(шатаясь, прет мимо)*. Ух, черт! Ух, ну и черт! Уххх, дррать евовдррызг! Бабах!

Алебардщики в латах и шлемах ощетинились стеной копий с кишками на остриях. Майор Твиди, с усами как у Свирепого Турки, в медвежьей шапке с петушиным пером, в эполетах, с золотыми шевронами, с полной амуницией, с ташкой, при всех наградах, становится в строй. Делает знак странствующего воина-храмовника.

Майор Твиди *(с яростным рыком)*. Роркс Дрифт! Вперед, гвардейцы, на врага! Магер-шелал-хаш-баз [81].

Гражданин. Erin go bragh! [82]

Майор Твиди и Гражданин выставляют один другому напоказ свои медали, ордена, военные трофеи, раны. Свирепо обмениваются приветствиями.

Рядовой Карр. Щас ему врежу.

Рядовой Комптон *(оттесняет толпу)*. Все по-честному. Враз сделаем из гада котлету.

Несметные оркестры гремят «Гарриоун» и «Боже, храни короля».

Сисси Кэффри. Сейчас драться будут! Из-за меня!

Пистонка Полли. Храбрецы за красавицу!

Пташка Гонорейка. Сдается мне, черный рыцарь окажет себя доблестнейшим на сем ристалище.

Пистонка Полли *(зардевшись)*. О нет, сударыня. Я за красный камзол и веселонравного Святого Георга!

Стивен.

И крики шлюх глухой порой,
Ирландия, ткут саван твой*.

Рядовой Карр *(распуская ремень, орет)*. Башку оторву всякому трепаному гаду, который хоть слово против моего трепаного короля!

Блум *(трясет Сисси Кэффри за плечи)*. Скажите же им! Или вы онемели? Ведь вы это связь народов, связь поколений. Говори, женщина, священная дарительница жизни!

Сисси Кэффри *(в тревоге хватает рядового Карра за рукав)*. Ты что, я что ли не с тобой? Я что ли не твоя подружка? Сисси твоя подружка. *(Кричит.)* Полиция!

Стивен *(к Сисси Кэффри, восторженно)*.

На молодчика присуха,
Маркоташки голубки.

Голоса. Полиция!

Голоса в отдалении. Дублин, Дублин весь горит! На пожар бегите!

Взметаются языки серного пламени Клубятся облака дыма. Грохочут тяжелые пулеметы. Пандемониум. Войска развертываются. Топот копыт. Артиллерия. Хриплые команды. Бьют колокола. Орут пьяные. Галдят игроки на скачках. Визжат шлюхи. Завывают сирены. Боевые возгласы. Стоны умирающих. Пики лязгают о кирасы. Мародеры грабят убитых. Хищные птицы, налетая с моря, взмывая с болот, пикируя с гор, с криками кружат: глупыши, бакланы, грифы, ястребы, вальдшнепы, соколы, кобчики, тетерева, орланы, чайки, альбатросы, казарки. Полночное солнце закрыла тьма. Земля содрогается. Дублинские покойники с Проспекта и с Иеронимовой Горы,*

---

[81] Спешит грабеж, ускоряет добыча* *(древнеевр. — Книга пророка Исаии, 8, 1)*.

[82] Ирландия до Судного дня! *(ирл.)*

одни в белых овчинах, другие в черных козлиных шкурах, восстают и являются многим. Бездна разверзает беззвучный зев. Том Рочфорд, лидер, в спортивных трусах и майке, несется во главе участников общенационального забега с препятствиями и, не задерживаясь, с разгона прыгает в пустоту. За ним устремляются остальные бегуны. Принимая немыслимые позы, они кидаются с края вниз. Их тела погружаются. Девчонки с фабрик, затейливо одетые, бросают докрасна раскаленные йоркширские тараробомбы. Светские дамы, пытаясь защититься, натягивают юбки на головы. Смеющиеся чаровницы в красных коротеньких рубашках летают по воздуху на метлах. Квакерлистер ставит пластыри и клистиры. Выпадает дождь из драконьих зубов, за ним на поле вырастают вооруженные герои. Они дружески обмениваются условным приветствием рыцарей Красного Креста и начинают между собой дуэли на саблях: Вулф Тон рубится с Генри Граттаном, Смит О'Брайен с Дэниэлом О'Коннеллом, Майкл Дэвитт с Айзеком Баттом, Джастин Маккарти с Парнеллом*, Артур Гриффит с Джоном Редмондом*, Джон О'Лири* с Лиром О'Джонни, лорд Эдвард Фицджеральд с лордом Джеральдом Фицэдвардом, члены рода Донохью-из-Долин с членами рода Долинс-из-Донохью. На возвышении, в центре земли, сооружают походный алтарь Святой Варвары*. Черные свечи стоят на нем с евангельской стороны, как и со стороны апостола. Два световых копья, выходящие из высоких бойниц башни, вонзаются в окутанный дымом жертвенный камень. На нем возлежит миссис Майна Пьюрфой, богиня безумия, обнаженная, в оковах, потир покоится на ее вздутом чреве*. Отец Малахия О'Флинн, в кружевной нижней юбке, в ризе наизнанку, с двумя левыми ногами задом наперед, служит походную мессу. Преподобный Хью К. Хейнс Лав* [83], *магистр искусств, в сутане и черной университетской шляпе, голова и воротник задом наперед, держит над священнодействующим раскрытый зонтик.*

Отец Малахия О'Флинн. Introibo ad altare diaboli [84].

Преподобный Хейнс Лав. К диаволу, веселящему юность мою.

Отец Малахия О'Флинн *(вынимает из потира и возносит гостию, с которой капает кровь).* Corpus meum [85].

Преподобный Хейнс Лав *(высоко задрав сзади юбки священнодействующего, открывает его голые серые волосатые ягодицы, между которых торчит морковка).* Тело мое.

Глас всех грешников. Ьлетижредесв Гоб Ьдопсог яслирацов оби, Яйулилла!

Свыше глас Адонаи.

Адонаи. Гооооооб!

Глас всех праведников. Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель!

Свыше глас Адонаи.

Адонаи. Бооооооог!

Стараясь перекричать друг друга, сторонники Оранжевой и Зеленой партий распевают «Папе римскому пинка» и «Вседневно славь Марию».

Рядовой Карр *(свирепо, раздельно отчеканивая)* Ну, щас врежу ему, в трепаного Христа душу! Отверну гаду его паскудную вшивую трепаную башку!

Приблудный пес шныряет возле толпы, принюхиваясь, громко гавкая.

Блум *(кидается к Линчу).* Вы не можете увести его?

Линч. Он любитель диалектики, универсального языка. Китти! *(Блуму.)* Уведите его вы. Меня он не станет слушать.

Уходит прочь и уводит Китти.

---

[83] Haine(s) — ненависть *(франц.)*; Love — любовь *(англ.)*.

[84] И подойду к жертвеннику диавола *(лат.)*.

[85] Тело мое *(лат.)*.

Стивен *(указывая на него)*. Exit Judas. Et laqueo se suspendit [86].

Блум *(кидается к Стивену)*. Уйдемте скорей, пока не началось еще хуже. Вот ваша трость.

Стивен. Трость, нет. Разум. Сей пир чистого разума *.

Беззубая Бабуся *(сует в руку Стивена кинжал)*. Убери его, acushla[87]. В 8.35 утра ты будешь на небе*, а Ирландия будет свободной. *(Молится.)* О милостивый Боже, прими его!

Сисси Кэффри *(тянет рядового Карра)*. Пошли, ты же в стельку. Он меня оскорбил, ну я уж ему прощаю. *(Кричит ему в ухо.)* Прощаю, что он меня оскорбил.

Блум *(через плечо Стивена)*. Да-да, идите. Вы же видите, он не в состоянии.

Рядовой Карр *(вырывается)*. А щас вот я его оскорблю. *Бросается с кулаками на Стивена, бьет в лицо. Стивен делает шаг и, шатнувшись, падает. Оглушенный, лежит навзничь, его шляпа откатилась к стене. Блум подбирает ее.*

Майор Твиди *(зычно)*. Карабины на ремень! Прекратить огонь! На крра-ул!

Приблудный пес *(лает яростно)*. Ул ул ул ул ул!

Толпа. Дай ему встать! Не бей лежачего! Пусть отдышится! Кто? Да солдат двинул. Он профессор. Сильно его помяли? Не трогай! Он без памяти.

Старуха. По какому это он праву, солдатня, ударил джентльмена, и еще сам выпивши? Пускай с бурами воюют!

Сводня. Глядите, кто тут указывает! Значит, солдату не смей уже с девочкой прогуляться? А тот сразу сдрейфил, всех был продать готов.

Вцепляются друг другу в волосы, царапаются, плюются.

Приблудный пес *(гавкает)*. Ов ов ов ов ов!

Блум *(кричит, оттесняя их)*. Отойдите, посторонитесь!

Рядовой Комптон *(тянет своего напарника)*. Эй, Гарри, сматываемся. Фараоны!

Двое патрульных, рослые, в капюшонах, входят в толпу.

Первый патрульный. Что тут происходит?

Рядовой Комптон. Мы шли с этой вот дамой, а он нас оскорбил и напал на моего дружка.

Пес гавкает.

Да чья это шавка, в кровь и в душу?

Сисси Кэффри *(с интересом)*. А, у него кровь!

Мужчина *(поднимаясь с колен)*. Нет. Потерял сознание. Ничего страшного, очухается.

Блум *(недоверчиво взглянув на мужчину)*. Предоставьте его мне. Я легко смогу...

Второй патрульный. А вы кто такой? Вы его знаете?

Рядовой Карр *(подходит, заплетаясь, к патрульному)*. Он оскорбил мою даму.

Блум *(возмущенно)*. Вы сами его ударили без всякого повода. Я свидетель. Констебль, запишите его часть.

Второй патрульный. Прошу не учить меня, как исполнять служебные обязанности.

Рядовой Комптон *(тянет напарника)*. Эй, Гарри, сматываемся. А то, гляди, Беннет упрячет на губу.

Рядовой Карр *(упирается, пошатываясь)*. Кидал я твоего Беннета с присвистом! Дерьмо собачье. Я с ним в одном нужнике не сяду.

Первый патрульный *(вынимает блокнот)*. Как его фамилия?

---

[86] Иуда вышел. И пошел и удавился *(лат.— ср. Евангелие от Матфея, 27, 5)*.

[87] Здесь: милый *(ирл.)*.

Блум *(всматриваясь поверх толпы).* Я как раз вижу кэб. Если вы мне чуть-чуть поможете, сержант...

Первый патрульный. Фамилия, адрес.

Среди собравшихся появляется Корни Келлехер с крепом на шляпе и траурным венком в руках.

Блум *(с живостью).* До чего кстати! *(Шепотом.)* Сын Саймона Дедала. Слегка наклюкался. Попробуйте, чтобы полисмены разогнали этих баранов.

Второй патрульный. Почтение, мистер Келлехер.

Корни Келлехер *(патрульному, взглянув со значением).* Ничего особенного. Я его знаю. Выиграл малость на скачках. Золотой кубок. На Рекламу поставил. *(Смеется.)* Двадцать к одному. Понимаете?

Первый патрульный *(оборачиваясь к толпе).* Ну что вы тут рты разинули? Расходись, расходись.

Толпа медленно, шушукаясь, разбредается переулком.

Корни Келлехер. Предоставьте мне, сержант. Все будет в порядке. *(Качает головой, посмеиваясь.)* Бывали и мы такие, чего там, еще похуже. А? Как по-вашему?

Первый патрульный *(смеется).* Пожалуй, оно верно.

Корни Келлехер *(легонько подталкивая локтем второго патрульного).* И сбросим это дело со счетов. *(Напевает, кивая в такт.)* И с моей труляля труляля труляля. Ну как, все понятно?

Второй патрульный *(веселым тоном).* Конечно, и с нами случалось.

Корни Келлехер *(подмигивая).* Молодо-зелено. У меня тут извозчик.

Второй патрульный. Хорошо, мистер Келлехер. Доброй ночи.

Корни Келлехер. Все как надо устроим.

Блум *(прощается за руку с патрульными).* Спасибо вам, джентльмены, большое спасибо. *(Доверительно понижая голос.)* Вы понимаете, нам не хочется шума. Отец у него известный человек, всеми уважаемый. Так, небольшие грешки молодости, вы же понимаете.

Первый патрульный. Да-да, понимаю, сэр.

Второй патрульный. Все в порядке, сэр.

Первый патрульный. Это когда имеются телесные повреждения, я обязан докладывать.

Блум *(согласно кивает).* Конечно. Совершенно правильно. Прямой ваш служебный долг.

Второй патрульный. Долг это долг, сэр.

Корни Келлехер. Спокойной ночи, парни.

Патрульные *(разом отдают честь).* Спокойной ночи, джентльмены.

Уходят тяжелой медленной поступью.

Блум *(переводит дух).* Уфф, это прямо провидение, что вы появились. Так у вас есть извозчик?..

Корни Келлехер *(со смехом тычет через плечо на кэб, стоящий возле лесов).* Два купчика всех поили шампанским у Джеммета. Что твои принцы, ей-ей. Один из них продул два фунта на скачках. С горя выпили, а там решили развлечься с девочками. Ну, я их загружаю в кэб к Бехану, и прямиком в веселый квартал.

Блум. А я возвращался домой по Гардинер-стрит и совершенно случайно...

Корни Келлехер *(со смехом).* Ясное дело, они и меня тащили к шлюхам, мол, за компанию. Нет уж, говорю, не пойдет. Это не для тертых калачей, вроде нас с вами. *(Снова смеется, косясь тусклым взглядом.)* У нас, слава Богу, оно и дома найдется, а, верно я говорю? Ха-ха-ха!

Блум *(заставляя себя смеяться).* Хи-хи-хи! Да. Я, собственно, навещал своего старого друга, Вирага, вы его не знаете (бедняга, он слег еще на прошлой неделе), мы с ним пропустили по рюмочке, и иду я себе домой, как вдруг вижу его...

Лошадь ржет.

Лошадь. Егогогоо! Иигогоо!

Корни Келлехер. А мне наш кучер говорит, Бехан, когда мы оставили купчиков-то у Коэнши, а я ему, ну постой, пойду погляжу. *(Смеется.)* Трезвые кучера, это по моей части, для катафалков. Так как, отвезти что ли его домой? Он где обретается? Где-нибудь в Кабре, а?

Блум. Нет, в Сэндикоуве, мне кажется, он что-то такое говорил.

Стивен лежит и дышит, лицом к звездам. Корни Келлехер косится на лошадь. Блум угрюм и полон дум.

Корни Келлехер *(почесывая в затылке).* Сэндикоув! *(Нагибается и окликает Стивена.)* Эй! *(Снова окликает.)* Эй! Ну, в общем-то, он тут прикрыт стружками. Только как бы не обокрали.

Блум. Нет-нет. Его деньги и шляпа у меня, тросточка тоже.

Корни Келлехер. Так что пустяки, очухается. Кости все целы. А мне пора двигать. *(Со смехом.)* Утром свидание. Покойников хоронить. Работа, не поделаешь ничего!

Лошадь *(ржет).* Игогоо!

Блум. Спокойной ночи. Я подожду немного и куда-нибудь его...

Корни Келлехер возвращается к пролетке и садится в нее. Звякает сбруя.

Корни Келлехер *(стоя в пролетке).* Ну, всего.

Блум. Всего.

Кучер дергает вожжи, ободряюще взмахивает кнутом. Пролетка и лошадь медленно, неуклюже осаживают назад, разворачиваются. Корни Келлехер на сиденье потряхивает головой, веселясь над блумовой незадачей. По соседству, на козлах, кучер тоже качает головой, включаясь в пантомиму веселья. Блум, со своей стороны, тоже присоединяется, весело кивая им. Ладонью и большим пальцем Корни Келлехер заверяет, что два фараона не потревожат спящего, им делать тут нечего. Наклоном головы Блум выражает благодарность, мол, Стивену это только и нужно. Позвякивая, пролетка поворачивает труляля за угол труляля переулка. Корни Келлехер еще раз заверятруляляет Блума. Блум ответно уверятруляляет Корни Келлехера в том, что он совершеннейше затру-заля-затруляля заверен. Цоканье копыт, звяканье сбруи становятся глуше по мере их труляля ляля удале ляля трулялень я. Блум, держа в руках тросточку Стивена и шляпу, украшенную стружками, стоит в нерешимости. Потом нагибается к нему, трясет за плечо.

Блум. Эй! Эгей! *(Ответа нет. Он нагибается снова.)* Мистер Дедал! *(Ответа нет.)* Если позвать по имени. Как с лунатиками. *(Снова нагнувшись, после некоторого колебания приближает губы вплотную к уху лежащего.)* Стивен! *(Ответа нет. Он окликает еще раз.)* Стивен!

Стивен *(его лицо хмурится).* Кто это? Черная пантера. Вампир. *(Вздохнув, потягивается и полувнятно бормочет, растягивая все гласные.)*

Кто... с Фергусом... помчит
Пронзая... лесных теней..?*

(Поворачивается на левый бок, вздыхает, склаавывается калачиком.)

Блум. Стихи. Прекрасно образован. Такая жалость. *(Нагибаясь, расстегивает жилет Стивена.)* Легче дышать. *(Осторожно снимает стружки с одежды Стивена.)* Фунт семь шиллингов. По крайней мере, не поранен нигде. *(Прислушивается.)* Что-что?

Стивен *(бормочет).*

...тени ...лесов

...море в дымке ...грудью белой.

Вытягивает руки, опять вздыхает, сворачивается клубком. Блум стоит, выпрямившись, даже шляпу и тросточку. В отдалении лай собак. Блум сжимает и разжимает пальцы на тросточке. Рассматривает простертую фигуру, лицо Стивена.

Блум *(собеседуя с ночью).* Лицо мне напоминает его мать, бедняжку. В тени лесов. Белая грудь. Кажется, он сказал Фергусон. Девушка. Какая-то девушка. Это бы самое лучшее для него. *(Бормочет.)* ...клянусь свято чтить и всегда хранить и никогда не раскрывать никакую часть или части, весть или вести...* *(Бормочет.)* ...на песчаном морском дне... в кабельтове от берега... где прилив идет на убыль... и теченье...

Безмолвен, бдителен и задумчив, стоит он на страже, приложив пальцы к губам в жесте тайного наставника. На темном фоне стены медленно возникает фигурка, волшебный мальчик лет одиннадцати, подменыш, похищенный феями; он в костюме питомца итонской школы, в хрустальных башмачках, на голове небольшой бронзовый шлем, в руке книга. Он беззвучно читает ее справа налево, улыбаясь, целуя страницу.

Блум *(пораженный, зовет беззвучно).* Руди!

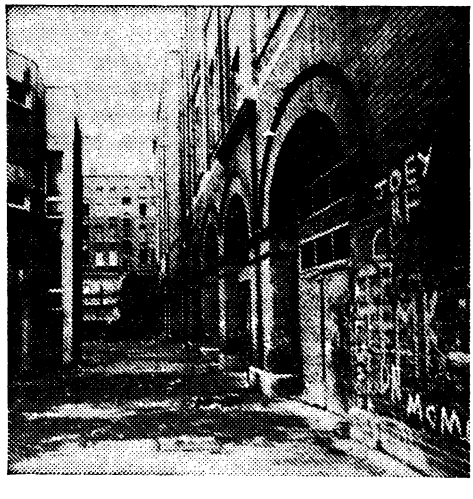
Руди *(смотрит в глаза Блума, не видя их, и продолжает читать, улыбаясь, целуя книгу. Лицо его покрыто нежным румянцем. Пуговицы на одежде алмазные и рубиновые. В левой руке он держит тонкую палочку слоновой кости с лиловым бантиком. Белый агнец выглядывает из его жилетного кармашка)*.*

(Продолжение следует)

Комментарии

XV. Цирцея

«Цирцея» — самый длинный эпизод романа. Действие здесь постоянно происходит на двух уровнях: реальном (в полночь, в квартале публичных домов Дублина, печально известном злачном месте ирландской столицы) и фантасмагорическом, в сознании, а чаще — подсознании героев. Видения, фантазии, сны, галлюцинации, ночные кошмары, греховные помыслы, нереализованные намерения, надежды, воспоминания — все это в эпизоде обретает физическую плоть. Такого рода психическую травестию, материализовавшуюся фантасмагорию современный зритель хорошо знает по фильмам Ингмара Бергмана и Андрея Тарковского. В «Цирцее» все обретает душу и плоть — ими наделяются даже предметы (веер, мыло, картофелина и т. д.). Здесь преобладают сексуальные мотивы. И не потому, что к этому обязывает место действия — дублинский бордель, но главным образом из-за психологического состояния Блума, тяготящегося собственной мужской несостоятельностью, изменами Молли. В описании сексуального опыта героев, безусловно, проявилось и религиозное отношении к сексу самого Джойса, в сознании которого секс всегда соединялся с чувством вины.



«Ночной город».

«Цирцея» и самый динамичный эпизод «Улисса». Здесь все находится в беспрерывном, хаотичном, нервном, беспорядочном движении. Искусство эпизода — магия. Техника — галлюцинация. В орбиту магии «Цирцеи» попадают искусство, политика, религия, наука. Все в истерике движения доведено властью и мыслью автора, который, по

сути дела, и является настоящим героем эпизода, до идиотизма. Мертвые восстают из гробов, бордель превращается в зал суда, в храм, где совершается черная месса. Однако все эти бесчисленные шизофренические метаморфозы не случайны, они имеют стройную внутреннюю логику, а вместе с ней и драматический смысл. «Из ничего не выйдет ничего» — а потому все трансформации в «Цирцее» самоценны. За ними интересно следить, как скажем, за развитием детективного сюжета, который может дать пищу уму, но не сердцу. Почти все персонажи, центральные и второстепенные, о которых шла речь в предыдущих эпизодах книги, возникают в «Цирцее». Наряду с ними здесь в фантасмагории сознания «действуют» и те литературные и политические персонажи, которым отведена наиболее важная роль в романе,— Шекспир, Теннисон, король Эдуард VII, ирландские революционеры, в первую очередь Парнелл и его сторонники. Это не только серьезный, но и смешной эпизод. Надо сказать, что, работая над ним, Джойс, как вспоминает его жена Нора, немало смеялся. На ее вопрос, над чем же он смеется, Джойс ответил: «Мне весело всем этим владеть». Джойс очень долго работал над «Цирцеей», переписывал эпизод в общей сложности девять раз. Скупой на похвалы и другим и себе, завершив «Цирцею», он заметил: «Что ж, это лучше, что я написал».

Гомеровская параллель — превращение спутников Одиссея в свиней по воле волшебницы Цирцеи. Человеческий облик сохраняет только Одиссей; в этом ему помогает волшебное растение, подаренное Гермесом Гермес появляется и в конце джойсовской «Цирцеи». Это умерший сын Блума Руди, любовь к которому и есть то волшебное растение, что хранит Блума в этой жизни.

Литературные источники эпизода — это «Фауст» Гёте, в первую очередь «Вальпургиева ночь», и «Искушение святого Антония» Флобера. Особенно много сходного в «Цирцее» с произведением Флобера. Дело не только в прямых и скрытых цитатах. Схожи сюжетные ходы в галлюцинациях героев: например, в видениях святого Антония часто появляется царица Савская. Ею в «Цирцее» становится Молли.

Особенно важна концовка эпизода — появление Руди. Здесь бессмысленное движение кончается. Воцаряются тишина, покой, магия теряет свое очарование, духовная реальность вступает в свои права.

Гондолы лебединое увенчанье... в луче маяка — «гондола», «лодка наслаждения» и маяк на острове Фарос — образы, часто возникающие в видениях св. Антония в «Искушении святого Антония» Флобера.

...тем даром языков...—имеется в виду проповеднический дар, который получили апостолы на пятидесятый день после воскресения Христа (день святой Троицы). Ср. Деяния святых Апостолов, 2, 1—4.

Даже премудрый Стагирит... прелестница зацапала, взнуздала и оседлала — Стивен вспоминает гравюру Ханса Балдунга (1484—1545), в творчестве которого были весьма сильны антифеминистские настроения. У Балдунга даже мудрого Аристотеля (Стагирита) способна погубить женщина.

...ломоть и кувшин хлеба или вина у Омара — ассоциация у Стивена двойная: с одной стороны, таинство евхаристии, с другой — он вспоминает строчку из «Рубайат» Омара Хайяма.

Знак зверя — имеется в виду зверь с семью головами и десятью рогами, которому дьявол дал «силу свою и престол свой и великую власть» (ср. Откровение святого Иоанна Богослова, 13).

Смыть свои грехи мира — ср. Евангелие от Иоанна, 1, 29: «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет *на Себя* грех мира...»

В диске солнцемыла... — пародия на заключительный абзац «Искушения святого Антония», где описывается диск солнца, в котором сияет лик Христа.

Забилось ли сильней твое сердце? — ария из оперы Моцарта «Дон Жуан».

Приют Марии Магдалины, спасение падших женщин — в Дублине начала века было два приюта для падших женщин, названных в честь Марии Магдалины.

Вашингтон Ирвинг Бишоп (1847—1889) — американский телепат, пользовался огромным успехом у публики в начале восьмидесятых годов, особенно в Англии.

Череп и кости — символ, ассоциирующийся с масонами.

...индийское заклинание — подразумевается гипнотическая власть над животными.

Лионская почта — название популярной французской пьесы, переведенной на английский язык писателем Чарльзом Ридом (1814—1884). Сюжет пьесы основан на реальном событии: в 1796 г. французу Жозефу

Андреас Жадковски. Творение. 1985.

Андреас Жадковски. Творчество. 1985.

Лезюрку было предъявлено обвинение в умышленном задерживании лионской почты. Однако выяснилось, что на самом деле виновным был некий Дюбоск, внешне поразительно похожий на Лезюрка. Дюбоск был опознан, осужден и гильотинирован.

Невнятно бормочет пропуск ефремлян. Вшиволет — в Книге Судей Израилевых рассказывается о том, как жители Галаадские узнавали побежденных ефремлян, заставляя их произносить слово «шибболет» («...а он говорил: „сибболет" и не мог иначе выговорить» — Книга Судей Израилевых, 12, 6).

Роркс-Дрифт — место кровопролитного сражения англичан и зулусов в 1879 г. Победу одержали англичане.

Беззаботная война — имеется в виду англо-бурская война (1899—1902). Генерал Гоф, статуя которого упоминается как стоящая в Феникс-парке,—военачальник, отличившийся в наполеоновских войнах, а также в войнах в Китае (1841—1842) и в Индии (1843—1849). В англо-бурской войне участвовал Хьюберт де ла Поуэр Гоф (1870—1963).

Блумфонтейн — место сражения во время англо-бурской войны. Буры долго держали город, но 13 марта 1900 г. были вынуждены сдаться под натиском англичан, руководимых лордом Фредериком Робертсом.

Спайон-Коп — гора, в окрестностях которой 24 января 1900 г. происходило одно из решающих сражений англо-бурской войны.

Джим Бладсо — герой баллады американского поэта Джона Хэя (1838—1905). В балладе рассказывается о героической смерти Джимми, который в жизни был «совсем не святым», но мужественно вел свою лодку, борясь с охватившим ее пожаром.

Реймсская сорока — в одной из легенд Ричарда Харриса Барема (1788—1845) рассказывается, как сорока украла перстень кардинала, призналась в содеянном и получила прозвище «драгоценной сороки». «Реймсская сорока» также метафора, относящаяся к болтливому и не слишком умному человеку.

«Цикада» — комедия Анри Мельяка и Людовика Галеви, которая шла на английской и ирландской сценах в адаптации американца Джона Делафилда.

Торнли Стокер (1845—1912) — известный дублинский врач.

Венера в мехах — роман австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха (1836—1895). Героиня Ванда (она и есть северная Венера в мехах) влюблена в жестокого Северина, который иногда переодевается лакеем.

«Безликий» — стихотворение ирландского поэта Джеймса Кларенса Мэнгена.

Зоя Хиггинс — Зоя по-гречески — «жизнь». Хиггинс — девичья фамилия матери Блума.

Сэр Уолтер Рэли привез нам из Нового Света эти клубни... — трудно с уверенностью сказать, кто привез в Англию из Америки картофель и табак. Долгое время историки считали, что это сделал Уолтер Рэли (1552—1618).

Тимоти Хэррингтон (1851—1910) — ирландский политический деятель, был близок к Парнеллу.

Кол Нидре — молитва, которая читается или поется в синагоге накануне праздника йом-кипур, дня искупления.

Кардинал Майкл Лог (1840—1924) был ярым противником Парнелла, как и *архиепископ Армаский Уильям Александер (1887—1924).*

Жезл святого Эдуарда — символ справедливости монарха, его верности закону. Такой жезл был у Эдуарда Исповедника, короля Англии в 1042—1066. Эдуарду также принадлежал меч, который называется мечом милосердия и который несут перед монархом во время церемонии коронации.

Кохинор — один из самых больших бриллиантов, которым была украшена корона английских монархов в 1894 г. после покорения Пенджаба.

Ледисмит — город, вблизи которого 28 февраля 1900 г. произошло одно из решающих сражений англо-бурской войны.

Развернувшись с левого фланга, наша легкая кавалерия... — скрытая цитата из широко известного стихотворения Теннисона «Атака легкой кавалерийской бригады» (1854), в котором воспевается героизм английских войск во время Крымской войны. Надо заметить, что в данном отрывке «перепутано» несколько исторических событий, связанных друг с другом только проявленным в них фанатизмом и шовинизмом.

Милостыня Великого Четверга — в Страстной Четверг от имени английского короля беднякам раздавали милостыню в память о древнем обычае — мыть ноги бедным в этот день, как когда-то Христос омыл перед распятием ноги своим ученикам в знак любви к ним и смирения — ср. Евангелие от Иоанна, 13, 5.

Мой более чем Брат! — см. Теннисон, «In Memoriam» (1850).

Мистер Фокс — в своей тайной переписке с миссис О'Ши Парнелл иногда подписывался «Мистер Фокс».

...невинен я как снег, не тронутый лучами солнца! — ср. Шекспир, «Цимбелин», акт II, сц. 5.

То клевета, ужаснее змеи...—ср. Шекспир, «Цимбелин», акт III, сц. 4.

Вот родословие Леопольда — ср. Евангелие от Матфея, 1, 1—2: «Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова...»

Мейер Гугенхейм (1828 — 1906) — глава процветающей еврейской семьи в Филадельфии, известной тем, что из нее вышло немало финансистов.

Морис Ле Гирш (1831—1896) — австрийский финансист, известный своей филантропической деятельностью, активный борец с антисемитизмом.

Смердоз — брат короля Персии Камбиса, которого казнили по велению монарха в 523 г. до н. э.

Ихаводоносор — видимо, контаминация древнееврейского слова «ихавод» («бесславие»—ср. Первая книга Царств, 4, 21) и имени вавилонского царя Навуходоносора, который завоевал Иерусалим (Четвертая книга Царств, 24—25).

Сомбатхели — город в Венгрии вблизи австрийской границы, где родился отец Блума.

Рука мертвеца — ср. Книга пророка Даниила, 5, 24—26. Во время пира Валтасара таинственная рука начертала на стене слова пророчества: «... мене, мене, текел, упарсин». Слово «мене» значит: «...исчислил Бог царство твое и положил конец ему...»

Велиал (древнеевр.) — недостойный; ср. Второе послание к Коринфянам, 6, 15: «Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?»

Лемляйн из Истрии — в 1502 г. в Истрии, неподалеку от Триеста, появился некий Лемляйн, лжепророк, который называл себя мессией. Таким же лжемессией был и Абалафия (1240—1291?), еврей из Сарагоссы, который даже совершил путешествие в Рим к папе Николаю II, пытаясь убедить его в своей «подлинности».

Злой пастырь — ср. Евангелие от Иоанна, 10, 14, где Христос — «пастырь добрый».

Винцент О'Брайен (?—1902) — ирландский композитор, дирижер, популяризатор церковной музыки.

Блум... в старой шляпчонке, за ленту которой заткнута глиняная трубочка...— костюм Блума — типичный наряд этакого ирландца-молодца, разухабистого парня, которому море по колено. Именно против такого изображения ирландцев возражали представители Ирландского Возрождения и Джойс.

Чудище с зелеными глазами — см. Шекспир «Отелло», акт III, сц. 3.

Праведник упадет семь раз — ср. Книга Притчей Соломоновых, 24, 16: «Ибо семь раз упадет праведник, и встанет...»

Бенедетто Марчелло (1686—1739) — итальянский композитор, особую известность ему принесли пятьдесят псалмов на библейские тексты.

«Град Священный» (1892) — гимн Стивена Адамса на стихи английского поэта Фредерика Уизерли (1848—1929).

Морской змей в Королевском канале — речь идет о чудовище озера Лох-Несс в Шотландии и попутно — конечно, ассоциативно — о сатане.

Время, времена и полвремени — ср. Откровение святого Иоанна Богослова, 12, 13—14.

...тело его единственного сына... — в Книгах пророков Иеремии и Амоса предсказано, что гнев Господень падет на людей и они будут терять даже единственных сыновей (ср., например, Книга пророка Иеремии, 6, 26).

Панч Костелло — комическая фигура, герой еженедельника, который издавался в Дублине в конце 80-х гг. XIX в. Костелло был главой семейства, у него была забавная внешность, он любил выпить, погулять с девочками.

По бесконечному невидимому канату...— здесь комически обыгрывается предсказание конца света из поэмы Блейка «Мильтон».

Мэнская Тренога — геральдический знак острова Мэн, а также знак бога моря Мананауна Мак-Лира.

Будь на стороне ангелов — эта фраза принадлежит Бенджамину Дизраэли, который в 1859 г. решительно выступил против теории эволюции Дарвина.

Гаутама — т. е. Будда.

Роберт Ингерсолл (1833—1899) — американский политический деятель, адвокат, оратор.

Монморанси — одна из наиболее древних ирландских семей.

Бульджон — ср. Джон Буль, т. е. Англия.

Барнум — возможна ассоциация с именем Финеаса Тейлора Барнума (1810—1891) — американского импресарио, чей цирк часто совершал турне по Европе.

Джон Эглинтон «превращается» здесь в Диогена, на что указывает тусклый фонарь, который он держит в руке.

В *Мананауна Мак-Лира* здесь превращен Джордж Рассел.

Аум! Баум! Пижаум! — в сочинении «Свет видения» (1918) Джордж Рассел утверждал, что корни слов имеют мистическое значение.

Липоти Вират — дед Блума.

Руальдус Колумбус (1516—1559) — итальянский анатом.

Argumentum ad feminam — ср. с принципом в логике: Argumentum ad hominem.

Элефантулиазис — Блум неправильно произносит имя греческого писателя Элефантиса, который, по некоторым предположениям, был женщиной. Эротические поэмы Элефантиса, как указывает Плиний Старший, очень ценил император Тиберий.

Я наполнил чрево рожцами...— ср. Евангелие от Луки, 15, 16: «...и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи...»

«Священник, женщина и исповедальня» — книга Шарля Паскаля Телесфора Чиники. Книга выдержала к 1883 г. двадцать четыре издания. Автор доказывал, что исповедь по сути своей нравственно порочна.

Флибертиджиббет — в «Короле Лире» Эдгар во время бури не узнает своего отца Глостера и принимает его за исчадие ада

Флибертиджиббета — см. Шекспир, «Король Лир», акт III, сц. 4.

Иуда Иакх — во II в. секта гностиков-еретиков создала «Евангелие от Иуды», в котором Иуда был героем, а Иисус — негодяем. Иакх (т. е. Бахус) отождествлялся с Иудой. Эти персонажи упоминаются Флобером в «Искушении святого Антония».

Пантер, римский центурион... — римский историк II в. Целсий полагает, что отцом Иисуса Христа был римский солдат по имени Пантер. Эту историю упоминает и Флобер в «Искушении святого Антония».

Он ей порвал барабанную перепонку — в средневековой схоластической традиции считалось, что зачатие у Девы Марии Словом произошло через ухо.

Тот пастор-задира, что основал протестантскую ересь... — имеется в виду Мартин Лютер (1483—1546).

Антисфен и его последователи назывались «киниками» или «циниками» («киник» по-гречески — собачий).

Свенгали — персонаж романа Джорджа Дюморье (1834—1896) «Трильби» (1894). Свенгали обладал даром гипноза и сумел превратить Трильби в талантливую певицу. После смерти Свенгали Трильби потеряла голос.

Минни Хок (1852—1929) — американская певица. Особенную популярность во время европейских гастролей ей принесло исполнение партии Кармен в опере Бизе.

...поминая царя Давида с сунамитянкой... — речь идет о «красивой девице Ависаге Сунамитянке», которую слуги нашли для престарелого царя Давида; «но царь не познал ее» (ср. Третья книга Царств, 1, 1—4).

Клайд-роуд — улица в фешенебельной части Дублина.

...в позе образцового мастера — намек на одну из поз, которую по ритуалу принимают масоны.

Нубийский раб — т. е. абсолютно бесправный человек. Рабство в Нубии существовало с XIV по XX в.

Китинг Клей — видный дублинский адвокат.

Приз Эклипса — имеются в виду скачки, которые происходили именно 16 июня 1904 г. на острове Райт.

...для Алисы — упоминание Алисы, героини «Алисы в стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла, не случайно в этом эпизоде, где столь много метаморфоз.

«Наоборот» (1882) — пьеса Томаса Гатри (1856—1934), в которой описываются отношения отца и сына.

Осел Дорена — название популярной ирландской баллады, в которой рассказывается о том, как пьяный Падди Дойл принял осла за свою возлюбленную.

Черная Церковь — имеется в виду церковь Девы Марии, сложенная из черного камня (неподалеку от дома Блума на Экклстрит. Существовало поверие, что, если обойти церковь трижды, в ней можно встретить Дьявола.

...на... каблуках а ля Луи-Кэнз—во время правления Людовика XV (прав. 1715—1774) в моду вошли высокие каблуки. Сам Людовик XV носил очень высокие каблуки, о чем постоянно говорили во Франции.

М. Шуломовиц, Джозеф Голдуотер, Моше Герцог... — речь идет о соседях Блума.

...юные Доналд Тернболл, Абрахам Чаттертон... — товарищи Блума по школе.

...добрая матушка Альфонс — несколько раньше в течение дня, когда Блум задумывается над значением псевдонима Джорджа Рассела «АЭ», он предполагает, что «А» расшифровывается как «альфонс».

Люцифер — так в Дублине в конце XIX в. называлась фирма, производящая спички.

Шестнадцать лет назад — Стивен вспоминает, как шестнадцать лет назад, будучи учеником в школе Клонгоуз, он разбил очки. Этот эпизод описан в гл. I романа «Портрет художника в юности».

Сфинкс — намек на стихотворение Оскара Уайльда (1894).

Агнец из Лондона, который берет на себя грех мира — ср. Евангелие от Иоанна, 1, 29.

Отец Долан — Стивен снова вспоминает Клонгоуз, где он был несправедливо наказан отцом Доланом и пожаловался ректору Джону Конми.

Четверговое дитя — в одной детской песенке рассказывается о судьбе детей, родившихся в разные дни недели. В частности, ребенок, родившийся в четверг, должен преуспеть в жизни.

Зеркало перед природой — ср. Шекспир, «Гамлет», акт III, сц. 2.

Так пустоту ума смех громкий выдает — ср. Оливер Голдсмит, «Покинутая деревня» (1770).

Даже великий Наполеон, когда с него снимали мерки вплотную к телу после его смерти... — после смерти Наполеона тело его было внимательно изучено французскими и английскими медиками. Французские специалисты пришли к выводу, что смерть наступила вследствие неподходящего климата на о. Св. Елены и угнетенного психического состояния. Английские врачи констатировали, что умерший был практически здоров. Однако английские власти, чтобы как-то опорочить скончавшегося монарха, настояли на тщательном измерении тела Наполеона, в результате которого пришли к выводу, что у него были слишком «женские» размеры различных частей тела.

Вспомните Пасифаю... — Пасифая влюбилась в быка. Это была месть Посейдона за то, что Минос спрятал быка, который предназначался в жертву Посейдону, и заменил его на другого, менее породного.

...свиносальных отпрысков рода Лэмбертов — в течение нескольких поколений в семействе Лэмбертов рождались дети, густо покрытые шерстью.

Катти Ланнер (1831—1915) — австрийская танцовщица, балетмейстер, педагог; дочь композитора Йозефа Ланнера (1801—1843). С 1875 г. работала в Лондоне.

Не буду служить! — фраза, которая по традиции приписывается Сатане в момент его падения (ср. Книга пророка Иеремии, 2, 20). Это же отречение повторяет Стивен в «Портрете художника в юности», когда принимает решение оставить католическую церковь.

Нотунг — магический меч в опере Вагнера «Кольцо Нибелунга».

Как сказал доктор Свифт, один человек в доспехах побьет десятерых в рубашках —

ср. «Письмо ирландскому народу» (1724) из серии памфлетов «Письма суконщика».

...царь и английский король... — подразумеваются миротворческие встречи русского царя Николая II и английского короля Эдуарда VII.

...убить священника и короля — в поэзии Блейка священник и король наиболее часто предстают как символы насилия.

Джеймс Скиннер (1778—1841)—английский главнокомандующий, особенно отличившийся в Индии. Генерал *Дейтон Пробин (1833—1924)* также воевал в Индии; его уланы получили прозвище «лошадей Пробина».

...облачение... великого мастера Великой Ложи...— Эдуард VII поддерживал связи с масонами и после вступления на престол.

Мир, истинный мир — название очень популярного гимна английского поэта и епископа Эдварда Генри Бикерстета (1825—1906).

Короли и единороги! — лев и единорог — геральдические животные английского королевского герба.

Дон Эмиль Патрицио Франц Руперт Поуп Хеннесси — здесь соединилось несколько фамилий семейств ирландских «диких гусей». С другой стороны, Джон Поуп Хеннесси (1834—1891) был ирландским политическим деятелем весьма консервативного толка, католиком, противником Парнелла.

Спешит грабеж, ускоряет добыча — у масонов эти слова означают постоянную готовность к действию.

И крики шлюх глухой порой... — ср. Блейк, «Изречения невинности» (ок. 1803). Стивен заменяет блейковскую «Британию» на Ирландию.

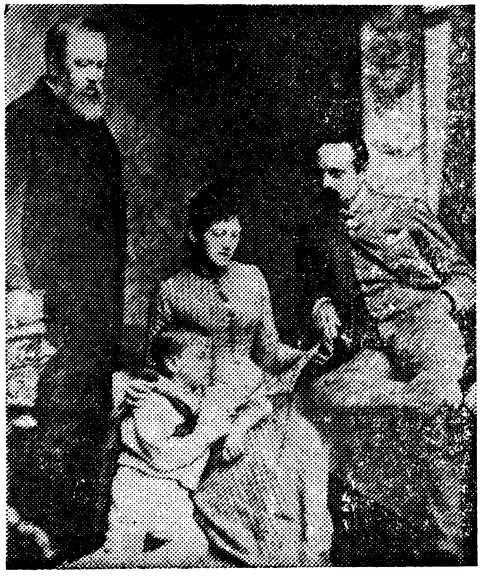
Взметаются языки серного пламени...— в этом отрывке соединилось и переплелось несколько видений: конца света, дублинского восстания 1916 г., черной мессы.

Майкл Дэвитт (1846—1906) — ирландский патриот и политический деятель, один из создателей Земельной лиги (1879), борец за гомруль, сторонник Парнелла.

Джастин Маккарти с Парнеллом — ирландский писатель и политический деятель Джастин Маккарти (1830—1912) вел весьма активную агитацию против Парнелла.

Джон Редмонд (1856—1918) — ирландский политик, сторонник Парнелла, сохранявший верность вождю даже после того, как партия Парнелла раскололась.

Джон О'Лири (1830—1907) начал свою карьеру как радикал, был издателем газеты фениев «Айриш пипл». Был выслан из страны в 1871 г. и получил разрешение вернуться лишь в 1885 г. Занялся литературной деятельностью. Йейтс называл О'Лири «последним ирландским романтиком».



Семья Джойсов. Фотография 1887 г.

Св. Варвара считается покровительницей солдат.

...потир покоится на ее вздутом чреве — черная месса совершается на обнаженном женском теле.

Сей пир чистого разума — ср. Александр Поп, «Первая сатира на вторую книгу подражаний Горацию» (1733).

В 8.35 утра ты будешь на небе...—иронический намек: по сложившейся традиции экскурсии в Англии начинаются в 8 часов утра.

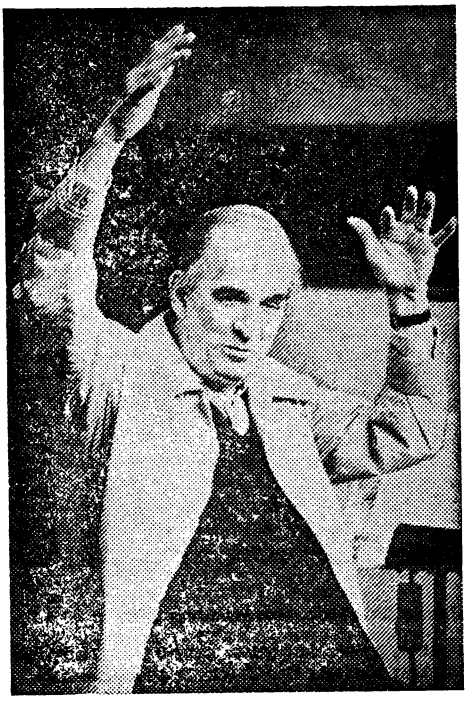
Кто... с Фергусом... помчит...— ср. У. Б. Йейтс, «Кто вслед за Фергусом». Строки этого стихотворения постоянно вспоминает Стивен.

...клянусь свято чтить и всегда хранить и никогда не раскрывать...— подражание клятве, которую произносят при вступлении в масонскую ложу.

Руди... В левой руке он держит тонкую палочку слоновой кости... Белый агнец...— по своим символическим атрибутам (агнец, палочка слоновой кости) Руди — Гермес, посланец, принесший единственно важную весть в этом эпизоде, хранитель того «самого важного слова» в жизни, которое так жаждет узнать Стивен.

Е. ГЕНИЕВА

◆



Публицистика

ИНГМАР БЕРГМАН

LATERNA MAGICA

Перевод со шведского
А. А. АФИНОГЕНОВОЙ

К моменту моего появления на свет в июле 1918 года мать болела «испанкой», я был очень плох и потому меня вынуждены были крестить прямо в больнице. Наш старый домашний врач, зайдя как-то навестить семью, осмотрел новорожденного и заявил, что младенец может погибнуть от истощения. И тогда бабушка (со стороны матери) забрала меня с собой на дачу в Даларна. В поездке — а в то время такое путешествие занимало целый день — бабушка кормила меня бисквитом, размоченным в воде. Когда мы добрались до места, я едва дышал. Бабушка все-таки не теряла надежды и нашла кормилицу — славную светловолосую женщину из соседней деревни, я начал прибавлять в весе, но при этом постоянно мучился болями в животе и рвотой.

Кроме того, меня то и дело настигали какие-то непостижимые болезни, и я никак не мог решить, стоит ли мне продолжать жить. Где-то в глубине сознания живет память о моем тогдашнем состоянии: вонь от выделений тела, влажная, натирающая кожу одежда, мягкий свет ночника, приоткрытая дверь в соседнюю комнату, тяжелое дыхание няньки, крадущиеся шаги шепчущие голоса, солнечные зайчики на графине с водой. Все это я помню. Не помню лишь чувства страха. Оно появилось позднее.

Окна столовой выходили на темный задний двор, обнесенный высокой кирпичной стеной. Там — уборная, мусорные баки, стойка для выбивания ковров, жирные крысы. Я сижу на чьих-то коленях, меня кормят молочной смесью. На серой клеенке с красным кантом стоит эмалированная миска — голубые цветочки на белом фоне,— в которой отражается скупой свет из окна. Я наклоняюсь в разные стороны, пробую различные углы зрения. С каждым поворотом головы отражения в миске меняются и образуют новый рисунок. И вдруг начинается рвота.

Это, по всей видимости, мое самое раннее воспоминание — мы жили тогда в угловом доме на перекрестке улиц Шеппаргатан и Стургатан, на втором этаже.

Осенью 1920 года мы переехали на Вилагатан, 22, в районе Эстермальма [1]. Квартира пахнет свежей краской и натертым паркетом. В детской пол покрыт ярко-желтым линолеумом, на окнах светлые опускающиеся шторы, на которых нарисованы рыцарские замки и полевые цветы. У матери мягкие, нежные руки, она никуда не спешит, часто рассказывает сказки. Отец, както раз вставая утром с кровати, опрокидывает ночной горшок и кричит: «Поцелуй меня в задницу!» В кухне, напевая, хозяйничают две девушки из Даларна. По другую сторону лестничной площадки живет моя однолетка по имени Типпан. Она горазда на выдумки и предприимчива. Мы с ней сравниваем строение наших тел и обнаруживаем интересные различия. Кто-то застает нас за этим занятием, но ничего не говорит.

Появляется на свет моя сестра, мне четыре года, и положение радикально меняется: главную роль вдруг начинает играть эта жирная уродина. Меня изгоняют из материнской постели, отец сияет от радости,

© 1987 Ingmar Bergman

[1] Эстермальм — аристократический район Стокгольма. *(Здесь и далее прим. перев.)*

склоняясь над орущим [illegible]. Демон ревности рвет когтями мое сердце. я неистовствую, рыдаю, [illegible] пол и вымазываюсь с ног до [illegible]. я и мой старший брат, с которым мы [illegible] смертельно враждовали, заключаем мир и придумываем разные способы [illegible] эту отвратительную тварь. Брат почему-то считает меня наиболее подходящей кандидатурой для выполнения нашего плана. Я чувствую себя польщенным, и мы ждем подходящего случая.

Однажды тихим солнечным днем, полагая, что в квартире никого нет, я прокрадываю в родительскую спальню, где в розовой корзине спит это существо. Подвигаю стул, взбираюсь на него и смотрю на раскормленное лицо и слюнявый рот. От брата я получил четкие инструкции по поводу того, что мне нужно делать, и интуитивно их понял. Вместо того чтобы сжать шею сестры, я давлю ей на грудь. Она тут же просыпается с пронзительным криком, я зажимаю ей рот рукой, она таращит свои водянистые голубые глаза, ее крик. я делаю шаг вперед, чтобы было удобнее схватить ее, теряю опору и падаю на пол.

Помню, действие это сопровождалось острым наслаждением, которое почти мгновенно сменилось ужасом.

Я склоняюсь над фотографией моего детства, рассматриваю в лупу лицо матери и пытаюсь пробиться сквозь утраченные чувства. Конечно, я любил ее. она весьма привлекательна на этой фотографии: пушистые волосы с пробором посередине над высоким, широким лбом, нежный овал лица, приветливо изогнутые чувственные губы, теплый открытый взгляд из-под темных красивой формы бровей, маленькие сильные руки.

Мое четырехлетнее сердце сгорало от собачьей любви.

Но наши отношения были вовсе не так просты — моя преданность досаждала ей, вызывала раздражение, а проявления нежности с моей стороны и бурные вспышки беспокоили ее. Она нередко отсылала меня прочь холодным ироничным тоном. Я рыдал от бешенства и разочарования. Отношение матери к брату было гораздо проще, поскольку ей все время приходилось защищать его от отца, воспитательный метод которого отличался суровой твердостью и включал в себя жестокие телесные наказания в качестве непременного аргумента.

Со временем я понял, что мое то сентиментальное, то неистовое обожание не оказывает должного действия. И с ранних лет начал искать ту манеру поведения, которая могла бы понравиться матери, привлечь ее внимание. Заболевший немедленно вызывал ее участие. А так как я был болезненным ребенком, страдавшим всевозможными недугами, болезнь стала хотя и неприятным, но зато надежным способом пробудить у нее нежность. Симуляцию же мать распознавала сразу (она была дипломированной медсестрой) и наказывала за нее на совесть.

Другой способ обратить на себя ее внимание был опаснее. Обнаружив, что мать не выносила равнодушия и безразличия — ведь это было ее собственное оружие,— я научился обуздывать свою страсть и повел удивительную игру, главными элементами которой были высокомерие и холодная приветливость. Что уж я там вытворял, не помню, но любовь делает человека изобретательным, и вскоре мне удалось пробудить интерес к моему кровоточащему чувству собственного достоинства.

Проблема заключалась лишь в том, что я так и не получил возможности раскрыть карты, сбросить маску и испытать сладость ответной любви.

Много лет спустя, когда мать лежала в больнице со вторым инфарктом и с трубкой в носу, мы заговорили с ней о нашей жизни. Я рассказал ей о своей детской страсти, и мать призналась, что ее это очень мучило, но вовсе не так, как полагал я. Оказывается, она поделилась своими тревогами со знаменитым детским врачом, и тот в самых серьезных выражениях высказал ей свои опасения (начало 20-х годов). Он посоветовал ей самым решительным образом отклонять мои, как он выразился, «болезненные заигрывания». Любая уступка может повредить мне на всю жизнь.

У меня сохранилось отчетливое воспоминание об одном визите к этому врачу. Поводом послужил мой отказ ходить в школу, несмотря на то, что мне уже исполнилось шесть лет. День за днем меня, орущего от страха, втаскивали или вносили в класс. Все окружавшие меня предметы вызывали у меня немедленно рвотный рефлекс, я падал в обмороки, появились нарушения вестибулярного аппарата. В конце концов я победил и посещение школы отодвинули на неопределенный срок, но визита к выдающемуся педиатру избежать не удалось.

У доктора была большая борода, высокий стоячий воротник, и от него пахло сигарами. Он стянул с меня штаны, взял одной рукой мой крошечный член, а указательным пальцем другой очертил в паху треугольник и сказал матери, сидевшей наискосок позади меня в отороченном мехом пальто и темно-зеленой бархатной шляпке с вуалью: «В этом отношении ваш сын еще ребенок».

Когда мы вернулись домой после визита к врачу, на меня надели бледно-желтый передник с красной каймой и вышитой кошкой и дали горячий шоколад и бутерброд с сыром, после чего я отправился в отвоеванную детскую — брат болел скарлатиной и жил где-то в другом месте (я, разумеется, надеялся, что он умрет — в то время скарлатина была опасной болезнью). Из шкафа с игрушками я вытащил деревянную тележку с красными колесами и желтыми спицами и запряг в оглобли деревянную лошадь. Угроза посещения школы поблекла, уступив место сладостным воспоминаниям о достигнутом успехе.

Как-то ветреным зимним днем 1965 года в театр позвонила мать и сказала, что отца положили в больницу на операцию по поводу злокачественной опухоли пищевода. Она хотела, чтобы я навестил его. Я ответил, что у меня на это нет ни желания, ни времени, говорить нам с отцом не о чем, он для меня чужой человек и, если я навещу его, лежащего, по всей видимости,

на смертном одре, он будет лишь напуган и смущен. Мать разозлилась и начала настаивать. Я, тоже возмущенно, попросил ее перестать играть на моих чувствах. Вечно одно и то же: ну сделай это ради меня. Мать пришла в бешенство и начала рыдать, а я, сказав, что слезы никогда на меня не действовали, бросил трубку.

В тот вечер я дежурил в театре — проверял сцены, беседовал с артистами, проводил в зал зрителей, опоздавших из-за чудовищного снежного бурана. Но большую часть времени сидел в своем кабинете и работал над мизансценами к «Дознанию» Петера Вайса.

Зазвонил телефон, и телефонистка сообщила мне, что внизу стоит фру Бергман и требует свидания с директором театра. Поскольку я знал нескольких фру Бергман, я ворчливо спросил, какая еще, черт возьми, фру Бергман? Телефонистка немного испуганно ответила, что это моя мать и она желает поговорить со своим сыном — немедленно.

Я спустился вниз и привел мать в кабинет — буран не помешал ей явиться в театр. Она тяжело дышала — от напряжения, больного сердца и гнева. Я предложил ей сесть и спросил, не хочет ли она выпить чашку чаю. Нет, садиться она и не подумает и чай пить не намерена. Она пришла, чтобы еще раз услышать от меня те оскорбительные, бессердечные и грубые слова, которые я сказал ей по телефону днем. Она желает посмотреть на выражение моего лица, когда я буду отрекаться от своих родителей и оскорблять их.

На ковре вокруг маленькой, одетой в шубу фигурки образовались темные пятна от таявшего снега. Она была очень бледна, глаза потемнели от гнева, нос покраснел.

Я сделал попытку обнять и поцеловать ее, но она оттолкнула меня и дала пощечину. (Мать умела давать пощечины с непревзойденным мастерством. Удар был молниеносный, левой рукой, и два массивных обручальных кольца оставляли потом довольно болезненное напоминание о наказании.) Я засмеялся, а мать судорожно зарыдала. Она опустилась — весьма ловко — на стул, стоявший у большого стола, и, закрыв лицо правой рукой, принялась левой искать в сумке носовой платок.

Сев рядом, я начал уверять ее, что, конечно же, обязательно проведаю отца, что раскаиваюсь в своих прежних словах и прошу ее от всего сердца простить меня.

Она пылко обняла меня и заявила, что ни минутой больше не будет меня задерживать.

После этого мы пили чай и мирно беседовали до двух часов ночи.

То, о чем я только что поведал, произошло во вторник, а в воскресенье утром мне позвонил один знакомый нашей семьи, который жил у матери, пока отец лежал в больнице, и попросил немедленно приехать — матери стало плохо. Мамин врач, профессор Нанна Шварц, уже в пути, в настоящий момент приступ прошел. Я поспешил на Стургатан, 7. Дверь открыла профессор и сообщила, что мать умерла всего несколько минут назад.

К собственному удивлению, я не смог сдержаться и безудержно разрыдался. Но слезы скоро высохли, старая докторша молча держала меня за руку. Когда я успокоился, она рассказала, что агония продолжалась недолго — двумя приступами по двадцать минут.

Спустя некоторое время я остался наедине с матерью в ее тихой квартире.

Мать лежала на кровати, одетая в белую фланелевую ночную сорочку и вязаную голубую ночную кофту. Голова чуть повернута, рот приоткрыт. Темные круги вокруг глаз подчеркивали бледность лица, все еще черные волосы аккуратно расчесаны — впрочем, нет, волосы уже не были черными, они были серо-стального цвета, и последние годы она носила короткую стрижку, но в памяти ее волосы оставались попрежнему черными, возможно, прореженные седыми прядками. Руки сложены на груди. На левом указательном пальце белела полоска пластыря.

Внезапно комнату залило ярким светом приближавшейся весны. На тумбочке в изголовье усердно тикал маленький будильник.

Мне казалось, что мать дышит, что грудь ее вздымается, что я слышу тихое дыхание, вижу, как подрагивают ее веки, мне казалось, будто она спит и вот-вот проснется. Моя вошедшая в привычку обманчивая игра с действительностью.

Я просидел там несколько часов. Колокола церкви Хедвиг Элеоноры прозвонили к мессе, перемещался по комнате свет, откуда-то слышались звуки рояля. Не думаю, чтобы я особенно горевал, по-моему, я вообще ни о чем не думал, я, кажется, даже не наблюдал за собой со стороны, не разыгрывал спектакль с собственной персоной в главной роли — профессиональная болезнь, немилосердно преследовавшая меня всю жизнь и зачастую нарушавшая цельность моих самых глубоких переживаний или вовсе лишавшая меня их.

Я мало что помню из часов, проведенных в комнате матери. Самое яркое воспоминание — полоска пластыря на ее левом указательном пальце.

В тот же вечер я навестил отца и сообщил ему о смерти матери. Он хорошо перенес операцию и справился с последовавшим за операцией воспалением легких. Сейчас, одетый в старый халат, он сидел в глубоком кресле в своей палате, благообразный, чисто выбритый, сжимая длинными костлявыми пальцами набалдашник палки. И не сводил с меня ясных, спокойных, широко раскрытых глаз. Когда я рассказал все, что знал, он только кивнул и попросил оставить его одного.

В основе нашего воспитания лежали такие понятия, как грех, признание, наказание, прощение и милосердие, конкретные факторы отношений детей и родителей между собой и с Богом. В этом была своя логика, которую мы принимали и, как мы полагали, понимали. Вполне возможно, именно это привело нас к робкому приятию нацизма. Мы никогда ничего не слышали о свободе и вовсе не представляли себе, что это такое. В иерархической системе все двери закрыты.

Таким образом, наказания были сами собой разумеющимися, их целесообразность никогда не подвергалась сомнению. Порой они бывали скорыми и незамысловатыми вроде оплеух или шлепков по заднице, но иногда принимали весьма изощренные, отточенные поколениями формы.

Если Эрнст Ингмар Бергман пи́сал в штаны — а такое случалось весьма часто,— ему приходилось остаток дня ходить в красной, до колен юбочке. Это считалось безобидным и потешным.

Прегрешения посерьезнее наказывались по всей строгости. Сперва выяснялось, в чем преступление. Потом преступник признавался в содеянном в низшей инстанции, то есть в присутствии гувернанток, матери или кого-нибудь из многочисленных безмолвных родственниц, в разное время живших в пасторском особняке.

За признанием немедленно следовал бойкот. С провинившимся никто не разговаривал, не отвечал на вопросы. Это должно было, как я понимаю, заставить виновного мечтать о наказании и прощении. После обеда и кофе стороны вызывались в кабинет к отцу. Там возобновлялись допросы и признания. После чего приносили прут для выбивания ковров, и преступник сам решал, сколько ударов он, по его мнению, заслужил. Определив меру наказания, доставали зеленую, туго набитую подушку, с виновного стягивали штаны, клали его животом вниз на подушку, кто-нибудь крепко держал его за шею, и приговор приводился в исполнение.

Не могу утверждать, что было очень больно, боль причиняли сам ритуал и унижение. Брату приходилось хуже. Не один раз мать, сидя у его кровати, клала примочки ему на спину, исполосованную до крови розгами. А я, ненавидя брата и боясь его внезапных вспышек бешенства, испытывал глубокое удовлетворение от того, что его подвергали такому жестокому наказанию.

Получив причитающиеся удары, следовало поцеловать отцу руку, затем произносились слова прощения, с души падал тяжкий камень греха, чувство освобождения и милосердия проникало в сердце, и хотя в тот день приходилось ложиться спать без ужина и вечернего чтения, облегчение было велико.

Существовало также и своего рода спонтанное наказание, весьма неприятное для ребенка, боявшегося темноты, а именно — длительное или кратковременное заключение в особую гардеробную. Кухарка Альма рассказывала, будто как раз в этой гардеробной обитало крошечное существо, обгрызавшее большие пальцы ног у злых детей. Я отчетливо слышал, как кто-то шевелится во мраке, ужас обуревал меня, не помню уж, что я предпринимал — наверное, пытался залезть на полки или уцепиться за крюки, лишь бы спасти пальцы ног. Но этот вид наказания перестал вселять в меня страх после того, как я нашел выход из положения: спрятал в углу карманный фонарик с красным и зеленым огоньками. Если меня запирали в гардеробную, я отыскивал фонарик, включал его, направлял лучик света на стенку и представлял себе, что сижу в кино. Однажды, отворив дверь гардеробной, меня обнаружили лежащим на полу с закрытыми глазами — я притворился, будто потерял сознание. Все перепугались, кроме матери, которая подозревала симуляцию, однако доказательств не было, и посему дальнейших репрессий не последовало.

Способы наказаний были разнообразные: запрещали ходить в кино, не давали есть, заставляли лежать в постели, запирали в комнате, таскали за волосы, ссылали на кухню (что порой бывало очень приятно), объявляли бойкот на какое-то время и так далее.

Теперь я понимаю отчаяние моих родителей. Пасторская семья живет как на ладони, не защищенная от посторонних взглядов. Двери дома открыты для всех. Прихожане беспрерывно критикуют и отпускают замечания. Будучи людьми, во всем стремившимися к совершенству, отец и мать, естественно, едва выдерживали такое непомерное давление. Их рабочий день был неограничен, супружеские отношения с трудом удерживались в надлежащих рамках, самодисциплина — железная. В обоих сыновьях проявлялись те черты характера, которые родители неутомимо подавляли в себе. Брат был не способен защитить ни себя, ни свой бунт. Отец направил всю свою силу воли, чтобы сломить его, и это ему почти удалось. Сестру родители любили бурно и властно. Она отвечала самоуничижением и робким трепетом.

Думаю, я понес наименьшие потери благодаря тому, что научился врать. Надел личину, не имевшую практически ничего общего с моим подлинным «я». Но не понимал, что следует четко разграничивать созданный мною образ и свою истинную сущность, и вредные последствия этого еще долго сказывались в моей взрослой жизни и на моем творчестве. Приходится утешаться мыслью, что тот, кто жил во лжи, любит правду.

Прекрасно помню свою первую сознательную ложь. Отец стал больничным пастором, мы переехали в желтый дом в конце большого парка, примыкавшего к лесу Лилль-Янс. Был холодный зимний день. Мы с братом и его приятелями кидали снежками в теплицу, расположенную на окраине парка. Было разбито не одно стекло. Садовник немедленно заподозрил нас, о чем и сообщил отцу. Последовал допрос. Брат признался, его приятели тоже. Я стоял в кухне и пил молоко. Альма на кухонном столе раскатывала тесто. Через заиндевелое окно я различал фронтон поврежденной теплицы. Вошла Сири и рассказала о происходящих экзекуциях. Она спросила, не принимал ли и я участие в этом вандализме — факт, который я отрицал на предварительном допросе (и был временно отпущен в связи с отсутствием доказательств). Когда же Сири шутливым тоном и словно мимоходом поинтересовалась, много ли стекол мне удалось разбить, я мгновенно увидел расставленную западню и спокойно ответил, что, мол, просто немного постоял и посмотрел, бросил пару снежков без определенной цели, попал в брата и ушел, потому что у меня замерзли ноги. Отчетливо помню мелькнувшую у меня тогда мысль: так вот, значит, что такое врать.

Это было важное открытие. Я решил — почти так же рассудительно, как мольеровский Дон Жуан,— стать Лицемером. Не собираюсь утверждать, будто мне всегда одинаково везло. Иногда из-за отсутствия опыта меня разоблачали, иногда вмешивались посторонние.

У нашей семьи была одна беспредельно богатая благодетельница, которую звали тетя Анна. Она устраивала детские праздники с фокусами и другими развлечениями, дарила очень дорогие и желанные подарки на Рождество и каждую весну водила нас на премьеру цирка Шуманна в Юргордене. Это событие приводило меня в лихорадочное возбуждение: поездка на автомобиле с одетым в ливрею шофером, огромное, ярко освещенное деревянное здание, таинственные запахи, широченная шляпа тети Анны, грохот оркестра, магия приготовлений, рев диких зверей за красным форгангом. Кто-то шепчет, будто видел льва в темном люке под куполом, бесноуются и наводят ужас клоуны; от всех переживаний я заснул и проснулся под звуки чудной музыки: на арене молодая женщина в белом одеянии гарцует на громадном вороном жеребце.

Я влюбился в юную наездницу. Выдумывал игры с ее участием, называл ее Эсмеральдой (возможно, ее и на самом деле так звали). В конце концов мои фантазии преступили роковую грань, отделявшую их от действительности, когда я поведал моему соседу по парте Ниссе (взяв с него клятву молчать) о том, что мои родители продали меня в цирк Шуманна, скоро я покину дом и школу и буду учиться на акробата вместе с Эсмеральдой, считавшейся первой красавицей в мире. На следующий день мой поэтический вымысел был предан гласности и осквернен.

Учительница сочла дело настолько серьезным, что написала возмущенное письмо матери. Началось ужасающее судебное разбирательство. Я был выставлен на посмешище, унижен, опозорен — и дома и в школе.

Пятьдесят лет спустя я спросил мать, помнит ли она историю с продажей меня в цирк. Она помнила ее очень хорошо. Тогда я спросил, почему никто не посмеялся, не умилился богатству фантазии и дерзости. Да и стоило бы задаться вопросом, почему семилетний мальчик хочет оставить родной дом, чтобы быть проданным в цирк. У родителей и так хватало забот с моим враньем и выдумками, сказала мать. Измучившись, она даже консультировалась с известным педиатром. Он подчеркнул, как важно ребенку вовремя научиться проводить грань между фантазией и действительностью. И теперь, столкнувшись с нахальной и очевидной ложью, следовало примерно наказать провинившегося.

Я же, решив отомстить своему бывшему другу, гонялся за ним по школьному двору с одолженной у брата финкой в руках и чуть не убил учительницу, бросившуюся нас разнимать.

Меня временно исключили из школы и хорошенько выпороли. Вероломный друг вскоре заболел полиомиелитом и умер, что доставило мне живейшую радость. Класс, как полагается, распустили на три недели по домам, и все было забыто. Я же продолжал придумывать истории с участием Эсмеральды. Наши приключения становились все опаснее, а любовь разгоралась все сильнее. Тем не менее я не терял времени даром и обручился с девочкой из нашего класса по имени Гладис, изменив таким образом Типпан, моей верной подруге по играм.

Парк, где расположена больница Софияхеммет, огромен. Он простирается вдоль Валхаллавеген, одной стороной к Стадиону, другой — к Политехническому институту, забираясь в глубь леса Лилль-Янс. На холмистой местности были разбросаны немногочисленные — в те времена — строения.

Здесь я гулял, предоставленный самому себе, здесь пережил много приключений. Мое внимание особенно привлекала часовня, небольшое кирпичное сооружение в глубине парка. Благодаря дружбе с больничным сторожем, отвечавшим за перевозку усопших из больницы в часовню, я услышал разные интересные истории и увидел множество трупов в разной стадии разложения. В другом здании, куда вход, вообще-то, был запрещен, находился машинный зал, громко гудели четыре громадные печи. Уголь подвозили на вагонетках, и черные фигуры бросали его в огонь. Несколько раз в неделю прибывали подводы, запряженные тяжеловесами арденской породы. Работники в капюшонах из мешковины подтаскивали мешки к открытым стальным дверцам. Время от времени на сжигание поступали таинственные транспорты с грузом окровавленных человеческих органов и отрезанных рук и ног.

Два воскресенья в месяц отец служил мессу в больничной часовне, заполнявшейся медсестрами в черной праздничной форме с накрахмаленными белыми передниками и шапочками на ухоженных волосах. Напротив пасторской усадьбы располагался Сульхеммет, дом для престарелых медсестер, посвятивших всю свою жизнь больнице. Они образовали настоящий монашеский орден со строгим монастырским уставом.

Обитатели Сульхеммета могли видеть все, что происходит в пасторской усадьбе. И они смотрели.

По правде говоря, я с удовольствием и с любопытством думаю о ранних годах моей жизни. Фантазия и чувства получали богатую пищу, не припомню, чтобы мне когда-нибудь было скучно. Скорее, дни и часы взрывались фейерверком примечательных событий, неожиданных сцен, волшебных мгновений. Я до сих пор способен совершать прогулки по местам моего детства, вновь переживая освещение, запахи, людей, комнаты, моменты, жесты, интонации, предметы. Редко когда это бывают эпизоды, поддающиеся пересказу, это, пожалуй, короткие или длинные, наугад снятые фильмы без всякой морали.

Привилегия детства: свободно переходить от волшебства к овсяной каше, от безграничного ужаса к бурной радости. Границ не было, помимо запретов и правил, но они чаще всего скользили мимо, как тени, были непонятными. Знаю, к примеру, что никак не мог уяснить важность правил, связан-

ных с временем, ты должен наконец научиться следить за временем, у тебя теперь есть часы, ты умеешь определять время. И все-таки времени не существовало. Я опаздывал в школу, опаздывал к столу. Беззаботно бродил по больничному парку, наблюдал, фантазировал, время исчезало, что-то напоминало мне, что я вроде бы проголодался, и в результате — скандал.

Было необычайно трудно отделить фантазии от того, что считалось реальным. Постаравшись как следует, я мог бы, наверное, удержать действительность в рамках реального, но вот, например, привидения и духи. Что с ними делать? А сказки — они реальны? Бог и ангелы? Иисус Христос? Адам и Ева? Всемирный потоп? И как обстояло дело в действительности с Авраамом и Исааком? Собирался ли он и вправду перерезать горло сыну? Распаленный, я вглядывался в гравюру Доре, воображая себя Исааком: это — реальность, отец собирается перерезать горло Ингмару, может случиться, что Ангел запоздает. Тогда они все зарыдают. Хлещет кровь. Ингмар слабо улыбается. Действительность.

А потом появился кинематограф.

До Рождества оставалось еще две-три недели. Одетый в ливрею шофер беспредельно богатой тети Анны, господин Янссон, уже доставил множество подарков, по традиции сложенных в специальную корзину, стоявшую в чуланчике под лестницей, ведущей на второй этаж. Мое нетерпеливое любопытство особенно вызвал один пакет: коричневый, прямоугольной формы, на котором было написано «Форснерс». «Форснерс» называлась фотофирма на Хамнгатсбаккен И там продавались не только фотоаппараты, но и настоящие кинопроекторы.

Больше всего на свете мне хотелось обладать кинопроектором. Год назад я впервые побывал в кино, смотрел фильм про лошадь, по-моему, он назывался «Красавчик вороной» и был сделан по известной детской книге. Фильм шел в кинотеатре «Стюре», мы сидели в первом ряду на балконе. Это было началом. Меня одолела лихорадка, которая так никогда и не прошла. Беззвучные тени поворачивают ко мне свои бледные лица и неслышно говорят, обращаясь к самому заветному во мне. Миновало шестьдесят лет, ничего не изменилось, меня по-прежнему бьет лихорадка.

Как-то позднее, осенью, я был в гостях у своего школьного товарища. У него был кинопроектор и несколько фильмов, и он счел своим долгом устроить нам с Типпан киносеанс. Мне разрешили крутить ручку пока хозяин флиртовал с Типпан.

Рождественские праздники были заполнены множеством увеселений. Мать твердой рукой осуществляла режиссуру. Для проведения этой оргии гостеприимства, застолий, приезжающих родственников, рождественских подарков и церковных ритуалов требовалась, вероятно, значительная организационная работа.

Сочельник в нашей семье проходил довольно спокойно — рождественская служба в пять часов в церкви, оживленное, но сдержанное застолье, потом зажигали елку, читали рождественское Евангелие и рано ложились спать, так как надо было вставать к заутрене, которая в те времена действительно начиналась ранним утром. Подарки в Сочельник не раздавали, но настроение было радостное в предвкушении празднеств, предстоявших на Рождество. После заутрени со свечами и звуками труб приступали к рождественскому завтраку. Отец к тому времени, покончив со своими профессиональными обязанностями, снимал пасторский сюртук и переодевался в домашнюю куртку. Он был в самом веселом расположении духа, произносил импровизированную речь в стихах, чокался с гостями, пил водку, пародировал братьев-священников, веселил присутствующих. Я иногда вспоминаю его веселую беспечность, беззаботность, нежность, дружелюбие, его задор — все то, что с такой легкостью заслонилось его мрачностью, тяжелым характером, жестокостью, холодностью. Наверное, вспоминая отца, я часто бываю несправедлив к нему.

После завтрака несколько часов спали. Внутренняя организованность все-таки, наверное, действовала безотказно, ибо в два часа, когда начинало смеркаться, подавали кофе. Дом был открыт для всех, кому хотелось пожелать счастливого Рождества его обитателям. Среди друзей семьи были профессиональные музыканты, и нередко после обеда устраивался импровизированный концерт. Приближалась кульминация празднества — ужин, лукуллов пир. Он сервировался во вместительной кухне, где на это время переставал действовать социальный табель о рангах. Кушанья выстраивались на сервировочных столиках и застланных скатертями столах для мытья посуды. Раздача подарков происходила в столовой. Вносили корзины, отец отправлял богослужение, размахивая вместо кадила сигарой и стаканом с пуншем, вручались подарки, читались под аплодисменты и комментарии стихи — ни один подарок не должен был остаться без стишка.

Вот мы и подошли к кинопроектору. Его получил мой брат.

Я тотчас заревел, на меня шикнули, я спрятался под стол, продолжая бесноваться, мне велели замолчать, я убежал в детскую, ругаясь и проклиная всех, собрался было бежать из дома и в конце концов с горя заснул.

Праздник продолжался.

Поздно вечером я проснулся. Внизу Гертруда пела народную песню, горел ночник. На высоком комоде слабо мерцал транспарант с изображением яслей и молящихся волхвов. На белом складном столе среди остальных рождественских подарков брата стоял кинопроектор — с изогнутой трубой, с красивой формы латунной трубкой-линзой и устройством для закрепления пленки.

Решение созрело мгновенно: я разбудил брата и предложил ему сделку — сотню моих оловянных солдатиков в обмен на кинопроектор. А поскольку у Дага была большая армия и он беспрерывно проводил какие-то сложные военные операции со своими друзьями, сделка состоялась к обоюдному удовольствию.

Кинопроектор стал моим.

Конструкция аппарата была несложной. Источником света служила керосиновая

лампа, ручка была соединена с шестеренкой и мальтийским крестом. В заднем торце жестяного ящика — простое зеркало-отражатель. Позади трубки-линзы находился держатель для цветных кадров. К аппарату прилагалась фиолетовая четырехугольная коробка, в которой лежали стеклянные пластинки и окрашенная сепией пленка (35 мм) длиной около трех метров, склеенная в кольцо. На крышке стояло название фильма — «Фрау Холле». Никто не знал, кто такая фрау Холле, но потом выяснилось, что это — фольклорный вариант богини любви в странах Средиземноморья.

На следующий день я забрался в просторную гардеробную при детской, установил кинопроектор на ящике из-под сахара, зажег керосиновую лампу, направив ее свет на белую оштукатуренную стену, и зарядил пленку.

На стене появилось изображение луга. На лугу дремала молодая женщина, по всей видимости, в национальном костюме. И тут я повернул ручку (это невозможно объяснить, у меня не хватает слов, чтобы описать мое возбуждение, в любой момент я могу вызвать в памяти запах нагретого металла, перебивавшего запах пыли и средства от моли, прикосновение ручки к ладони, дрожащий прямоугольник на стене).

Я повернул ручку — и девушка проснулась, села, медленно встала, вытянула руки, повернулась и пропала за правой границей кадра. Я продолжал крутить ручку, она опять лежала на лугу и потом точь-в-точь повторяла все движения.

Она двигалась.

* * *

Детские годы в пасторской усадьбе при больнице Софияхеммет: повседневный ритм, дни рождения, церковные праздники, воскресенья. Обязанности, игры, свобода, ограничения и чувство надежности. Длинная темная дорога в школу зимой, игра в шарики и велосипедные прогулки весной, воскресные вечера с чтением вслух у камина осенью.

Мы не знали, что мать страстно влюбилась, а отец находился в тяжелой депрессии. Мать собиралась разводиться, отец грозил покончить с собой, потом они помирились и решили сохранить семью «ради детей» — так это называлось в то время. Мы ничего, или почти ничего, не замечали.

Однажды осенним вечером, когда я забавлялся со своим кинопроектором в детской, сестра спала в комнате матери, а брат был на занятиях по стрельбе, я вдруг услышал отчаянную перепалку, доносившуюся с первого этажа. Мать плакала, отец что-то гневно говорил. Мне стало страшно, такого я раньше никогда не слышал. Я выскользнул на лестницу и увидел родителей, ссорившихся в холле. Мать пыталась выговать пальто из рук отца, тот не уступал. Наконец, она отпустила пальто и ринулась к двери прихожей. Отец опередил ее, оттолкнул в сторону и загородил дверь. Мать накинулась на него, началась драка. Мать дала отцу пощечину, он отшвырнул ее к стене. Она потеряла равновесие и упала. Я громко закричал. Сестра, разбуженная шумом, вышла на лестничную площадку и сразу же заплакала. Родители опомнились.

Что было дальше, помню плохо. Мать сидела на диване в своей комнате, из носа у нее шла кровь, она пыталась успокоить сестру. Я стою в детской, смотрю на кинопроектор, потом патетически бросаюсь на колени и обещаю Богу отдать и фильм и аппарат, если мама с папой помирятся. Мои молитвы были услышаны. Вмешался настоятель прихода Хедвиг Элеоноры (папин начальник). Родители заключили мир, и беспредельно богатая тетя Анна увезла их в длительное путешествие по Италии. Бабушка взяла бразды правления в свои руки, порядок и иллюзорная надежность были восстановлены.

Бабушка (со стороны матери) жила по большей части в Упсале, но у нее еще был красивый летний дом в Даларна. Овдовев в тридцать лет, она разделила парадную квартиру на Трэдгордсгатан пополам, оставив себе пять комнат, кухню и комнату для прислуги. В момент моего появления на свет она обитает там одна в компании фрекен Эллен Нильссон, монументальной матроны из Смоланда, не подверженной влиянию времени, которая вкусно готовила, была глубоко религиозна и баловала нас, детей. После смерти бабушки она перешла на службу к матери — ее любили и боялись. В семьдесят пять лет, заболев раком горла, она убрала свою комнату, написала завещание, поменяла купленный матерью билет второго класса на третий и уехала к сестре в Патахольм, где и умерла через несколько месяцев. Эллен Нильссон, которую мы, дети, звали «Лалла», прожила в семье бабушки и матери больше пятидесяти лет.

Бабушка и Лалла жили в темпераментном симбиозе, в котором имели место многочисленные ссоры и примирения, но который никогда не ставился под сомнение. Для меня огромная (может, и не такая уж огромная) квартира на Трэдгордсгатан была символом надежности и волшебства. Многочисленные часы отмеряли время, солнечные лучи скользили по бескрайней зелени ковров. От голландских печей исходил вкусный дух, гудело в дымоходе, звякали заслонки. Иногда с улицы доносился звон колокольцев — мимо проезжала санная упряжка. Колокола Домского собора созывали на службу или на похороны. Утром и вечером раздавался отдаленный нежный звон колокола Гуниллы.

Старомодная мебель, тяжелые гардины, потемневшие картины. В конце длинного темного холла находилась интересная комната: в двери у самого пола были просверлены четыре дырки, стены оклеены красными обоями, а посередине стоял трон из красного дерева и плюша с латунной окантовкой и орнаментом. К трону вели две ступеньки, застланные мягким ковром. Под тяжелой крышкой открывалась бездна мрака и запахов. Чтобы сидеть на бабушкином троне, требовалось мужество.

В холле помещалась высокая железная печка, испускавшая свой особый запах тлеющих углей и разогретого металла. В кухне Лалла готовила обед, питательные щи, их горячий аромат распространялся по всей

квартире, вступая в высший союз со слабыми испарениями потайной комнаты.

Для маленького человечка, который едва не касается носом пола, от ковров свежо и сильно пахнет средством против моли, они успевают им пропитаться за летние месяцы когда лежат без дела, свернутые в рулоны. Каждую пятницу Лалла натирает старые паркетные полы мастикой и скипидаром, издающими невыносимую вонь. Сучковатые, в заусенцах дощатые полы пахнут жидким мылом. Линолеум моют вонючей смесью из снятого молока и воды. Люди вокруг испускают симфонии запахов: пудры, духов, дегтярного мыла, мочи, выделений половых желез, пота, помады, грязи, чада. От некоторых пахнет просто человеком, от одних исходит запах надежности, от других — угрозы. Толстая Эмма, тетка отца, носит парик, который она приклеивает к лысине специальным клеем. Тетя Эмма вся пропахла клеем. От бабушки пахнет «глицерином и розовой водой», своего рода одеколоном, купленным безо всяких ухищрений в аптеке. У матери запах сладкий, словно ваниль, но когда она сердится, пушок у нее над губой увлажняется, и она источает едва ощутимый запах металла. Лучше всех пахнет хромоножка Мэрит, молоденькая, круглолицая, рыжеволосая нянька. Самое большое наслаждение — лежать в ее кровати, головой на ее руке, уткнувшись носом в грубую ткань ее рубашки.

Исчезнувший мир света, запахов, звуков. Когда я лежу неподвижно, собираясь погрузиться в сон, я вновь обретаю способность бродить по комнатам, вижу каждую мелочь, я знаю и чувствую. В тишине бабушкиной квартиры чувства мои раскрылись, решив сохранить это все навек. Куда это уйдет? Унаследовал ли кто-нибудь из моих детей отпечатавшиеся во мне впечатления, можно ли унаследовать чувственные впечатления, переживания, прозрения?

Дни, недели и месяцы, проведенные у бабушки, отвечали, вероятно, моей назойливой потребности в тишине, организованности, порядке. Я играл в свои одинокие игры, не скучая по обществу. Бабушка сидела за столом в столовой, в черном платье и полосатом голубом переднике. Она читала, проверяла счета или писала письма, стальное перо чуть слышно царапало бумагу. В кухне занималась делами Лалла, напевая себе под нос. Я склонялся над своим кукольным театром, сладострастно поднимая занавес над мрачным лесом Красной Шапочки или празднично освещенным залом Золушки. Моя игра завоевывала власть над сценой, мое воображение населяло ее.

Воскресенье, у меня болит горло, можно не ходить к мессе, я остаюсь в квартире один. Зима доживает последние дни, в окна проникают солнечные лучи, быстро и беззвучно скользя по занавесям и картинам. Огромный обеденный стол возвышается над моей головой, я прислоняюсь спиной к его гнутой ножке. Стулья вокруг стола и стены комнаты обиты потемневшей золотистой кожей, пахнущей старостью. За моей спиной горой вздымается буфет, в изменчивом свете поблескивают стеклянные графины и хрустальные бокалы. На продольной стене слева висит большая картина, на которой изображены белые, красные и желтые дома, словно растущие из синей воды; по воде скользят продолговатые лодки.

Столовые часы, достающие почти до лепного потолка, угрюмо и глухо разговаривают сами с собой. С того места, где я сижу, мне видна мерцающая зеленью зала. Зеленые стены, ковры, мебель, гардины, в зеленых горшках — папоротники и пальмы. Я различаю обнаженную белую даму с обрубленными руками. Она стоит, немного наклонившись вперед, и с улыбкой смотрит на меня. На пузатом, отделанном золотом бюро с золотыми ножками — позолоченные часы под стеклянным колпаком. К циферблату прислонился юноша, играющий на флейте. Рядом с ним крошечная дама в широкополой шляпе и короткой юбочке. Обе фигурки — позолоченные. Когда часы бьют двенадцать, юноша начинает играть на флейте, а девушка — танцевать.

Комната освещается солнцем, его лучи вспыхивают в хрустальной люстре, бегут по картине с домами, растущими из воды, ласкают белизну статуи. Бьют часы, танцует золотая девушка, юноша играет, обнаженная дама поворачивает голову и кивает мне, во мраке прихожей Смерть опускает свою косу на линолеум, я вижу ее, ее желтый ухмыляющийся череп, вижу ее темную длинную фигуру на фоне застекленной входной двери.

Хочу взглянуть на бабушкино лицо, нахожу фотографию. На ней — дедушка, транспортный начальник, бабушка и три пасынка. Дедушка с гордостью глядит на свою юную жену, у него ухоженная черная борода, пенсне в золотой оправе, высокий воротничок, предобеденный костюм безупречен. Сыновья подтянулись — молодые люди с неуверенным взглядом и расплывчатыми чертами лица. Достаю лупу и изучаю лицо бабушки. Глаза светлые, пронзительный взгляд, округлые щеки, упрямый подбородок, рот решительный, несмотря на вежливую, для фотографии, улыбку. Густые темные волосы уложены в тщательную прическу. Ее нельзя назвать красивой, но она излучает силу воли, ум и юмор.

Молодожены производят впечатление состоятельной, уверенной в себе пары: мы согласились играть наши роли и исполним их. Сыновья же кажутся растерянными, усмиренными, а может быть, преисполненными бунтарства.

Дед построил дачу в Дуфнесе, одном из красивейших мест Даларна, с великолепным видом на реку, степные просторы, пастбища и синеющие вдали горные хребты. А так как он обожал поезда, железная дорога проходила прямо по склону угодий в каких-нибудь ста метрах от дома. Он мог, сидя на веранде, проверять по часам время прохождения всех восьми поездов, по четыре в каждом направлении, из которых два были товарные. Он мог видеть и железнодорожный мост через реку, чудо строительной техники, его гордость. Я вроде бы когда-то сидел у деда на коленях, но его не помню. От него мне достались в наследство изогнутой формы мизинцы и, возможно, страсть к паровозам.

Как я уже говорил, бабушка овдовела, будучи совсем молодой. Она оделась в черное, волосы тронула седина. Дети переженились и улетели из гнезда. Она осталась одна с Лаллой. Мать как-то рассказывала, что бабушка никого никогда не любила, кроме своего младшего сына, Эрнста. Мать пыталась завоевать ее любовь, подражая ей во всем, но характером была куда мягче, и попытка не удалась.

Отец называл бабушку властолюбивой ведьмой. В этой своей оценке он наверняка был не одинок.

И тем не менее лучшие годы моего детства прошли у бабушки. Она относилась ко мне с суровой нежностью и интуитивным пониманием. Мы с ней выработали, например, ритуал, который она ни разу не нарушила. Перед обедом усаживались на ее зеленый диван и часок «беседовали». Бабушка рассказывала о Большом Мире, о Жизни и Смерти (немало занимавшей мои мысли). Спрашивала, о чем я думаю, внимательно слушала, продираясь сквозь мое мелкое вранье или с дружеской иронией отбрасывая его в сторону. С ней я мог говорить как личность, реальная личность, без маскарада.

Наши «беседы» — это всегда сумерки, доверительность, зимний вечер.

У бабушки было еще одно замечательное качество. Она любила ходить в кино, и если фильм дозволялось смотреть детям (понедельничные утра с кинопрограммой на третьей странице «Упсала нюа тиднинг»), не надо было дожидаться субботы или второй половины дня воскресенья. Удовольствие омрачалось лишь одним обстоятельством. Бабушка не переносила любовных сцен, которые я, напротив, обожал. Она обычно ходила в чудовищного вида ботах, и когда герой с героиней чересчур долго и томительно выражали свои чувства, бабушкины боты начинали скрипеть и кинозал оглушался жуткими звуками.

Мы читали друг другу вслух, выдумывали разные истории, чаще всего с привидениями и другими ужасами, рисовали «человечков» — своеобразные комиксы. Один рисовал первую картинку, другой, рисуя вторую картинку, развивал действие. Так рисовали иногда несколько дней подряд, по сорок — пятьдесят картинок, сочиняя к ним пояснительный текст.

Жизнь на Трэдгордсгатан протекала в каролинском духе. Вставали после того, как затапливали голландские печи, в семь утра. Обтирание ледяной водой в жестяном корыте, завтрак — овсяная каша и бутерброды на хрустящих хлебцах. Утренняя молитва, выполнение домашних заданий или уроки под бабушкиным присмотром. В час — чай с бутербродом. Затем гулянье, в любую погоду. Прогулка по городу от одного кинотеатра к другому: «Скандия», «Фюрис», «Рёда кварн», «Слоттс», «Эдда». В пять часов обед. Вынимаются старые игрушки, сохранившиеся с детских лет дяди Эрнста. Чтение вслух. Вечерняя молитва. Звонит колокол Гунниллы. В девять часов — ночь.

Лежать на кушетке и слушать тишину. Наблюдать, как движутся по потолку свет и тени, отбрасываемые уличным фонарем. Когда на Упсальской равнине беснуется снежный буран, фонарь качается, тени извиваются, в печи пляшет и завывает огонь.

По воскресеньям обедали в четыре часа. Приходила тетя Лоттен. Она жила в доме для престарелых миссионеров, когда-то они с бабушкой учились в одной группе и были одними из первых студенток в стране. Тетя Лоттен уехала потом в Китай, где, занимаясь миссионерской деятельностью, потеряла красоту, зубы и один глаз.

Бабушка знает, что мне противна тетя Лоттен, но считает необходимым закалять мой дух. Поэтому на воскресных обедах меня сажают рядом с тетей Лоттен. Я гляжу прямо в ее волосатые ноздри с застывшим комком желто-зеленых соплей. От нее воняет высохшей мочой. Когда она говорит, вставные челюсти щелкают, а ест она, держа тарелку у самого лица и чавкая. Время от времени у нее из живота доносится урчание.

Эта отвратительная личность обладает одним сокровищем. Покончив с обедом и кофе, она достает из желтого деревянного ящика китайский театр теней. На дверь, ведущую из столовой в залу, вешают простыню, гасят свет, и тетя Лоттен разыгрывает спектакль театра теней (должно быть, весьма умело: она одновременно управляла несколькими фигурами, играя одна все роли, внезапно экран окрашивался в красный или синий свет, по красному полю вдруг проносился демон, на синем — появлялся тоненький серпик луны, потом все неожиданно становилось зеленым, в глубине моря плавали странные рыбы).

Иногда приходили в гости мамины братья со своими устрашающими женами. Мужчины были толстые, с бородами и громкими голосами. От женщин в большущих шляпах несло потливой суетливостью. Я по возможности старался держаться подальше. Но меня брали на руки, обнимали, чмокали, тискали, щипали. Приставали с назойливыми интимностями: на этой неделе мальчику не пришлось ходить в красной юбке? На прошлой неделе, кажется, ты часто писал в штаны. Открой рот, я посмотрю, не качается ли зубик, а, вот он, разбойник, давай-ка его вырвем, получишь десять эре. По-моему, мальчик косит, смотри на мой палец, ну конечно, один глаз не двигается, нужно надеть черную повязку, будешь как пират. Закрой рот, малыш, что ты все ходишь с открытым ртом, у тебя, наверное, полипы, у человека с открытым ртом глупый вид, бабушка должна проследить, чтобы тебе сделали операцию, ходить с открытым ртом вредно.

Они делали резкие движения, во взгляде сквозила неуверенность. Жены курили. В присутствии бабушки они потели от страха, голоса у них были резкие, речь торопливая, лица накрашенные. Они не походили на мать, хотя и были матерями.

Зато дядя Карл отличался от всех.

* * *

Дядя Карл выслушивал упреки, сидя на бабушкином зеленом диване. Это был крупный тучный человек с высоким лбом, сейчас, озабоченно наморщенным, с лысиной в коричневых пятнах и остатками редких кудрей на затылке. Волосатые уши пламенели. Большой круглый живот давил на ляжки,

очки запотели от выступившей влаги, скрывая добрые, фиалкового цвета глаза. Жирные, мягкие руки сжаты между коленями. Бабушка, маленькая, с прямой спиной,— в кресле у журнального столика. На правом указательном пальце — наперсток, то и дело она постукивала наперстком по блестящей поверхности стола, подчеркивая значимость своих слов. Она, как и всегда, в черном платье, украшенном белым воротником и брошью-камеей, и будничном переднике в белую и голубую полоску. Ее густые белые волосы блестели в солнечных лучах, был морозный зимний день, гудел огонь в голландской печи, окна затянуты ледяным узором. Часы под стеклянным колпаком пробили двенадцать быстрых ударов, пастушка исполнила для пастушка свой танец. В арку ворот въехали сани: зазвенели бубенцы, послышался царапающий звук полозьев о булыжник и гулкий цокот тяжелых копыт.

Я сидел на полу в соседней комнате. Мы с дядей Карлом только что разложили рельсы для поезда, который мне подарила на Рождество беспредельно богатая тетя Анна. Внезапно в дверях возникла бабушка и отрывисто и холодно позвала дядю Карла. Он встал, тяжело вздохнул, надел пиджак и одернул на животе жилет. Они удалились в залу. Бабушка закрыла, разумеется, за собой дверь, но та чуточку отъехала в сторону, и я смог наблюдать за происходящим, словно действие разыгрывалось на сцене.

Бабушка говорила, дядя Карл сидел, выпятив толстые красные с синим отливом губы. Его крупная голова все глубже уходила в плечи. Вообще-то дядя Карл приходился мне дядей лишь наполовину, поскольку он был бабушкин старший пасынок, не намного моложе ее самой.

Бабушка была его опекуншей—дядя Карл был слаб умом, «котелок у него плохо варил», и не способен о себе заботиться. Иногда он попадал в дом для умалишенных, но по большей части жил на пансионе у двух пожилых дам, которые всячески за ним ухаживали. Это было преданное и ласковое. словно большой пес, существо, но сейчас дело зашло чересчур далеко: как-то утром он выбежал из своей комнаты, не удосужившись надеть ни кальсон, ни брюк, и бросился страстно обнимать тетю Беду. осыпая ее слюнявыми поцелуями и неприличными словами. Тетя Беда отнюдь не впала в панику, а ущипнула дядю Карла за нужное место, точно следуя рекомендациям врача. После чего позвонила бабушке.

Дядя Карл, преисполненный раскаяния, чуть не плакал. Тишайший человек, он каждое воскресенье ходил с тетей Бедой и тетей Эстер в миссионерскую церковь. Опрятный темный костюм, мягкий взгляд, красивый баритон — его вполне можно было принять за проповедника. Он выполнял различные мелкие поручения, будучи как бы церковным сторожем на общественных началах, его охотно звали на кофе и встречи швейного кружка, где он с удовольствием читал вслух, пока дамы занимались рукоделием.

Дядя Карл, в сущности, был изобретателем. Он заваливал Королевское патентное бюро чертежами и проектами, но без особого успеха. Из сотен заявок было принято всего две: машина для чистки картофеля, из которой клубни выходили одного размера, и автоматическая щетка для чистки клозетов.

Он был очень подозрителен. Больше всего его беспокоило, как бы кто-нибудь не украл его идеи. Поэтому он заворачивал свои чертежи в клеенку и засовывал их за брюки. Клеенка была не лишней, поскольку дядя Карл страдал недержанием мочи. Нередко, находясь в большом обществе, он не мог сдержать своей тайной страсти. Обвив правой ногой ножку стула, он приподнимался, и его брюки и кальсоны намокали от теплой струи.

Бабушка, тетя Эстер и тетя Беда знали об этой его слабости и могли коротким резким призывом «Карл!» не допустить подобного удовлетворения его потребности, зато фрёкен Агда однажды, к своему ужасу, услышала шипение, исходившее от раскаленной плиты. Застигнутый на месте преступления, дядя Карл воскликнул: «Опля, а я тут пеку блинчики!»

Я восхищался им и по-настоящему верил тете Сигне, утверждавшей, что дядя Карл был самый талантливый из всех четырех братьев, но Альберт из зависти ударил своего старшего брата молотком по голове, в результате чего бедный мальчик на всю жизнь повредился в уме.

Я восхищался им потому, что он изобрел всякие приспособления для моей Laterna Magica и для моего кинопроектора, смастерил держатель для диапозитивов и объектива, вмонтировал вогнутое зеркало и экспериментировал с тремя и больше перемещавшимися по отношению друг к другу стеклянными пластинами, им собственноручно разрисованными. Таким образом он добился подвижного фона для фигурок. У них вырастали носы, они парили, из освещенных лунным светом могил появлялись привидения, шли на дно корабли, тонущая мать держала ребенка над головой, пока их обоих не поглощали волны.

Купив обрезки пленки по пять эре за метр, дядя Карл погружал их в горячий раствор соли, чтобы смыть эмульсию. Когда пленка высыхала, он тушью рисовал на ней подвижные картинки или абстрактные узоры, которые менялись, взрывались, разбухали, съеживались.

Вот он сидит, грузно склонившись над рабочим столом в своей заставленной мебелью комнате, пленка закреплена на освещенном снизу матовом стекле. Очки сдвинуты на лоб, в правом глазу — лупа. Он курит короткую изогнутую трубку, на столе — еще несколько таких же трубок, вычищенных и набитых табаком. Я смотрю не отрываясь на крошечные фигурки, быстро и уверенно возникающие на квадратиках пленки. Работая, дядя Карл говорит и посасывает трубку, говорит и постанывает:

— Вот здесь цирковой пудель Тедди делает кувырок вперед, это у него хорошо получается, это он умеет. А теперь свирепый хозяин цирка заставляет бедного песика сделать сальто назад — Тедди не может. Он ударяется головой о манеж, в глазах у него звезды и солнца — звезды сделаем другого цвета, красные. На голове у него

выросла шишка, пойди-ка в столовую, выдвинь левый ящик буфета, там лежит пакетик конфет, они их спрятали, потому что Ма говорит, что мне нельзя есть сладостей. Возьми четыре конфеты, только осторожно, смотри, чтобы никто не увидел.

Я выполняю поручение и получаю одну конфету. Остальные дядя Карл запихивает в толстогубый рот, от жадности пуская слюни. Он откидывается на спинку стула и, прищурившись, смотрит на серые зимние сумерки.

— Я тебе что-то покажу,— вдруг произносит он,— только не говори Ма.

Он встает и идет к столу, над которым висит абажур, зажигает лампу, ее желтый свет падает на восточный орнамент скатерти. Дядя Карл садится и предлагает мне занять место по другую сторону стола. Оборачивает один конец скатерти вокруг кисти левой руки и сперва осторожно, а потом все быстрее начинает крутить и вертеть рукой. И наконец кисть отделяется от руки на уровне накрахмаленной манжеты, капельки какой-то мутной жидкости капают на стол.

— У меня есть два костюма, каждую пятницу я должен являться к твоей бабушке, чтобы поменять белье и костюм. И так продолжается уже двадцать девять лет. Ма обращается со мной как с ребенком. Это несправедливо, Бог накажет ее. Бог наказывает власть имущих. Гляди, в доме напротив пожар!

Сквозь свинцовые облака пробилось зимнее солнце, ярко вспыхнули окна в доме напротив, на Гамля Огатан. На обоях загорелись прямоугольники густого желтого цвета, правая половина лица дяди Карла пламенеет. На столе между нами лежит оторванная кисть.

После смерти бабушки опекуном стала моя мать. Карла перевезли в Стокгольм, где он снимал две комнатушки у старушки сектантки, жившей на Рингвеген, недалеко от Ётгатан.

Старый порядок был восстановлен. Каждую пятницу Карл являлся в пасторский особняк, получал чистое белье, переодевался в вычищенный, отглаженный костюм и обедал со всем семейством. Он не менялся, такой же грузный и круглый, такой же розовощекий, с фиалковыми глазами за толстыми стеклами очков. По-прежнему без устали атаковал Патентное бюро своими изобретениями. По воскресеньям пел псалмы в миссионерской церкви. Мать управляла всеми его финансами, выдавая ему еженедельно карманные деньги. Он звал ее «сестра Карин» и иногда иронизировал над ее беспомощными попытками подражать бабушке: «Ты хочешь быть как мачеха Не старайся. Ты для этого слишком добрая. Мамхен была безжалостна».

В одну из пятниц к нам пришла хозяйка дяди Карла. У них с матерью состоялся долгий разговор наедине. Рыдания хозяйки разносились по всему дому. Спустя два-три часа она, опухшая от слез, удалилась. Мать отправилась на кухню к Лалле, опустилась на стул и, смеясь, сказала: «Дядя Карл обручился с женщиной на тридцать лет моложе его».

Через пару недель обрученные нанесли визит. Они хотели обсудить с отцом церемонию венчания — она должна быть простой, но по-церковному торжественной. На дяде Карле была свободная, спортивного покроя рубашка без галстука, клетчатый блейзер и отутюженные фланелевые брюки без единого пятнышка. Свои старомодные очки он заменил современными в роговой оправе, высокие ботинки на застежках — мокасинами. Он был немногословен, собран, серьезен. Ни единой путаной мысли, ни единого дурашливого выражения.

Дядя Карл поступил работать сторожем в церковь Софии. Свою изобретательскую деятельность он забросил:

— Видишь ли, Schwesterchen[2], это была иллюзия.

Невесте, тощей, небольшого росточка женщине с костлявыми плечами и длинными худыми ногами, было немного за тридцать. Крупные белые зубы, волосы медового цвета, собранные на затылке, длинный правильной формы нос, тонкие губы и круглый подбородок. Глаза темные, блестящие. На жениха она смотрела ласковым взглядом собственницы, крепкая рука как бы по рассеянности покоилась на его колене. Она была преподавательницей физкультуры.

Пожизненное опекунство должно быть отменено.

— Представления мачехи о моих умственных способностях было одной из ее иллюзий. Она была властным человеком, ей надо было держать кого-нибудь в своей власти. Schwesterchen никогда не сможет стать такой же, как мачеха, сколько бы она ни старалась. Это иллюзия.

Невеста разглядывала семейство своими блестящими черными глазами и молчала.

Через несколько месяцев помолвка была расторгнута. Дядя Карл возвратился в комнатушки на Рингвеген и ушел с работы в церкви Софии. Он доверительно сообщил матери, что был вынужден покончить с изобретениями. Невеста пыталась всячески препятствовать ему, дело доходило до скандалов и драк, у Карла на щеке остались следы ногтей.

— Я думал, что могу покончить с изобретательством. Это было иллюзией.

Мать вновь взяла на себя опекунство, каждую пятницу дядя Карл приходил в пасторскую усадьбу, менял костюм и нижнее белье и обедал с семьей. Его страсть писать в штаны усилилась.

Но у него была еще одна, гораздо более опасная склонность. Отправляясь в Королевскую библиотеку или в Городскую библиотеку, где он любил проводить дни, он делал крюк и шел через железнодорожный туннель под Сёдером. Сын транспортного инженера, построившего железную дорогу между Крюльбу и Иншён, дядя Карл обожал поезда. Когда они с грохотом проносились мимо него в туннеле, он прижимался к скалистой стене, грохот приводит его в восторг, скала сотрясалась, пыль и дым опьяняли.

Однажды весенним днем его обнаружили сильно изуродованным, лежащим на рельсах... Под брюками нашли клеенчатый пакет с чертежами приспособления, упрощающего замену ламп в уличных фонарях.

---

[2] «Сестричка» *(нем.)*.

• • •

Когда мне было двенадцать лет, один музыкант, игравший на челесте в «Игре снов» Стриндберга, разрешил мне во время представления сидеть за сценой. Впечатление было ошеломляющее. Вечер за вечером, спрятавшись в башенке просцениума, я становился свидетелем сцены бракосочетания Адвоката и Дочери. Впервые в жизни я прикоснулся к магии актерского перевоплощения. Адвокат двумя пальцами — большим и указательным — вертел шпильку для волос, сгибал ее, распрямлял, переламывал пополам. *В руке у него не было ничего, но я видел эту шпильку!* За кулисами стоит в ожидании своего выхода офицер. Чуть наклонившись вперед, рассматривает свои ботинки, руки за спиной, беззвучно откашливается — самый что ни на есть обыкновенный человек. Но вот он открывает дверь и выходит на сцену. И мгновенно изменяется, преображается, он — Офицер!

Поскольку в душе моей беснуется буря, которой нельзя давать волю, я боюсь всего непредвиденного, непредсказуемого. Посему моя профессиональная работа заключается в педантичном управлении неизъяснимым. Я — посредник, организатор, человек, создающий ритуалы. Есть режиссеры, материализующие собственный хаос, в лучшем случае им удается из этого хаоса сотворить спектакль. Мне отвратительна подобная самодеятельность. Я никогда не участвую в пьесе — я перевожу, конкретизирую. Самое главное — в моей работе нет места для личных проблем, если только они не помогают проникнуть в тайну текста или же не дают выверенного толчка творческой фантазии актера. Я ненавижу бурю, агрессивность, эмоциональные взрывы. Моя репетиция — это операция, проводимая в специально оборудованном для этой цели помещении. Там царит самодисциплина, чистота, свет и тишина. Репетиция — это работа, а не психотерапевтический сеанс режиссера и актера.

Я презираю Вальтера, который уже в 11 часов утра пребывает в легком подпитии и вываливает на окружающих свою непристойности. Мне противна Тереза, которая со всех ног кидается мне на шею, испуская запах пота и духов. Мне хочется отлупить Паула, этого злополучного педераста, являющегося в туфлях на высоком каблуке, хотя он прекрасно знает, что ему целый день придется бегать по лестницам на сцене. Я ненавижу Ваню, которая, отдуваясь, врывается в зал с опозданием ровно на одну минуту, растрепанная, расхристанная, нагруженная сумками и пакетами. Меня раздражает Сара, забывшая рабочий экземпляр пьесы и ее вечное ожидание двух важных телефонных разговоров. Я хочу покоя, порядка и дружелюбия. Только так мы сумеем приблизиться к безграничности. Только так постигнем тайну и овладеем механизмом повторения. Живого, пульсирующего повторения. Каждый вечер — один и тот же спектакль, тот же самый, и тем не менее каждый раз рождающийся заново. Кстати, как научиться дозволенному, длящемуся всего какую-то секунду rubato[3], столь необходимому, чтобы спектакль не превратился в мертвящую рутину или в непереносимое своеволие? Все хорошие актеры знают эту тайну, посредственные должны ею овладеть, плохие не постигнут никогда.

Итак, моя работа — управлять текстом и рабочим временем. Я несу ответственность за то, чтобы дни проходили не совсем бессмысленно. Я не бываю просто человеком со своими личными заботами. Я наблюдаю, регистрирую, констатирую, контролирую. Заменяю актерам глаза и уши. Предлагаю, прельщаю, вдохновляю или отвергаю. Во мне отсутствует спонтанность, импульсивность, соучастие в игре, хотя внешне все выглядит наоборот. Если бы я на секунду снял маску и высказал то, что на самом деле думаю и чувствую, мои товарищи накинулись бы на меня, разорвали на части и выкинули в окно.

Но маска не искажает моей сути. Интуиция работает быстро и четко, я все замечаю, маска — лишь фильтр, не пропускающий ничего личного, не относящегося к делу. Буря — под контролем.

Довольно долгое время я жил с немолодой, поразительно талантливой актрисой. Она издевалась над моей теорией чистоты, утверждая, будто театр — это дерьмо, похоть, необузданность и вообще ад. Она говорила: «Единственный твой недостаток, Ингмар Бергман,— страсть ко всему здоровому. Ты должен избавиться от нее, ибо она лжива и подозрительна, она ставит тебе пределы, за которые ты не осмеливаешься переступить, тебе следовало бы, как доктору Фаустусу Томаса Манна, подыскать себе шлюху-сифилитичку».

Возможно, она была права, а может, это были просто романтические бредни в духе времени поп-искусства и наркотиков. Не знаю. Знаю только, что эта красивая гениальная актриса потеряла память и зубы и умерла пятидесяти лет от роду в сумасшедшем доме. Сполна получила за свое распутство.

Между прочим, художники, имеющие пристрастие к теоретизированию, весьма опасны. Их идеи внезапно становятся модными, что нередко приводит к катастрофическим последствиям. Игорь Стравинский обожал теоретические формулировки. Он много писал об интерпретации. Внутри у него бушевал вулкан, и потому он призывал к сдержанности. Посредственности, читая его рассуждения, согласно кивали головами. Те, у кого и намека на вулкан не было, взмахивали дирижерскими палочками, свято соблюдая сдержанность, а Стравинский, который никогда не жил так, как учил, дирижировал своего «Аполлона Мусагета», словно это был Чайковский. Мы же, знакомые с его теориями, слушали и поражались.

Год 1986-й, я в четвертый раз ставлю «Игру снов». Я доволен своим решени-

[3] Rubato *(итал. муз.)* — более свободное в отношении темпа исполнение, не строго в такт.

ем — «Фрёкен Жюли» и «Игра снов» пойдут в одном театральном сезоне. Мой кабинет в Драматене отремонтирован, я уже обосновался в нем. Я — дома.

Подготовительный этап начался с осложнений. Я пригласил для постановки одного сценографа из Гётеборга. Его подруга, после десяти лет совместной жизни, сбежала с молодым актером. У сценографа открылась язва, и он приехал в конце июня на Форё в ужасном состоянии.

В надежде, что работа обуздает его депрессию, мы начали проводить наши ежедневные совещания. У художника дрожали губы, и он, глядя на меня своими чуть вытаращенными глазами, шептал: «Хочу, чтобы она вернулась». Я, не желая играть роль духовника, был непреклонен. Через несколько недель он сломался окончательно, заявил, что работать больше не в силах, после чего упаковал вещички и вернулся в Гётеборг, где, подняв паруса, отправился в морское путешествие с новой любовницей.

Мне ничего не оставалось, как обратиться к моему старому другу и сотруднице Марик Вос. Она с дружелюбным воодушевлением приняла предложение и поселилась в нашем гостевом домике. Мы сильно запаздывали, но приступили к работе в хорошем настроении. Марик много лет назад уже делала «Игру снов» с Улофом Муландером, основоположником стриндберговской традиции.

Своими прежними постановками я был недоволен: телевизионный спектакль завяз в технических проблемах (в то время даже пленку нельзя было резать). Спектакль на Малой сцене получился довольно убогим, несмотря на прекрасную актерскую игру. Немецкая авантюра захлебнулась в величественных декорациях.

На этот раз я собирался играть пьесу без изменений и купюр, в том виде, в каком она была написана. Кроме того, я намеревался перевести чересчур сложные сценические указания в технически выполнимые элегантные решения. Мне хотелось, чтобы зритель почувствовал вонь, идущую с заднего двора адвокатской конторы, холодную красоту заснеженной дачной местности Фагервик, сернистую дымку и дьявольское мерцание Скамсунда, роскошь цветников вокруг Растущего Замка, атмосферу старого театра за стенами театрального коридора.

Малая сцена — неудобная, узкая, обшарпанная; это, собственно, приспособленный под театр бывший кинотеатр, ни разу основательно не ремонтировавшийся со времени своего открытия в начале 40-х годов. Чтобы создать необходимое пространство и интимность, мы решили убрать первые четыре ряда кресел из партера и на пять метров надстроить сцену.

Таким образом появилась возможность построить две комнаты — внешнюю и внутреннюю. Внешняя, ближе к зрителям, должна была стать владениями Поэта. У разноцветного окна в стиле модерн — его письменный стол, пальма, украшенная цветными лампочками, книжные полки с потайной дверью. Справа на сцене громоздится куча хлама, где главенствующее место занимает большое, несколько попорченное распятие и таинственная буфетная дверца. В углу, словно зарывшись в этот пыльный хлам, сидит за пианино «дурнушка Эдит»— актриса, способная пианистка, сопровождает происходящее на сцене и своими действиями и музыкой.

Образовавшееся благодаря надстройке переднее помещение ведет в таинственную заднюю комнату. Ребенком я часто стоял в мрачной столовой нашей квартиры и заглядывал через приоткрытые раздвижные двери в гостиную. Солнце освещало мебель и разные другие предметы, сверкало в хрустальной люстре, отбрасывало движущиеся тени на ковер. Комната плавала в зелени, как в аквариуме. Вдруг возникали люди, исчезали, возвращались вновь, замирали в неподвижности, тихо переговаривались. На окнах пламенели цветы, тикали и били часы — волшебная комната. Теперь нам предстояло воссоздать такую же в глубине сцены. Достали десять мощных проекторов, они должны проецировать изображения на пять экранов специальной конструкции. Какие конкретно картины предстанут перед зрителем, мы еще не знали, но считали, что у нас достаточно времени на размышление. Пол сцены покрыли палевым ковром, над внешней комнатой натянули того же цвета полог. И акустика Малой сцены, вообще-то совершенно непредсказуемая, стабилизировалась, стала в высшей степени чувствительной. Актеры могли говорить быстро, не напрягаясь, принцип камерной музыки был достигнут.

В 1901 году Стриндберг женится на молоденькой, необычайно красивой — несколько экзотической красотой — актрисе Драматического театра. Она на тридцать лет моложе мужа и уже знаменита. Поэт снимает пятикомнатную квартиру в только что построенном доме на Карлаплан, сам подбирает мебель, обои, картины, безделушки. Молодая жена попадает в декорации, целиком созданные ее стареющим супругом. Обе стороны, преодолевая все препятствия, с любовью, терпением и талантом играют распределенные между ними с самого начала роли. Вскоре, однако, по маскам побежали трещины, и в тщательно продуманной пасторали разыгрывается не предусмотренная никем драма. Жена в гневе покидает дом и поселяется у родственников, в шхерах. Поэт остается один в окружении величавых декораций. Разгар лета, город опустел. Поэт испытывает невыносимую боль — он и не подозревал, что такое бывает.

В «Пути в Дамаск» Неизвестный, в ответ на упреки Дамы в том, что он играет со смертью, говорит: «Так же, как я играю с жизнью, я ведь был поэтом. Несмотря на врожденную угрюмость, я никогда ничего не воспринимал всерьез, даже собственные трагедии, и порой я сомневаюсь, что жизнь более реальна, чем мои стихи».

Рана глубока, обильно кровоточит, отказывается повиноваться, как при других жизненных неурядицах. Боль проникает в самое нутро, в неизведанные бездны и

дает выход прозрачным родниковым водам. Стриндберг записывает в дневнике, что он плачет, но слезы промывают взгляд, и теперь он смотрит на себя и на других со смиренной снисходительностью. Поэт воистину заговорил новым языком.

И по сей день не утихают споры, сколько успел написать Стриндберг до того, как Харриет Боссе, примирившись с беременностью, вернулась домой, в мирную идиллию. Первая половина пьесы изумительна: все понятно, прозрачно, все — мука и наслаждение, все живо, оригинально, неожиданно. Практически готовый спектакль. Кульминация поэтического вдохновения — сцена в доме Адвоката. Начало семейной жизни, разочарование в ней и распад семьи показаны ровно за двенадцать минут.

Потом драма утяжеляется: за Скамсундом следует Фагервик, вдохновение начинает хромать и спотыкаться, перед нами — словно непостижимая фуга из бетховенской сонаты для клавира, точность подменяется избытком нот. Почистишь чересчур усердно, загубишь сцены, сыграешь целиком — зритель не выдержит.

Необходимо, сохраняя хладнокровие, ввести утраченную ритмизацию. Это вполне возможно и оправданно, ибо текст по-прежнему напряженный, терпкий, забавный, поэтически выдержанный. Неожиданная сцена в школе, к примеру, просто великолепна. Эпизод же с несчастными отвозчиками угля довольно натужен: «Игра снов» из грезы превращается в сомнительного качества эстрадный номер на злобу дня.

Самые заковыристые проблемы тем не менее еще впереди. Первая — пещера Фингала. Мы знаем, что в доме царил мир. Юная беременная жена проводила время за лепкой и чтением книг. Поэт, дабы продемонстрировать свои благие намерения, бросил курить. Супруги ходили в театр и в оперу, устраивали обеды и музыкальные вечера. «Игра снов» наливалась соком. И тут Стриндберг обнаружил, что его драма превращается в панораму человеческой жизни, направляемой нерешительной рукой рассеянного Бога. Внезапно он чувствует себя призванным в словах сформулировать ту Раздвоенность Бытия, которую уже так непринужденно отобразил в первых сценах и эпизодах пьесы. Дочь Индры берет Поэта за руку и ведет его — увы! — на край безбрежного моря к пещере Фингала. И там начинается декламация стихов, вперемешку великолепных и дурных, бок о бок — красота и уродство.

Постановщик, ежели он не пал духом, дозволив Поэту вариться в его собственном, приправленном парфюмерией модернистском супе, сталкивается с почти неразрешимыми задачами. Как изобразить пещеру Фингала так, чтобы она не выглядела нелепой? Как справиться с длинным жалобным посланием богу Индре? Это ведь в основном хныканье. Как показать шторм, кораблекрушение и самое трудное — идущего по волнам Иисуса Христа? (Безмятежное и волнующее мгновение в напыщенном театральном действе.)

У меня возникла идея сделать маленький спектакль в спектакле. Поэт — с помощью ширмы, стула и старинного граммофона — оборудует некое игровое пространство. На Дочь Индры он набрасывает восточную шаль, себя увенчивает перед зеркалом терновым венцом с распятия. Протягивает несколько рукописных страничек партнерше. Они скользят от игры к серьезности, от пародии к иронии, и вновь все пошло всерьез — праздник дилетантов, великолепный театр, простые, чистые аккорды. Возвышенное остается возвышенным, отмеченное печатью времени приобретает оттенок мягкой ироничности.

Мы радовались найденному решению, преграда наконец преодолена.

Следующая сцена в театральном коридоре суха и бессодержательна, но выбросить ее нельзя. Игра с Праведниками, Тайна, скрывающаяся за дверью, духовное убийство Адвокатом Дочери — все это проходные наспех набросанные картины, без глубины. Здесь единственно возможный путь — легкость, стремительность, угроза: Праведники, охваченные ужасом перед тем «ничто», которое они обнаружили, открыв дверь, непременно должны источать опасность.

Заключительная сцена у алтаря, несмотря ни на что, великолепна, а прощание Дочери безыскусно-трогательно. Этой картине предшествует странная вставка — Дочь Индры раскрывает Загадку Жизни. Судя по дневнику, Стриндберг, завершая работу над пьесой, читал диссертацию по индийской мифологии и философии. Плоды этого чтения он бросил в котел и хорошенько перемешал. Но они не осели на дно и не придали новых вкусовых качеств всему блюду, а остались тем, чем были — бесприютной индийской сказкой.

В заключительной сцене, как, впрочем, и в мажорном прологе, кроется неразрешимая, но при этом тщательно замаскированная проблема. В одном из первых эпизодов — обращенная к Отцу реплика, по всей видимости, ребенка: «Замок все время растет из земли. Видишь, насколько он вырос с прошлого года?» В последнем монологе постаревший Поэт устами Дочери восклицает: «Теперь я чувствую всю боль бытия, так вот каково быть человеком». В начале ребенок, в конце — старик, а в промежутке — целая человеческая жизнь. Я разделил роль Дочери Индры между тремя актрисами, что дало неплохие результаты. Начало заиграло, конец стал логичным. Даже Загадка жизни в искреннем, проникнутом жизненным опытом исполнении большой актрисы зазвучала как трогательная сказка. Дочь обрела — в своей взрослой жизни — силу, любопытство, жизнелюбие, радость, прихотливость, трагизм.

Ни одна постановка не давалась мне с таким трудом, не требовала столько времени. Необходимо было стереть из памяти все прежние свои попытки и в то же время с водой не выплеснуть и ребенка. Те находки, которые органично вливались в новую концепцию, следовало сохранить, но при этом произвести строгий отбор, следуя суровому совету Фолкнера — kill your darlings[4]. И если завершающий этап работы над «Фрёкен Жюли» был увлекательной игрой, то сценическое воплощение «Игры снов» превращалось в тягостную борьбу.

[4] Убивайте своих влюбленных *(англ.)*.

Впервые я воспринимал старость как врага. Воображение бастовало, принятие решений затягивалось, я ощущал непривычную скованность. Недостижимое так и оставалось недостижимым, душило меня. Не раз я был готов сложить оружие — редко возникающее у меня желание.

Репетиции начались во вторник 4 февраля сбором труппы. Мы обсудили конкретные детали, технические решения, составили план работы. Еще раньше мы договорились, что текст надо будет выучить как можно быстрее. Обычная канитель, когда у актера практически парализована одна рука из-за зажатой в ней тетрадки,— пройденный этап; эту методу ввел Ларс Хансон[5], ненавидевший процесс заучивания роли. Ленивые актеры охотно пользовались его евангелием под тем расплывчатым предлогом, что текст, мол, должен усваиваться естественным путем в ходе репетиций. В результате, как правило, получалась неразбериха, один знал роль, другой—нет; взгляды, жесты, чувство партнера — все это напоминало лоскутное одеяло.

Основная задача артиста, как известно, настроиться на партнера. «Без тебя нет и меня»,— сказал один умный человек.

Читаю свои дневниковые записи, относящиеся к работе над «Игрой снов»,— чтение, отнюдь не располагающее к веселью. Я в плохом состоянии. Неспокоен, переутомлен, пребываю в дурном настроении, болит правое бедро, боль не отпускает ни на минуту, утренние часы — самые тяжелые. Желудок протестует спазмами и поносами. Омерзение влажной тряпкой обволакивает душу.

По мне, однако, ничего не видно. Позволить личным проблемам взять верх во время работы — служебное преступление. Я обязан во что бы то ни стало сохранять ровное, деятельное настроение. А вот то творческое вожделение, для которого и определения-то не существует, волевым усилием не вызовешь. Остается опираться на тщательную подготовку и надеяться на лучшие времена.

Примерно за месяц до начала репетиций Лена Улин, назначенная на роль Дочери Индры, просит меня уделить ей время для разговора. Она заразилась свирепствующим в театре плодородием. Ко дню премьеры будет, «вероятно», в начале пятого месяца, родить должна в августе, запланированные на осень гастроли исключены, весной следующего года «Игру снов», требующую большого ансамбля, все равно снимут с репертуара. Значит, в лучшем случае мы сыграем всего сорок спектаклей.

Ситуация немного комическая. В моей телевизионной пьесе «После репетиции» рассказывается о встрече молодой актрисы (роль исполняет Лена Улин), которая должна играть Дочь Индры, со старым режиссером, который в четвертый раз ставит «Игру снов». Актриса говорит, что она беременна. Режиссер, затеявший постановку ради того, чтобы поработать с актрисой, выходит из себя. В конце концов актриса признается, что уже сделала аборт.

Лена Улин не собирается делать аборт. Она — сильная, красивая, полная жизни женщина, крайне эмоциональная, порой безалаберная, с уравновешенным, по-крестьянски цепким умом. Она радуется предстоящему рождению ребенка, сознает все связанные с этим трудности, но считает, что если заводить ребенка, то именно сейчас, когда ее карьера уверенно пошла вверх.

Ситуация, как я уже сказал, немного комическая, то есть комическая для режиссера. Будущая молодая мать не может быть смешной, она прекрасна, достойна всяческого уважения и притом ради ребенка отказывается от карьеры.

Чувства в большинстве случаев неуправляемы: я все-таки мысленно обвиняю ее в предательстве. Так называемая действительность внесла свои коррективы и в мечты и в планы. Но мое ожесточение почти сразу проходит — что это еще за нытье? Для будущего наши театральные упражнения довольно безразличны, рождение же ребенка придает ему хотя бы иллюзорный оттенок смысла. Лена радовалась. Я радовался ее радости.

Репетиционные неприятности не имели ничего или почти ничего общего с вышеописанными событиями. Недели шли. Результаты были по-прежнему средние. К тому же что-то произошло с Марик Вос, нашим сценографом — то ли временный провал в памяти, то ли дало себя знать перенапряжение. Вот уже много лет мужское пошивочное ателье Драматического театра было «укомплектовано» неумелой бестолочью. Марик тихо и упорно боролась с их глупостью, ленью и чванливостью, ни одна вещь не соответствовала эскизам, ничего не было готово. Все это привело к тому, что Марик забыла о диапозитивах. Их подбор она поручила одной молодой особе, для которой — по причине ее общей некомпетентности — не нашлось другой работы. Та горячо взялась за дело и заказала фотографий на десятки тысяч крон, на что никто не обратил внимания. Наконец молчание вокруг диапозитивов показалось мне подозрительным, и я начал разбираться в этом деле. Оказалось, в нашем распоряжении замечательные новые проекционные аппараты и ни одного диапозитива. Катастрофа казалась неминуемой, но нам повезло: нашелся молодой, знавший дело фотограф, горевший желанием помочь: дни и ночи напролет он подбирал мотивы и решал возникавшие технические проблемы. Последние диапозитивы были готовы к генеральной репетиции.

В пятницу 14 марта состоялся первый прогон, спектакль игрался без остановок и повторов. В дневнике я записал: «Не прогон, а насмешка. Сижу и глазею. Ни малейшего сопереживания. Абсолютно бесстрастен. Ну да ладно, время еще есть». (Премьера была запланирована на 17 апреля, в 79-ю годовщину первой премьеры.)

В воскресенье мы с Эрландом[6] сидим у меня в кабинете и разговариваем об Иоганне-Себастьяне Бахе. Маэстро вернулся домой после длительного путешествия, за время его отсутствия умерли жена и двое детей. В его дневнике появляется запись: «Го-

[5] Ларс Хансон (1885—1965) — выдающийся шведский актер театра и кино.

[6] Имеется в виду Эрланд Юсефсон (род. в 1923 г.) — известный шведский актер театра и кино, писатель. Возглавлял Королевский драматический театр в 1966—1975 гг.

споди всеблагой, не дай мне потерять радость».

Всю свою сознательную жизнь я прожил с тем чувством, которое Бах называл радостью. Оно спасало меня в критические моменты и в несчастьях, было мне столь же надежной опорой, как и мое сердце. Порой подавляло, причиняло неудобства, но никогда не бывало враждебной, разрушительной силой. Бах называл это состояние радостью, Божьей радостью. Господи всеблагой, не дай мне потерять радость.

Внезапно я слышу, как говорю Эрланду: «Я теряю радость. Ощущаю это физически. Она ускользает от меня, оставляя после себя болезненную пустоту и влажную оболочку, которая скоро усохнет и исчезнет».

Я заплакал и испугался, потому что давно отвык плакать. В детстве я часто и охотно пускал слезу. Мать, раскусив мою хитрость, стала меня наказывать. Я перестал плакать. Иногда из глубины, со дна колодца до меня доносится безумный вой, всего лишь эхо, он настигает без предупреждения. Безудержно рыдающий ребенок, вечный узник.

В тот сумеречный день в моем кабинете взрыв произошел неожиданно. Меня залила черная жгучая тоска.

Несколько лет назад я навестил своего друга, умиравшего от рака. Разъедаемый изнутри болезнью, он превратился в сморщенного гнома с огромными глазами и колоссальными желтыми зубами. Он лежал на боку, подключенный ко множеству аппаратов, прижимал левую ладонь к лицу и шевелил пальцами. Губы его растянулись в жуткой улыбке, и он проговорил: «Гляди, я еще могу шевелить пальцами, все-таки какое-то развлечение».

Надо приспособиться, сократить линию фронта, битва все равно проиграна, ничего другого ждать не приходится, хотя я и жил в жизнерадостном заблуждении, что Бергману, мол, не грозит разрушение: «Неужели нет никаких скидок, никаких льгот для артистов?» — спрашивает актер Скат в «Седьмой печати», цепляясь за крону Дерева жизни. «Нет никаких льгот для артистов»,— отвечает Смерть и начинает пилить ствол.

В ночь на понедельник у меня поднялась температура. Тело сотрясает лихорадка, пот течет ручьями, каждый нерв бурно протестует. Ощущение необычное. Я почти не болею, иногда плохо себя чувствую, но никогда не бываю болен настолько, чтобы отменить репетицию или съемку.

Десять дней я валяюсь с высокой температурой, даже читать не в силах, лежу и дремлю. Когда же наконец пытаюсь встать с кровати, не могу удержаться на ногах — я так тяжело болен, что это даже интересно. Дремлю, засыпаю, просыпаюсь, кашляю, сморкаюсь. Грипп хозяйничает неутомимо и покидает меня с неохотой: температура скачет. У меня появился шанс — если бросить работу над спектаклем, более подходящего случая не придумаешь.

Мы сделали видеозапись злополучного прогона. Я прокручиваю ее вновь и вновь, отмечаю слабости, анализирую недостатки. Возможность отказаться от постановки дала мне мужество продолжать. Бессмысленность не стала менее бессмысленной, нежелание не превратилось в желание, но меня охватила вырабатывающая адреналин ярость. Я еще не умер.

Решаю начать репетицию 1 апреля, независимо от моего состояния. Накануне ночью повторный приступ болезни с высокой температурой и желудочными спазмами. Тем не менее работа идет нормально, я бракую целые куски и делаю их заново. Актеры отвечают дружеским энтузиазмом. Бессонные ночи заполнены тревогой и физическими недомоганиями, грипп оставил после себя незнакомую мне депрессию, живущую самостоятельной ядовитой жизнью в моем теле.

В среду 9 апреля — последняя репетиция в репетиционном зале. Я записал: «Опасения оправдываются и усиливаются. Идти дальше еще решительнее. Печален, но отнюдь не сломлен».

И вот мы переместились в тесноту и неудобства Малой сцены. Расстояние и резкий рабочий свет безжалостно выявили все неровности спектакля. Исправляем, изменяем. Установка света, грим, костюмы. С таким трудом собранный дом разваливается, все скрипит, трещит, сопротивляется.

Мир сотрясается и рушится, неужто мне и впрямь придется нацепить эту бороду! Если я надену эти брюки поверх других, не успею переодеться, здесь нужна липучка, ты перебрал с белилами. Убийца Пальме все еще на свободе, снегоразбрасыватель неисправен, снег получается комковатый, навеска неудачна, почему у левого софита свет теплее, чем у других, зеркало никуда не годится, производственный брак, в Швеции нет хороших зеркал, надо заказать в Австрии, уличные беспорядки в Южной Африке, четырнадцать человек убито, много раненых, почему шумят вентиляторы, они должны работать бесшумно, вентиляция отвратительная, в середине зала — ледяной сквозняк, почему до сих пор нет ботинок, сапожник болен, мы заказали их в городской мастерской, думаю, в пятницу получим. Можно, я сегодня буду говорить потише, болит горло, нет, температуры нет, в «Ревизоре» я не играю, но у меня выступление по радио. Оставайся там, где стоишь, сделай два шага вправо, хорошо, чувствуешь теперь эту лампу?

Терпение и спокойствие, не ругаться, а смеяться. Так дело идет быстрее, но все равно муторно. Теперь вот это место, нет, ничего не меняем, по-прежнему никакого отзвука, я ведь вижу, как его трясет, словно в судорогах, я в чем-то ошибся? Может, надо было по-другому выстроить мизансцену? Нет, не поможет. Он страстно хочет, изо всех сил колотит в стены тюрьмы, есть же какой-то выход?

Мир сотрясается и рушится, мы — хлопотливо и чуть возбужденно — жужжим в толстых стенах Дома, маленьком мирке тревожного беспорядка, прилежания, нежности и таланта. Мы ведь только на это и способны.

Наутро после убийства Улофа Пальме мы собрались в холле репетиционного зала. Приступить к работе казалось немыслимым. Переговаривались — неуверенно, подыскивая слова, пытаясь нащупать контакт, кое-кто плакал. Диковинным выглядит наше ремесло, когда в него врывается реальная жизнь, не оставляя камня на камне от наших иллюзорных забав. В дни оккупации

Норвегии и Дании Германией мой любительский театр должен был играть «Макбета» в актовом зале школы на Свеавеген. Мы соорудили временную сцену и трудились над спектаклем целый год. В те дни в школе расквартировали воинскую часть, большинство из нас было призвано в армию. Но по какой-то необъяснимой причине нам разрешили сыграть наш спектакль. В школьном дворе были установлены зенитки, полы в коридорах и классах устланы соломой, кругом кишели облаченные с грехом пополам в военную форму солдаты. Светомаскировка.

Я исполнял роль короля Дункана, парик не налезал, я выкрасил волосы в белый цвет жирным гримом и приклеил бороду — никогда ни один Дункан не был так похож на козла. Леди репетировала всегда в очках и потому сейчас то и дело спотыкалась и наступала на подол платья. Макбет фехтовал, как никогда, энергично (мечи мы достали в последнюю минуту) и так хватил по голове Макдуфа, что у того брызнула кровь — и после представления его увезли в больницу.

А теперь вот — убийство Улофа Пальме. Как справиться с охватившей нас растерянностью? Отменить репетицию, отменить вечерний спектакль? Об «Игре снов» придется забыть навсегда. Нельзя же в самом деле сейчас играть пьесу, в которой героиня беспрерывно повторяет: «Как жалко людей». Невыносимо устаревшее произведение искусства, прекрасное, но далекое, возможно уже мертвое.

И тут одна из молодых актрис говорит: «Может, я ошибаюсь, но мне кажется, надо репетировать, надо играть. Тот, кто убил Пальме, хочет, чтобы наступил хаос. Если мы отменим репетицию и спектакль, мы лишь поможем возникновению хаоса, позволим чувствам взять верх. Сейчас главное — не чьи-то личные временные эмоции, а нечто иное. Нельзя допустить хаос».

Медленно, неуверенно «Игра снов» превращалась в спектакль. Мы репетировали в присутствии публики. Иногда зрители были внимательны и увлечены, иногда молчаливы и безразличны. Робкий оптимизм окрасил наши щеки. Коллеги хвалили, мы получали письма и ободряющие отклики.

Последняя неделя репетиций для режиссера почти невыносима. Стимул дальнейших усилий утрачен, от тоски нечем дышать, изъяны бьют в глаза, мозг и чувства точно плотным туманом заволокло холодным влажным равнодушием.

Сон из рук вон: крутится бесконечная карусель неурядиц, интонаций, жестов, перед глазами застыли, словно неподвижные слайды, неудачные световые моменты. Полюбуйся-ка! Ночь длинна и тосклива. Недостаток сна меня не смущает, изматывают переживания: в чем основная ошибка? Может быть, она заложена в самом тексте — в разрыве между гениальными находками и душеспасительными теориями, между суровой красотой и приторным лепетом? Но ведь именно это противоречие, черт бы меня побрал, я и хотел отобразить! Может, игривая пародийность сцены в пещере Фингала кощунственна? Над Титаном нельзя смеяться, даже если смеешься с любовью? Не забыть направить 36-й софит на кровать в комнате Адвоката, а в целом свет в этой сцене удачный, всего несколько ламп — и создано нужное настроение. Свен Нюквист[7] был бы мною доволен. На меня уставились коровы, пасущиеся на худосочном лугу возле кузницы, тучи мух вьются над их мордами, лезут в глаза, малорослая пестрая корова с острыми рогами считается злюкой. Вот идет Хельга, блузка на пышной груди повлажнела, от нее резко пахнет потом и молоком, она смеется, обнажая крупные белые зубы с дырой посередине — дело рук Брюнольфа. В ответ Хельга спустилась на берег реки и потопила его плоскодонку, потом открыла банку анчоусов и спряталась за дверью. Когда Брюнольф пришел на обед, она вдавила банку в лицо законного супруга, вдавила и повернула. Брюнольф задумался. Заново обретя способность видеть, он нахлобучил на голову шляпу с круглой тульей и отправился пешком в Борленге — по лбу и щекам течет кровь, в бороде застряли анчоусы. Он зашел к фотографу Хультгрену и потребовал, чтобы тот сфотографировал его прямо в таком виде — в заляпанном комбинезоне, в шляпе, с раскровавленным носом и свисающими со щек и подбородка анчоусами. Что и было исполнено. Хельга получила фотографию на день рождения. Все, я сплю... и звонит будильник.

Лежу не шевелясь, голова ясная, в душе страх: я способен убить всякого, кто скажет хоть одно дурное слово о моих актерах. Подошел день генеральной репетиции, настало время расставаться. Послезавтра они прочтут газеты, уверяя, что и не думали читать. А уж там их освежуют, намнут бока, похлопают по плечу, превознесут, отчитают, смешают с грязью или вовсе обойдут молчанием. А вечером того же дня им выходить на сцену. И они будут знать, что зрители знают.

Много лет тому назад я видел, как один мой друг стоял в углу за кулисами, одетый и загримированный. Нижняя губа была сжевана до крови, кровь стекала тоненькой струйкой по подбородку, в уголке рта выступила пена. Он тряс головой — не выйду, не выйду. И вышел.

Генеральная репетиция — вечером 24 апреля. Днем у нас сбор труппы, посвященный «Гамлету». За столом множество народу составляет план работы над спектаклем, премьера которого состоится 19 декабря. Я рассказываю им свой замысел: пустая сцена, возможно, два стула, но не уверен. Неподвижный свет, никаких цветных светофильтров, никакого искусственного настроения. К полу, в непосредственной близости к зрителям, приварен круг радиусом 5 метров. На нем и разыгрывается действие. Фортинбрас со своими людьми ломает дверь в задней стене сцены, выходящей на Альмлёфсгатан, ветер задувает на сцену снег, трупы сбрасывают в могилу Офелии, Гамлету воздают почести в презрительно-формальных выражениях, Горацио убивают из-за утла.

В глубине души я взбешен и испытываю желание отказаться от постановки. Несколько месяцев назад я попросил на роль Могильщика Ингвара Чельсона. Сам Чельсон

[7] Свен Нюквист (род. в 1922 г.) — выдающийся шведский кинооператор, был оператором-постановщиком большинства фильмов Бергмана.

ответил согласием. А потом за моей спиной он берет — или ему дают — роль побольше в другом спектакле. Другой, совсем юный актер, у которого еще молоко на губах не обсохло, заявляет, что собирается взять длительный отпуск по уходу за новорожденным ребенком. Третьего у меня забрали по ультимативному требованию приглашенного режиссера. Бесхребетный, но одаренный парнишка не хочет играть Гильденстерна. Молодым, делающим карьеру актерам ненавистна мысль о том, что им придется стоять на сцене рядом с Гамлетом — их ровесником, а то и еще моложе. У них начинаются конвульсии, психосоматические расстройства, они даже вспоминают о своих новорожденных сыновьях. Да и кроме того, быть в дружеских отношениях с Бергманом уже не так важно, он ведь перестал снимать фильмы.

В то же время я все понимаю, ну разумеется, я все прекрасно понимаю, я вообще понятливый: для артиста своя рубашка ближе к телу, он изворачивается и лавирует, размышляет и взвешивает. Я все понимаю и тем не менее взбешен. Помню, как Альф Шёберг[8] собирался меня вздуть, когда я переманил Маргарету Бюстрём из его спектакля «Альцест». Ситуация аналогичная. На похоронах Шёберга член правления театра повернулся к одному актеру, представлявшему труппу, и сказал: «Поздравляю, теперь у вас в Драматене одной режиссерской проблемой меньше». Помню, как мне пришлось уволить Улофа Мулландера. Дай мне, Господи, благоразумия уйти вовремя. Когда наступит это «вовремя»? Может, уже наступило?

В четверг 24 апреля в семь вечера (во всех газетах объявлено, что опоздавшие к началу в зал не допускаются) — наконец-то генеральная! Актеры чуют легкое дуновение успеха, они бодро-беспечны и возбуждены. Я стараюсь разделить их радостные ожидания. Где-то в подсознании я уже отметил провал, и дело вовсе не в том, что я не доволен постановкой, напротив. После всех мытарств — на сцене первоклассный, продуманный и, для наших условий, хорошо сыгранный спектакль. Ни малейшего повода для самобичевания.

И все-таки я уже знаю — наши усилия напрасны.

Спектакль начинается. Звучит до-мажорный сигнал, и я покидаю Малую сцену вместе с директором театра. Только мы выходим на улицу через заднюю дверь, как нас мгновенно тесным кольцом окружают фотокорреспонденты, ослепляя вспышками. Загорелый. Кто-то трогает меня за плечо и говорит, что я обязан его впустить, он опоздал на десять минут, не имеет возможности посмотреть спектакль в другой раз, пытался уговорить билетеров, но они, как им и было приказано, были непреклонны. Я едко отвечаю нахалу, что у меня нет ни возможности, ни желания помочь ему, сам виноват. После чего узнаю в нем редактора отдела культуры «Свенска дагбладет», который к тому же театральный критик. Я добавляю с натянутой улыбкой: мол, он должен понимать и отнестись с уважением к нашим правилам. Одновременно у меня возникает непреодолимое искушение наброситься на него с кулаками — он, считающий себя профессионалом, позволяет себе опаздывать! И к тому же настолько бестактен, что требует от режиссера сегодняшнего спектакля впустить его. Критик удаляется. Директор театра, предчувствуя длительное преследование на культурной странице «Свенска дагбладет», бежит за рассерженным редактором и проводит его в зал.

Этот незначительный эпизод окончательно убедил меня в безнадежном исходе. Язва и бегство первого сценографа, беременность Лены Улин, вынужденные решения, неудачный прогон в середине репетиционного периода, мой грипп с последующей депрессией, технические незадачи, распределение ролей в «Гамлете», оскорбленный редактор отдела культуры и вдобавок убийство Пальме — событие, из-за которого наша работа предстанет, временно или навсегда, в совершенно ином свете. Все это вместе взятое, как большое, так и малое, привело к ясному осознанию ситуации, я знал, что будет дальше.

После генеральной мы собрались в одном из новых репетиционных залов над Малой сценой. Пили шампанское, закусывая бутербродами. Настроение приподнятое, но с налетом грусти. Трудно расставаться после длительного и тесного общения. Я испытываю бессильную нежность ко всем этим людям. Пуповина перерезана, а тело еще корчится от боли. Обсуждаем фильм Вайды «Дирижер», где он доказывает, что музыка немыслима без любви. В едином порыве мы признаем, что театр без любви в принципе возможен, но это — мертвый театр, он не способен жить и дышать. Без любви нельзя. Без тебя нет меня. Конечно, мы видели блестящие постановки, выросшие из вакхической ненависти, но ненависть ведь тоже прикосновение, любовь и ненависть одинаково проницательны. И мы, подумав, приводим примеры.

Горят, мерцают на столе свечи, капает стеарин. Время расставаться. Объятия и поцелуи, словно прощаемся навсегда. Черт побери, завтра же снова встретимся, говорим мы и смеемся. Завтра премьера.

Впервые за всю свою профессиональную жизнь я переживал неудачу дольше сорока восьми часов. Обычно можно утешаться аншлагами. Посещаемость сорока спектаклей на Малой сцене была неплохая, но недостаточная. Бессмысленность скалит зубы! Столько усилий, боли, волнений, тоски, надежд — и все напрасно. Без всякой пользы.

* * *

Дача в Даларна называлась Воромс, на диалекте Орса это значит «наша». Я попал туда в первый месяц своей жизни, но в воспоминаниях живу там до сих пор. Вечное лето, шумит огромная раздвоенная береза, дрожит от жары воздух над горной грядой, на террасе двигаются люди в легких светлых одеждах, окна распахнуты настежь, кто-то играет на рояле, катится крокетный шар, вдалеке на станции Дуфнэс

[8] Альф Шёберг (1903—1980) — выдающийся шведский актер и режиссер, известный своими блестящими постановками классики (Шекспир, Мольер, Стриндберг) на сцене Королевского драматического театра. Из фильмов наибольшее признание получил фильм «Фрёкен Жюли» (1951).

гудит товарняк, переходя на другой путь, река отливает таинственной чернотой даже в самые светлые дни, плывут по течению бревна, то неспешно, то быстро крутясь в воде, пахнет ландышами, муравейниками и телячьим жарким. Коленки и локти у детей в ссадинах, мы купаемся в реке или в Черном озере и рано овладеваем искусством плавания, поскольку и там и тут резко уходящее вниз глинистое дно и неожиданная бездонная глубина.

Мать наняла няньку — девушку из местных. Ее звали Линнеа, она была милая, немного молчаливая, но добрая и привыкла ухаживать за малышами. Мне было шесть лет, и я обожал ее веселую улыбку, белую кожу и пышные рыжеватые волосы. Я слушался любого ее слова и нанизывал на соломинку ягоды земляники, стараясь ей угодить. Она прекрасно плавала и научила плавать меня. Когда мы с ней купались вдвоем, без свидетелей, она не надевала свой черный несуразный купальник, что я очень ценил. Она была высокая, худая, с широкими веснушчатыми плечами, маленькой грудью и огненно-рыжими волосами на лобке. Никогда я столько не купался, как в то лето,— вылезал из воды, стуча зубами, с синими губами, и мы грелись, сидя в палатке, которую Линнеа мастерила из купальной простыни.

Как-то сентябрьским вечером, незадолго до нашего отъезда в Стокгольм, я зашел на кухню. Линнеа сидела за кухонным столом, не зажигая керосиновой лампы. Перед ней стояла чашка кофе. Поддерживая ладонью голову, она рыдала — судорожно, но беззвучно. Я перепугался, бросился ей на шею, но она оттолкнула меня. Такого раньше никогда не случалось, и я тоже заплакал — мне уже и до того было грустно. Мне хотелось, чтобы она перестала плакать и утешила меня. Но она этого не сделала. Она не обращала на меня внимания.

Через несколько дней мы уехали из Воромса в Стокгольм. Линнеа с нами не поехала. Я спросил маму, почему Линнеа не едет с нами, как в прежние годы. Ответ был уклончивый.

Сорок лет спустя я поинтересовался у матери, что произошло с Линнеа. Я узнал, что девушка забеременела, отец ребенка отрицал свое отцовство. А так как семья пастора не могла держать беременную прислугу, отец был вынужден ее расчитать, невзирая на горячие протесты матери. Бабушка собиралась вмешаться и помочь девушке, но та исчезла. Через два-три месяца ее нашли у железнодорожного моста с размозженным черепом. Полиция пришла к выводу, что она разбилась, бросившись с моста.

Железнодорожная станция Дуфнэс состояла из красного станционного домика с белыми угловыми венцами, уборной, на которой было написано «Мужчины» и «Женщины», двух семафоров, двух стрелок, товарного склада, каменного перрона и погреба, на крыше которого росла земляника. Главная колея, огибая гору Юрму, проходила мимо Воромса, видимого со станции. В двухстах — трехстах метрах к югу мощной дугой шла излучина реки, опасное место — оно называлось Гродан,— с глубокими водоворотами и острыми выступающими камнями. Над излучиной вздымался железнодорожный мост с узкой пешеходной дорожкой с правой стороны. Ходить по мосту было запрещено. Но никто не обращал внимания на запрет, потому что это был самый короткий путь к богатому рыбой Черному озеру.

Начальника станции звали Эрикссон. Уже двадцать лет он жил в станционном домике со своей женой, страдавшей базедовой болезнью, а в деревне его все еще считали новоселом и потому относились с подозрением. Дядю Эрикссона окружало множество тайн.

Бабушка позволяла мне ходить на станцию. И хотя у дяди Эрикссона разрешения не спрашивали, он обращался со мной рассеянно-дружелюбно. В конторе у него пахло трубочным табаком, на окнах жужжали сонные мухи, время от времени стучал телеграфный аппарат, выпуская из себя узкую ленту, испещренную точками и тире. Дядя Эрикссон сидел, склонившись над столом, и что-то писал в черных тетрадях или сортировал накладные. Иногда кто-нибудь в зале ожидания колотил в окошко и покупал билет до Репбеккен, Иншён или Борленге. Царивший там покой был как сама вечность и уж наверняка достоин того же уважения. Я не нарушал его ненужной болтовней.

Но вот все-таки звонит телефон, короткое сообщение: поезд из Крюльбу вышел на Лэннхеден, дядя Эрикссон что-то бормочет в ответ, надевает форменную фуражку, берет красный флажок, взбирается на пригорок и поднимает южный семафор. Кругом ни души. Палящее солнце накаляет стену склада и рельсы, пахнет смолой и железом. Вдалеке у моста журчит река, горячий воздух дрожит над замасленными шпалами, блестят камни. Тишина и ожидание, изуродованная кошка дяди Эрикссона устроилась на дрезине.

От изгиба дороги перед Длинным озером просигналил паровоз, вдали черным пятном на сплошном зеленом фоне показался поезд, сперва почти беззвучно, гул быстро нарастает, поезд уже пересекает реку, гул усиливается, заскрежетала стрелка, содрогается земля, паровоз мчится мимо перрона, ритмично выпуская из трубы клубы дыма, свистит ветер, стучат на стыках колеса, земля ходит ходуном. Дядя Эрикссон отдает честь машинисту, тот отвечает на приветствие. Через мгновение гул затихает, поезд уже огибает Воромс, вот он скрылся в горе, вот вскрикнул у лесопильни. И опять воцаряется тишина. Дядя Эрикссон крутит ручку телефона и говорит: «Из Дуфнэса два тридцать три». Тишина полнейшая, даже мухи не осмеливаются жужжать на стекле. Дядя Эрикссон удаляется на второй этаж обедать и вздремнуть до того, как прибудет идущий на юг товарный — где-то между четырьмя и пятью. Этот товарный не отличался точностью, ибо почти на каждой станции заменял вагоны.

Неподалеку от станции стоит кузница. Ее владелец похож на монгольского хана. Он женат на все еще красивой, но сильно потрепанной жизнью жещине по имени Хельга. Они со всеми своими многочисленными детьми ютятся в двух комнатушках над кузницей. Там — беспорядок и доброжелательность. Мы с братом охотно играем с детьми кузнеца. Хельга кормит грудью младшенького. После того как малыш насытится, она зовет другого сына, моего ровесника: «Йонте, иди сюда, попей». Я с завистью в сердце смотрю, как мой друг становится между материнскими коленями, она протягивает ему свою тяжелую грудь, он наклоняется и начинает жадно сосать. Я спрашиваю, можно ли мне тоже попробовать, но Хельга, смеясь, говорит, что мне надо сначала попросить разрешения у фру Окерблум, то есть у бабушки. Я со стыдом сознаю, что переступил границы одного из этих непонятных правил, которые все в большем количестве скапливаются на моем пути.

Моментальные фотографии! Лежу в кровати с высокими спинками, вечер, горит ночник. Я сладострастно мну в руках колбаску — она мягкая, принимает любую форму, вкусно пахнет. Неожиданно я бросаю ее на пол и громко и настойчиво зову Линнеа, няньку. Дверь открывается, входит отец — большая, черная фигура, освещенная светом, льющимся из холла. Он показывает на колбаску и спрашивает, что это такое. Я поднимаю на него глаза, сердце готово выскочить из груди, и говорю, что, по-моему, там ничего нет. Следующая сцена: получив хороший шлепок, я реву, сидя на горшке посередине комнаты. Горит верхний свет, Линнеа сердито перестилает мою постель.

Тайны. Внезапные мгновения тишины. Неясные физические недомогания. *Это* и есть муки совести? — как спрашивает Дочь Индры в «Игре снов». Что я сделал? — спрашиваю я в ужасе. Ты знаешь сам,— отвечает Властьпредержащая. Конечно, я согрешил, всегда существует какой-нибудь необнаруженный проступок, грызущий душу. Подглядывали около отхожих мест. Стащили изюм из шкафчика со специями. Купались совсем рядом с водоворотами у железнодорожного моста. Украли мелочь из отцовского пальто. Осквернили имя Божие, заменив его на дьявола благословляющего: дьявол, благослови нас и спаси нашу душу, дьявол, обрати к нам свой лик и трахни нас. «Мы» — это мой брат и я, временами объединявшиеся для совместных акций, но чаще разделенные едкой ненавистью. Даг считал, что я врал, выворачивался и избегал наказания. К тому же еще и избалован, ибо был любимчиком отца. Я же полагал, что брат, который был на четыре года старше, пользуется несправедливыми преимуществами: его не загоняли в постель так рано, он ходил на фильмы, на которые не пускали детей, и мог вздуть меня когда вздумается. А то обстоятельство, что он постоянно вызывал ревнивое неудовольствие отца, я понял значительно позже.

Ненависть между братьями чуть было не привела к братоубийству. Даг дал мне хорошую взбучку, я решил отомстить. Чего бы это ни стоило!

Взяв в руки тяжелый стеклянный графин, я взобрался на стул, спрятавшись за дверью нашей с ним общей комнаты в Воромсе. Когда брат открыл дверь, я со всей силой ударил его по голове. Графин разлетелся на мелкие кусочки, брат упал, кровь хлестала из зияющей раны. Месяц или два спустя он набросился на меня без всякого предупреждения и выбил два передних зуба. В ответ я поджег его кровать, когда он спал. Огонь погас сам по себе, враждебные действия временно приостановились.

Летом 1984 года мой брат со своей женой-гречанкой приехали погостить к нам на Форё. Ему было шестьдесят девять лет, он был генеральный консул в отставке. Несмотря на тяжелый паралич, он до конца неустанно выполнял свои служебные обязанности. Теперь он мог лишь двигать головой, прерывисто дышал, говорил неразборчиво. Мы проводили время в воспоминаниях о нашем детстве.

Он помнил гораздо больше меня, рассказывал о своей ненависти к отцу и сильной привязанности к матери. Для него они по-прежнему оставались родителями, мифическими существами, прихотливыми, труднодоступными, которых он явно переоценивал. Мы ощупью пробирались по заросшим тропинкам, ошарашенно глядя друг на друга: непреодолимое расстояние разделяло двух пожилых людей, вышедших из одного чрева. Наша взаимная антипатия испарилась, оставив после себя пустоту, где не было места контакту, общности. Брат хотел смерти и в то же время боялся умереть, бешеное желание жить заставляло работать его легкие и сердце. Кроме того, как он обронил, покончить с собой не было возможности, ибо руки у него парализованы.

Сильный, дерзкий, умный человек, любивший рисковать, не уклонявшийся от военных опасностей, умевший наслаждаться жизнью, рыбак, обожавший лесные прогулки, бесцеремонный, эгоистичный, обладавший чувством юмора. Всегда заискивавший перед отцом, несмотря на ненависть. Привязанный к матери, несмотря на все попытки вырваться на свободу и мучительные конфликты.

Мне понятна болезнь брата: он парализован яростью, парализован двумя подавляющими его сумеречными фигурами, удушающими, неуловимыми — отцом и матерью. Может, следует добавить, что он питал полнейшее презрение к искусству, психоанализу, религии и вообще к духовности. Он был насквозь рациональным человеком, знал семь языков, из книг предпочитал исторические сочинения и биографии политических деятелей. И еще он диктовал на магнитофон свои мемуары. Я отдал перепечатать этот материал. Получилось восемьсот страниц, выдержанных в сухом, ироничном, академическом тоне.

Правда, за несколькими исключениями. Просто и прямо рассказывает он о жене, есть страницы, посвященные матери. В остальном же — поверхностность, сарказм, лицемерное безразличие: жизнь как неинтересное приключение. На этих восьмистах страницах нет ни строчки о болезни, он никогда не жаловался, но свою судьбу презирал. Боли, физическое унижение переносил со злобным нетерпением и приложил максимум стараний быть настолько неприятным, чтобы никому и в голову не пришло выражать ему свое сочувствие.

Свое семидесятилетие он отпраздновал в посольстве в Афинах. Он был очень слаб, жена считала, что надо отменить празднество. Он отказался и произнес блестящую речь в честь гостей. Вскоре его увезли в больницу, где применили неправильное лечение, и он умер после нескольких затяжных приступов удушья. Он был все время в сознании, но говорить не мог, потому что ему сделали свищ в горле. И умер в ярости от своей немоты, от невозможности высказаться.

С моей младшей сестрой, Маргаретой, мы жили довольно дружно. И хотя она была на четыре года моложе, я охотно играл с ней в куклы, разыгрывая сложные представления в ее кукольном шкафу. На фотографии из семейного альбома я вижу крохотное кругленькое существо с белесыми волосами и расширенными от ужаса глазами. Она была сама чувствительность — от нежного рта до нерешительных рук. Родители — и отец и мать — ее обожали, и она пыталась быть достойной этой любви, пыталась быть тем ласковым, нежным ребенком, который вознаградил бы их за мучения с обоими трудноуправляемыми сыновьями.

Мои детские воспоминания о Маргарете бледны и расплывчаты. Мы построили кукольный театр, она сшила костюмы, я нарисовал декорации. Мать — терпеливая и заинтересованная зрительница — подарила нам красивый вышитый бархатный занавес. Мы играли мирно и тихо, я чувствовал себя намного лучше в ее обществе, чем в обществе брата. Не думаю, чтобы мы когда-нибудь с ней дрались или ругались.

Одно лето, когда мне было одиннадцать лет, а сестре — семь, мы проводили в Лонгэнген недалеко от Стокгольма. Матери сделали тяжелую операцию, и она уже несколько месяцев лежала в больнице Софияхеммет. Отец пожелал, чтобы мы находились поблизости, поэтому на время наняли кроткую домоправительницу, которая, вообще-то, была учительницей младших классов. Мы с сестрой по большей части были предоставлены сами себе. Помимо виллы в усадьбе имелась также старая купальня, клонившаяся к воде. Купальня состояла из раздевалки и бассейна без крыши. Там мы пропадали часами, играя в нани слегка приправленные чувством греха игры. Неожиданно, без объяснений или допросов, нам запретили ходить одним в купальню.

Маргарету все больше стали затягивать ее отношения с родителями, и мы отдалились друг от друга. В девятнадцать лет я сбежал из дому. С тех пор мы практически не встречались. Маргарета утверждает, будто она однажды показала мне какое-то свое сочинение, которое я по юношескому недомыслию раскритиковал в пух и в прах. Сам я этого не помню. Теперь она время от времени пишет книги. Если я правильно понимаю ее произведения, жизнь ее, очевидно, была адом. Иногда мы говорим с ней по телефону, как-то неожиданно встретились на концерте. Ее измученное лицо и странный бесцветный голос напугали меня и привели в дурное расположение духа.

Порой у меня появляются мимолетные угрызения совести, когда я думаю о своей сестре. Она начала писать тайно от всех, никому не разрешая познакомиться с написанным. В конце концов, набравшись мужества, дала почитать мне. Я сам пребывал в растерянности: ко мне отнеслись благожелательно как к молодому многообещающему режиссеру и смешали с грязью как писателя. Писал я плохо, манерно, подражая Яльмару Бергману и Стриндбергу. И, обнаружив тот же неестественный, натужный стиль у сестры, я пригвоздил к столбу ее опыты, не сознавая, что для нее это был единственный способ излить душу. По ее собственным словам, она бросила тогда писать. Чтобы наказать меня или себя или потому, что пала духом, не знаю.

* * *

Решение отложить в сторону кинокамеру было лишено драматизма и созрело во время работы над фильмом «Фанни и Александр». То ли тело взяло верх над душой, то ли душа повлияла на тело, не знаю, но только справляться с физическими недугами становилось все труднее.

Летом 1985 года у меня возникла близкая моему сердцу — как мне казалось — идея. Мне хотелось вернуться к принципам немого кино, сделать большие куски фильма без диалога и акустических эффектов, я увидел — наконец-то! — возможность порвать со своими разговорными фильмами.

Я немедленно засел за сценарий. На меня, выражаясь мелодраматически, еще раз снизошла благодать, во мне горело желание творить. Дни были заполнены тем тайным наслаждением, которое является признаком добротного творческого воображения.

После трех недель плодотворной работы я тяжело заболел. Организм отреагировал судорогами и нарушением равновесия. Я был точно отравлен, растерзан страхом и презрением к своему жалкому состоянию. Я понял, что никогда больше не сделаю ни одного фильма, мое тело отказалось мне помогать, непрерывное напряжение, связанное с работой в кино, было уже немыслимо, отошло в прошлое. И я спрятал подальше свой сценарий о рыцаре Финне Комфусенфейе[9], том самом, кто «из

[9] Финн Комфусенфей — герой старинной шведской детской баллады.

дома в дом ходит и помощь везде находит», о безымянном режиссере немого кино, фильмы которого — множество наполовину испорченных пленок в жестяных коробках — находят во время ремонта в подвале загородной виллы. В уцелевших кадрах прослеживается какая-то смутная взаимосвязь, специалист в области немого кино пытается по губам актеров расшифровать их реплики. Кадры пускают в разной последовательности, каждый раз получая разные сюжетные ходы. В дело вовлекается все больше людей, оно разрастается, разбухает, требует все больше денег, выходит из-под контроля. В один прекрасный день все сгорает — и нитратные оригиналы, и ацетатные копии, сгорает дотла целый каземат. Всеобщее облегчение.

Всю жизнь я страдал так называемым желудочным неврозом — курьезная и в то же время унизительная напасть. Мои внутренности пакостили мне с неисякаемой, зачастую изощренной изобретательностью. Школьные годы были из-за этого сплошным мучением, ибо я не мог предугадать, когда начнется приступ. Внезапно наложить в штаны — травма для любого, и достаточно еще двух-трех подобных происшествий, чтобы навек потерять покой.

С годами я терпеливо научился справляться с этим недугом в такой степени, что могу работать без явных помех. Но это — как если бы у тебя внутри, в самом чувствительном месте поселился зловредный демон. С помощью строгих ритуалов я умею держать его под контролем. Особенно подорвало его власть одно принятое мною решение — хозяин своим действиям я, а не он.

Никакие лекарства не помогают, потому что они либо одурманивают, либо начинают действовать слишком поздно. Один умный врач посоветовал мне примириться и приспособиться. Что я и сделал. Во всех театрах, где я работал подолгу, в мое распоряжение был предоставлен отдельный туалет. Эти туалеты и останутся, вероятно, моим непреходящим вкладом в историю театра.

Итак, создается впечатление, будто живущему во мне демону все-таки удалось одержать победу над моим желанием снимать фильмы. Но это вовсе не так. Уже около двадцати лет меня мучает хроническая бессонница. Страшного в этом ничего нет, человек может обходиться гораздо менее продолжительным сном, чем это принято думать, мне, во всяком случае, вполне хватает пяти часов. Изнуряет другое — ночь делает человека легко ранимым, смещает перспективы; лежишь и прокручиваешь дурацкие или унизительные ситуации, терзаешься раскаянием за необдуманные или преднамеренные гадости. Частенько по ночам слетаются ко мне стаи черных птиц: страх, бешенство, стыд, раскаяние, тоска. Для бессонницы тоже существуют свои ритуалы: поменять кровать, зажечь свет, почитать книгу, послушать музыку, съесть печенье и шоколадку, выпить минеральной воды. Вовремя принятая таблетка валиума дает иногда превосходный эффект, но она же может привести к роковым последствиям — раздражительности и усилившемуся чувству страха.

Третья причина моего решения — надвигающаяся старость, явление, по поводу которого я не испытываю ни сожаления, ни радости. Тяжелее стало преодолевать возникающие проблемы, больше возни с мизансценами, медленнее принимаются решения, непредвиденные практические трудности буквально парализуют меня.

Накопившаяся усталость выражается в растущем педантизме. Чем сильнее утомление, тем сильнее недовольство: чувства обострены до предела, я повсюду вижу провалы и ошибки.

Придирчиво перебирая свои последние фильмы и постановки, я тут и там обнаруживаю крохоборческое, убивающее жизнь и душу стремление к совершенству. В театре опасность не так велика, там я имею возможность подкараулить погрешности или в крайнем случае меня поправят актеры. В кино — все бесповоротно. Ежедневно — три минуты готового фильма, которые должны жить, дышать, быть произведением искусства. Порой я отчетливо, почти физически ощущаю в себе глухо ворочающееся допотопное чудовище — наполовину животное, наполовину человека,— готовое в любую минуту вылезти наружу: однажды утром у меня на языке появится отвратительный привкус его жесткой бороды, тело мое задрожит от подергивания его слабых членов, я услышу его дыхание. Я чувствую наступление сумерек, но это не смерть, а угасание. Иногда мне снится, будто у меня выпадают зубы и я выплевываю изо рта желтые крошащиеся огрызки.

Я ухожу до того, как мои актеры и сотрудники заметят это чудовище и преисполнятся отвращением или сочувствием. Слишком часто я видел своих коллег, погибавших на манеже,— они умирали, словно усталые шуты, замученные собственной тоскливостью, под свист или вежливое молчание зрителей, и униформа — участливо или с презрением — выносила их из-под лучей прожекторов.

Я беру свою шляпу, ибо пока еще достаю до верхней полки, и ухожу сам, хотя и болит бедро. Творческая активность старости — вещь отнюдь не очевидная. Она периодична и случайна, приблизительно так же, как и тихо угасающая чувственность.

Выбираю один съемочный день в январе 1982 года. Судя по моим записям, на улице холодно, минус двадцать. Я просыпаюсь, как обычно, в пять утра или, вернее, какой-то зловредный дух будит меня, выталкивает, точно по спирали, из глубокого сна, голова ясная. Чтобы предупредить истерию и вредительские действия своих внутренностей, я немедленно поднимаюсь с кровати и несколько секунд неподвижно стою на полу с закрытыми глазами. Проверяю положение дел на сегодня: в каком состоянии тело и душа и прежде всего — что предстоит сделать. Отмечаю, что у меня заложен нос (воздух пересушен), боль в левом яичке (вероятно, рак), болит тазобедренный сустав (старая болячка), звенит в больном ухе (неприятно, но можно не обращать

внимания). Далее устанавливаю, что истерика под контролем, страх перед желудочными спазмами умеренный, сегодня предстоит работа над сценой Измаила и Александра, и я опасаюсь, как бы вышеупомянутая сцена не оказалась за пределами возможностей моего юного и храброго исполнителя главной роли. Мысль же о том, что скоро я буду работать со Стиной Экблад, вызывает радостное предвкушение. На сем первая проверка завершается, она дала небольшой положительный перевес: если Стина оправдает мои ожидания, я справлюсь с Бертилем — Александром. Я уже наметил два стратегических варианта: один — с равноценными артистами, другой — с основным и вспомогательным.

Теперь главное — спокойствие, успокоиться.

В семь часов мы с Ингрид завтракаем в дружеском молчании. Желудок пока ведет себя тихо, на пакости ему осталось сорок пять минут. В ожидании его действий я прочитываю утренние газеты. Без четверти восемь за мной приезжают и отвозят в съемочный павильон А/О Эурупафильм в Сюндбюберге.

Эта когда-то пользовавшаяся хорошей репутацией студия сейчас находится в стадии запустения. Занимаются там в основном производством видеофильмов, а персонал, оставшийся со времен кино, растерян и обескуражен. Сама киностудия представляет собой грязное, требующее ремонта помещение с никудышной звукоизоляцией. Аппаратной, оборудованной на первый взгляд с вызывающей улыбку роскошью, пользоваться нельзя. Проекторы никуда не годятся, резкость не держат, остановить кадр невозможно, звук плохой, вентиляция не работает и ковер в пятнах.

Ровно в девять часов мы приступаем к съемкам. Очень важно начать работу вовремя, всем вместе. Споры, сомнения должны быть вынесены за пределы этого внутреннего пространства полной концентрации. С момента начала съемок мы — сложный, но единый механизм, имеющий своей задачей создание живых картин.

Работа быстро входит в налаженный ритм, царит искренняя и безыскусно-доверительная атмосфера. Единственно, что мешает нам в этот день,— звукопроницаемость и отсутствие уважения к красным сигнальным лампочкам в коридорах у тех, кто находится вне стен съемочного павильона. В остальном день приносит робкую радость. Уже с первой минуты чувствуется, насколько поразительно Стина Экблад постигает суть образа обиженного судьбой Измаила. Самое же замечательное в том, что Бертиль — Александр сразу уяснил ситуацию и с трогательной, присущей лишь детям неподдельностью выражает сложное состояние любопытства и страха.

Репетиции идут легко, без задержек, настроение — умиротворенно-приподнятое, творческая фантазия бьет ключом, чему во многом способствуют декорации, созданные Анной Асп, и свет, установленный Свеном Нюквистом с той непередаваемой интуицией, которая отличает его ото всех остальных и делает одним из лучших, если не лучшим, в мире мастеров по свету. На вопрос, как ему это удается, он обычно перечисляет несколько основных правил (весьма пригодившихся мне в театре). Главный же свой секрет он не хочет — или не может — открыть. Если ему почему-то кажется, будто ему мешают, подгоняют или просто у него плохое настроение, все идет наперекосяк, и ему приходится начинать сначала. У нас было с ним полное доверие и взаимопонимание. Иногда мне становится грустно от мысли, что нам не придется больше работать вместе. Особенно, когда я вспоминаю такой день, как этот. Я испытываю чувственное удовольствие, работая бок о бок с сильными, самостоятельными, творческими людьми: актерами, техниками, электриками, администраторами, реквизиторами, гримерами, костюмерами — одним словом, всеми теми, кто заполняет день и помогает его прожить.

Временами я остро тоскую по всем и всему. Я понимаю, что имеет в виду Феллини, утверждая, что для него работа в кино — образ жизни. Понимаю и рассказанную им историю про Аниту Экберг. Последняя сцена с ее участием в «Сладкой жизни» снималась в студии, в автомобиле. После завершения съемок, что для нее означало вообще конец работы в этом фильме, она заплакала и, вцепившись в руль, отказалась вылезать из машины. Пришлось, применив некоторое насилие, вынести ее из студии.

Иной раз профессия кинорежиссера доставляет особенное счастье. В какой-то миг на лице артиста появляется неотрепетированное выражение, и камера запечатлевает его. Именно это случилось сегодня. Неожиданно Александр сильно бледнеет, и лицо его искажается от боли. Камера регистрирует это мгновение. Выражение боли — неуловимой боли — продержалось всего несколько секунд и исчезло навсегда, его не было и раньше, во время репетиций, но оно осталось зафиксированным на пленке. И тогда мне кажется, что дни и месяцы предугадываемой скрупулезности не пропали даром. Быть может, я и живу ради вот таких кратких мгновений.

Шел 1944 год. Я назначен руководителем Городского театра Хельсингборга. До этого я уже довольно долго работал обработчиком сценариев в «Свенск фильминдустри» (СФ) и по моему сценарию был снят фильм[10]. Я считался человеком одаренным, но с трудным характером. Между СФ и мною был заключен своеобразный «контракт на право обладания», который, не давая мне никаких экономических выгод, препятствовал моему сотрудничеству с другими кинокомпаниями. Но риск был невелик. Несмотря на определенный успех «Травли», мною никто кроме Лоренса Мармстедта[11] не интересовался. Тот же звонил мне время от времени и любезно-издевательским тоном спрашивал, сколь долго я еще буду

[10] «Травля». 1943, режиссер — Альф Шёберг.

[11] Лоренс Мармстедт (1908—1966) — известный шведский продюсер.

привязан к СФ и стоит ли овчинка выделки, говорил, что я там наверняка сгнию, зато он, Лоренс, смог бы сделать из меня приличного кинорежиссера. Я пребывал в нерешительности, на меня давили авторитеты, и я решил все-таки остаться у Карла Андерса Дюмлинга[12], относившегося ко мне по-отечески и чуть-чуть снисходительно.

Однажды на мой стол легла пьеса. Она называлась «Maderdyret» [12] и была написана одним легковесным датским сочинителем. Дюмлинг предложил мне сделать по этой пьесе сценарий. Если сценарий будет одобрен, я получу возможность поставить свой первый фильм. Я прочитал пьесу—она показалась мне ужасной. Но я был готов снимать фильм хоть по телефонному каталогу. За четырнадцать дней написал сценарий и получил «добро». От радости я несколько помешался и потому, естественно, не сознавал реального положения вещей. В результате чего очертя голову падал во все ямы, вырытые мною самим и другими.

Киногородок в Росунде представлял собой фабрику, производившую в 40-х годах от двадцати до тридцати фильмов в год. Там было в достатке всего — профессионализма и ремесленных традиций, рутины и богемы. Работая сценаристом-«негром», я немало времени провел в студиях, киноархиве, лаборатории, монтажной, отделе звукозаписи и кафе и поэтому довольно прилично знал и помещения и людей. К тому же я был горячо убежден, что вскоре заявлю о себе как о лучшем режиссере мирового кино.

Одного я лишь не знал — по моему сценарию планировалось сделать дешевый второразрядный фильм, в котором можно было занять главным образом актеров, работавших в кинокомпании по контракту. После долгих нудных уговоров мне разрешили снять пробный фильм с Интой Ландгре́ и Стигом Улином. Оператором был Гуннар Фишер. Мы с ним были ровесниками, оба преисполнены энтузиазма и хорошо сработались. Пробный фильм получился длинным. Мое воодушевление после просмотра не знало границ. Я позвонил жене, оставшейся в Хельсингборге, и в диком возбуждении заорал в трубку, что, мол, теперь время Шёберга, Муландера и Дрейера кончилось, идет Ингмар Бергман.

Воспользовавшись бившей из меня фонтаном самоуверенностью, Гуннара Фишера мне заменили Ёстой Рууслинтом—покрытым шрамами самураем, известным своими короткометражками, в которых демонстрировались небесные просторы и красиво освещенные облака. Он был типичным документалистом и практически никогда не работал в студии. В установке света разбирался плохо, презирал игровое кино и очень не любил снимать в помещении. Мы невзлюбили друг друга с первого взгляда. А поскольку мы оба чувствовали себя не слишком уверенно, то прятали эту неуверенность за сарказмами и дерзостью.

Первые съемочные дни («Кризиса») были кошмарным сном. Я весьма скоро уяснил, что попал в машину, с которой мне не совладать. Понял и то, что Дагни Линд, которой я скандалами добился на главную роль, не киноактриса и не обладает нужным опытом. С леденящей душу четкостью я осознал, что все видят мою некомпетентность. На их недоверие я отвечал оскорбительными вспышками ярости.

Результат наших усилий оказался прискорбным. Вдобавок из-за дефекта в кинокамере часть сцен была снята не в фокусе. Звук тоже был некачественный, разобрать реплики актеров можно было лишь с большим трудом.

За моей спиной шла активная деятельность. По мнению руководства студии, следовало либо прекратить съемки вообще, либо сменить режиссера и исполнительницу главной роли. Мы надрывались уже три недели, когда я получил письмо от Карла Андерса Дюмлинга, находившегося в то время в отпуске. Он писал, что посмотрел отснятый материал и считает его перспективным, несмотря на все недостатки. И предложил начать сначала. Я с благодарностью принял предложение, не заметив западни, крышка которой пока еще выдерживала вес моего истощенного тела.

На моем пути стал — как бы случайно — попадаться Виктор Шёстрём. Он цепко хватал меня за затылок, и так мы прогуливались по асфальтовой площадке возле студии. По большей части мы молчали, но внезапно он начинал говорить, просто и понятно:

— У тебя чересчур запутанные мизансцены, ни тебе, ни Рууслингу такие сложности не под силу. Работай проще. Снимай актеров спереди, они это любят, будет намного лучше. Не ругайся на своих сотрудников, их это только злит, и они хуже работают. Не старайся сделать каждый кадр главным, зритель подавится. Проходные сцены и надо делать как проходные, хотя они необязательно должны смотреться проходными.

Мы кружили по асфальту, туда и обратно. Шёстрём, не снимая руки с моего затылка, говорил конкретные, дельные вещи, спокойно, без раздражения, хотя я был весьма нелюбезен.

Лето стояло жаркое. Тягостно и безрадостно тянулись дни под стеклянной крышей студии. Я снимал комнату в Старом городе. Приходя домой, я валился на кровать, парализованный стыдом и страхом. В сумерках отправлялся в молочный бар ужинать. Потом шел в кино, всегда в кино, смотрел американские фильмы и думал: «Вот этому мне нужно научиться, этот ракурс совсем простой. Рууслинг, пожалуй, справится. А здесь интересный монтаж, надо запомнить».

По субботам я напивался, прибивался к дурным компаниям, затевал ссоры и драки, меня вышвыривали на улицу. Как-то раз приехала жена, она была беременна, мы поругались, она уехала. А еще я читал пьесы, готовя репертуар будущего сезона в Городском театре Хельсингборга.

Нам предстояли съемки в Хедемуре. Почему из всех возможных мест я выбрал

[12] Карл Андерс Дюмлинг (1898—1961) — с 1942 г. возглавлял «Свенск фильминдустри».

именно этот городишко, сказать не могу. Возможно, у меня была смутная потребность похвастаться перед родителями, которые то лето проводили в Вороисе, расположенном на несколько десятков километров севернее. Мы пустились в путь. В те годы это напоминало сафари: автомобили, аппаратура, тон-вагены, люди. Мы разместились в Городской гостинице Хедемуры.

И тут произошло следующее.

Погода резко переменилась. Зарядили дожди, нудные, безнадежные. Руусланг, наконец-то вырвавшийся на натуру, вместо интересных облаков видел серое свинцовое небо. Он сидел у себя в комнате, пил и отказывался снимать. Я тоже вскоре понял, что там, в студии, руководитель я, конечно, никудышный, ну а уж здесь, в дождливой Хедемуре, я совсем пропал.

Большинство членов съемочной группы не вылезало из гостиницы — они пьянствовали и играли в карты. Остальные впали в депрессию, тоскуя по теплу и солнцу. И все были убеждены, что в отвратительной погоде виноват режиссер. Одним режиссерам везет с погодой, а другим не везет. Наш — из этих последних.

Несколько раз мы устремлялись к месту съемки, укладывали рельсы, закрепляли наши несуразные софиты, подвозили аппаратуру и тон-ваген, устанавливали на штатив тяжеленную камеру Дебри, проводили репетицию, хлопала хлопушка — и начинался проливной дождь. Мы прятались в подворотни, усаживались в машины, забегали в кондитерскую — дождь лил как из ведра, свет убывал. Пора возвращаться в гостиницу на ужин. Если же нам все-таки удавалось снять одну сцену — за те короткие мгновения, когда проглядывало солнце,— я так терялся и приходил в такое возбуждение, что, по словам здравомыслящих очевидцев, вел себя как сумасшедший. Орал, бесновался, оскорблял находившихся поблизости и проклинал Хедемуру.

Вечерами гостиница нередко наполнялась шумом и криками. Прибывала полиция. Директор грозился выставить нас вон. Марианн Лёфгрен, танцуя на столе в ресторане канкан (очень ловко и смешно), упала и испортила паркет.

Через три недели отцам города все это надоело, и они связались с руководством «Свенск фильминдустри», умоляя ради всего святого забрать этих ненормальных домой.

На следующий день мы получили приказ немедленно прервать съемки. За двадцать съемочных дней мы сняли четыре сцены из двадцати.

Меня вызвал Дюмлинг и дал хороший нагоняй. Он открыто угрожал забрать у меня картину. Может быть, вмешался Виктор Шёстрём, не знаю,

Но это были цветочки, ягодки ждали впереди. В фильме была сцена, происходившая в салоне красоты, а рядом с салоном, по сценарию, располагалось варьете. Вечером в салоне слышны музыка и смех из театра. Я настаивал на том, чтобы выстроить целую улицу, ибо не нашел во всем Стокгольме подходящего места. Строительство обойдется недешево, это я понимал, несмотря на состояние помешательства, в котором находился. Но мысленно я уже видел окровавленную голову Яка, прикрытую газетой, мигающую вывеску варьете, освещенные окна салона красоты с застывшими под причудливыми париками лицами, промытый дождем асфальт, кирпичную стену на заднем плане. Мне нужна улица во что бы то ни стало.

К моему изумлению, предложение было принято без обсуждений. Крупная строительная фирма тут же приступила к делу на пустыре в ста метрах от Главного павильона. Я частенько захаживал на стройку и чрезвычайно гордился тем, что мне удалось пробить такое дорогостоящее мероприятие. Очевидно, руководство, невзирая на все раздоры и неприятности, все-таки верит в мой фильм, полагал я, не видя, что моя улица должна была стать действенным оружием в руках стремившихся к власти руководителей студии, оружием, направленным против меня и против Дюмлинга, который все еще мне покровительствовал. Между Главной конторой, управлявшей единовластно, и Киногородком, производящим фильмы, всегда существовала напряженность. Дорогостоящую и абсолютно бессмысленную улицу предполагалось отнести к расходам на производство картины, в результате чего она никогда не покроет затраченных на нее средств. Все радовались и продолжали мостить тротуар.

В один из съемочных дней случилось нечто ужасное. Первая сцена снималась осенним вечером, после наступления темноты. Шел крупный план. Камера стояла на трехметровом помосте. Мигала вывеска варьете, Як застрелился, Марианн Лёфгрен, распростершись на трупе, кричала так, что кровь стыла в жилах. Подъехала машина «скорой помощи», блестел асфальт, из окна салона красоты таращились манекены. Я впился в помост, голова у меня кружилась, я был опьянен ощущением власти: все это — мое создание, мною задуманная, спланированная и осуществленная действительность.

Жестокий удар настоящей действительности не заставил себя долго ждать. Когда настало время спускать камеру с помоста, один из техников, встав на самый край, начал с помощью другого парня снимать ее со штатива. Она снялась неожиданно легко, и техник, не удержавшись, упал навзничь на землю, придавленный тяжелой камерой. Я не очень хорошо помню, что произошло. Благо «скорая» была неподалеку, пострадавшего сразу же отвезли в Каролинскую больницу. Группа настаивала на прекращении съемок, поскольку все были уверены, что их коллега либо уже мертв, либо умирает.

Я запаниковал и отказался прекращать работу, я орал, что парень был пьян и вообще на вечерних съемках все всегда в подпитии (отчасти это было правдой), что меня окружают сволочи, сброд, что съемка будет продолжаться до тех пор, пока из больницы не сообщат о смерти потерпевшего. Я обвинял моих сотрудников в халатности, лени и разгильдяйстве. В ответ — ни звука, глухое, шведское молчание. Съемки были продолжены, программа выполнена, но жившими в моем воображении ракурсами лиц, предметов, жестов пришлось пожертвовать.

У меня не было сил, я заполз в темный угол и плакал от ярости и разочарования,— у меня просто не было сил! Дело потом замяли, повреждения у парня оказались не слишком серьезными, и к тому же он был нетрезв.

Медленно тянулись дни. Рууслинг был теперь настроен откровенно враждебно и высмеивал любые исходившие от меня предложения, касавшиеся выбора угла съемки. Лаборатория при проявке либо недодерживала, либо передерживала пленку. Второй режиссер хихикал, похлопывая меня по спине. Он был мой ровесник и уже сделал самостоятельно один фильм. Я постоянно ругался с бригадиром электриков по поводу продолжительности рабочего дня и перерывов. От трудовой дисциплины не осталось и следа, люди приходили и уходили когда им вздумается. Мне был объявлен негласный бойкот.

И все-таки один друг, отказавшийся выть по-волчьи вместе со всеми, у меня был — монтажер Оскар Русандер. Он и внешне напоминал ножницы, весь как бы составленный из острых углов. Благородно картавил и был по-английски тщеславен, высказывая снисходительное презрение режиссерам, руководству студии и корифеям из Главной конторы. Человек начитанный, он в то же время обладал внушительным собранием порнографических изданий. Самые знаменательные моменты в его жизни наступали, когда ему доводилось работать с принцем Вильхельмом, делавшим иногда короткометражки в СФ. Оскара немного побаивались, ибо невозможно было предугадать, будет ли он в следующую минуту любезен или уничтожит вас какой-нибудь презрительной репликой. К женщинам Русандер относился со старомодной рыцарской вежливостью, но держал их на расстоянии. Говорили, будто он вот уже двадцать три года ходит к одной и той же проститутке, два раза в неделю, в любое время года.

Когда я пришел к нему, закончив съемки, разуверившийся, истекающий кровью, дрожащий от ярости, он встретил меня с порывисто-дружелюбной объективностью. Безжалостно указал на то, что было плохо, ужасно, неприемлемо, но зато похвалил то, что ему понравилось. Он же посвятил меня в тайны монтажа, раскрыв одну фундаментальную истину: монтаж начинается во время съемки, ритм создается в сценарии. Я знаю, что многие режиссеры поступают наоборот. Для меня же это правило Оскара Русандера стало основополагающим.

Ритм моих фильмов закладывается в сценарии, за письменным столом, и рождается на свет перед камерой. Мне чужды любые формы импровизации. Если обстоятельства вынуждают меня принять непродуманное заранее решение, я весь покрываюсь потом и цепенею от ужаса. Для меня фильм — это спланированная до мельчайших деталей иллюзия, отражение той действительности, которая, чем дольше я живу на свете, тем больше представляется мне иллюзорной.

Фильм, если это не документ, — сон, грезa. Поэтому Тарковский — самый великий из всех. Для него сновидения самоочевидны, он ничего не объясняет, да и что, кстати сказать, ему объяснять? Он — ясновидец, сумевший воплотить свои видения в наиболее трудоемком и в то же время наиболее податливом жанре искусства. Всю свою жизнь я стучался в дверь, ведущую в то пространство, где он движется с такой самоочевидной естественностью. Лишь раз или два мне удалось туда проскользнуть. Большинство же сознательных попыток закончилось позорной неудачей: «Змеиное яйцо», «Прикосновение», «Лицом к лицу» и так далее.

Феллини, Куросава и Бунюэль обитают в том же пространстве, что и Тарковский. Антониони был на пути, но погиб, задохнувшись от собственной тоскливости. Мельес жил там всегда, не размышляя: он ведь был по профессии волшебник.

Фильм — как сон, фильм — как музыка. Ни один другой вид искусства не воздействует в такой степени непосредственно на наши чувства, не проникает так глубоко в тайники души, скользя мимо нашего повседневного сознания, как кино. Крохотный изъян зрительного нерва, шоковый эффект, двадцать четыре освещенных квадратика в секунду, между ними темнота, зрительный нерв ее не регистрирует. До сих пор, когда я за монтажным столом просматриваю отснятые кадры, у меня, как в детстве, захватывает дух от ощущения волшебства происходящего: во мраке гардеробной я медленно кручу ручку аппарата, на стене одна за другой появляются картинки, я отмечаю почти незаметные изменения, потом начинаю крутить быстрее — возникает движение.

Немые или говорящие тени проникают прямо в сокровенные тайники моей души. Запах нагретого металла, прыгающее, мигающее изображение, звяканье мальтийского креста, ладонь, сжимающая ручку.

* * *

Еще до того, как на меня опустился кровавый мрак половой зрелости, смутив тело и душу, я пережил счастливую любовь. Это случилось в то лето, когда я жил один у бабушки в Воромсе.

Почему меня отправили одного, не помню, помню лишь чувство удовольствия, надежности, уюта. Временами появлялись гости и, пожив два-три дня, уезжали. Это только усиливало блаженство. Несмотря на то, что я все еще был ребенком, выглядел по-детски, у меня даже голос еще не ломался, бабушка и Лалла считали меня молодым человеком и обращались со мной соответственно. Помимо обязательных хозяйственных поручений (нарубить дров, собрать шишки, вытереть посуду, принести воды), я был свободен и гулял где хотел. В основном я проводил время в одиночестве, мне нравилось быть одному. Бабушка оставила меня и мои мечтания в покое. Наши доверительные беседы и вечернее чтение вслух продолжались, но никакого принуждения не было. Мне была дана невиданная раньше свобода действий. Не слишком придирались и к опозданиям. Если я не приходил вовремя к столу, в кладовке всегда стоял наготове стакан молока и лежал бутерброд.

Единственным нерушимым пунктом распорядка дня были утра. Побудка в семь часов, и в будни и в воскресенье. За процедурой обтирания холодной водой бабушка наблюдала лично. Чистка ногтей и мытье ушей представляли собой покушение на свободу, которое я переносил стоически, но без понимания. По-моему, бабушка полагала, что внешняя чистоплотность сохранит и укрепит дух.

В моем случае такой проблемы еще не существовало. Мои представления о сексе были туманными, возможно, слегка окрашенными чувством вины. Ужасный юношеский грех меня еще не настиг. Я во всех отношениях был невинен. Покров лжи, давивший меня в пасторском доме, спал, дни мои текли беззаботно, без страха и мук совести. Мир был понятен, я был господином над своими грезами и своей действительностью. Бог молчал, Иисус Христос не терзал меня своей кровью и сомнительными намеками.

Я не совсем ясно представляю себе, как все это связано с появлением Мэрты. Уже несколько лет подряд второй этаж здания Ордена добрых темплиеров[14], принадлежавшего на паях Дуфнесу и Юрму, снимала одна многодетная семья из Фалуна — зимой в этом помещении работали различные учебные кружки и показывали фильмы. Недалеко от дома проходила железная дорога, на участке была небольшая запруда. У подножия холма расположилась крошечная лесопильня, работавшая от воды Йимона, как раз перед его впадением в реку. Был там глубокий пруд, где водились пиявки,— их ловили и продавали в ближайшую аптеку. В воздухе стоял упоительный запах прогретой солнцем свежераспиленной древесины, сложенной в штабеля вокруг ветхих сараев с машинами.

Брат давно уже нашел себе сверстников среди братьев Мэрты. Агрессивные, дерзкие, они были готовы в любую минуту затеять драку. Объединившись с миссионерскими детьми, жившими в южном конце поселка, они вызывали на бой деревенских драчунов на крутом холме, густо поросшем папоротником. Противники появлялись незаметно каждый со своей стороны, отыскивали врага и начинали драться — палками и камнями. Я избегал этих ритуальных побоищ, мне и без того хватало забот — защищаться от брата, который норовил вздуть меня при каждом удобном случае.

Как-то жарким днем в середине лета Лалла послала меня на другой берег реки, на пастбища, где в одном из сараев круглый год жила старуха по имени Лисс-Кюлла, хотя все ее звали Тетушкой. Это была таинственная личность, известная своими познаниями в медицине и сыроварении. Несколько лет она страдала душевным расстройством. Вместо того чтобы отправить ее в сумасшедший дом в Сэтер, что считалось позором для семьи, ее заперли в сарай во дворе. Иногда по деревне разносился ее вой. Однажды ранним утром она очутилась у входа в Воромс, держа в руках, как поднос, носовой платок, и потребовала, чтобы бабушка положила на платок 4 кроны. В противном случае она грозилась завалить дорогу кучами хвороста — это привлечет гадюк, и гадюки будут жалить детей в босые ноги. Бабушка, поговорив с Лисс-Кюллой, пригласила ее в дом и выставила угощение. После чего старуха получила деньги, призвала на нас Божье благословенье и, показав язык брату, засеменила прочь.

Как-то зимой она пыталась утопиться в Гродон, рядом с Бэсной. Ее заметили с парома и вытащили из воды. Потом она угомонилась, к ней вернулся рассудок, но говорила она мало. И переехала жить в сарай на пастбище — летом она смотрела за скотом, зимой ткала платки и готовила отвары из трав, которые, по общему мнению, превосходили своими лечебными свойствами лекарства местного врача.

День был жаркий. Я искупался в черной воде Черного озера — из глубины на извивающихся стеблях тянулись белые кувшинки. Вода в озере была всегда ледяная, оно считалось бездонным, и, по слухам, где-то там под землей проходил неисследованный канал, ведший в реку. Одного мальчика, утонувшего в Черном озере, нашли спустя много месяцев висящим на запани у Сульбаккена. В животе у него было полно угрей — они торчали изо рта и из заднего прохода.

Я отправился через болото, что было запрещено, но я знал тропинку, коричневая вода пузырилась под ногами, издавая терпкий запах, вокруг головы вилось облачко мух и слепней.

Сарай стоял на лесной опушке под горой. К югу волнами уходили вниз пастбища. К северу вздымался на склоне горы девственный лес. Сараи, сеновалы, жилые постройки, выкрашенные в красный цвет, были обихожены, крыши недавно покрыты новой черепицей, клумбы в образцовом порядке. Родня Лисс-Кюллы была зажиточной, а теперь, когда Тетушка вновь обрела рассудок, ничто больше не задевало их крестьянской чести.

У старухи, рослой женщины с расчесанными на прямой пробор волосами с проседью, было выразительное лицо с крупными чертами — синие глаза, большой рот, большой нос, широкий лоб и торчащие уши. Босая, с обнаженными руками, она пилила во дворе дрова, Мэрта держала другой конец пилы.

Оказалось, что Мэрта поселилась здесь на пастбищенских угодьях, чтобы за скромное вознаграждение помогать Лисс-Кюлле присматривать за скотиной и выполнять разные другие дела.

Я, получив черносмородиновый сок и бутерброд, уселся за откидным столиком у окна. Лисс-Кюлла и Мэрта, стоя у плиты, прихлебывали из блюдечек кофе. В тесной, жаркой комнате пахло кислым молоком, кругом ползали и летали мухи. Липучки почернели от тихо шевелящейся живой массы.

Лисс-Кюлла спросила, как чувствуют себя фрёкен Нильссон и фру Окерблюм. Хорошо, ответил я. Мне в ранец положили огромную головку сыра, я пожал руки хозяевам, отвесил поклон и, поблагодарив за

[14] Орден добрых тамплиеров — организация трезвенников, первоначально созданная в США в 1851 г.

угощение, попрощался. Мэрта почему-то пошла меня проводить.

Мэрта была на полголовы выше меня, хотя мы с ней и были однолетками. Ширококостная, костлявая фигура, коротко остриженные волосы, выбеленные солнцем и водой, длинные узкие губы — когда она смеялась, мне казалось, что они растягиваются до ушей, обнажая крепкие белые зубы. Светлые голубые глаза с удивленным выражением, белесые, как волосы, брови, прямой длинный нос с небольшим утолщением на кончике. Сильные плечи, узкие бедра, длинные загорелые ноги и руки, покрытые золотистым пушком. От нее пахло хлевом — терпкий, как на болоте, запах. Застиранное рваное платье когда-то синего цвета под мышками и на спине потемнело от пота.

Любовь поразила нас мгновенно — как Ромео и Джульетту, с той только разницей, что нам и в голову не приходило касаться друг друга, а тем более целоваться.

Ссылаясь на разные дела, которые требовали много времени, я рано утром исчезал из Воромса и возвращался в сумерках. Так продолжалось несколько дней. В конце концов бабушка прямо спросила меня, что происходит, и я признался. Будучи женщиной мудрой, она предоставила мне неограниченный отпуск с девяти утра до девяти вечера ежедневно, добавив, что всегда будет рада видеть Мэрту в Воромсе — милость, которой мы пользовались очень редко, потому что младшие братья Мэрты незамедлительно узнали о нашей страсти. Как-то раз, когда мы осмелились спуститься к Йимону половить рыбу и сидели рядом, не касаясь друг друга, из кустов вылезла орда сорванцов и запела: «Тили-тили тесто, жених и невеста...», а дальше совсем неприличное. Я кинулся на них с кулаками, досталось мне крепко. Мэрта не пришла на выручку: очевидно, ей хотелось посмотреть, справлюсь ли я сам.

Мэрта обычно молчала, говорил я. Мы не касались друг друга, но все время были рядом — сидели ли, стояли ли, лежали ли, вылизывали ли наши ссадины, расчесывали ли комариные укусы, купались ли в любую погоду, стыдливо отвернувшись друг от друга, чтобы не видеть наготы другого. Я помогал по мере сил и на пастбище — правда, коровы приводили меня в легкий трепет. Да и пес ревниво следил за мной, то и дело хватая за ноги. Порой Мэрте доставалось от Тетушки, которая требовала неукоснительного выполнения всех заданий,— однажды она вкатила Мэрте пощечину, та безутешно рыдала, а я не мог утешить ее.

Мэрта молчала, а я говорил. Рассказал ей, что мой отец — не настоящий отец, что я — сын известного артиста Андерса де Валя. Пастор Бергман ненавидит и преследует меня, и это можно понять. Мать по-прежнему любит Андерса де Валя и ходит на все его премьеры. Я видел его вне стен театра всего один раз, он посмотрел на меня со слезами на глазах и поцеловал в лоб, а потом красивым голосом произнес: «Да благослови тебя Господь, дитя мое». Знаешь, Мэрта, ты можешь его услышать по радио, когда он читает «Новогодние колокола»! Андерс де Валь — мой отец, и я тоже стану артистом Драматического театра, как только окончу школу.

Я взял старый бабушкин велосипед и, ведя его за руль, перетащил через железнодорожный мост. Выписывая вензеля, мы катим по тропинкам и извилистым дорожкам ниже границы лесного массива. Мэрта крутит педали, я сижу на багажнике, вцепившись онемевшими пальцами в пружины седла. Мы едем на сектантское молельное собрание в Лэнхедене. Мэрта верующая, звонким сильным голосом поет она елейные песнопения. Я не могу сдержать отвращения, я ненавижу Бога и Иисуса, особенно Иисуса — мне противны его елей, гадкое причастие и его кровь. Бога нет, никто не в состоянии доказать, что он существует. А если он есть, то это очень даже противный бог, мелочный, злопамятный, пристрастный. Полюбуйтесь! Почитайте Ветхий завет, там он предстает во всем своем блеске! И такого зовут богом любви, богом, который любит людей. Мир — дерьмовая дыра, как говорит Стриндберг!

Над горным хребтом сияет белая луна. Неподвижно завис туман над лесным озером. Тишина была бы полной, если бы я не болтал так много, мне просто необходимо рассказать Мэрте, как я боюсь Смерти. В приходе внезапно умер старик священник. В день похорон он лежал в открытом гробу, а в соседней комнате пили вино и хрустели печеньем гости. Было жарко. Над трупом кружились мухи. Лицо покойного было прикрыто белым платком, так как болезнью у него разъело нижнюю челюсть и верхнюю губу. Сквозь тяжелый аромат цветов пробивался сладковатый запах. Вдруг этот чертов священник садится в гробу, срывает запачканный платок и обнажает свое сгнившее лицо, после чего падает на бок, гроб с телом переворачивается и летит на пол. И все видят, что жена пастора надела ему на член золотое кольцо, а задний проход заткнула наперстком. Истинная правда, Мэрта, я сам был там, а ежели ты мне не веришь, спроси моего брата, он тоже был там, но, конечно же, упал в обморок. Да, Смерть отвратительна, не знаешь, что будет потом. Тому же, что говорит Иисус — «В доме Отца моего обителей много»,— я не верю. И вообще, благодарю покорно. Когда я наконец-то сбегу из обители моего отца, то уж предпочту, конечно, переселиться не к тому, кто будет, наверное, еще хуже. Смерть — это непостижимый ужас не потому, что она причиняет боль, а потому, что она заполнена кошмарами, от которых нельзя пробудиться.

Дождливым днем — моросящий, хлюпающий дождь зарядил с утра — Тетушка ушла навестить соседку, мучавшуюся животом. Мы одни в тесной жаркой комнатушке. В оконца, исполосованные дождем, сочится серый свет, с чердака слышится завывание ветра. Вот увидишь, говорит Мэрта, после этого дождя начнется настоящая осень. Я вдруг понимаю, что дни сочтены, что бесконечность тоже имеет конец, скоро предстоит разлука. Мэрта перегибается через стол, обдавая меня запахом сладкого молока. В четверть восьмого из Борленге идет товарняк, говорит она. Я слышу, когда он отправляется. И тогда я буду думать о тебе А ты услышишь и увидишь его, когда он будет проходить мимо Воромса. И тогда ты думай обо мне.

Она протягивает широкую загорелую ладошку с грязными обкусанными ногтями. Я кладу сверху свою руку, Мэрта сжимает мои пальцы. Наконец-то я молчу, ибо неизбывная грусть лишила меня слов.

Наступила осень, нам пришлось надеть башмаки и чулки. Мы помогали собирать репу, поспели яблоки, начались заморозки, воздух и земля превратились в стекло. Запруду рядом с домом добрых тамплиеров затянуло тонкой корочкой льда, мать Мэрты стала собираться в дорогу. Днем еще жарко светило солнце, вечерами холод пронизывал до костей. Поля были запаханы, на гумнах грохотали молотилки. Мы иногда помогали по хозяйству, но предпочитали почаще исчезать. Однажды, выпросив лодку у Берглюнда, мы отправились ловить щук. Поймали большую рыбину, которая тяпнула меня за палец. Когда Лаала чистила щуку, она обнаружила у нее в желудке обручальное кольцо. Под лупой бабушка разглядела гравировку — Карин. Несколько лет назад отец потерял свое кольцо у Йимона. Но это отнюдь не значило, что это было то самое кольцо.

В одно промозглое утро бабушка велела нам съездить в лавку, которая находилась на полпути между Дуфнэсом и Юрму. Нас подбросит туда сын Берглюнда — он едет в ту же сторону продавать лошадь. Мы трясемся на телеге, медленно, с трудом преодолевающей разбитую дождями дорогу. Считаем встречные и обгоняющие нас автомобили. За два часа насчитали всего три. В лавке набиваем ранцы и направляемся домой — пешком. Подойдя к паромной переправе, усаживаемся на выброшенное рекой бревно, пьем яблочный напиток «Поммак» и едим бутерброды. Я беседую с Мэртой о сущности любви. Заявляю, что не верю в вечную любовь, человеческая любовь эгоистична, так говорит Стриндберг в «Пеликане». Любовь между мужчиной и женщиной, доказываю я ей—в основном распутство. Рассказываю о красивой, но толстой даме, которая занимается любовью с моим отцом в ризнице вечером по четвергам после причащения.

«Поммак» выпит, Мэрта бросает бутылку в реку. Я рассказываю о трагических любовных парах мировой литературы, слегка рисуясь своей начитанностью. И вдруг прихожу в замешательство, кружится голова, я смущенно спрашиваю, не кажется ли Мэрте, будто я чересчур разболтался. Вовсе нет, отвечает она, с серьезным видом качая головой. Я надолго замолкаю, раздумывая, не развлечь ли ее басней о моих собственных эротических переживаниях, но тут мне становится совсем нехорошо — может, «Поммак» был отравлен? Я вынужден лечь на лужайку возле дороги. Начинается мелкий, ледяной дождик. Крутой берег реки на той стороне растворяется в дымке.

Ночью выпал снег. Река еще больше почернела, зелень и желтизна исчезли совсем. Ветер стих, воцарилась всепоглощающая тишина. Белизна слепила, несмотря на сумеречный свет, ибо шла снизу, попадая на незащищенный участок глаза. Мы шли по железнодорожной насыпи к дому добрых тамплиеров. Серая лесопильня одиноко сгибалась под тяжестью белизны. Приглушенно журчала вода илотины, рядом с закрытыми затворами образовалась тонкая корка льда.

Мы не могли разговаривать, не осмеливались даже смотреть друг на друга: слишком сильна была боль. Пожав руки, мы попрощались, сказав, что, может быть, увидимся следующим летом.

Потом Мэрта сразу же повернулась и побежала к дому. Я пошел по насыпи обратно к Воромсу, размышляя о том, не стоит ли — появись сейчас поезд — броситься под колеса.

(Продолжение следует)

К нашим иллюстрациям

Джузеппе Арчимбольдо

Жизнь и творчество итальянского мастера Джузеппе Арчимбольдо (1527—1593) исполнены странностей и загадок. Начнем с того, что картины Арчимбольдо в течение нескольких столетий «скрывались» в частных собраниях, а потому до середины 20-х годов нашего века были практически неизвестны широкой публике.

При взгляде на его работы (а их сохранилось всего полтора десятка) сегодняшнего зрителя поражает причудливость образов: человеческие лица, составленные из фруктов, овощей, цветов, животных, рыб... Что это? Игра досужего воображения? Стремление щегольнуть мастерством в точности передачи элементов природы? Или какая-то иная задача, более глубокая и возвышенная?

Еще современники художника были изумлены тем, что в 1592 году Рудольф II, император Священной Римской империи, возвел Арчимбольдо в титул пфальцграфа. Такого удостаивались немногие. Необычна головокружительная карьера Арчимбольдо. В 1562 году император Фердинанд I приглашает его, безвестного миланского художника, в Вену на должность придворного портретиста и копииста. С этого времени вплоть до 1587 года (период царствования Фердинанда I, Максимилиана II и Рудольфа II) художник живет при дворах в Вене и Праге.

«В Праге все удивительно или, если хотите, ничто не удивляет. Всякое может случиться»,— говорит один из героев новеллы Х. Л. Борхеса «Гуаякиль».

Удивителен был двор Рудольфа II, его «Кабинет», включавший коллекцию произведений искусства и редкостей, его великолепная библиотека. Да и сам император, занятый поисками «философского камня» и «алхимического золота», был яркой личностью. Именно со «страным двором» Рудольфа II связана легенда о глиняном великане, разгуливавшем по вечерним улицам Праги, как об этом повествует австрийский писатель Густав Мейринк в романе «Голем».

Арчимбольдо именовался Мастером Празднеств. Он создавал декорации, сложнейшие сценические механизмы для грандиозных придворных представлений, музыкальные автоматы. А в тиши «Кабинета» писал небольшие картины маслом.

Наибольшей известностью пользуются его циклы «Времена года» и «Стихии». Еще в средневековой арабской философии стихии и времена года уподобляли процессам, происходящим в организме человека. Так, ветер сравнивали с дыханием, зиму — со старостью, весну — с детством, лето — с молодостью, осень — со средним возрастом. В картине «Осень» (1573, Лувр) тема «среднего возраста» передается в изображении осенних плодов, освещенных лучами заходящего солнца. Отсюда красновато-желтый колорит картины. Рыжеватые листья, тяжелые грозди золотистого винограда, сочные, спелые груши и яблоки, грибы и овощи — все это создает поразительную картину изобилия и богатства природы.

При дворе Рудольфа II особой популярностью пользовалась магическая теория Агриппы Неттесгеймского (1456 — 1535), построенная на той мысли, что как высшее влияет на низшее, так и все низшее влияет на высшее, только в меньшей степени. В своем главном сочинении «О тайной философии» Агриппа пишет: «Имеются всего четыре стихии или элемента, то есть четыре основания для всех телесных вещей. Это суть огонь, земля, вода и воздух. Из них образуется всё, но образуется не путем простого смешения, а путем соединения и

преобразования, и обратно, все, что приходит к концу, разлагается на четыре элемента».

Эти идеи наиболее ярко отразились в картине «Огонь» (1566, Вена), входящей в цикл «Стихии». Тут мы видим четыре вида пламени, о которых говорит Агриппа. Продукты первого вида пламени относятся к неорганической природе, продукты второго вида — к растительному миру, третьего — к животному и четвертого — к человеческому.

Натурфилософские идеи Агриппы находят также отражение в картине «Флора», написанной в 1588 в Милане. Природа и человек здесь как бы составляют единое целое. Многочисленные цветы, разнообразные, выписанные в сотнях тончайших цветовых нюансов лепестки сливаются в женский образ, таинственный и загадочный. Этот образ поистине существует во времени, потому что зритель постоянно переходит от созерцания цветов, которыми усеян холст, к лицу, которое они образуют, и наоборот.

Вершиной творчества Арчимбольдо считается картина «Вертумн» (1590, замок Скоклостер, Швеция), которую современники называли «Портретом Рудольфа II». Вертумн — этрусское божество садов и земледелия. В Древнем Риме он считался также богом всяких перемен. Изображался в виде юноши с садовым ножом в одной руке и корзиной плодов в другой. Согласно мифу, Вертумн мог принимать любой образ. У Арчимбольдо он принимает образ существа, состоящего из спелых плодов, овощей, злаков, цветов и в то же время неожиданно обнаруживающего сходство с Рудольфом II. Это своеобразный «астральный двойник» императора. И одновременно это олицетворение плодоносящей Природы, образ, исполненный оптимизма, полноты жизни.

«Вертумн» наиболее полно раскрывает суть творчества великого мастера Джузеппе Арчимбольдо, соединившего воедино глубину философского замысла, совершенную художественную форму, таинственную недосказанность, сближающую его живопись с поэзией. Именно эти свойства и придают его творениям столь современное звучание.

Л. ДЬЯКОВ

◆

Критика

Из бесед в редакции

СОВЕТСКИЙ ОПЫТ И ПИСАТЕЛИ ЗАПАДА

Участвуют: Николай Анастасьев, Самарий Великовский, Борис Гиленсон, Алексей Зверев, Валерий Земсков, Георгий Злобин, Тамара Мотылева, Александр Мулярчик, Дмитрий Урнов.

А. Мулярчик. Заявленная редакцией для обсуждения тема «Советский опыт и писатели Запада» подлежит и более узкому истолкованию в смысле реакции значительной группы писателей — прежде всего Запада — на феномен сталинизма. Этот подход может показаться особенно соблазнительным. Ведь в той массе «откровений» и разоблачений, которыми вот уже третий год заполнены страницы нашей прессы, вопрос о международных аспектах сталинской и послесталинской авторитарной политики занимает пока крайне неприметное место.

Время от времени поступают кое-какие сообщения о работе, скажем, комиссии советских и польских специалистов по прояснению того, что именуется «белыми пятнами» в истории двусторонних отношений. Национальные движения в Прибалтийских республиках не оставляют в покое развитие событий после заключения в августе и сентябре 1939 года советско-германских дружественных соглашений. Недавняя полуофициальная встреча советских и американских представителей фактически подтвердила ту версию «кубинского кризиса», о которой свыше четверти века тому назад можно было прочесть в любой западной газете. Очевидности постепенно признаются, хотя и без малейшего намека на искреннюю оценку некоторыми идеологами нашей внешней политики своей, мягко говоря, неконструктивной роли в сфере хотя бы послевоенного взаимодействия Советского Союза со странами Запада. И о причинах возникновения «холодной войны» между вчерашними союзниками, и о зигзагах 60-х годов, и о катастрофе, постигшей «разрядку», после чего состояние советско-американских дел было отброшено далеко назад, понемногу уже все-таки заходит речь, ибо без честного анализа собственных промахов невозможны подлинное доверие и новые ответственные международные договоренности.

Истинная картина всех этих обстоятельств нужна и для понимания отношения к нашей стране различных слоев населения других стран, включая и творческую интеллигенцию. В противном случае мы вновь будем оперировать мифами, выдавая желаемое за действительное. Что касается собственно сталинизма в узкоисторическом смысле, то теоретически достаточные предпосылки для нелицеприятного разговора о нем возникли, как минимум, на рубеже 30—40-х годов. Практически же многие участники нашей беседы получили возможность для осмысления его последствий в интересующем нас в данный момент ракурсе тоже очень давно — лет 25—30 назад, не менее.

Как хорошо известно, событиями, подорвавшими достаточно прочные симпатии западных литераторов к Стране Советов, олицетворявшей в их глазах громадной важности социальное дерзание, стали «московские процессы» 1936—1938 годов и мгновенная смена идеологических декораций вслед за подписанием «пакта Молотова — Риббентропа». Комиссия международной общественности под руководством американского философа Джона Дьюи быстро вывела на чистую воду неумелых режиссеров судилища над Бухариным и Рыковым, а в последующие годы был создан целый ряд произведений, представивших едва ли не исчерпывающий анализ теории и практики утвердившейся в СССР социально-политической системы. Совсем недавно наш читатель получил такие беллетристические работы того времени, как «Слепящая тьма» Артура Кёстлера, «Скотный двор» и «1984» Джорджа Оруэлла. Однако многое еще ждет своего часа. Назову сейчас лишь капитальное исследование Ханны Арендт «Происхождение тоталитаризма» (1944) и эссе Альбера Камю «Бунтующий человек» (1951). Особого внимания достоин интернациональный по составу сборник «Обанкротившийся бог» (1950) с участием венгра по происхождению Кёстлера, англичан Луиса Фишера и Стивена Спендера, американца Ричарда Райта, француза Андре Жида и итальянца Иньяцио Силоне.

Все они долгое время считались «левыми» и примыкали к «коминтерновской линии», но порвали с ней в знак несогласия с внутренней и внешней политикой Сталина в преддверии второй мировой войны. По выходе в свет эту резко обличительную работу нередко сопоставляли со знаменитым письмом Федора Раскольникова, выдержки из которого благодаря гласности стали доступны нашей широкой аудитории. Но в «Обанкротившемся боге»

* Окончание; начало см. в «ИЛ», № 8, 1989.

речь шла не только о явных сталинских преступлениях. Участники сборника подняли более глубокий, концептуальный пласт материала, касающийся воплощения доктрины, убежденными приверженцами которой они одно время себя считали.

Кое-какие из всех этих критических идей и соображений наконец-таки просочились в «закрытый доклад» Хрущева на XX партийном съезде, после чего те на Западе, кто писал и думал о Советском Союзе, уже могли не стеснять себя несколько сентиментальной «лояльностью» в отношении предмета своих многолетних интересов. В последовавшие примерно десять лет были написаны книги, которые так или иначе становились доступными нашим зарубежникам, точнее — тем, кого изначально влекли к себе перекрестки литературы с идеологией и политикой. Вспоминаются прочитанные тогда «Россия и Запад при Ленине и Сталине» Джорджа Кеннана, «Писатели слева» Дэниэла Аарона, «Интеллектуалы и гражданская война в Испании» Стенли Вейнтрауба, «Ленин и большевики» Адама Улама, заново переизданная работа Бертрама Вулфа «Трое, кто совершил революцию», а также переведенные на русский язык «Ядерное оружие и внешняя политика» Генри Киссинджера и «Американская мысль» Морриса Козна. Мои студенческие годы уложились как раз в промежуток между XX и XXII съездами, аспирантский же срок кончился почти день в день со смещением Хрущева с его поста. Так что «университеты» нашего поколения пришлись на самую благодатную пору во всей посленэповской советской истории, когда очень многие, почему-то заново возрождаемые теперь проблемы получали, как казалось, окончательное осмысление.

Примерно тогда же стало ясно, что теория привязанной к опыту Октябрьской революции «новой эпохи всемирной литературы», которую долгие годы обосновывал Иван Иванович Анисимов и его сподвижники, нуждается в серьезнейших коррективах. Нет оснований утверждать, как это в «разоблачительном порыве» делают сейчас некоторые историки, что общественность Запада уже в 20-е годы была преисполнена недоверия к «марксистско-ленинскому эксперименту», а чуть позже впрямую «ставила нас с фашистской Германией на одну доску и должна была выбирать из двух зол» (так пишет Николай Попов в «Литературной газете» от 1 марта сего года). Из песни слова не выкинешь, и историко-литературным фактом является принципиальная поддержка не только абстрагированных идей Октября, но даже и зрелой стадии сталинизма со стороны Драйзера, Арагона, Шоу, отчасти Роллана и Фейхтвангера. О том, каким смертельным рикошетом эта «прогрессивная» позиция отозвалась в судьбе сотен тысяч и миллионов, наших отцов и дедов, хорошо сказано в уже упоминавшейся статье Вадима Кожинова «Правда и истина». Конечно, в трактовке Анисимова и его школы определенные мнения абсолютизировались, противоречия сглаживались, сомнения отводились, а архивные материалы оставались за семью замками — об этом, собственно, здесь говорила Тамара Лазаревна Мотылева.

Однако уже к середине 60-х годов концепция развития социалистического реализма на Западе фактически лежала в руинах. Это воочию подтвердила дискуссия в «Вопросах литературы» о соцреализме в зарубежных литературах (осень 1967 года), которая, что и неудивительно, оказалась почти последней на данную тему. Печатавшиеся в дальнейшем — в основном по юбилейным поводам — разного рода коллективные труды ничего не изменили, в особенности когда речь заходила о современной ситуации. Авантюризм внешней политики времен застоя, репрессии на внутреннем фронте, но главное — полное бессилие официального обществоведения в разработке перспектив социализма в радикально и быстро перестраивающемся мире неуклонно отвращали от нашей страны последних убежденных сторонников и «попутчиков». Казусы Говарда Фаста, Фрэнка Харди, Веркора, «проблемы», возникавшие с Грином, Миллером, Арагоном, Стайроном и даже с Бёллем, слишком свежи в памяти, чтобы подробно разбирать каждый отдельный случай.

Что же происходит сейчас, в годы перестройки, отмеривающей свою первую пятилетку? Внимание к нашей стране неизмеримо возросло уже хотя бы потому, что по масштабности замышляемых перемен и их потенциальному воздействию на судьбы мира ничто сейчас не может конкурировать с «революцией Горбачева». Надежд на то, что «нездоровое общество» времен застоя способно обрести черты зрелой демократической цивилизации, на Западе прибавилось, и он охотно идет на расширение контактов, не скупясь подчас на щедрые авансы и благотворительные жесты. Между тем после первых восторгов, когда, например, в США ведущие писатели с готовностью откликались на тему «перемен в России», приблизительно с середины 1988 года обозначилась позиция и определенного скепсиса, что обусловлено, по моему разумению, двумя обстоятельствами.

По поводу одного из них наши перестроечные силы то и дело возвышают голос, всякий раз утыкаясь в своего рода ватную стену. Все мы видим, что задача обоснования да и проведения в жизнь «нового политического мышления» сплошь и рядом отдается на откуп тем же самым лицам, чья карьера долгие годы основывалась на тезисах противостояния «происках империализма», мобилизации всех сил для защиты от фиктивной «военной угрозы». Хорошо знакомые хотя бы по телевизионным «круглым столам», эти люди и их многочисленные подголоски, немало потрудившиеся, чтобы девальвировать профессию журналиста-международника, с готовностью брались с помощью дешевой софистики оправдать любую авантюру — от тайного завоза ракет на Кубу до десанта, выброшенного на Кабул в декабре 1979 года. Трезвомыслящим американцам трудно поверить, что те самые «полномочные представители», которым на протяжении десятков лет их оппоненты без видимого успеха вдалбливали нехитрые принципы международного добрососедства, вдруг оказались способными не только сменить кожу, но и вытравить из себя восприимчивое исключительно к начальственному гласу и конъюнктурным колебаниям естество. «Черного кобеля не отмоешь добела»,— это старое русское речение хорошо известно и по другую сторону Атлантического океана.

Другое соображение касается прежде всего собственно творческой интеллигенции как наиболее чуткой части западных обществ.

Многие ее представители удивлены тем, что годы, прошедшие под флагом перестройки, до сих пор не произвели на свет сколько-нибудь осязаемой специфической культуры. Речь идет не о шедеврах литературы или искусства, которые могут и припоздать, а о новом типе массового мироощущения, который соответствовал бы новым, долгожданным установкам и, принимая их всерьез, создавал бы психологическую опору, необходимую для дальнейшего движения вперед. Глядя в прошлое, можно сказать, что и первая волна революционного воодушевления, именуемая удобства ради «военным коммунизмом», и краткий миг в середине 30-х между двумя пароксизмами репрессий, и, конечно же, «оттепель» второй половины 50-х — все они имели свой определенный профиль, свое внутреннее содержание, не сводимое к тому, что вещала на сей счет официальная пропаганда.

Привлеченные девизом перестройки, многие писатели Запада быстро вступили в диалог, памятными вехами которого видятся теперь советско-американская встреча в Вильнюссе в 1985 году, Иссык-Кульский форум, Форум деятелей культуры за безъядерный мир, за выживание человечества в Москве в феврале 1987 года, а также последующие встречи со шведскими, итальянскими, французскими литераторами. Но чисто количественный сдвиг пока мало способствует выявлению нового качественного начала, формулированию новой доктрины взаимозависимости и плодотворного сотрудничества, к которой могли бы с доверием отнестись широкие круги на Западе. «Что за душой у нынешней России?»— эти не всегда произносимые вслух слова подспудно не дают покоя наиболее пытливым нашим собеседникам. Наша же разбуженная призывом к гласности общественность все больше напоминает мне русских беженцев из рассказов Тэффи, внезапно очутившихся в обстановке свободы на парижской Плас де-ла-Конкорд и задавшихся «вечным вопросом»: «Все это, конечно, хорошо, господа! Очень даже все это хорошо. А вот...ке фер? Фер-то ке?»

«Наши западные партнеры жалуются на затрудненность контактов с советскими коллективами. Мы для них неинтересны, потому что основательно обюрократились — и по стилю руководства, и по стереотипам подчинения, и по общей унифицированности мышления»,— писал весной текущего года академик Борис Евгеньевич Патон, прилагая свои мысли, по-видимому, прежде всего к научно-технической интеллигенции. Людей гуманитарно-творческого труда коррозия чиновнического «чего изволите?» коснулась в меньшей степени, однако и тут длительное отсутствие свежего воздуха, выбитость из мирового контекста привели к сужению умственной перспективы. Нынешняя газетно-журнальная распря, очень схожая со спором гвельфов и гибеллинов во времена Данте Алигьери, беспокоит вдумчивых наблюдателей, которым непонятно, почему здоровые силы общества, представленные в обоих лагерях, тратят столько сил на полемику вместо того, чтобы объединиться на платформе здравого смысла.

И тем не менее можно констатировать: еще до перестройки на Западе поднялась новая волна интереса к Советскому Союзу, причем не столько к дореволюционной России — стране чудес, как ее назвал Кнут Гамсун,— не к изрядно пообщипанной за последние 70 лет жар-птице, но и к России нынешней. В какой-то степени этот интерес подогревала ностальгия весьма значительной «третьей эмиграции», но вот в Соединенных Штатах, на мой взгляд, эта тяга с середины 70-х годов явно отвечает некоей внутренней потребности. Среди писателей есть и такие (например, Артур Миллер или Гаррисон Солсбери), которым свойственна снисходительно-критическая поза, но большинством движут иные, не всегда до конца рационально осознанные мотивы.

Благополучной, стабильной Америке 80-х, в ее духовной пище, похоже, не хватает какого-то ингредиента, чего-то вроде определенного витамина, и она надеется, что сможет найти это «нечто» в России. Об этом отчетливо говорят некоторые интонации в прозе Джойс Кэрол Оутс, Эрики Джонг, молодой Мэри Моррис, недавние романы Цинтии Озик, Сола Беллоу, Франсин дю Плесси Грей, Филипа Рота. Культуролог Пол Холландер, с мнением которого я готов согласиться, считает в своей практически единственной работе на подобную тему «Советско-американское общество: сравнение» (1978), что типологическая общность Америки и России заключена в том, что они представляют собой как бы два крыла цивилизации, сердцевина которой находится в Западной Европе. Но для широкой интеллигентной публики, от нобелевского лауреата до школьного учителя, притягательность России существует per se, как нечто, изначально данное и почти не растратившее своего потенциала.

Специфику нынешней России видят в нецивилизованности, незрелости ее гражданского общества, чему она обязана своими трудными судьбами в не столь давнем прошлом, но кроме того — и в ее особой человечности, в обладании духовным капиталом, отчасти завещанным классиками XIX века и поднявшими голову после 1905 года поборниками конституционно-демократического устройства, а отчасти каким-то чудесным образом сохранившимся в народных толщах вне зависимости от полученного формального образования. И тут никак нельзя сбрасывать со счетов духовные ценности, органически привившиеся к древу нашей цивилизации на протяжении советского периода ее истории. Несмотря на тотальное порабощение военно-феодальным режимом, «у советских» все же сохранилась не фальсифицированная «собственная гордость», то чувство собственного достоинства, которое не могут умалить широко тиражируемые ныне и вполне справедливые ссылки на нашу техническую и социальную отсталость.

Прежде чем окончательно отбрасывать «наивные мечты» об «образцовом обществе», под которым сейчас обыденным сознанием чаще всего понимается структурированное социально-экономическое благоустройство образца хотя бы 1913 года, прежде чем дезавуировать понятие «мы», раз уж роман Замятина наконец пришел к широкой аудитории, не мешало бы позаботиться о том, чем заполнить возникающее разреженное идеологическое пространство. И тут нужны не общие, хотя порой и красноречивые, рацеи о преимуществах реализма мыслей и ответственности действий и не унижающие азбучным примитивизмом лозунги вроде «Чтобы хорошо жить,

надо хорошо работать», а отвечающее исконным потребностям российской души хотя бы некоторое подобие идеала.

Именно эту особую «русскую ноту» хорошо улавливают как отдельные советологи с 30—40-летним профессиональным стажем, так и заезжие литераторы, компенсирующие краткость визита обостренной реакцией на все виденное и слышанное. «Это нормальная страна, где люди страдают и все же строят планы на будущее, стремятся к лучшей доле, а в свободное время играют в мяч, как это делается у нас в Америке»,— писал ведущий прозаик США Норман Мейлер после первого приезда в Советский Союз летом 1984 года. Три года спустя, побывав на Форуме за выживание человечества, писатель уже не ограничивался чисто репортажными зарисовками. «С Россией происходит нечто серьезное,— сказал он мне в частной беседе,— и теперь следует по-новому оценить и ее прошлый опыт, и то, что может со всеми нами произойти в недалеком будущем».

Г. Злобин: Начну с того, что мне близки идея и практический принцип множественности, под которым лично я понимаю умение сливать разномыслия для выработки некоего нового синтеза. Второе. Думаю, что сегодняшнее обсуждение надо считать началом разговора, который следовало бы серьезно продолжить в журнале, и не одним каким-нибудь материалом, а буквально взяв как одну из стратегических линий. Эту проблему можно условно обозначить так: «Художник и революция», со всеми теми сложностями, нюансами, оттенками, о которых говорили практически все. Естественно, в этих публикациях наверняка найдут место многие другие вопросы: целостность литературы XX века, нравственность или безнравственность исторического действия, исторического процесса и так далее... Ну, и разумеется, тот главный, проклятый вопрос всякой революции — вопрос о революционном насилии.

Возвращаясь к теме обозначенной, мне бы хотелось сказать вот что: подход к ней все-таки надо начинать с рассмотрения, естественно, нового, большой традиции дооктябрьской социалистической литературы на Западе — и у нас тоже. Не важно, откуда вести отсчет — от 1871 года или от 1848 года, года европейских революций и «Коммунистического манифеста». Я думаю, когда Оруэлл писал свой знаменитый роман, он имел в виду это столетие, 1848—1948, и, соответственно, 1984-й, в перевернутом, так сказать, виде. Внимание к этой традиции было довольно слабое, даже в официозные, застойные, культовые времена. Если говорить об американской литературе, то глубже всех разрабатывал эту тему практически один Борис Александрович Гиленсон. Мне кажется, только в свете этой традиции можно более или менее правильно и объективно оценивать и то, какое влияние на умы в мире произвели Октябрь и советский опыт, который в дальнейшем был серьезнейшим образом искажен, деформирован, изломан.

Видится здесь мне ирония истории. В то самое время, когда значительная часть русской интеллигенции покидала страну или высылалась из нее, то есть был исход, в это самое время наблюдался приход западной интеллигенции в Россию, сюда, к нам. Огромное количество западных писателей, социологов, обществоведов ехало к нам. Не хочу сейчас углубляться в то, кто и что вынес из поездок и наблюдений, это вопрос другой, но факт одновременного исхода русской интеллигенции и прихода западной интеллигенции мне кажется даже парадоксальным. Приход возглавили американские писатели. Можно сказать, что Американская мечта, как это ни парадоксально, соприкоснулась с мечтой о Революции и дала мощную литературу 20-х и 30-х годов.

Я бы не принял тезиса Алексея Зверева о двух типах художников; в одном ряду Кёстлер, Силоне, Оруэлл, Жид, а в другом ряду — Роллан, Шоу, Драйзер, Уэллс, Фейхтвангер, Генрих Манн. Может быть, если посмотреть пристальнее, внимательнее, диалектичнее, двух рядов и не будет, а будет некое многообразие со своими крайностями: безудержной апологетикой большевистского эксперимента, с одной стороны, а с другой стороны, не менее безудержным отрицанием.

Во всяком случае, я думаю, что спад интереса к СССР или даже уже резко критическое отношение к нашей стране приходится на 1939 год. Даже не столько 37-й заставил многих призадуматься, хотя и он тоже, сколько именно 39-й... Но вскоре поднимается новая волна симпатий — это годы войны, когда значительная часть художественной интеллигенции Запада по разным причинам, исходя в основном из антифашистских убеждений, стала относиться к нашей стране опять-таки иначе. Все происходило буквально на протяжении совсем немногих лет, а в масштабах истории это просто одно мгновенье. Ключ к проблеме мне видится в том, о чем говорил Эдмунд Уилсон. Переиздавая в 1971 году свою книгу «Финляндский вокзал» (а написал он ее в 1940 году, выразив в целом положительное отношение к русскому эксперименту) — так вот, в 1971 году, то есть практически в наши дни, он писал: «Эта книга исходит из посылки, что это событие (имеется в виду русская революция.— *Г. З.*) — важный шаг вперед, что произошел фундаментальный прорыв, что вся человеческая история будет отныне другой». Естественно, оговаривается он, никто не мог представить, в какую уродливую, жесточайшую сталинскую диктатуру выльется революционный процесс. И пишет, как мне кажется, очень важные слова, которые многое объясняют: «Поэтому книгу следует читать как достоверный в целом отчет о том, что делали революционеры ради, как они полагали, лучшего будущего». По сути дела здесь заключена идея историзма, конкретного исторического подхода к явлениям.

Я присоединяюсь к мысли Александра Сергеевича Мулярчика о том, что мы рассматривали западную советологию очень односторонне, попросту говоря, мы ее и не знали, а если и знали, то поверхностно, неглубоко и однобоко. Все мы в той или иной степени повинны, в том числе и я, написавший статью о книге Альберта Беляева. Это было где-то в середине 70-х годов. Меня интересует сейчас другой вопрос. «Художественная литература» только что выпустила четвертое издание этой книги. Пока что она не попалась мне в руки,

но трудно предположить, что автор совершил поворот на сто восемьдесят градусов.

Известно, что перестройка вызвала огромный интерес в мире, и он уже получает отражение в литературе. Два примера. Александр Мулярчик упоминал недавно роман Сола Беллоу — «Больше умирают от разбитого сердца». Книга эта скучная, в чем-то претенциозная, но показательная. Она показательна в том смысле, что насыщена не просто русской темой, она насыщена сегодняшними приметами, размышлениями и об Америке, и о России, и о русской эмиграции в Европе. Там и Сталин, там и Колыма в изображении Шаламова, там и профессиональный интерес главного героя к тому, чем мы сейчас интересуемся, то есть к русским философам начала века — Соловьеву, Федорову, Розанову. Это удивительно — такое совпадение интересов. Не хочу сказать, что автор начисто перечеркнул самого себя прежнего, он остался при своем взгляде на Октябрьскую революцию, которая «испортила», по выражению его героя, дело и Маркса, и великих просветителей, и тем не менее даже сама сюжетная развязка, когда другой герой в качестве выхода из своих личных затруднений решает войти в состав советской полярной экспедиции,— по-моему, факт очень многозначительный. Если угодно, здесь выражена готовность к диалогу.

Второй роман — это «Ленин» англичанина Алана Брайана, написанный в форме личного дневника Владимира Ильича. Несмотря на массу недостатков, он нацелен на то, чтобы развенчать миф о Ленине как о жестком рационалисте, о человеке, воплощающем только насилие и прочее и прочее. Понятно, что мы обязаны внимательнее присматриваться к наметившимся переменам в мировой литературе.

Мне бы хотелось коснуться еще одной проблемы, которой мы совсем не затрагивали. Речь идет о том, какой ущерб нанесла левосектантская позиция в коммунистическом движении Запада художественному творчеству. Я сошлюсь только на одно имя, к которому мы по-разному относимся, на Томаса Макграта, на его мытарства в 1949—1950 годах с романом «Кроме последнего». Вот что он о них писал: «У нас (то есть в Штатах.— *Г.З.*) никогда не было настоящего литературно-критического журнала, текущая критика основывалась не на теории, ее интересовал непосредственный эффект от произведения. Сколько времени я потратил в спорах с Джоном Лоусоном, главным образом из-за того, что он придерживался ждановской линии: «социалистический реализм», «борьба с космополитизмом» и прочее». Как тяжело читать о драме художника, отторгнутого господствующей Системой и непонятого догматиками в левом культурном движении: «Я больше не могу печататься в левой прессе, меня с самого начала считали трудным и мрачным. Если ты не перелагаешь ублюдочно-уитменовским стихом передовицы из «Дейли Уоркер», тебе вешают ярлык формалиста. Любой отход от стереотипа исследуется самым тщательным образом: нет ли тут политической ереси. Все писатели, кого я знаю, считают Самуэля Силлена и литературных комиссаров вроде Говарда Фаста просто болванами». Я не хочу этой цитатой бросить тень на кого бы то ни было, я лишь призываю опять-таки к взвешенному, конкретно-историческому взгляду на вещи ради выработки из разных, многонисленных точек зрения целостной правды.

И последняя проблема, которую я только обозначу,— проблема утопии. Сейчас сделалось модой говорить о крушении утопии и несостоятельности идеалов. Нас завораживает антиутопия. Происходит это помимо всего прочего от сиюминутности и забывчивости. Забывчивости в отношении давней и мощной ветви словесности, утопической литературы — от Мора до Маркса («Манифест» в известной части документ утопический), от Гесиода до Гэлбрейта.

Древний рапсод отталкивался от простой мысли:

> Скрыли великие боги от смертных источники пищи...

Современный экономист строил утопию «нового индустриального общества».

Не погружаясь в теорию, можно сказать, что утопия — это мечта о лучшем устройстве человеческого общежития, мечта о лучшей жизни, мечта и надежда.

Устарело, по-моему, разделение: литературная утопия и антиутопия. Утопия — не только обещание, но и обличение. С другой стороны, автор антиутопии не может не иметь в виду некое положительное содержание. Библия рисует картины апокалипсиса и предвещает царство божие на земле. Вспомним, что записывает герой «1984» в свой дневник: «Будущему или прошлому — времени, когда мысль свободна, люди отличаются друг от друга и живут не в одиночку, времени, где правда есть правда и былое не превращается в небыль».

Наше общество находится на таком этапе, когда жизненно необходимо переосмыслить всю футурологическую литературу — и старую и новейшую. Нам, литературоведам, полезно перечитать новыми глазами — говорю только об англоязычных писателях — Беллами, Хоуэллса и «Колонну Цезаря» Игнатиуса Донелли (1891), где центральная метафора обратна платоновскому котлована. Перечитать «Железную пяту», о которой тот же Оруэлл писал: Лондон «с поразительной точностью» предвидел «особый ужас тоталитарного государства», и «У нас это невозможно». Перечитать «Уолден-два» Бурхауза Скиннера (1948), где изображена коммуна *прирученных* к счастью людей и вопроса о свободе не возникает вообще, и «Возвышение меритократии» Янга (1958). Перечитать, наконец, «1985» Энтони Берджесса (1978). У Оруэлла «злодей»— личность, у его соотечественника и оппонента — толпа. И еще неизвестно, что в исторической перспективе страшнее — единоличная власть или власть разнузданной толпы, человеческого скопища или группы, повязанной круговой порукой...

Методологический ключ к такому прочтению дает, на мой взгляд, опять-таки «Манифест коммунистической партии». Мы долго воспринимали этот документ как прямой призыв к революционному насильственному действию. Теперь время переносит акцент на другое: «Свободное развитие каждого является условием свободного развития всех».

Д. Урнов. Хотел бы прежде всего отметить слабую использованность в зарубежной художественной литературе (конечно же, зарубежной, поскольку нам этот материал был малодоступен[1]) Троцкого как критика Сталина и сталинизма: «Бюллетень оппозиции», «Преданная революция», автобиография, история Октябрьской революции и, наконец, незаконченная книга, отчасти подготовленная уже не его руками, «Сталин — политическая характеристика». Собственно говоря, ему, Троцкому, принадлежит и сам термин «сталинизм». Какова же причина неиспользованности? Ведь там, в этих книгах, выразительным пером обрисован и портрет самого Сталина, и сталинизма как явления. Словом, вещи поистине названы своими именами. Конечно, с этим анализом можно было бы не соглашаться, можно было бы упрекнуть самого автора за эти же самые явления, поставив вопрос: кто виноват, кто, собственно говоря, был первым сталинистом,— но это уже другие вопросы. А вот действительно парадоксально, что за редчайшими исключениями все это, как ни странно, практически не было учтено, использовано. Почему? Для себя я нахожу ответ у автора, которого совсем невысоко ценю как писателя (в отличие от обычно высокой оценки, ему даваемой), но по данному пункту согласен с ним абсолютно. Я имею в виду Солженицына и его идею о глубочайшем безразличии Запада к судьбе русского народа и России. Солженицын написал об этом в книге «Бодался теленок с дубом». Глубочайшее безразличие! Тот интерес к нам, о котором совершенно справедливо говорил Георгий Павлович, это интерес своекорыстный. Он проявился, скажем, у англичан в годы войны: когда Оруэлл написал «Скотный двор», его в Англии не сразу напечатали, так как в то время мы, в том числе и за них, сражались под Сталинградом. Подождали, пока борьба будет закончена, только тогда и напечатали. Вот такого рода интерес, по мере нашей вовлеченности в их политику, у них к нам есть. Но что происходит или происходило с нашим народом, это никого не интересовало и не интересует. Старая русская эмиграция издала на этот счет просто вопль души — письмо оказавшихся за рубежом деятелей русской культуры. Оно приведено в автобиографической книге Нины Берберовой «Курсив мой»[2]. А в упомянутом «Московском дневнике» Ромена Роллана»[3] запечатлен эпизод в том же ключе. С Ролланом сделал попытку быть откровенным профессор Плетнев, и Роллан, понимая, что ему может рассказать доктор, отстранился от него. Момент выразительный, он запечатлен у Роллана прямо-таки с художественной объективностью — это, на мой взгляд, сознательное (со стороны Роллана) нежелание услышать непредусмотренное признание русского интеллигента.

Да, в этом смысле, о чем здесь точнее говорили, ответственность падает на крупнейших представителей западной литературы, которые бывали здесь и видели все своими глазами, как Шоу или Роллан. Можно ли считать их людьми недальнозоркими или просто слепыми? Что же, они не понимали происходящего? Я думаю, сказался тот же принципиальный эгоизм, эгоцентризм, незаинтересованность в том, что́ они реально видят в судьбе другого народа. Были зарубежные писатели, которые давали картину более объективную, но их книги не попали в наш кругозор не только потому, что они критиковали сталинизм. Тут, у нас, влиятельные люди думали не о том, что эти книги разоблачают негативные явления нашей жизни, а о том, что их самих, да еще персонально если не разоблачают, то во всяком случае не одобряют! Скажем, книга «Драйзер смотрит на Россию»— она была написана очень рано, ведь Драйзер приехал по приглашению Динамова в 1927 году для того, чтобы участвовать в торжествах по случаю десятилетия Октября, и он увидел нашу жизнь в общем такой, какой она была, в том числе с «исчезновением людей» и засилием бюрократии. Но Драйзер не сошелся с представителями нашего творческого авангарда, ему, например, не понравился театр Мейерхольда, о чем он написал, и целый ряд других вещей, потому и Драйзер не очень здесь понравился, ибо авангард рассчитывал на его поддержку.

Впрочем, и Ромен Роллан: вот он смотрит «Чапаева», и ему фильм более или менее нравится, но предпочитает он «Потомка Чингисхана» Пудовкина, а уже когда он посмотрел «Весеяых ребят», то ему совсем не понравилось. Он говорит, что если советское искусство идет в эту сторону, то это катастрофа, потому что это американизм. Совершенно ясно, что творческая интеллигенция, его окружавшая, например создатели этого же фильма, была заинтересована, как и в случае с Драйзером, чтобы эта точка зрения сюда не дошла.

Что же касается зарубежных произведений нынешних, то, мне кажется, нам давно следовало бы обратить внимание на целую литературу своего рода — о Советском Союзе, о внутренней обстановке в Советском Союзе. Эта литература начала появляться, в частности, на английском языке. Первой из заметных книг в этом ряду был «Парк имени Горького» Смита, сюда же относится «Кремлевский контроль» Оуэна Сэла и «Московские правила» Мосса. Роман о Советском Союзе стал в США столь же жанрово определенным явлением, как, допустим, «сентиментальный роман». Там, в «сентиментальном» романе, дело должно происходить где-нибудь в тропических лесах Амазонки и герои должны объясняться друг другу в любви под тропическим ливнем, а тут сюжет должен развертываться в Москве, на Красной площади, в Кремле, в коридорах советской власти. Что это за романы? Мое мнение, что сырье для них, конечно же, заготавливалось, а может быть, и заготавливается здесь. Хотя обычно сами американцы относят эти романы к «развесистой клюкве», и там, безусловно, есть признаки этого жанра. Есть нелепости, есть неточности; но что касается существа написанного, то, по моему мнению, это делается здесь, вывозится на Запад и там «вестернизуется». Какая основная, в общем, единая концепция этих романов? Всеобщий кризис власти. Есть только одна или, точнее, две организации, выступающие за истину,— это КГБ и ЦРУ: им, и только им, все известно. Они имеют возможность в любую минуту ра-

---

[1] У нас этот материал, как я однажды говорил, нашел применение в «Детях Арбата» А. Рыбакова. *(Здесь и далее — прим. выступающего.)*

[2] См. «Вопросы литературы», 1988, № 10.

[3] Там же, 1989, № 3.

заблачить кого угодно. Но им этого сделать не дают! Причем образуются сложнейшие переплетения: из Вашингтона не дают забрать кого-то здесь, отсюда не дают забрать кого-то там...

С. Великовский. Писатели Франции в XX веке так часто и в ряде случаев так обстоятельно пытались осмыслить крайне противоречивые судьбы революции и строительства социализма в нашей стране, что надо бы попробовать подобрать обобщенно-аналитические ключи к накопленному в этой области изобилию не просто публицистических высказываний, а целых книг и даже ряда спорящих друг с другом сочинений. Коснусь здесь в порядке постановки вопроса двух моментов, представляющихся мне основными, ведущими.

Первое: на протяжении долгих лет, да и по сей день, французские писатели сплошь и рядом воспринимали социализм и то, что сегодня именуется «сталинщиной», как вещи совершенно тождественные. Всякий раз, когда заводилась речь о происходящем в нашей стране, большинство из них — и независимо от того, бывали ли они поклонниками нашего государства или, наоборот, его обличителями, причисляли их у нас к «друзьям» или «врагам»,— они без особых колебаний утвердительно отвечали на вопрос, является ли Сталин «Лениным сегодня». В этом Анри Барбюс и Андре Жид по сути дела совпадали, при всей огромной разнице их отношения к тому, что они увидели, посетив нашу страну. Ошибочна или справедлива такая посылка — вопрос особый, далеко выходящий за рамки теперешнего нашего разговора. Сейчас я только заостряю внимание на ее постоянном присутствии в писательских умах за рубежом. Для них режим произвола, провозгласивший себя в конституции 1936 года построенным социализмом, родился если не в Октябре семнадцатого года, то в дни разгона Учредительного собрания, а еще раньше был духовно подготовлен российской революционной мыслью XIX века. Именно так, скажем, прослеживая историческую родословную порядков, сделавших возможными сибирские лагеря, Альбер Камю в прославленном эссе «Бунтующий человек»: «перерождение Прометея в Цезаря» предстало на страницах этой книги как историческая логика, а не отступление от нее, не ее нарушение или искажение. И точно так же рассматривают историю нашей революции и нашего государства сегодня, почти сорок лет спустя после Камю, мыслители из числа французских «новых философов» — такие, как Андре Глюксман в книге «Кухарка и людоед» или Бернар-Анри Леви в книге «Варварство с человеческим лицом».

И второе, о чем хотелось бы кратко сказать: когда писательское размышление о путях и превратностях революции XX века получало выход не просто на страницах дневников, переписки или путевых заметок, а в собственно художественных произведениях— а ведь именно их писатель выносит на суд общества,— последние бывали чаще всего сосредоточены на страстном споре о нравственности революционного, да и шире — всякого исторического действия.

Одно из решений, настойчиво предлагавшихся в таких случаях, тяготело к моралистико-гуманистической проповеди. Особенно громко прозвучала она в пьесе Камю «Праведные», отнюдь не случайно опиравшейся на историю русских заговорщических кружков конца XIX — начала XX века. «Арифметике революции», гласящей, что позволительно приносить в жертву отдельные человеческие жизни ради блага тысяч, а может быть, и миллионов обездоленных, у Камю противостоит своего рода мистика «революционного праведничества», исповедующего подправленную библейскую заповедь «не убий!», а именно: убив ради грядущего счастья народного, убей себя, дабы посильно искупить несмываемый грех кровопролития. Иначе вместо светлого дворца будут построены тюрьма и казарма.

Прямо противоположное, так сказать, «историцистское» решение того же вопроса, оправдывавшее неразборчивость в средствах исторической пользой, отстаивал в ряде своих вещей Сартр. Пьесу о революционном движении в «одной из стран Восточной Европы» он назвал вызывающе — «Грязные руки». Не надо, однако, думать, будто это памфлет против революции. Напротив, Сартр склонен одобрить мозолистые руки чернорабочих на ниве истории. Революции, по Сартру, делаются не белоручками, а тружениками, не боящимися ни крови, ни грязи.

Обе обрисованные здесь по необходимости бегло точки зрения, при всей страстности и подчас безоговорочности высказывания, тем не менее были на поверку обременены изнутри сомнениями в своей правоте, подозрениями в собственной уязвимости, а то и опасной тупиковости. Существо затруднений, испытываемых и в том и в другом случае, выразил еще Мальро в «Надежде», когда заставил одного из действующих лиц вслух размышлять: революции не делаются при помощи морали, но вся загвоздка в том, что они не делаются и без морали. А тем самым и весь вопрос уподоблялся роковой квадратуре круга и переводился в разряд вечных, проклятых, которые потому и вечные, что не решаются раз и навсегда, а заставляют задаваться ими снова и снова каждое очередное поколение, вступающее в историческую жизнь.

Н. Анастасьев. Заключительное слово — подобие гандикапа, фора, которую участники дискуссии дают ведущему. Воспользоваться ею было бы, конечно, соблазнительно, тем более что некоторые суждения словно бы специально рассчитаны на полемический отклик. И все же лучше от искушения уйти — ведь ни у кого уже нет возможности защитить свои позиции. К тому же мне представляется более целесообразным выделить точки согласия.

О чем, собственно, шла речь? Об отношении мировой художественной интеллигенции к личности Сталина и феномену сталинизма, о поразительной порой слепоте современников тех страшных лет. Да, разумеется. И понятно, что демифологизация прошлого — единственный способ восстановить литературную историю нашего столетия в ее истинных пропорциях. Но критический пафос нашей беседы не подавил, как мне кажется, пафоса созидательного. Мне остается лишь присоединиться к мысли, которая явственно или подспудно прозвучала в выступлениях коллег: да-

же в самые трудные времена продолжался диалог, пусть нередко искажался он иллюзиями, а порой и сознательным уклонением от истины. Без такого диалога культура задохнулась бы. Теперь появилась возможность вести его в цивилизованных формах, уважая любое инакомыслие — политическое и тем более творческое. Правда, возможность еще не есть осуществленная действительность. Дмитрий Михайлович Урнов говорил о безразличии Запада к России. Мне же куда более очевидной и тревожной кажется распространившаяся ныне у нас ксенофобия в области культуры, самодовольство, небрежение, а то и агрессивное неприятие другого опыта. Это — тупиковое умонастроение.

Само собой, мифы иключительности творятся догматическим сознанием — сама культура их разрушает. Она преодолевает разъединенность и стремится к единству. Мне кажется, эта мысль также прозвучала сегодня — разумеется, применительно к теме обсуждения. Романтизация нашего социального опыта, а то и его апологетика скрывают проблему, к которой неизбежно тянется с разных сторон многоязычная литература мира: революционное насилие и мораль, или — как сформулировал Самарий Израилевич Великовский — нравственность практического действия. Полагаю, глядя на художественные искания века с этой точки зрения, можно точнее выявить их закономерности.

Наконец, последнее, Александр Сергеевич Мулярчик вполне резонно говорил о долголетней интеллектуальной анемии нашго обществоведения, а также о конъюнктурном характере международной журналистики — она и сегодня обретает внутреннюю свободу с немалым трудом. Единственное, что несколько смутило,— остраненность оценок. Словно бы мы сами не внесли посильного вклада в оскудение мысли. Дорогой Александр Сергеевич, ты утверждаешь, что «практически многие участники нашей беседы получили возможность для осмысления его (сталинизма.— *Н. А.*) последствий очень давно — лет 25—30 назад, не менее». В ту пору мы с тобой были студентами и аспирантами, то есть далеко не юнцами. Отчего же не использовали этих самых практических возможностей?

Надеюсь быть правильно понятым — упрекаю, как говорил уже во вступительном слове, прежде всего самого себя. А заговорил на эту тему потому, что сейчас, когда прошлому выставляется столь суровый счет, надо видеть не только других, но и себя в прошлом. Себя, может быть, прежде всего.

Вот что хотелось бы сказать. Благодарю всех за участие в разговоре и приглашаю к его продолжению — в любой форме.

◆

Критика

МАРИАМ САЛГАНИК

О БЛАГОТВОРНОСТИ СОМНЕНИЙ

Сальман Рушди — «Стыд» и другие романы

— Вам повезло,— сказал я.
Для меня мысль о том, где мой дом,— вечная проблема. Им это было не понять, да и что им до моих проблем? В меня же никто не стреляет.

(Из разговора с никарагуанским кампесино)
Сальман Рушди. «Усмешка ягуара»

САЛЬМАН Рушди родился в семье кашмирских мусульман, обосновавшихся в Бомбее, летом 1947 года. Короткая стандартная фраза несет в себе больше информации, чем прочитывается с ходу, поскольку обстоятельства места и времени, проставленные в ней, заключают в себе и генетический код Сальмана Рушди и в значительной степени программируют его будущее творчество.

Родиться в такой семье — значит с самого начала принять в свой кровоток две традиции: традицию мусульман, уже в VII веке добравшихся до Индии, и, конечно же, всепроникающую, тысячелетиями не прерывающуюся традицию индусов.

Обе достигли небывалых высот в Кашмире, изобилующем святынями и памятниками старины (а понятие старины в Индии куда протяженней нашего), почитаемыми индусами, мусульманами и людьми других вер тоже. Ибо в Индии вам расскажут, что в Кашмире похоронены и останки Иисуса Христа, вас будут уверять, что в Египте Христос свел дружбу с индийскими йогами, которые многому его научили. Он сошел с Голгофы после распятия и удалился в Кашмир, где проповедовал свое учение, пока не почил в возрасте ста двадцати лет.

Родиться в Бомбее, в многомиллионном, многоголосом, космополитическом, небоскребно-трущобном азиатском мегаполисе, бессонно бурлящем жизнью, вечно охваченном политическими страстями,—значит с детства напитаться ошеломительным многообразием действительности Субконтинента, проникнуться мыслью о самоценности всех ее проявлений.

И пристраститься к еще одной жизни, призрачной, но тем не менее вещественно существующей на нескончаемых километрах кинопленки: в Бомбее родился и процветает индийский коммерческий кинематограф, гигантский комбинат по переработке реальности в стереотипы масс-культуры, на весь мир растиражировавший образ Индии, составленный из песен, танцев, драк и обязательного торжества добродетели. «С какой охотой копирует жизнь дешевое искусство!» — напишет позднее Сальман Рушди. В «Сатанинских стихах» писатель воздаст должное убийственному могуществу бомбейского кинематографа, подлинному творцу мифов нашего времени, освобождающему миллионы людей от труда души.

Родиться в этом городе — значит с младенчества заговорить на его языке. На каком? Ко всем языкам Субконтинента примешиваются в Бомбее наречия множества других стран — и близких и далеких. Всякий здесь говорит на своем, называя его материнским (в семье Рушди это урду), понимает с полдюжины других, друг с другом же обитатели современной Вавилонской башни общаются на языке, официально именуемом английским. В конституции Республики Индия ему — наряду с хинди — отведено положение государственного языка. Но официальное имя способно только ввести в заблуждение. На самом деле этот язык не признан учеными-лингвистами, не разнесен по словарным карточкам, не удостоен университетских кафедр — его как бы и нет. Однако, не подозревая о своем несуществовании, нимало не заботясь о признании, он живет себе и развивается, обрастая немыслимыми жаргонами и акцентами, гибкий, яркий, сочный, выразительный,— английский язык Субконтинента, «ангрези», нерукотворный и непреднамеренный памятник двум столетиям британского колониализма, жизнеспособный и неприхотливый, как дворняжка, без труда приспосабливающаяся к условиям, губитель-

ным для ее благородных сородичей,— субконтинентальный язык.

Лет восемьсот назад на Субконтинент низверглись орды мусульман — завоевателей из Средней Азии. Из смешения их языков с индийскими родился новый — урду, в названии которого «орда» осталась жить навеки. Прошли столетия — язык солдатни и базарного люда возвысился до велеречивости двора Великих Моголов и создал блистательную поэтическую традицию.

Ах как летит время! Давно ли Йейтс говорил своим индийским друзьям: все же мы вас одолели, мы научили вас видеть сны на плохом английском?! Давно ли образованный житель Субконтинента, терзаемый комплексом колониальной неполноценности, силился овладеть высокопарнейшими викторианскими идиомами — чем сильно потешал англичан?!

За пять тысячелетий существования культуры Индостанского субконтинента в нее влилось множество культурных потоков — Индия, в отличие от столь же древнего Китая, всегда была открыта воздействиям извне. Но можно ли различить в море принесенное каждой из впадающих в него рек?

Неру справедливо говорил, что гений Индии — в ее способности к синтезу. Она вобрала в себя и принесенное англичанами, английский же язык стал для нее подлинным окном в Европу, да и во весь внешний мир.

Сарвепалл Радхакришнан, крупный философ и политический деятель,— он был вторым по счету президентом Индии,— оценивая роль английского в Индии, писал: «Интеллектуальное возрождение, переживаемое нами сейчас, связано с воздействием западной культуры на индийское общество и индийскую мысль, инструментом которого был английский язык. Плеяда писателей, чьи имена связаны с возрождением Индии, направила течение мысли страны по совершенно новому руслу...»

Те, кого имел в виду Радхакришнан, писали на английском с немалым успехом — достаточно вспомнить имена Рабиндраната Тагора или Ауробиндо Гхоша. Субконтинентальный получил доступ в литературу гораздо позже. Он входил в нее робко, с черного хода, как средство речевой характеристики простонародных персонажей или «коричневых сахибов» — местной разновидности «мещан во дворянстве». Постепенно осваиваясь, приобретая уверенность, он бросил притворяться плохим, малограмотным английским и раскрылся в собственной красе и непохожести. Пока что никто не заставил этот язык так заиграть всеми гранями, не выявил в нем таких возможностей, как Сальман Рушди. Более того, он утвердил его в качестве языка настоящей, высокой литературы — и не на Субконтиненте, что само по себе дорогого бы стоило, а во мнении мирового читателя.

Рушди одарен абсолютным музыкальным слухом и одержим чисто набоковской страстью к игре в слово. Что он только не проделывает с ним! С наибольшим упоением, со щегольством даже, Рушди сближает, сталкивает, высекая искры, безупречный английский выпускника Кембриджа с буйством субконтинентального, щедро пересыпанного идиомами чистейшего хиндустани.

При этом Рушди — и здесь Набоков уже ни при чем — приводит в активное взаимодействие и две культуры, восточную и западную, постоянно ведущие диалог в нем самом. Минимум — две, ибо восточная культура сочетает в себе традицию ислама с традицией индуизма, а те, в свою очередь... Но это начинает походить на зеркала, бесконечно отражающие одно другое, поэтому хватит. Да и не уникален в этом отношении Сальман Рушди, он представляет целый слой интеллигенции Субконтинента, которая, в силу многокорневой культуры, сформировавшей ее, и по сей день живет больше единством трех стран Индостана, чем различиями между ними.

Что такое различия между — слева направо, от запада к востоку — Пакистаном, Индией, Бангладеш? Три суверенных государства, три административно-политические структуры, три экономические системы, три голоса в международных организациях. Что их соединяет? Единая культура, «единство в многообразии» по точному определению Тагора. И угораздило же Сальмана Рушди родиться на Субконтиненте именно тогда, когда его рассекли новые государственные границы!

Весь этот длинный пассаж был вызван необходимостью истолковать «обстоятельство места» появления на свет Сальмана Рушди, но есть и «обстоятельство времени»— не менее, а еще более важное для понимания его творчества.

Ровно в полночь 15 августа 1947 года над Субконтинентом был спущен флаг Британской империи и подняты новые флаги — трехцветная «тиранга» над Индией и зеленое знамя ислама над новорожденным государством Пакистан.

Политическая концепция обрела географическую конфигурацию — и довольно странную: по «плану Маунтбеттена» Пакистан составили районы, заселенные преимущественно мусульманами,— преимущественно, поскольку по всему Субконтиненту люди разных вер от века жили вперемешку. Так образовались Западный и Восточный Пакистан, а между ними на тысячу с лишним миль пролегла индийская территория. Пенджаб на западе и Бенгалия на востоке оказались разорванными надвое.

Автором «доктрины двух наций» был бомбейский адвокат Мухаммад Али Джинна, о котором говорили, что он знает Коран хуже, чем индус — Ганди. По Джинне, мусульмане Субконтинента составляют единую нацию вне зависимости от их этнической принадлежности, языка и прочего. Всех остальных, в какого бога они бы ни веровали, он суммарно относил к другой нации — к индийцам. Вокруг Джинны стеной встала мусульманская земельная аристократия, резонно опасавшаяся за свои родовые привилегии в будущей демократической Индии, и, естественно, мусульманское духовенство...

Пройдет четверть века, и Восточный Пакистан наглядно продемонстрирует несостоятельность идеи ислама как единственной скрепы многонационального государства — бенгальские мусульмане сделают выбор в пользу родного языка и этнической самобытности, с кровью вырвутся из Пакистана, и с 1971 года на карте появится республика Бангладеш.

Но в 1947 году Пакистан выкраивал человек по имени сэр Сирил Рэдклифф, которому

было поручено разделить Субконтинент по той внушительной причине, что нога его раньше не ступала на эту землю и он, ровно ничего о ней не зная, способен в полной мере проявить хваленую британскую беспристрастность. В считанные недели разделить естественно складывавшиеся на протяжении веков экономические, этнические, наконец, семейные связи — ножницами по карте и топором по живому...

Навстречу один другому хлынули людские потоки — все бросая, бежали от погромов в Индию индусы и сикхи, мусульмане искали спасения в Пакистане. Как не можем мы забыть войну, так не может Субконтинент изжить чудовищное озверение раздела. В массовом безумии погибло около десяти миллионов человек, но еще страшнее другое: были посеяны зубы дракона, которые с убийственной неотвратимостью снова и снова всходят кровавыми урожаями религиозной розни. Разделить «две нации» все равно не удалось: в Индии сейчас под восемьдесят миллионов мусульман. В Пакистане, правда, ни индусов, ни сикхов не осталось — их там перебили.

Можно сказать, что новая государственная граница пролегла через семью Сальмана Рушди: часть его родни оказалась в Пакистане, часть осталась жить в Индии. Ситуация, которых в то время было великое множество. По прошествии времени отец, у которого не заладились дела, решил перебраться в Пакистан. Рушди тогда был школьником.

Пакистан ему не пришелся по душе — впоследствии он напишет, что никак не мог простить Карачи того, что это не Бомбей. Потом у него появятся другие причины для неприятия Пакистана: Сальман Рушди вспоминает, как от него потребовали, чтобы в сценарии, написанном по заказу пакистанского телевидения, где упоминалась свинья, она была заменена собакой, ибо какие могут быть свиньи на мусульманском телеэкране?!

В конечном счете Рушди сделал выбор в пользу Лондона, где и осел. Впервые он попал туда в тринадцать лет — родители отправили его учиться. Он закончил в Англии школу, потом поступил в Кембриджский университет, где изучал историю, в частности очень увлекался историей ислама. После Кембриджа, убедившись, что в Пакистане ему жизни нет, писал для газет, работал в рекламном агентстве, пробовал силы в театре — с весьма скромным успехом.

Не лучше пошли дела и в литературе: роман «Гримус» — название образовалось от перестановки букв в имени мифической птицы Симург,— вышедший в свет в 1974 году, не был замечен ни читающей публикой, ни литературной критикой. Книга и впрямь вымученная, скучная, манерная и никак не предвещавшая грядущей славы Рушди. Литературной славы, не скандально-политической, которая сейчас затмевает, пожалуй, все остальное в Рушди.

ПО-НАСТОЯЩЕМУ Сальман Рушди начинается с романа «Дети полуночи», опубликованного в 1981 году. Это шестьсот с лишним страниц густой прозы, столпотворение персонажей, как реальных, действовавших на политической арене Субконтинента, так и созданных воображением автора, лабиринт сюжетных ходов, свободно пронизывающих время и пространство. Здесь Бомбей детских лет писателя, здесь Карачи под индийскими бомбами, здесь война между единоверцами во влажных джунглях Сундарбана. И нет ни слова о кровавом безумии раздела, хотя все происходящее в романе, прямо или косвенно, связано именно с разделом.

«Дети полуночи» — и фамильная хроника, повествующая о превращении семьи Сальмана Рушди из кашмирской в индо-пакистанскую, и едкая политическая сатира, и напряженный поиск ответа на мучительный вопрос: что произошло со свободой Субконтинента? Как могло получиться, что забитые, неграмотные, вечно голодные массы сумели объединиться, восстать против организованной мощи Британской империи, над которой в те времена и впрямь «никогда не садилось солнце», победить в неравной борьбе — и остаться с пустыми руками? Что случилось с людьми разных вер, которые столетиями умели ладить между собой, как мог народ внезапно разбиться на кровожадные толпы, поджигать, грабить, убивать с нечеловеческой жестокостью? «Оргией ненависти» называли раздел очевидцы.

Как же могли допустить раздел и «оргию ненависти» лидеры национально-освободительного движения? Или единство было принесено в жертву политическим амбициям? Естественно, тома и тома исследований посвящены этой теме.

С англичанами все ясно, рассуждает Рушди, они предпочитали «уйти, чтобы остаться». Что же до лидеров Субконтинента, то их устремления были едины с народными, пока велась борьба против иноземных властителей. С приближением победы оказалось, что будущим правительствам легче находить общий язык с колониальными властями, чем с собственным народом. Разве наши лидеры, вопрошает Рушди, не сформировались в закрытых учебных заведениях Англии, не связаны с Англией тысячью уз? Народный миф о царстве справедливого Рамы воплощался для них в британскую систему администрации — только без англичан! Раздел — это плата за компромисс, который удовлетворил все заинтересованные политические силы. Уже потом, после независимости, правительства Субконтинента пойдут по пути мифологизации своей власти для ее укрепления. Вот почему, заключает Рушди, в историческую полночь 15 августа 1947 года родилась не свобода, а миф о новой, свободной жизни.

И родились дети полуночи. «В первый час существования суверенного государства Индия на его территории появились тысяча и один ребенок. Сам по себе факт неудивительный... заслуживает же он внимания потому, что каждый из этих детей, в результате биологических отклонений или, возможно, из-за исключительной важности момента, а впрочем, может быть, по обыкновеннейшему совпадению (хотя столь масштабная синхронность должна бы потрясти самого Юнга), оказались наделенными чертами, талантами или данными, которые иначе как чудесными нельзя назвать... Словно История в точке наивысшей значимости решила посеять семена будущего, не похожего ни на что, известное дотоле миру».

Чудо-дети несли в себе потенциал свободы,

однако «тысяча и одна возможность способны означать тысячу и один тупик», поскольку «реальность может обладать метафорическим смыслом, но все-таки остается реальностью».

Дети полуночи, первое поколение свободы, погибают, не реализовав свой потенциал, как не реализовались и условия, ради которых «они были зачаты Историей».

Они встречаются на первых же страницах романа — молодой врач Адам Азиз с гейдельбергским дипломом, с идеалами европейского либерализма, со святой и гордой верой в благотворную неизбежность прогресса. И лодочник Таи — сама душа кашмирской долины, «живая антитеза западной вере в движение времени».

Лодочник живет вне времени, он видел, как рождались горы и умирали империи, помнит, как пришел в долину некий Иса, именуемый также Христом, дружил с молодым военачальником Александра Двурогого из Македонии. Он живет во вселенной, где все пребывает в вечной гармонической взаимосвязанности, где ничего не может измениться, ибо все сущее движется бесконечными кругами бытия и перемены,— или то, что кажется переменами,— лишь подтверждают неизменность законов жизни.

А доктор Адам Азиз утратил эту веру — и остался «с отверстой раной, с пустотой там, где должно быть жизненно важному органу». Пустота заполнилась историческим оптимизмом, верой в способность человека воздействовать на историю, направлять ход событий.

Иными словами, Сальман Рушди не сопоставляет мифологическое сознание Востока с рациональным знанием Запада, он сводит вместе два мифа разного происхождения; по его мысли, они и породили новый — миф о свободе, возвещающей новую жизнь. Может ли миф воздействовать на действительность? Нам ли этого не знать! Миф формирует действительность, как сосуд вливаемую в него влагу, однако субстанция, влага, остается самой собой.

Рушди пишет: «Миф, коллективная выдумка, открывает любые возможности» для мифологизации действительности в любом варианте, ибо что такое миф в нашей современной жизни, как не способ соотношения с ней? В этом смысле все мифы равноценны и различаются лишь продолжительностью существования.

Миф о свободе вздыбил Субконтинент, расколол его на части, но чем бурнее вскипали события, тем сильнее проявлялась тяга к стабильности. «Когда события приобрели размах... прошлое Индии поднялось, захлестывая ее настоящее; юное секулярное государство получило внушающее благоговейный страх напоминание о своей немыслимой древности, которой дела не было до демократии или женского избирательного права. В народе пробудились атавистические инстинкты, и, забывая новый миф о свободе, он вернулся к старым».

Нетрудно представить себе, что началось после выхода в свет «Детей полуночи»,— никого из прочитавших роман равнодушным он не оставил. Все смешалось: восторги по поводу отточенности стиля и искрометности фантазии Рушди, лестные сравнения с Гюнтером Грассом и с Гарсиа Маркесом, присуждение престижнейшей премии «Букерпрайз», а с другой стороны, обвинения в спекуляции на теме в угоду западному читателю, яростные нападки за исторический нигилизм, протесты по поводу того, что написал автор о реальных лицах, даже судебный процесс, по счастью улаженный миром, протесты против протестов и так далее.

Известный пакистанский историк и публицист Тарик Али отметил, что ни один роман об Индии не имел такого успеха, как «Дети полуночи»: «...многие жалуются — Рушди не нашел доброго слова ни для чего из происходящего в Южной Азии. Но, если вдуматься, Рушди не написал ничего, о чем индийцы или пакистанцы не говорили бы между собой».

Защищая свою позицию, Рушди упрямей всего отвергал обвинения в пессимизме. В статье «Отечества в воображении» — само название которой во многом проясняет концепцию писателя — он говорит: «В меру моих сил я постарался композиционной структурой романа передать способность Индии к непрестанному самообновлению. Именно поэтому мой роман переполнен персонажами и сюжетами, он ими просто «кишит». Сама форма призвана показать неисчерпаемость потенциала страны, о которой я пишу, и в этом смысле быть оптимистическим противовесом личной трагедии героя».

Фантазия писателя неуемна и необузданна, его воображение находится на постоянной точке кипения, в нем бурлят эпохи, события, судьбы, люди, звери, боги, монстры. Персонажи появляются, исчезают, снова выныривают на поверхность, иногда в другом романе, под новым именем — в новой маске, немного изменившиеся, а впрочем, те же, они еще нужны Сальману Рушди, он их еще не отпускает, они еще не все рассказали о себе, их жизни еще не кончены. Цикличность субконтинентального времени отодвигает прошлое не в глубину, а в сторонку, где оно остается на виду, души персонажей отыскивают для себя плотскую оболочку, с легкостью переселяясь в другую, когда придет пора, метафоры набегают одна на другую, сталкиваются, из осколков образуются новые, все в непрерывном движении, в процессе.

Жаркая баталия, разгоревшаяся вокруг, мягко говоря, нетривиального подхода Рушди к событиям огромного значения для судьбы Субконтинента — и не только для него,— отвлекла внимание от другого, глубинного пласта «Детей полуночи».

Между тем именно с «Детей полуночи» начинает Рушди исследование сквозной темы его творчества — сосуществования и взаимодействия истинного и вымышленного, действительности и иллюзии, лика и личины. Писатель возвращается к ней снова и снова, анализируя ее в разных аспектах, под разными углами зрения. Мифологическое осмысление реальности и обратное воздействие мифа на нее, превращение идеи в стереотип, возникновение и разрушительное действие эмблематической культуры наших дней, миф и реальность культурной самобытности — на каком бы материале ни ставил Рушди эти проблемы, его выводы носят отнюдь не региональный характер.

«СТЫД» появился в 1983 году, и краткость интервала между двумя произведениями является лишь дополнительным подтверждением тесной их связи. Нет, «Стыд» не сюжетное продолжение «Детей полуночи», но трудно избавиться от ощущения, что и здесь действуют все те же персонажи — они только надели новые маски. И действуют под новыми эмблемами. В чем разница между маской и эмблемой? Маска предназначена для перевоплощения, эмблема — для обозначения. Маска таит под собою суть, эмблема прокламирует, что следует считать сутью.

Эмблема Индии — демократическое, секулярное государство. Эмблема Пакистана — исламская республика. А в чем для Рушди их суть?

Индия осталась неизменной, какой всегда была, добавив к умопомрачительному корпусу своей мифологии еще один миф — о свободе, демократии, секулярности.

Пакистан же отрекся от своего прошлого, сочтя его неподходящим. Раз ислам есть единственное оправдание самого существования искусственно созданной страны, то и прошлое ее должно быть целиком мусульманским, а никак не общим с «идолопоклоннической» Индией. Понадобилось переписать историю — но на прежних страницах, где же взять новые? Получился палимпсест, где из-под торопливо сочиненной истории все время упрямо выглядывает та, настоящая. «Века Индии под тонким слоем среднепакистанского времени». А потому, заключает Рушди, все, что происходит в Пакистане, нужно рассматривать как борьбу между прошлым, насильственно запихнутом подальше, с глаз долой, и настоящим, которое только и держится, что на идее. Или, если угодно, как противоборство между вымыслом и реальностью, где вымышленное прошлое подчиняет себе сегодняшнюю действительность.

Метафорой Индии стали ее чудо-дети, так никому и не понадобившиеся. Метафора Пакистана — «фальшивое чудо», слабоумная и тем освобожденная и от прошлого, и от вины за него Суфия Зинобия, дочь, обманувшая ожидания родителей, уверенных в том, что зачали сына.

Суфия Зинобия, вместилище всеобщего стыда, который «должны бы испытывать, да не испытывают другие», сочетается браком с Омар-Хайамом Шакилем — но тезка великого поэта-вольнодумца не сочинил ни единой стихотворной строки и вообще не совершил ни единого поступка: любящие мамаши с детства освободили его от стыда, а заодно и от способности действовать.

Суфия Зинобия, сгоревшая со стыда, превратившаяся в яростного зверя, убивает Шакиля; стыд взрывается насилием в Суфии Зинобии, центральной фигуре романа, потому, что она, женщина — независимо от обстоятельств жизни,— в силу своего естества несет бремя дополнительной пристыженности.

Сальман Рушди видит в женщине воплощение природного начала, отвергающего все неистинное, надуманное, не проистекающее непосредственно из стихии бытия. Ал-Лат, извечная женщина, всемогущая, как сама природа, противостоит Ал-Лаху, началу концептуальному, стремящемуся взнуздать естество, ограничить свободу его проявлений. Рушди не то чтобы «ранен женской долей», а скорее сбит с толку рабским положением женщин, особенно в мусульманском обществе...

Они порой вырываются из рабства, но утрачивают гармоничность, присущую природе, и обращаются в разрушающую силу — как Суфия Зинобия, как мстительная Хинд из «Сатанинских стихов». Эта тема тоже становится сквозной в творчестве Рушди.

Однако в «Стыде» внимание писателя сосредоточено на анализе того явления, которое он впоследствии назовет «эмигрантским сознанием»: «Когда человек отрывается от родной земли в поисках свободы, он переселяется. Когда освобождаются целые народы, жившие на родной земле, как на чужбине (пример — Бангладеш), они обретают самоопределение. Что самое стоящее у тех и у других? Оптимизм! А что в этих людях самое нестоящее? Тощий багаж! Я говорю отнюдь не о фанерных чемоданах, не о немногочисленных и уже потерявших смысл безделицах. Мы окончательно отрываемся не только от земли. Мы поднимаемся над историей, оставляем внизу и память и время.

Все это могло случиться и со мной. Все это могло случиться в Пакистане».

Что может произойти с целым народом, если, не перемещая его с родной почвы, перерубить корни? Настойчиво втолковывать целому народу, что исторический опыт отцов и праотцов недействителен, что его генетическая память недостоверна, что прошлое следует понимать по-новому? Что станет с таким народом? Будет, на манер Омар-Хайама Шакиля, пребывать в постоянном ощущении края бездны, некоторого неправдоподобия своего бытия, общей фальши по общему сговору. И будет изо всех сил хвататься за гонор, за эмблемы самовозвышающего обмана, охотно повиноваться запретам в страхе перед истиной. Будет расти число шакилей, предпочитающих жить в «моральном раю» на обочине всего на свете, даже головы не поворачивая в сторону древа познания. Что бы они стали делать, вкусив от его плодов?

А совсем рядом с райскими кущами, под их прикрытием зреет стыд, созрев, взрывается нерассуждающим насилием, слепой местью за унижения. Умело взнуздав страшную силу, впервые ощутившую себя таковой, ее можно направить на что угодно... Но об этом разговор отдельный.

Рушди пытается уточнить разницу между достоинством и гонором, между стыдом и старанием прикрыть бесстыдство, сопоставляя английское «shame» со словом «шарам», которое употребили бы те, о ком он пишет.

«Шарам — вот нужное мне слово,— пишет Рушди.— Вроде, маленькое слово, а значений и оттенков — на целые тома». Через общие индоевропейские корни «шарам» состоит в ближайшем родстве с нашим словом «сором», «срам».

Разве стыд синонимичен сраму? Или стыдиться и срамиться — одно и то же? Разве невозможно избегать срама, бояться посрамления, будучи свободным от стыда?

Рушди спрашивает: что останется, если вычесть из нашей жизни срам? И отвечает: бесстыдство останется. А если вычесть стыд? Ну тогда останется разнузданная сво-

бода, свобода от всех пут и от всех уз, соединяющих людей друг с другом, соединяющих прошлое с настоящим.

«Стыд» — в еще большей степени, чем «Дети полуночи» — композиционно держится на жестком каркасе подлинных событий новейшей политической истории Пакистана, и действующие лица истории описаны с опознаваемым портретным сходством: Зульфикар Али Бхутто и члены его семьи, включая, конечно, Беназир; диктатор Зия-уль-Хак, фельдмаршал Айюб Хан; генерал Яхья Хан; некоторые другие. Незачем и говорить, что здесь нет — и быть не может — фотографической точности. Рушди опять-таки обнажает прием: «Есть две страны, вымышленная и реальная, и занимают они одно и то же пространство. Или почти одно и то же. Рассказ мой, как и сам автор, как и вымышленная им страна, находятся словно бы под углом к действительности. И там им и место, по моему разумению. А плохо ли это или хорошо — пусть судят другие. Мне думается, что пишу я все же не только о Пакистане».

Все же, видимо, есть необходимость хотя бы пунктирно очертить контур реальных событий — так читателю будет легче оценить угол расхождения между ними и вымыслом, что, в свою очередь, прояснит позиции Сальмана Рушди.

...Генерал Айюб Хан захватил власть в стране в октябре 1958 года. Он стер с лица пакистанской земли те демократические институты, которые начинали было строиться, произвел себя в фельдмаршалы, прижал непокорных белуджей — горцев из Немыслимых гор — и к девятому году правления завоевал всеобщую ненависть — хотя причины недовольства его делами были достаточно разнообразны. Волна недовольства достигла размеров девятого вала.

Мухаммед А. передал бразды правления генералу Яхья Хану — тому самому Пуделю, который к 1970-му вынужден был объявить выборы — акцию, диковинную для Пакистана и описанную в «Стыде» не столько гротесково, сколько реалистически,— на них убедительную победу одержала Пакистанская народная партия, возглавляемая Зульфикаром Али Бхутто. Но Бхутто одержал победу в Западном Пакистане, а в Восточном победила Народная лига под руководством шейха Муджибура Рахмана, потребовавшая автономии для восточного крыла, превосходившего западное крыло численностью населения, но нещадно эксплуатируемого меньшим крылом.

Ответом на требования Восточного Пакистана был военный удар Западного. Девять месяцев длилась кровопролитная война — до декабря 1971 года, когда на помощь Дакке пришла Индия, и через две недели пакистанская армия капитулировала, потеряв в бесславной кампании половину морского флота, четверть воздушного, треть наземных войск.

Пройдет немного времени — в Бангладеш произойдет военный переворот, шейх Муджибур Рахман будет убит (вместе с многочисленным семейством), страна вступит в долгий период нестабильности.

А в усеченном Пакистане к власти придет более или менее законно избранное правительство во главе с Зульфикаром Али Бхутто; Пакистан получит конституцию, трудовое законодательство, земельную реформу и некоторые другие цивилизованные новации. Трагическая ошибка Бхутто — его уверенность в том, что армия деморализована и опозорена, а значит, эпохе военных диктатур больше не бывать.

Он лично назначил на пост начальника генерального штаба безвестного и безродного офицера Зия-уль-Хака. 5 июня 1977 года Зия-уль-Хак совершил государственный переворот и отстранил от власти Бхутто. Вскоре Бхутто был арестован по явно сфабрикованному обвинению в соучастии в политическом убийстве и после долгого судебного фарса повешен. Есть и другая версия: он умер от пыток.

Десятилетие под сапогом Зия-уль-Хака заставит самых яростных политических противников Бхутто ностальгически вспоминать годы его лидерства... Интервью Резы Хайдара, отвечающего на вопросы журналиста, Сальман Рушди мог просто-напросто переписать из газет. Возможно, он так и сделал — Рушди насыщает свою прозу сюжетами, почерпнутыми из прессы, иногда сохраняя их в первозданном виде, иногда переосмысляя.

Вспомним Габриэля Гарсиа Маркеса: «Я исходил из необходимости стереть демаркационную линию между тем, что казалось реальным, и тем, что казалось фантастическим, ибо в мире, который я старался воплотить, этого барьера не существовало». Макондо, конечно, не Карачи, но задачу перед собой оба писателя поставили сходную — отсюда и сходство в способах ее решения. Отсюда и пристрастие к газетным вырезкам, к эху последних известий, к черновикам истории как документальному подтверждению несуществования демаркационной линии. Могла ли безудержная фантазия Рушди нарисовать то, что реально происходит с ним сейчас? В который уже раз политическая реальность эпохи дает сто очков вперед художническим выдумкам. В газетах пишут: скандал вокруг Рушди выглядит главой из одного из его романов... Да нет же, куда уж там Рушди!

В «Стыде» Рушди доказывает несуществование и другой демаркационной линии — той, что в глазах многих отделяет благопристойность западной политики от авторитарно-тоталитарно-террористических методов политики вчерашних колоний Запада.

Справедливо замечено, что кто бы ни открыл воду, это сделала не рыба. Рассматривая Рушди с этой точки зрения, его, вероятно, следует отнести к классу земноводных: он обитатель двух культурных сред, восточной и западной, каждую из которых он знает и изнутри, и извне. Двойное зрение позволяет ему с особенной отчетливостью разглядеть «алогизм привычного» в обеих средах своего обитания.

Генерал Реза Хайдар слышит Голоса: правым ухом — голос очумевшего от святости фанатика Дауда, а левым — цитаты из Никколо Макиавели, читаемые бархатным голосом Искандера Хараппы. Один подсказывает диктатору религиозные обоснования беззакония и бесстыдства, другой — обоснования, освященные политической традицией Запада. Бесстыдство, исключение нравственного фактора из политики,— явление всемирного порядка, и единственное отличие стран третьего мира заключается в том, что здесь политические процессы обнаженней, наглядней, резче: в этих краях политика не соперничество партий на выборах, а вопрос жизни и смерти, как сказал Грэм Грин о Панаме.

Бесстыдство кроется в самой природе политической жизни.

Какая бы партия ни взяла верх, какая бы форма правления ни утвердилась — они уравнены методами, которые применяют открыто или тайно. Аристократ-президент и солдафон-диктатор различаются лишь эмблематически: тот — «законно избранный народом лидер», этот — «слуга отечества, избранный Богом».

Рушди еще и подчеркивает сходство между Иски Хараппой и Резой Хайдаром притчеобразной вставкой о Робеспьере и Дантоне (о Робестоне и Данпьере) — воистину, роман не только о Пакистане.

Для характеристики уже не романа, а самого Рушди хочется привести здесь поразительное для него высказывание — из книги о Никарагуа. Рушди пишет в ней: «Я с изумлением понял, что впервые в жизни столкнулся с правительством, которое готов поддерживать... Это сбило меня с толку. Я всю жизнь был в оппозиции к властям, более того, всегда полагал, что антагонизм по отношению к властям составляет одну из функций писателя. Оказавшись на одной стороне с ними, почувствовал себя просто неловко, но что делать, не избегать же правды: будь я никарагуанским писателем, я счел бы себя обязанным присоединиться к Сандинистскому фронту и трудиться, засучив рукава».

Рушди побывал в Никарагуа в пору, когда уже работал над «Сатанинскими стихами», и велико было, должно быть, потрясение от поездки, раз он, отложив роман, сел писать «Усмешку ягуара» — никарагуанский дневник, хотя скорее это дневник душевных состояний самого Рушди.

«САТАНИНСКИЕ стихи» писались долго, больше пяти лет. В августе 1988 года роман был опубликован — крупное философское произведение, многоплановое и полифоническое, местами нарочито усложненное большим количеством литературных аллюзий: типичное чтение для интеллектуалов, но ни в какой мере не могущее претендовать на успех у массового читателя. Возможно, Рушди и ожидал очередной критической битвы вокруг нового романа, но то, что последовало за публикацией «Сатанинских стихов», конечно, и в голову никому не могло прийти. «Сатанинские стихи» получили беспрецедентный резонанс, суть же романа оказалась полностью вынесенной за скобки.

Папку, куда я целый год складываю отклики на «дело Рушди», уже трудно завязывать. Однако в ней так и нет ни одной рецензии на роман — ни единого критического разбора этого, без сомнения, чрезвычайно значительного произведения. Накопившееся за год можно сгруппировать по трем основным темам.

Тема первая: действительно ли оскорбил Рушди религиозные чувства мусульман, а если оскорбил, то чем именно. Тут просто голова идет кругом от разброса мнений: автор высмеял пророка Мухаммада. Автор изобразил его жен проститутками. Само название романа есть намек на Коран.

Тема вторая: имел ли Хомейни право—юридическое, моральное, богословское, наконец—выносить смертный приговор гражданину другой страны — за художественное произведение, ни в малейшей степени не претендующее на авторитетность ученого трактата.

И третья: какие политические факторы привели в действие пусковой механизм международного скандала.

Начать легче с конца.

Десятилетие, прошедшее после победы исламской революции в Иране, поставило страну на грань экономического коллапса, в чем не последнюю роль сыграли восемь лет войны против Ирака, столь же изнурительной, сколь и бессмысленной. Возникла тревога в отношении будущего исламского фундаментализма как государственной политики — в последнее время она потерпела не одно, а ряд поражений. Результат ирано-иракской войны, перемены в Пакистане, вывод советских войск из Афганистана побудили некоторых иранских лидеров, обычно именуемых «прагматиками», заговорить о компромиссах с внешним миром. В этой обстановке Хомейни просто необходимо было найти эмблему для новой активизации фундаментализма, которая утвердила бы его в качестве вождя всех мусульман мира — их около миллиарда,— а не одних только шиитов, чьим титулярным главой он являлся.

Сам по себе роман никого не интересовал: если бы не было Рушди с его «Сатанинскими стихами», их надо было бы выдумать.

Хотя, с другой стороны, как доказывает Рушди, выдумка — вещь реальная, так что есть резон и во мнении одной египетской газеты, писавшей в разгар кризиса: «Приговор аятоллы выставляет ислам в виде более неприглядном, чем все писания Рушди: мало кто их стал бы вообще читать, не поднимись вокруг них такой шум».

Надо сказать, что вопреки широко распространившемуся мнению водораздел между сторонниками и противниками акции Хомейни отнюдь не совпадает с границей между мусульманским миром и всеми остальными. Уже не говоря о целой группе интеллигенции стран ислама, решительно осудившей Хомейни — хоть и не всегда и не во всем оправдывавшей Рушди,— смертный приговор возмутил многих мусульманских богословов. Одни считали, что Хомейни, сделавший это единолично, преступил коранический завет, согласно которому никто не смеет поднимать свой голос выше голоса пророка. Многие негодовали по поводу награды, назначенной за голову Рушди, превращавшей, с их точки зрения, акт веры в убийство за плату. И теперь, несмотря на смерть Хомейни, писатель продолжает оставаться в зоне смертельного риска— ему грозит либо гибель от руки фанатика, либо пожизненное заключение под присмотром детективов из Скотланд-Ярда.

Для фанатичного ортодокса-мусульманина богохульство и отступничество Сальмана Рушди заключено уже в том, что он осмелился рассматривать ислам как идеологию, порожденную определенным историческим контекстом, а Мухаммада как человека, как историческую личность. Строго говоря, пророк Мухаммад в романе не фигурирует: даже пророк по имени Махаунд является лишь в галлюцинациях одного из главных персонажей «Сатанинских стихов». Но кто прочитал роман вообще — из его недругов, из его защитников? Явно немногие.

Роман расходится колоссальными тиражами, но похоже, что его раскупают больше в знак протеста, чем для чтения (он труден для чтения), к тому же сторонники Рушди отстаивают не столько роман, сколько неприкосновенность принципа свободы слова — и, пожалуй, с тем же фанатизмом, с каким ортодоксы сражаются за неприкосновенность Корана. «Война слов,— заметил сам Рушди.— Слово пророка против моего».

Понятно, что любая религия имеет абсолютное значение для адептов, но относительное для восприятия других. Коран для мусульманина совершенно равнозначен выражению воли Аллаха. Ислам — одна из религий, основанных на Откровении. Божественное откровение воплощено в Коране, что делает священными не просто установления, изложенные в нем, но и каждую его букву. Прототип Корана находится на седьмом небе, человечеству же он был явлен архангелом Джабраилом через пророка Мухаммада — «совершеннейшего из людей», но человека. Божествен Коран, а не человек, избранный Аллахом для воспроизведения его слова.

Как религия Откровения, ислам не требует посредничества между верующим и Аллахом, необязательна и коллективная молитва. Однако с течением времени многое переменилось, а о той роли, которую сегодня играют муллы, можно и не говорить, она общеизвестна.

В интервью журналу «Штерн» Рушди сказал: «Муллы стали идеологической полицией нашего времени. Они превратили Мухаммада в некое безупречное существо, так что о нем запрещено говорить как о человеке с присущими человеку добродетелями и недостатками. И о распространении ислама запрещено писать как об историческом процессе. «Сатанинскими стихами» я нарушил и эти табу, и еще одно — я попытался рассказать о положении женщины в мусульманском обществе, о роли, отведенной ей Кораном... «Сатанинские стихи» — не антирелигиозный роман. Это попытка рассказать об эмигрантах, об их трудностях, о переменах, происходящих в их среде. Печальная ирония заключается в том, что мне, так долго трудившемуся, чтобы дать самовыражение эмигрантской культуре, частью которой я являюсь, пришлось стать свидетелем того, как люди, о которых я пишу, сжигают мою книгу, большей частью так и не прочитав ее».

География романов Сальмана Рушди повторяет собой географию его жизни: Индия, Пакистан, Англия. Лондон. Неузнаваемый Лондон, хотя все в нем на месте — опознавательные знаки знаменитых сооружений, улицы, площади, парки, названия которых будят множественное эхо литературных ассоциаций.

Вавилондон, говорит Рушди. А одна из глав «Сатанинских стихов» названа «Лондон зримый, неувиденный». Это эмигрантский Лондон, куда каждая популяция эмигрантов везет вместе с багажом цветные осколки прежней родины и сквозь них рассматривает новое место своего жительства, дополняя воображением неувиденное, непонятное.

Эмигрант живет вымыслом. Он «вымышляет» и оставленную родину, корректируя даже свежие воспоминания, и место, куда перебрался, подгоняя впечатления от непривычной жизни под свои традиционные нравственные нормы. Эмигрант обречен на отчуждение. Старается он адаптироваться к новой культурной среде или отгородиться от нее — эмигрант остается чужаком, потому что о нем судят по готовым, нелестным стереотипам.

Достоевский писал, что Петербург — самый вымышленный из городов России, но Петербург придумал император-реформатор и выстроил его по единому самодержавному замыслу. Вавилондон же вымышляют — каждый на свой лад — жители стран, давших ему некогда его богатство и великолепие, теперь же хлынувшие сюда как бы в порядке реконкисты, встречаемые унижениями и оскорблениями. «Я индиец в Великобритании,— говорит о себе Рушди,— в расистской стране, где всячески подавляется достоинство национальных меньшинств, где еще свежи ностальгические воспоминания о колониальном прошлом».

Если уж подбирать к «Сатанинским стихам» эпитет с приставкой анти-, то больше всего подойдет «антирасистский». Это убежденно и убедительно антирасистский роман. За что и попал под запрет властей ЮАР, проявивших бóльшую проницательность, чем многие критики.

Впрочем, правительство Великобритании тоже со временем разобралось что к чему и устами министра иностранных дел Джеффри Хау (теперь бывшего) официально заявило: «Мы не поддерживаем эту книгу. Она оскорбительна для нашего общества... Единственное, что нас с ней связывает,—наша верность принципу свободы слова».

Но, конечно же, не в изобличении расизма смысл «Сатанинских стихов». Рушди пытается показать противоборство между стереотипами сознания, в том числе расистским, и свободным поиском истины, из которого рождается новая культура, с многокорневой системой, возникающая на наших глазах в результате культурных взаимодействий...

В Вавилондонское столпотворение сваливаются с неба, обнявшись крепче двух друзей, архангел и сатана. Собственно, это два актера из Бомбея, они летели в самолете, который взорвали в воздухе пенджабские террористы, свободное падение с высоты в десять тысяч метров выявило внутреннюю суть обоих — и вот, кумир экрана Джабраил и озвучиватель рекламы Чамча, по прозвищу «Человек тысячи голосов», оказываются в новых для себя ролях. Они как бы персонифицируют два полюса притяжения для эмигранта — сохранение культурной самобытности и попытку аккультурации. Джабраил неразрывно связан с Индией, Чамча изо всех сил старается стать англичанином. Чамча играет инопланетян-мутантов, Джабраил прославился в кино исполнением ролей индусских богов, но сейчас, когда он страдает галлюцинациями, ему чудится роль архангела Джабраила — он превращается в доподлинного архангела, посещает песчаный город Джахилию, где проповедует учение о едином боге пророк Махаунд, человек могучей воли, но не свободный от сомнений. Пророк сражается с сомнениями — и с архангелом Джабраилом,— вынуждая архангела говорить ему то, что жаждет он услышать. Преодолев сомнения, Махаунд утверждается в уверенности, что учение его есть сама Истина.

Сальман Рушди объясняет в интервью еженедельнику «Камбио-16»: «Только чувство причастности к истине помогает человеку сохранить себя. Как же узнать, что перед нами абсолютная истина? Что есть истина — то, что считает истиной большинство? Но большинство может изменить взгляды в ходе истории... Махаунд приходит к проповеди религии абсолютной истины, а потому его последователи будут служить не богу, но сатане».

Терзаемый галлюцинациями, Джабраил надеется найти спасение в любви к светловолосой покорительнице Эвереста Аллилуйе Кон, уйти от множественности вымыслов в истинное чувство. Но Аллилуйе не спасти возлюбленного — она и сама не может вырваться из мира, где истина погребена под бесчисленными и взаимоисключающими стереотипами и эмблемами.

«XX век,— жалуется Аллилуйя,— отменил знание. Мы живем в придуманном мире, где все происходит как по волшебству. Как же понять, что здесь хорошо, что плохо, если вообще невозможно понять происходящее?»

Размываются различия между песчаным миром галлюцинаций и многократно вымышленным Вавилондоном, обитателям которого, обуреваемым взаимной ненавистью и подозрительностью, нужна не истина, но визуальная, предельно упрощенная эмблема — чтобы сразу можно было отделять своих от чужих. В этом городе никто никого не видит потому, что видение требует понимания, признания отсутствия единой, абсолютной истины. Здесь же реальность заменена эмблемой, суть — стилем. Время от времени Вавилондон сотрясают взрывы насилия, подлинность которого немедленно скрывается под эмблематическим — ясным и однозначным — истолкованием.

Вавилондон и сам есть эмблема — глобально распространяющейся эмблематической видеокультуры. Символ ее — дистанционный переключатель телепрограмм, «прокрустово ложе XX века, великий уравниватель, отсекающий серьезное, вытягивающий чепуховое, сообщающий равное значение рекламе, убийству, спортивной игре, тысяче и одному развлечению и стольким же трагедиям, реальности и вымыслу».

И живет здесь в изгнании некий Имам, твердый в уверенности, что обладает единой и непреложной истиной. Он не назван по имени, ибо в этом нет надобности. «Кто он? Изгнанник. Этот термин нельзя смешивать, нельзя путать с другими — эмигрант, перемещенное лицо, беженец, иммигрант. Изгнание есть мечта о победоносном возвращении на родину, изгнание есть мечта о революции: это Эльба, а не Св. Елена; это парадоксальное состояние — взгляд в будущее глазами, устремленными в прошлое».

Имаму требуется не одобрение Джабраила, а помощь в борьбе против Ал-Лат, «узницы своей природы, скованной цепями Времени», ибо Имам — враг Времени.

«После революции,— обещает он,— мы уничтожим все часы, само слово «время» будет исключено из нашего словаря... мы возродимся в остановившемся Времени пред очами всемогущего бога».

Почему Сальман Рушди озаглавил свой роман «Сатанинские стихи»? Писатель не придумал это название, а позаимствовал его у ат-Табари, известнейшего мусульманского историка IX века, в чьих трудах упоминается предание о «ложном наущении» пророка Мухаммада. Проповедуя единобожие, Мухаммад натолкнулся на сопротивление жителей Мекки, упрямо не желавших отказаться от поклонения трем богиням. Тогда, как сказано у ат-Табари, «пророк возжелал, чтобы бремя народа стало полегче» и ему были явлены суры (стихи) о том, что богини эти суть вестницы Аллаха. Мухаммад обрадовал верующих, сообщив им об этом, но позднее архангел Джабраил объяснил Мухаммаду, что были то «сатанинские стихи» и пророк изъял их из Корана.

Вот это предание и оживает в галлюцинациях Джабраила; он делается свидетелем — скорее даже соучастником — сомнений и терзаний пророка, пособничает в его компромиссах. Джабраил присутствует и при торжестве учения Махаунда, которое подчиняет себе людей — ислам и означает «подчинение» в переводе,— подчиняет и самого Махаунда, уверившегося в том, что истина, проповедуемая им, абсолютна и вневременна.

Сатанинские стихи были источником мук и сомнений, но они обязывали душу трудиться в поисках истины, отвергать ложные наущения, определять, что есть добро, а что — зло. Уверившись же в том, что его учение и есть истина, сомнению не подлежащая, заменив труд мысли подчинением, Махаунд и его последователи перестали служить Богу. Не сомнение дело рук сатаны, а слепое повиновение, фанатизм, способный обратить прекраснейший из идеалов в его противоположность.

«Сатанинские стихи» не роман характеров. Это роман идей, как, впрочем, все, написанное Сальманом Рушди. Идеи все те же — сквозные для его творчества, но интерпретация их расширяется с каждым новым произведением.

«Дети полуночи» шире географии Субконтинента, «Стыд», видит бог — это не о Пакистане! А «Сатанинские стихи»— не оказались ли мы все сегодня в «эмигрантском обществе»? Конечно, сейчас о культурной автаркии можно говорить только как об одном из вариантов масс-культуры — и это не парадокс, а констатация факта. Средства массовой информации даже концепцию государственного суверенитета поставили под вопрос, а культура и в былые времена, и под гнетом любых запретов умудрялась жить перекрестным опылением.

Этнопсихологи знают, что разделение на «свой» и «чужой» резче всего проявляется на пограничье этносов, где сопоставление легко уступает место противопоставлению. Не происходит ли сейчас всемирное смешение этносов, небывалое доселе взаимодействие культур, в котором граница между «своим» и «чужим» должна совпадать с гранью между истинным и вымышленным, реальностью и ее стереотипом? И может быть, сегодня, как никогда прежде, леность души и легкость существования в окружении стереотипов и есть «ложное наущение»?

◆

Писатель и время

ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ, НИКОЛАЙ САМВЕЛЯН

СТРАДАЮЩИЙ БОГ

Диалог

Начавшиеся на страницах нашей периодики «Диалоги» между Дмитрием Лихачевым и Николаем Самвеляном стали книгой, переведены на многие языки, в короткий срок выдержав десятка два изданий. Словом, судьба у этого произведения счастливая.

Работа над «Диалогами» продолжается. Возникают новые главы-беседы, которые авторы называют «вечерами». Тот «вечер», который мы предлагаем вниманию читателей, был записан для нашего журнала, как, впрочем, и диалог «Возвращение к Человеку», опубликованный в «ИЛ» № 1 за 1988 год.

Д. Лихачев. В утешение старым людям и тем, кто потерял близких, надо сказать следующее: когда надеются на встречу после смерти, это не суеверие какое-то, а определенный опыт. Я не принадлежу к верящим в культ предков, но все-таки в этом есть что-то очень серьезное. Научное, непредвзятое изучение религий и представления о Времени в различных религиях чрезвычайно важно. Религии существуют, думаю, миллионы лет. И в том, что касается культа предков и категории Времени, они утверждают примерно одно и то же. Но если сравнить все религии между собой, тем не менее нельзя сказать, что они апеллируют к одним и тем же чувствам. Другими словами, что они одинаковы. Возьмем, допустим, японскую религию синто. Мне она очень нравится отношением к культам природы. Но в христианстве есть то, что отличает его от всех остальных религий: это Человек и его Страдающий Бог. Впрочем, страдающий бог появился еще у древних греков.

Н. Самвелян. Тот же Прометей. Он сознательно страдал за людей. И не только Прометей... Любя людей, Прометей все же принес в мир идею всесилия человека, возможность его победы над судьбой, роком, а далее напрашивается — и над природой, над ее законами. Недаром же ныне забытый русский поэт Борис Карлович Бланк еще на рубеже XVIII и XIX веков грустно-элегично писал:

Божественный огонь, который Прометей
С небес похитил для людей,
Сей разум иногда нас. правда, освещает,
Был разум – это всякий знает
Но чаще невпопад ведет;
В украденном добре когда ж и прок живет!

Насилие над природой, попытки стать над нею и привели в конце концов к грандиозному кризису, из которого не так-то просто выйти. Только какой именно будет расплата: апокалипсис или же лишь грозный призрак его?.. Случайно ли образ Прометея всегда виделся противоречиво, тревожил воображение многих писателей, того же Андре Жида. Однако, несмотря на все, подозрительные предположения в чем-то, может быть, и не так уж беспочвенны. Если же говорить о христианском Страдающем Боге, то он пошел на муки за грехи людей. Бог, сознательно страдающий за грехи человека,— одна из основ христианства.

Д. Л. Страдающий и умирающий Бог как бы оправдывает страдания самого человека. В нравственном отношении это очень важно. Именно поэтому Осип Мандельштам утверждал, что современный человек должен, обязан быть христианином. Почему именно христианином? Потому, считал он, в современном страдающем обществе только христианство может и утешать, и управлять страданиями человека. Именно у п р а в л я т ь, не допускать того, чтобы одно страдание повлекло за собой другое и чтобы этот круг никогда уже нельзя было разорвать. Одно наблюдение: люди, пришедшие к христианству, часто лучше и тоньше его чувствуют, чем люди традиционно христианские. Это объяснимо. Тот, кто пришел к христианству,— пришел сознательно, а не получил его по наследству, так сказать по инерции. Христианство Мандельштама и Пастернака тому примеры. В связи с этим несколько слов о «Докторе Живаго». По моему убеждению, роман — гениальное произведение, пока еще не понятое до конца... И не знаю, в состоянии ли мы вообще его по-

нять. Может быть, это уже удел и привилегия потомков.

Н. С. Если вы сомневаетесь, что нам дано понять роман, значит, и предисловие к первому у нас в стране изданию «Доктора Живаго» «рабочее», промежуточное, как бы только подход к тому, что еще в будущем может быть сказано?

Д. Л. Я лишь пытался как-то разобраться в романе, объяснить, почему это произведение выдающееся, но мне было трудно: надо было постоянно помнить о читателе, который, подобно всем нам, к сожалению, плохо подготовлен к восприятию произведений такой силы. Но я бы мечтал написать о «Докторе Живаго» еще одну статью — о его философской и религиозной глубине.

Н. С. Конечно же, «Доктор Живаго» — роман об уничтожении христианской культуры или же о попытке ее уничтожить. Трагедия огромной силы. С Атлантидой было проще — возникла гигантская волна, утопила целую цивилизацию, но быстро и без мучений. А в «Докторе Живаго» присутствует тревога, трудно уловимое предчувствие, что за первой волной беды пойдет и вторая, третья, четвертая... И все это будет связано не только с физическими, но и нравственными мучениями. Почти тысячу лет, а если быть точным — намного больше, эта культура формировалась как уникальная, никаких аналогий не имеющая, возникшая на перекрестье Европы и Азии, Запада и Востока, Севера и Юга, на фундаменте славянских, угро-финских, закавказских, исламских, многих языческих культур под сильнейшим воздействием восточного христианства, наследующего Византию и ее собственную мощную культуру. А еще и античные влияния — через Кавказ, Закавказье, а прежде всего — греческие колонии в Крыму и Северном Причерноморье. Случайно ли Киевская Русь так сразу, как бы внезапно стала «страной городов»? Откуда это умение строить города? Не от древних ли греков пришли знания?.. Юрий Живаго чувствовал, как гибнет то, что создавалось гением и трудами сотен поколений... Это нравственные муки такого же масштаба, как у Гамлета, когда сознание протестует, а сил остановить совершающееся нет... Я хотел бы когда-нибудь увидеть изданных под одним переплетом «Гамлета» и «Доктора Живаго».

Д. Л. Может быть... И такое предложение — вовсе не парадокс. «Гамлет» — тоже нечто невероятное и не утратившее значения по сей день: грандиозная трагедия мыслящего человека, интеллигента в сегодняшнем понимании. У меня есть любимая идея издать в «Литературных памятниках» двухтомного «Гамлета» — с английским текстом, с разными переводами — Пастернака, Радловой, Лозинского, с точным научным переводом и с комментарием. Мы должны понять, что Гамлет — не просто колеблющийся человек. Он — человек мыслящий. А не колеблется только полуинтеллигент или немыслящий. Мыслить — значит колебаться, сомневаться, уметь отходить от заученных схем и догм. «Гамлет» нужен нам сегодня, как никогда! Мы не поднимем экономику, не сможем реформировать политическую систему, если не поймем вечную истину: мыслить — значит сомневаться.

Н. С. Что касается принца датского, то с ним вопрос и прост и сложен. Легче всего Гамлета объявить рефлексирующим субъектом, который своими колебаниями, непрерывными сомнениями массу людей погубил и обездолил, а родину положил к ногам норвежского принца Фортинбраса. Мы знаем, что Гамлета, случалось, именно так и понимали: этаким хлюпиком. Но не надо забывать, что это был человек, находящийся в состоянии постоянного суда над самим собой.

Д. Л. Готов повторить: Гамлет — мыслящий человек и не может вести себя иначе. Не сомневается существо бездуховное...

Н. С. Все так, Дмитрий Сергеевич. А сейчас хотел бы сказать еще вот о чем. О сомнениях и метаниях Гамлета мы узнали из его реплик и монологов, большинство которых могло быть и внутренними. Ну а если эти монологи убрать, предположить, что Гамлет по каким-то причинам не счел бы нужным сообщать нам и публике о своих сомнениях и метаниях, каким бы он тогда предстал перед нами? Наверное, стремительным, бескомпромиссным человеком, уколы шпаги которого точны, словно атака змеи. Гильденстерн, Розенкранц, Полоний, Клавдий, королева, Офелия и Лаэрт сказали бы, что принц беспощаден, ни во что не ставит человеческую жизнь (правда, при этом им следовало бы добавить, что и свою собственную тоже). Тут где-то рядом бродит и снабженное достаточным количеством аргументов обвинение в неуважении к личности, в непонимании ее ценности. Между тем Гамлет просто восстал против мира фарисейства и лицемерия. Он безусловный разрушитель этого мира, руководила им Совесть. Куда в более сложном положении доктор Юрий Живаго. Он догадывается, а может быть, даже и понимает, что мир, его породивший (кстати, не самый плохой из миров), обречен. Все уйдет и навсегда. Видоизменится семья, она лишится ореола интимности, во взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между отцами и детьми начнут грубо вмешиваться посторонние силы и тем самым будет торпедирована сама идея личной жизни: какая такая личная жизнь? Голому на ветру личная жизнь не положена, разве что регламентированная, отпущенная строго по карточкам, с обязательным отчетом за использование талонов перед коллективом. Уже вынашивались, зрели где-то Антиромео и Антиджульетта — хотя бы те же «Сорок первый» Бориса Лавренева и «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского, да и пьесы Александра Корнейчука, его статьи и даже личные письма, публицистика позднего Горького, который, в отличие от Юрия Живаго, мучительно пытался приспособиться к новым обстоятельствам... Но можно ли быть свободным посреди несвободы?

Юрий Живаго не играл в эти игры. Он вообще не был активным политиком, чем и интересен. И все же, несмотря на известную внешнюю стандартность, он никак не элементарный обыватель, а явление куда более сложное: это умный наблюдатель, летописец. Перед нами своеобразная летопись — раны и шрамы на сердце и в душе. Пришла эпоха, когда летописцам не давали возможности заниматься летописями: рукописи горели на каждом углу. Уничтожалась коллективная память народа, провозглашался страшный ло-

зунг: «Человек, тебе прошлого не дано, живи надеждами на Завтра, которое начинается Сегодня! Поэтому тебе не дано знать, КТО ты и ОТКУДА ты». К этому долго шли, но с упрямством, достойным лучшего применения...

Д. Л. Необходима «История совести» — все больше думаю об этом; я имею в виду не историческое исследование, а собрание произведений... Она может дать ответы на многие вопросы и станет, уверен, философским, этическим, художественным явлением. Мне очень хочется, чтобы туда вошла, к примеру, «Чертова кукла» Лескова. Поразительный документ — как художник может продаться ради успеха, погубить свой талант! Ведь мы это наблюдаем на каждом шагу. Не хочу называть имена художников, но, прочитав «Куклу», они себя узнают. И другие их узнают... И еще я хотел бы увидеть изданную сегодня книгу Энгельгардта—в великолепной художественной форме, со вкусом, великолепным русским языком в ней рассказано о проблемах русского земледелия. Отношение к земле всегда остается главным в жизни.

Н. С. Именно к земле в широком понимании... не к заводам, фабрикам, банкам, средствам транспорта, включая личные автомобили, а именно к земле. Жизнь дает земля. И в землю мы до недавних пор уходили. Теперь стали реальностью космические полеты. С того момента, когда первый землянин будет похоронен на какой-нибудь другой планете, станет реальностью новое понимание «прописки» человека в космосе. Снова вспомнят слова Циолковского о том, что Земля — колыбель человечества, но нельзя всегда жить в колыбели... Почему-то эти слова вызывают какой-то неосознанный протест. Земля все равно останется для человека колыбелью, родиной.

Д. Л. Конечно. Отношение к земле, кроме всего прочего, вопрос нравственности. Если крестьянин, земледелец любит землю, тогда общество здоровое и способно выстоять против любых ветров и бурь. Тот, кто наблюдает, как весной из земли появляются ростки, жизнь появляется,— есть и будет носителем нравственного начала в обществе. Совершенно согласен с тем, как вы недавно писали, главная фигура общества — Пахарь. В широком, а не только прикладном смысле слова. Но вернемся к «Гамлету». Да, это, конечно же, трагедия сознания...

Н. С. Вопрос о сознании, о духовном начале сложнее. Мы о нем с вами говорили и не могли понять, как же оно возникает...

Д. Л. И когда? В зародыше ли? Может быть, еще ранее...

Н. С. И куда исчезает?

Д. Л. Да никуда не исчезает. Исчезнуть оно не может: закон сохранения энергии. Одно из предположений — присоединяется к другим сознаниям...

Но мы с вами несколько отвлеклись от темы. Думаю, сегодня главное — забота о сохранении культуры, понимание того, что культура принадлежит всему человечеству. Надо ли говорить, мы сегодня все больше убеждаемся, что мировая культура — единое целое, что культурный процесс вообще неразрывен. Во всех направлениях и во всех смыслах.

Н. С. Вот почему, например, необходимо создание того, что можно было бы условно назвать «Культурной картой мира» или «Культурной картой отдельных стран».

Такие «Культурные карты» важны для всех, а для нас особенно, прежде всего потому, что они позволят представить наконец развитие культуры объемно, целостно, как единый, вместе с тем противоречивый, полный борьбы процесс. Вспомним хотя бы о том, какого рода знаний мы были лишены: все, имевшее отношение к тому, что именовали материалистическим мировоззрением, рассматривалось как единственно значимое, имеющее право на жизнь; все остальное, что принято было именовать идеалистическим мировоззрением, автоматически заносили в разряд заблуждений. Каким же суженным, произвольным был наш взгляд на историю мировой культуры!..

Д. Л. Как вы это себе представляете, Николай Григорьевич?

Н. С. Я говорю об этаких своеобразных энциклопедиях. Их надо издавать на всех основных языках. Книги эти должны содержать справочные сведения о культуре, об истории ее в том или ином городе, регионе, стране. Например, во Львове кроме украинской, польской и русской культур существовали армянская и немецкая, чешская и еврейская. Кто знает, если бы существовала в 20-х и 30-х годах «Культурная карта страны», в которой названы были бы имена живущих в том или ином городе, республике писателей, художников, композиторов, актеров, Сталину со товарищами было бы труднее заниматься репрессиями в таких диких и разнузданных формах: легко было бы взять в руки «Культурную карту» и посмотреть, выяснить, как опустошают материк культуры.

А сегодня в Румынии, быть может, постеснялись бы сносить венгерские и немецкие деревни: может, подумали бы о том, что скажут люди? Существуй «Культурная карта»— повторяю,— труднее будет взрывать храмы, торговать эрмитажными собраниями, угнетать деятелей культуры. Охочие до таких действий люди время от времени находятся. «Культурную карту мира» можно было бы изучать в университетах, школах...

Д. Л. «Культурная карта»— это хорошо и это нужно. И еще об одном... Человечеству мы желаем бессмертия. Оно невозможно без внутренней честности, без умения видеть удобное и неудобное, радующее и печалящее, без желания отыскать ту истину, которая рождается только в сопоставлении различных мнений и точек зрения. Возвращаюсь к мысли о создании «Истории совести»— истории человеческих заблуждений, истории героических признаний своих ошибок. Начинать ее следовало бы, возможно, с письма Владимира Мономаха к Олегу Гориславичу, а может быть, и с еще более ранних событий. Мудрость — это еще и принципиальность в сочетании с терпимостью и верой в разум, с умением признать собственные заблуждения. А разум — коллективное достояние человечества. Ни у кого нет монополии на него. Никто не вправе считать свое мнение истиной непогрешимой, а самого себя ее носителем.

Н. С. Дмитрий Сергеевич, и, может быть, назвать все это «Историей совести, историей заблуждений»?

Д. Л. Пожалуй. И начинать ее надо тогда чуть ли не с Платона.

Н. С. Действительно, в «Диалогах» Платона с Сократом очень наглядно самомышление, его ход, умение самого себя поймать на том, что загнал себя в тупик, найти силы отказаться от заблуждения... Это как бы множество микропокаяний и микрораскаяний, которые звучат нечетко, глухо, но все же постоянно присутствуют. Очень жаль, что «Диалоги» издавались у нас так редко. Можно даже сказать: недопустимо редко. Грамотное общество не имеет права разрешать себе такое. В «Истории совести, истории заблуждений» платоновские «Диалоги», конечно же, обязательны.

Д. Л. Я хотел бы сказать о том, что обычно серии книг мы издаем по определенному трафарету: серии путешествий, серии исторических, приключенческих романов, серии воспоминаний, мемуаров.

Н. С. По жанрам, как организован Союз писателей.

Д. Л. Да, по жанрам. Так проще.

Н. С. Но это не организует мысль.

Д. Л. Серия «Совесть» должна быть издана и стоять на книжных полках в доме каждого мыслящего человека. «Евангелие», «Поучения» Владимира Мономаха, «Измарагд»...

Н. С. Странное дело, «Измарагд» не упомянут ни в первом, ни во втором издании «Литературной энциклопедии». Этакая фигура стыдливого умолчания. Между тем «Измарагд» был, насколько я понимаю, своеобразным подходом к «Домострою». Эти статьи-поучения не просто были переведены с греческого, а как бы переработаны с учетом местных условий.

Д. Л. Нет сомнения, «Измарагд»—веха в нашей культуре. А следовательно, одна из вех в мировой культуре. И удивительно, что у нас почти нет современных работ, посвященных ему, если не считать вышедшего еще в 1974 году исследования Адриановой-Перетц «К вопросу о круге чтения древнерусских писателей».

Н. С. Лет за сто до наших дней в Одессе был издан «К литературной истории древнерусских сборников. Опыт исследования «Измарагда». А в 1911—1912 годах старообрядцы в своей типографии издали «Измарагд». Вот, пожалуй, и все, что мы можем знать об «Измарагде».

Д. Л. То, что «Измарагд» практически недоступен нашим читателям, необъяснимо. Это большая книга. Замечательная книга. Без нее нельзя понять развитие нашей культуры, основ нравственных начал народа, наших идеалов. Ведь это удивительно: некоторые русские люди, которые сейчас берутся защищать русскую культуру, совершенно не знают «Измарагда», а о «Домострое» знают только по Добролюбову, который объявил «Домострой» символом всяческого ретроградства. На самом деле «Домострой» был очень прогрессивным. Он тоже стал ступенью, этапом в развитии нашей культуры, в том числе—или прежде всего—культуры быта, общежития, поведения, этики. В тех условиях он убеждал, что нельзя бить беременную жену, нельзя бить по определенным местам человеческого тела. Если нерадивых слуг наказываешь, то позднее надо обязательно сделать так, чтобы человек не испытывал униженности, ущемления собственного достоинства. Этому не грех бы учить и сегодняшних администраторов. Сегодня, если человека наказали на службе, он сразу же становится отверженным, с ним почти что перестают здороваться. А это порождает озлобление, чувства разрушительные... Нет, «Домострой» явно недоучитывают.

Н. С. Дмитрий Сергеевич, заочно мы с вами были знакомы давно, а впервые увидели друг друга лет десять — двенадцать назад на вечере в московском Доме архитектора. Был вечер без четкой программы, но все говорили о традициях в культуре, о том, что мы относимся к ним слишком легкомысленно, плохо знаем безусловные достижения наших предшественников. Ваше выступление было посвящено «Домострою».

Д. Л. Помню тот вечер. Я выступал там, ожидая, что такая оценка «Домостроя», по крайней мере у части зала, вызовет недоумение. Но ведь есть заблуждения, с которыми надо бороться терпеливо и настойчиво... Некоторые идеи «Измарагда», конечно же, позднее прозвучали и в «Домострое».

Что же касается «Истории совести», в ней должны быть «Исповеди» Руссо и Льва Толстого. Правда, к «Исповеди» Руссо могут быть большие претензии.

Н. С. Как ни грустно, в «Исповеди» Руссо есть позерство. И вообще, это не совсем «Исповедь», а художественное произведение под названием «Исповедь». Автор умело рисует себя, бравирует собственной отчаянной открытостью, но открывает он лишь то, что хочет, что ему удобно.

Д. Л. Это произведение не очень высокого класса в нравственном отношении.

Н. С. Руссо не верил ни людям, ни себе.

Д. Л. Вот именно: не верил себе и не верил в себя. Он сознательно преувеличивал свои недостатки и из-за этого стал слегка противным. От Руссо, это мое твердое мнение, и его «Исповеди» пошло много плохого.

Н. С. Научил грамотно обосновывать безнравственность?

Д. Л. Что-то в этом роде. Думаю, найдутся люди, которые иначе воспринимают «Исповедь» Руссо. Это их право.

Н. С. Не слишком ли мы строги к Руссо? Что касается «Исповеди», то в ней, думается, есть определенная поэтизация и эстетизация безнравственности, которая выглядит как объяснение необходимости, гибкости мышления. А это привело к такой же не всегда объяснимой и оправданной подвижности нравственных норм,— а они тем и хороши, что «упрямы», как бы всегда охлаждают горячие головы и охотников ежедневно пересматривать основы нравственности по своему собственному усмотрению: есть там и попытка считать инстинкты элементами сознания и даже объявить инстинкты чуть ли не фундаментом структуры личности. Напомним, что другими философами не менее аргументированно доказано: сознание всегда воевало с го-

лыми инстинктами. Кстати, Блаженный Августин в своей «Исповеди» столь же отчаен, как и Руссо. Августин, может быть, одним из первых решился проследить с достаточной откровенностью путь внутреннего становления личности — со всеми испытаниями, искушениями, заблуждениями и соблазнами, с заглядыванием в глубины, в «бездны» души. Но у Блаженного Августина личная философская и этическая позиция последовательнее, чем у Руссо. Он был упрям в своем неприятии ортодоксальной схоластики Фомы Аквинского, не признавал правомочности действий Аларика, который взял штурмом святой город Рим. Августин отвергал всяческое насилие, в том числе и насилие государственное, считал это признаком греховной испорченности человека... У Августина очень четкие позиции в его лирической «Исповеди».

Д. Л. Посчитают, что мы говорим что-то «не так»? Пусть считают как хотят... Есть уже огромная усталость от слишком причесанных мыслей. Давайте лучше подумаем, что бы еще можно было включить в серию «Совесть». Ну, конечно, «Гамлета», о чем уже говорили, и «Доктора Живаго». И отдельно, и единой книгой. Романом Пастернака можно было бы завершить серию. Вновь вспомнил роман: какое там описание весны! Кстати, автору было знакомо удивление перед чудом рождения новой жизни — из земли вдруг появляется росток... Когда денег не было, Пастернак завел огород, чтобы не умереть с голоду. Но это так — отступление от темы... Думайте, думайте, что бы еще можно было включить в серию, обязательную для каждого мыслящего человека... Ну, например, «Исповедь» Августина, которую мы уже упоминали. Надо что-то чеховское. «Архиерея», может быть?

Н. С. А «Степь»?

Д. Л. Да, конечно, «Степь». Обязательно надо. И еще — «Обломова». Этот роман, так же как «Гамлета», «Доктора Живаго», каждое поколение будет понимать по-своему. И еще, конечно, Пушкина. Его лирику, пропущенную через воспоминания — детства, юношества, молодости, полную самооценки...

Н. С. И еще — обязательно Гоголя...

Д. Л. Вот мы и наметили черновой план «Истории совести». Теперь его можно расширять, уточнять. Впрочем, это даже не черновой список, а, думаю, лишь намек на идею. В каждой национальной культуре «История совести» будет своя. Как нет людей, которые во всем были бы прекрасны, так нет и народов, которые никогда, ни разу за свою историю не впадали бы в коллективные заблуждения, не творили бы того, в чем позднее пришлось бы раскаиваться. И поэтому «История совести, история заблуждений» должна быть живой, постоянно пополняющейся серией.

Н. С. А что, если попытаться предложить «Историю совести» в качестве обязательного предмета в учебных заведениях мира? И тут я не могу уйти от мыслей о так называемом «феномене Сталина». Тема надоела. Но ни нам, ни нашим потомкам от нее не уйти. Кроме того, все или почти все диктаторы в той или иной степени стремятся надеть на себя маску «страдающего Бога»; подчеркнутый аскетизм, который чаще всего — умелое театральное действо, как правило, отсутствие полноценной семьи, нелюбовь ко всем видам эстетических поисков в литературе и искусстве, тяга лишь к тому, что стало общеизвестным и общепризнанным, этакая тяга к «классике», в чем нет ничего плохого или предосудительного, если при этом нет атак на «модернизм» во всех его видах. Это — инстинктивная атака на все виды независимого эстетического, художественного и философского мышления.

Д. Л. Вы видите эту тему, Николай Григорьевич, в контексте «Истории совести»?

Н. С. Да, Дмитрий Сергеевич... Уже есть люди, которые раскаиваются в содеянном. Например, проживающий в Киеве человек, бывший в 1937 году палачом. Что же касается «феномена Сталина», то это все же, как мне кажется, явление скорее религиозного толка, мистического, своего рода массовый психоз. Огромное множество людей испугалось пути в неведомое. И был истребован из арсеналов всех возможных вариантов коллективного сознания самый мрачный вариант религиозного культа. Многим, очень многим «феномен Сталина» нужен был для обоснования своих собственных поступков, уверенности в том, что таланты «назначаемы», что нет в мире ничего объективно существующего. Не так давно я листал журнал «Рабочий и театр», орган Ленискусства и Облпрофсовета. В нем в № 32—33, вышедшем в свет 7 декабря 1931 года, на страницах 10—11 композиторы Янковский, Гладковский, Цурмилен, Аренков, Пейсин объяснили Дмитрию Шостаковичу, что он, выступая против «обезлички композиторов», наносит удар по коллективизму, а сам является индивидуалистом, поскольку выпячивание своих эстетических концепций, постоянное отстаивание их — явление недопустимое и контрреволюционное. Вот цитаты: «...вы подменили красноармейскую пляску кулацкой пляской...», «После выхолощенного формалистского «Носа» вы шли на трамовскую работу...», «...в так называемой «попутнической» среде композиторов вы, как и другие, одиночка», «...вместо того, чтобы пересмотреть свои позиции, вы отступаете на старые позиции «высокого искусства» и так далее. Откуда этот делириум, этот горячечный бред?

Д. Л. Бездарности решили, что настала их пора расправиться с талантами. Это был их звездный час.

Н. С. Да, им был неудобен Страдающий Бог — призыв к Покаянию, призыв спасать себя, свое сознание от попыток ломать нормальное и естественное течение жизни, насиловать природу человека. Страдающий Бог — это еще и философская позиция: каждый должен помнить, что за него страдают, что приняли мучения за его грехи. А безгрешных не бывает. Тот, кто безапелляционно объявляет себя безгрешным, попросту опасен для общества. Если не завтра, то послезавтра он может стать деспотом и диктатором, поведет к пропасти. Навязанная силой формула счастья — по сути одна из самых горьких форм несчастья. Между тем понимание идеи Страдающего за тебя Бога делает человека терпимее к другим и требовательнее к себе. Вероятно, Страдающий Бог — нравственный и

философский эпиграф к «Истории совести». А составить хотя бы вчерне программу издания у нас можно, по всей вероятности, лишь после широкого обсуждения ее, в котором примут участие и педагоги, и писатели, и философы — все, кому близка сама идея.

Д. Л. Наверное, правильнее всего не оттягивать дело, а начать его. Дополнения и поправки можно делать в рабочем порядке. Надо учиться еще одному — умению действовать, не откладывая все на «завтра», «послезавтра» и вообще на далекое будущее. При параличе воли к действию этого будущего может и не быть.

Н. С. Конечно, Дмитрий Сергеевич. И может быть, сейчас время назвать и те условные заповеди человечности, которые вы начали обдумывать однажды в Болгарии, а потом мы их с вами уточняли в «Узком». Была зима...

Д. Л. Да, девять заповедей человечности... Не убий и не начинай войны; не помысли народ свой врагом других народов; не укради и не присваивай труда брата своего; ищи в науке только истину и не пользуйся ею во зло или ради корысти; уважай мысли и чувства братьев своих; чти родителей и прародителей своих и все сотворимое ими сохраняй и почитай; чти природу как матерь свою и помощницу; пусть труд и мысли твои будут трудом и мыслями свободного творца, а не раба; пусть живет все живое, мыслится мыслимое; пусть свободным будет все, ибо все рождается свободным...

Под ними расписываюсь и ставлю число — 23.III. 89.

◆

Тема для дискуссии:

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ИДЕЯ — ГУМАНИЗМ ИЛИ ТОТАЛИТАРИЗМ

КАРЕЛ ЧАПЕК

ПОЧЕМУ Я НЕ КОММУНИСТ?

Этот вопрос ни с того ни с сего начали задавать люди, меньше всего склонные развлекаться политикой. Совершенно ясно, что никто из них не стал бы спрашивать, почему я не аграрник или не национальный демократ. Не быть аграрником еще не означает отсутствия определенных взглядов или жизненной позиции, но не быть коммунистом — значит быть некоммунистом; не быть коммунистом — это не только отрицание, но и определенное кредо.

Мне лично такой вопрос принес известное облегчение: ведь тут от меня требовалось не полемизировать с коммунизмом, а оправдываться перед самим собой из-за того, что я не стал коммунистом и не могу им стать. Мне было бы гораздо легче, если бы я им был. Я бы жил в убеждении, что самым активным образом участвую в исправлении мира; я был бы уверен, что стою на стороне бедных против богатых, на стороне голодных против денежных тузов; я бы точно знал, что́ и по какому поводу надо думать, что́ надо ненавидеть, а что́ презирать. Вместо этого я чувствую себя, точно голый в терновнике: с пустыми руками, не прикрытый никакой доктриной, ощущаю я себя бессильным прийти на помощь миру и часто не знаю даже, как сохранить чистой собственную совесть. Если мое сердце на стороне бедных, какого же черта я не стал коммунистом?

Именно потому, что я на стороне бедных.

Я видел нужду, такую безмерную, что все вокруг мне опротивело. Где бы я ни был, я бежал от дворцов и всматривался в жизнь бедняков, терзаясь унизительной ролью беспомощного зрителя. Ведь недостаточно взирать на эту нужду и сочувствовать ей: надо бы жить их жизнью, но я слишком боюсь смерти. Эту завшивленную человеческую нужду не поднимает на щит ни одна партия; к этим страшным логовищам, где нет ни гвоздя, чтобы повеситься, ни грязной тряпки для подстилки, коммунизм обращается из безопасной дали: во всем, мол, виновен социальный строй; через два года, через двадцать лет взовьется знамя революции, и тогда...

Как же так, через два года, через двадцать лет? Неужели вы способны равнодушно соглашаться с тем, что можно так существовать еще два зимних месяца, еще две недели, еще два дня? Буржуазия, которая тут не может или не хочет помочь, чужда мне; но так же чужд мне и коммунизм, предлагающий вместо помощи знамя революции. Цель коммунизма — властвовать, а вовсе не спасать, на его знаменах написан лозунг власти, а не помощи. Нищета, безработица, голод — для коммунизма все это не позор и непереносимая боль, а вместилище темных сил, вырывающихся из пучины гнева и ярости. «В этом виноват общественный строй». Нет, вина лежит на всех нас, все равно взираем ли мы на человеческие страдания, засунув руки в карманы или воздев к небу знамя революции.

Бедняки — это не класс, это как раз люди деклассированные, выбитые из колеи и неорганизованные; никогда они не приблизятся к трону, кто бы ни восседал на нем. Голодные хотят не властвовать, а насытиться; перед лицом нищеты безразлично, кто управляет страною; важно то, что мы, люди, чувствуем. Нищета — это не класс и не институция, это несчастье; но когда я оглядываюсь кругом в поисках человеческого сочувствия, я наталкиваюсь на леденящую доктрину классового господства.

Я не могу быть коммунистом, потому что коммунист не знает морали помощи и сочувствия страждущим; потому что он проповедует устранение социального порядка, а не того ужасающего беспорядка, каким является нищета. Если он соглаша-

ется помочь несчастным, то лишь на одном условии: сначала мы захватим власть, а потом (возможно) дело дойдет и до вас. К сожалению, даже это условное обещание помощи ничем не гарантировано.

Бедняки — это вовсе не масса. Тысяча нищих не может поделиться даже куском хлеба. Нищий, голодный, беспомощный человек совершенно одинок. Его жизнь имеет смысл только для него самого и никак не связана с жизнью других. Это частный случай, потому что это несчастье, хотя оно и похоже на другие такие же случаи как две капли воды. Переверните общество хоть вверх ногами, но и тогда нищие пойдут снова ко дну, плюс к ним добавятся и другие.

Я нисколько не чувствую себя аристократом, но не могу поверить в большие возможности масс. Да никто ведь серьезно и не думает, что массы будут управлять государством; они представляют собой только орудие для достижения определенных целей; их используют лишь как политический материал, и гораздо более жестко и безжалостно, чем членов других партий. Для того чтобы человек превратился в материал, небходимо смять его и втиснуть в колодки, надо дать ему униформу из стандартного сукна или из стандартных идей; к сожалению, идейную униформу нельзя сбросить через полтора года. Я глубоко уважал бы коммунистов, если бы они обратились к рабочему и честно сказали ему: «Мне нужно от тебя то-то и то, но я ничего не обещаю тебе; ты мне требуешься поштучно, как единица, как материал, такой же, каким ты был на фабрике; ты будешь молчать и слушаться, так же как и теперь. За это ты, когда все изменится, останешься тем же, кем и был; будет тебе лучше или хуже — этого я не могу гарантировать; новый порядок не будет по отношению к тебе ни щедрее, ни благожелательнее, но он будет более справедлив». Думаю, что большинство рабочих серьезно задумалось бы, услышав такое предложение, но зато оно было бы абсолютно приемлемым, приемлемее, чем все, обещанное до сих пор.

Кормить бедняка обещаниями — значит обкрадывать его. Может, ему и живется легче, когда ему расписывают жирных гусей на ветках; но ведь практически и сегодня, как и сто лет тому назад, синица в руках лучше, чем журавль в небе или, точнее, на крыше правительственного учреждения, а огонь в очаге лучше, чем красный петух на крышах дворцов, которых к тому же у нас значительно меньше, чем представляется людям, полагающимся не на свои глаза, а на внушенное им классовое сознание; ведь мы за малым исключением не очень-то богатый народ, но это, как правило, забывают отметить.

Обычно говорят, что бедняку нечего терять; да ведь как раз наоборот: в любом случае бедняк рискует больше всех, потому что, если он что-то потеряет, так это будет последняя корка хлеба; с коркой хлеба нищего не экспериментируют. Ни одно общественное потрясение не падает на плечи меньшинства, оно затрагивает большинство: будь то война, валютный кризис или что-нибудь другое, именно беднякам приходится тяжелее всех — ведь бедность вообще не имеет ни границ, ни дна. И самый ненадежный кров не у богачей, а у бедняков: попробуйте тряхнуть мир и вы увидите, кого прежде всего засыплет земля.

Что же в таком случае делать? Лично я не очень обольщаюсь словечком «развитие»; мне сдается, что нужда — это единственная вещь на свете, которая не развивается, а только хаотически растет. Но ведь нельзя откладывать проблему бедняков до установления какого-то нового строя; если им вообще нужно помогать, то надо начать это уже сегодня. Правда, вопрос в том, располагает ли современный мир достаточными моральными возможностями; коммунисты утверждают, что нет; вот тут-то мы и расходимся с ними. Я не собираюсь утверждать, что в нашем социальном содоме достаточно праведников; но в каждом из нас, обитателей Содома есть что-то от праведника, и я верю, что при больших усилиях после многих уверений, что ничего не выйдет, удастся договориться о довольно пристойной справедливости. А согласно доктрине коммунизма, договориться совершенно невозможно; вероятно, коммунизму вообще свойственно неверие в человечность большинства людей, но об этом я скажу позднее. Наше общество не развалилось, когда были проведены мероприятия по помощи безработным, престарелым и больным; я не верю, что сделанного достаточно, но и для бедняков и для меня весьма важно, что оказалось возможным провести хотя бы эти мероприятия тут же, на месте, не дожидаясь в тоске того славного момента, когда в небо взовьется знамя революции.

Однако верить, что разрешение проблемы бедности — задача нынешнего, а не будущего общественного устройства — значит не быть коммунистом. Верить, что кусок хлеба и тепло в печи сегодня важнее, чем революция через двадцать лет,— значит обладать весьма несклонным к коммунизму темпераментом.

Самое удивительное и самое бесчеловечное в коммунизме — это его ни с чем не сравнимая мрачность. Чем хуже — тем лучше. Если мотоциклист собьет глухую старушку — это доказательство гнилости нынешнего строя; если рука рабочего попадет в шестерни станка, то ясно, что размозжил его бедную руку буржуй, к тому же с кровожадным наслаждением. Все люди, которые по тем или иным личным причинам не стали коммунистами, зверски злобны и сердца их омерзительны, точно гнойник; во всем современном обществе нет ни на волос добра; все, что существует,— дурно.

В одной из своих баллад Йиржи Волькер писал: «В сердце твоем, на самом дне, я ненависть вижу, бедняк». Ненависть — страшное слово, но самое удивительное, что это совершенно не верно. На дне сердец бедняков можно обнаружить скорее удивительную, прекрасную веселость. Рабочий у станка чаще шутит, чем фабрикант или директор; каменщики на стройке го-

раздо больше веселятся, чем архитектор или хозяин, а если кто-нибудь в доме поет, так уж, конечно, служанка, отскабливающая пол, а не ее хозяйка. Так называемый пролетарий от природы склонен к радостному, почти детскому мироощущению: коммунистический пессимизм и мрачная ненависть накачиваются в него искусственно, да к тому же еще нечистыми путями. Этот импорт беспробудной мрачности называется «революционное воспитание масс» или «укрепление классовой сознательности». У бедняка, который и без того имеет так мало, отнимают еще и примитивную радость жизни; это его первый взнос в счет погашения задолженности за будущий лучший мир.

Климат коммунизма неприветлив и бесчеловечен; для него не существует температуры средней между буржуазной стужей и революционным пламенем, пролетарию не разрешено спокойно и с удовольствием отдаться чему-либо. Не существует на свете обедов или ужинов: или заплесневелая корка нищего, или обжорство капиталистов. Нет и любви — только господский блуд или неумеренное размножение пролетариев.

Буржуа вдыхает запах собственного разложения, а пролетарий — чахоточную гниль. Я не знаю, внушили ли себе журналисты и писатели, что облик мира настолько бессмыслен, или сознательно лгут; мне известно только, что наивный и неопытный человек, каким обычно является пролетарий, живет в чудовищно искаженном мире. Это мир действительно стоит того, чтобы его разрушить до основания. Но так как подобный мир — это только фикция, было бы весьма своевременно разрушить до основания эту унылую фикцию, хотя бы даже путем революционного действия; в таком деле я с восторгом приму участие. Конечно, в нашей юдоли скорби много безмерного страдания, преобладает несчастье и слишком мало благополучия и тем более радости. Я надеюсь, что мне лично несвойственно изображать свет в слишком уж розовых красках, но когда я сталкиваюсь с беспросветной мрачностью и трагичностью коммунизма, мне хочется в гневе выкрикивать слова протеста: да не правда это, мир выглядит совсем иначе! Я встречал очень мало людей, которые не заслужили хотя бы одной, поданной нищему луковицей маленькой надежды на спасение; очень мало людей, на которых хоть немного трезвый и разумный Господь стал бы лить огонь и серу. В мире гораздо больше ограниченности, чем подлинного зла; но есть достаточно симпатии и доверия, приветливости и доброй воли, чтобы не отмахнуться безнадежно от человечества.

Я не верю в совершенство ни сегодняшнего, ни завтрашнего человека; мир не превратит в рай ни мирное развитие, ни революция, ни даже полное уничтожение рода людского. Но если бы каким-то способом удалось собрать все то доброе, что имеется в каждом из нас, грешных созданий, то на этом, я верю, можно было бы основать мир куда более симпатичный, чем тот, который существовал до сих пор. Вы можете утверждать, что это гнилая филантропия; да, я действительно принадлежу к тем идиотам, которые любят человека только за то, что он — человек.

Не составляет никакого труда утверждать, что лес черный; но ведь каждое дерево в лесу вовсе не черное, оно одновременно черное и зеленое, потому что это обычная сосна или ель. Легко утверждать, что общество дурно; но поищитека в нем абсолютно дурных людей! Попробуйте судить о мире без грубых упрощений; вскоре от ваших принципов не останется и на понюшку табаку. Предпосылка коммунизма — умышленное или притворное незнание жизни. Если кто-нибудь скажет, что он ненавидит немцев, я бы предложил ему пожить среди них, а через месяц спросил бы его, действительно ли он ненавидит свою немецкую квартирную хозяйку, есть ли у него желание прирезать германского продавца сластей или придушить тевтонскую бабушку, которая продает ему спички. Одно из самых аморальных свойств человеческого духа — это склонность к генерализации; вместо осмысления действительности происходит подмена ее. Из коммунистических газет вы не узнаете о мире ничего, кроме того, что он гроша ломаного не стоит,— для человека, не считающего посредственность верхом творения, этого несколько маловато.

Ненависть, незнание, принципиальное недоверие — таков духовный мир коммунизма; можно поставить медицинский диагноз: перед нами случай патологического негативизма. Когда индивидуум растворяется в массе, он легко становится восприимчивым к такой заразе, однако для частной жизни это не годится. Остановитесь на минутку возле нищего на углу улицы; обратите внимание, кто из прохожих вытаскивает из кармана грош для него; в семи случаях из десяти это люди, сами обретающиеся на грани нужды; остальные трое — женщины. Из этого обстоятельства коммунист, наверное, сделал бы вывод, что у буржуа нет сердца; я же прихожу к гораздо более радостному убеждению, что у пролетария большей частью сердце имеется и что он по существу склонен к сочувствию, любви и самоотверженности. Коммунизм со своей ненавистью и классовой яростью хочет превратить этого человека в зверя; такого унижения бедняки не заслуживают.

Современному миру не требуется ненависть, ему нужна добрая воля, нужны согласие, сотрудничество и гораздо более добросердечный моральный климат; я думаю, что даже немного самой обычной любви и сердечности способны еще творить чудеса. Я защищаю современный мир не потому, что это мир богачей, а потому, что это ведь и мир бедных, а кроме того, мир тех, кто находится посредине между жерновами капитала и классовой ненавистью пролетариата, тех, кто так или иначе поддерживает и сохраняет большую часть человеческих ценностей. Я не знаю близко десять тысяч самых богатых людей и не могу поэтому их судить, но я судил тот класс, который именуется буржуазией, за что меня и упрекали в гнилом пессимизме.

Поэтому я имею право в какой-то мере заступиться за тех, на чьи недостатки и пороки я, конечно, также не закрываю глаза. Пролетариат не может заменить этот класс, но может в какой-то мере влиться в него. Пролетарской культуры не существует, какие бы хитроумные эстетические программы ни сочинялись. Точно так же, как нет чисто этнографической, аристократической или религиозной культуры; все, что остается в культуре, связано со средними слоями, с так называемой интеллигенцией. Если бы пролетариат потребовал права на участие в развитии этой традиции, если бы он заявил: «Ну, ладно, я беру на себя ответственность за современный мир и буду управлять всеми ценностями, которыми он располагает»,— может, стоило бы на пробу ударить по рукам; но если коммунизм продирается вперед, отметая огульно, как ненужный хлам, все, что у них называется буржуазной культурой, тогда уж извините, человек, который не совсем утратил чувство ответственности, начинает прежде всего прикидывать, что будет таким образом изничтожено.

Я уже сказал, что подлинная нищета — это не институция, а несчастье. Сколь бы вы ни перекраивали все порядки, вам не удастся воспрепятствовать тому, чтобы человека преследовали несчастья, чтобы он болел, страдал от голода и холода и нуждался в руке помощи. Что ни говори, борьба с несчастьями — это долг моральный, а не социальный. Язык коммунизма безжалостен, он не признает такие ценности, как сочувствие, милосердие, помощь и человеческая солидарность, и самоуверенно твердит, что ему не свойственна сентиментальность. Это, по-моему, как раз хуже всего, потому что я-то сентиментален, как любая служанка, как любой дурак, как любой порядочный человек; только хулиганы и демагоги несентиментальны. Без сентиментальных доводов ты не подашь ближнему и стакан воды; рациональные причины не подвигнут тебя даже на то, чтобы помочь подняться человеку, который упал, поскользнувшись.

Наконец, есть еще проблема насилия. Я не старая дева, которая начинает креститься при слове «насилие»; должен признаться, что иногда я бы охотно отколотил человека, который утверждает ерунду или просто лжет; это не получается, потому что или у меня сил не хватает, или он слишком слаб, чтобы защищаться. Как видите, я не драчун, но если бы буржуи провозгласили, что будут вешать пролетариев, я бы тут же собрался и побежал на помощь тому, кого ведут на виселицу. Порядочный человек не может поддерживать тех, кто угрожает; призывающие к расстрелам и повешениям разлагают общество не тем, что совершают социальный переворот, а тем, что нарушают обычные и естественные нравственные законы.

Меня называют «релятивист» из-за моей особой и, видимо, очень тяжкой интеллектуальной вины: я стараюсь все понять, я копаюсь во всех науках и во всех литературах вплоть до негритянских сказочек и с какой-то мистической радостью обнаруживаю, что, проявляя чуточку терпенья, можно найти взаимопонимание со всеми людьми, любого цвета кожи и любой веры. Видимо, существует какая-то общая человеческая логика и общий запас человеческих ценностей, как любовь, юмор, оптимизм или охота вкусно покушать и много-много других вещей, без которых нельзя существовать. И вот порой меня охватывает ужас, что я не могу понять коммунистов. Я сочувствую идеалам коммунизма, но не могу постичь его метод. Иногда мне кажется, будто они говорят на непонятном мне иностранном языке и их мышление подчиняется иным законам. Если один народ верит в то, что люди должны как-то притерпеться друг к другу, а другой—что им следует друг друга пожирать, то это, конечно, очень существенное различие, но отнюдь не принципиальное; но вот если коммунисты полагают, что при некоторых обстоятельствах вешать и расстреливать людей не более серьезное дело, чем давить клопов, так уж этого я никак не могу понять, даже если мне будут объяснять по-чешски; у меня возникает страшное впечатление хаоса, и я очень боюсь, что так мы никогда не договоримся.

Я не потерял веры в то, что существуют какие-то моральные и рациональные приметы, по которым человек узнает человека. Метод коммунизма — это масштабная попытка создать международное недоразумение; это попытка разбить человечество на отдельные части, которые ничто не связывает и которые не понимают друг друга. То, что хорошо для одной стороны, просто не смеет оказаться хорошим и для другой; точно люди и с той и с другой стороны не одинаковы в физическом и в моральном смысле.

Да напустите на меня самого ортодоксального коммуниста. Если он не прикончит меня на месте, я надеюсь лично сойтись с ним по множеству вопросов, конечно не имеющих отношения к коммунизму. Но коммунизм принципиально не допускает согласия с инакомыслящими даже во всем том, что коммунизма не касается; попробуйте поговорите с коммунистом о функции селезенки, вам тут же разъяснят, что это буржуазная наука; точно так же существует буржуазная поэзия, буржуазный романтизм, буржуазный гуманизм и так дальше. Силу убеждения по поводу любой мелочи вы найдете у коммунистов почти сверхчеловеческую—и дело не в том, что их доводы уж так убедительны, просто они не обращают внимания на возражения. Может быть, это вовсе не убеждения, а некие ритуальные предписания или, в конце концов, просто ремесло.

Но вот кого мне действительно жалко, так это пролетариев, которых таким образом наглухо отгораживают от остального образованного мира, ничем не компенсируя их за это, кроме соблазнительных перспектив будущей революции. Коммунизм воздвигает кордон между ними и миром, и именно вы, интеллектуалы-коммунисты, стоите с вашими пестро разма-

леванными щитами между ними и всеми теми культурными ценностями, которые приготовлены для них как для вновь прибывших. Но все же еще есть надежда на голубя мира, если ему нет места между вами, то он может пролететь над вашими головами, опустившись прямо с небес.

Я чувствую облегчение оттого, что высказал хотя бы что-то, но это далеко не все. У меня такое чувство, будто я исповедался; я не принадлежу ни к какой партии, и мой спор с коммунизмом — дело не убеждений, а моей собственной совести. И если бы можно было обратиться к совести, а не к убеждениям, то, я думаю, взаимопонимание не оказалось бы невозможным; и это было бы немало.

1924 г.

Перевод с чешского И. БЕРНШТЕЙН

ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ

А ВОТ ПОЧЕМУ Я НЕ КОММУНИСТ

ТО ЕСТЬ я-то как раз коммунист, но только не по партийной принадлежности, а в силу своих взглядов на эволюцию мира и на те методы, посредством которых человечество в состоянии способствовать эволюции. Да еще и в той мере, в какой свободный художник имеет право на политические убеждения, а он на самом деле сильно ограничен в этом исконном праве, потому что его задача — объединять людей в едином стремлении к красоте, а не сеять рознь из каких бы то ни было побуждений, для чего существует масса других специальностей, и, таким образом, политические убеждения для художника как бы факультативны. Тем более что политика есть искусство временного, преходящего, а, скажем, литература — искусство вечного, политика носит характер прикладной, а литература — фундаментальный. Тем более что художник свободно может быть коммунистом и одновременно никудышным писателем, равно как гением и одновременно анархо-синдикалистом. Единственное безусловное убеждение, вне которого никакой художник немыслим, убеждение наивысшей, так сказать, категории, убеждение не метода, но цели, есть то, что красотою спасется мир. Коммунистом же я стал, собственно, потому, что для любого здравомыслящего человека мудрено не сделаться коммунистом, если он освоил хотя бы азы тех общественно-экономических знаний, которые выработало человечество.

Сразу оговорюсь, что мои коммунистические убеждения просты до наивности, и даже не исключено, что это какие-то посторонние убеждения, а вовсе не коммунистические. Я твердо стою на том, что никто не имеет права присваивать себе плоды чужого труда, не оскорбляя при этом самого понятия «справедливость», и несть мира на земле до тех пор, пока хотя бы один хозяин за здорово живешь отбирает у труженика хотя бы один сантим; таким образом, для меня не вопрос, кто именно носит в себе семя классовых потрясений. Я твердо стою на том, что история человечества не есть процесс бессмысленный и бесцельный, а что он, напротив, представляет собой строго направленное поступательное движение, именуемое прогрессом, и, в частности, мирная, либо насильственная смена, положим, феодализма капитализмом так же естественна и закономерна, как смена зимы весной или понедельником воскресенья; в связи с этой закономерностью любопытно было бы знать, какая хитроумная логика способна привести к тому убеждению, что буржуазное государство есть венец общественного развития. Я также твердо стою на том, что конечная цель исторического прогресса заключается в избавлении человечества от политической истории, каковая, без сомнения, есть болезнь, и установление такого аполитического устройства, при котором нравственная личность будет наименее стеснена в возможностях эволюции от биологического вида до предельно духовного существа. Правда, еще я стою на том, что в современном капитализме, далеко ушедшем от своих классических форм, по моему мнению, больше социализма, чем в СССР; в доказательство приведу пристойно налаженную систему социальной защиты, учет и контроль, господствующие в западной экономике, заработную плату, никак не оскорбляющую человеческое достоинство, и вот еще то, что Форд отсидел три месяца за управление автомобилем в нетрезвом виде; нравится это хозяевам или не нравится, но, по мне, социализм у них неудержимо прорастает сквозь капитализм, как шампиньоны через асфальт.

Но если мне говорят, что коммунизм — это доктрина, оперирующая исключительно понятием «массы» и напрочь манкирующая понятием «личность», доктрина, разделяющая людей только на классы, обреченные вести кровавую борьбу ради уравнения людей до степени бедности, и что реализация этой доктрины невозможна помимо массовых казней, подавления свободомыслия, учреждения деспотического режима, концлагерей, обалванивания народа, уничтожения значительной части культурного наследия и народных традиций,— то я, извините, не коммунист. Только ведь и это не коммунизм; это все что угодно, сдается мне, но только не коммунизм, и меня серьезно удивляет, откуда берутся антикоммунисты, если никто не видел его в глаза, если он с 1848 года существует исключительно на бумаге — ведь, согласитесь, это так же странно, как быть женоненавистником, ни одной женщины не видав, как быть нелюбителем спаржи, ни разу ее не попробовав на язык... Словом, это неприятная истина, но, кажется, истина: то, что было у нас до 1985 года, и то, что было у нас до 1861 года, рознится только терминологически; прошу прощения за трюизм, репу, конечно, можно отрекомендовать мандарином, но мандарином она от этого не становится.

Таким образом, я скорее всего коммунист-идеалист, коммунист-романтик, для которого вопрос осуществимости политических идеалов во многом есть вопрос веры, а высшая политическая ценность — благо отдельной лич-

ности. Однако не думаю, чтобы из-за этой платформы я рисковал стать объектом для юмора и сатиры потому хотя бы, что Троица, загробная жизнь и воскресение из мертвых тоже есть вопрос веры, и тем не менее никто не потешается над христианством, за исключением штатных атеистов и дураков. Другое дело, что история совершается так, как она совершается, ибо ход исторического процесса инвариантен и не принимает в расчет пожеланий гуманистического характера. Поскольку так называемые материалисты и есть самые матерые идеалисты, мыслящие категориями «нация», «массы», уповающие на немедленное превращение разбойника в филантропа, если скоро освободить его от гнета монопольного капитала, и ни в грош не ставящие личность, которая, как оказалось, решает все, поскольку великие революции всегда имели одну судьбу: от тирании до тирании. Массовое избиение диггеров в Англии XVII столетия и казнь законного короля, сентябрьская резня в Париже сто лет спустя и казнь законного короля, повальные расстрелы восемнадцатого года в России и казнь императора Николая — все это знаки одной судьбы; только вот русские почему-то при этом выходят кровавые дикари, а французы с англичанами просвещенные эволюционисты. Тем не менее организованному уму очевидно: в любой расцивилизованной стране революционная буря поднимает со дна моря человеческого не только выдающиеся таланты, прозябавшие в условиях тирании, но и тех, кто был до такой степени ничем, что это национальная трагедия, что они стали всем, национальная трагедия и гибель для революций. Из-за того, что, так сказать, темные силы революции, как правило, глубоко и прочно антикультурны, что они свободны от соответствующей школы, традиций, вообще политической цивилизованности, а с другой стороны, развращены по Макиавелли и страдают пунктом личной власти над миллионами, они, как правило, берут верх над, так сказать, светлыми силами революции, в сущности, беззащитными, как человеколюбие перед наглой силой, и обеспечивают путь от тирании до тирании. Карел Чапек назвал этих темных вожделей коммунистами и, конечно, погорячился.

Нужно быть реалистом и понимать, что на минувшем этапе исторического пути закон развития революций представлял собой неуправляемую стихию, как наводнение или засуха, и в адрес ее, разумеется, можно негодовать, что и делает Карел Чапек, но тут уж ничего не попишешь — как в человеческой жизни, так и в истории человечества, рождение и смерть суть самые мучительные и нечистые процедуры. Но разве сегодня померкли идеалы 1792 года только оттого, что устрашения ради республиканцы утопили в Луаре две тысячи нантских обывателей, а Робеспьер выдумал революционные игральные карты, голубой фрак и нелепый культ Высшего существа? Поэтому и принципиальнейший политический идеал нашей революции «Вся власть Советам» нисколько не перестал быть для нас дорогим, несмотря на то, что в сени его Горький выдумал социалистический реализм, который так же невозможен с эстетической точки зрения, как социалистическая стенокардия, а Сталин баржами топил в Волге беглое офицерство. Равно как и христианство не утратило своей привлекательности оттого, что инквизиция отправляла на костер лучших представителей своего времени, среди русских попов водились горькие пьяницы, а некоторые церковные обряды восходят к антропофагии. Во всяком случае, мне не мешает оставаться коммунистом-романтиком незадавшийся российский эксперимент. Тем более что со времен Маркса и Энгельса человеческая мысль не произвела на свет никакого нового учения, полно и ясно освещающего исторические пути.

В заключение сообщу, почему по партийной принадлежности я все же не коммунист. Как это ни странно, но, кроме указанных и очевидных причин, в частности, потому, что я никак не могу решить для себя вопрос: откуда у нас набралось почти двадцать миллионов коммунистов? Особенно если принять в расчет, что коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество.

◆

Резонанс

Из зарубежной печати

МИЛАН ШИМЕЧКА

СОВЕСТЬ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

«Монд» (Франция)

...Но свысока глазея на невежд,
От них я отличался очень мало:
Занозы не оставил Будапешт,
И Прага сердце мне не разорвала.

Это строки из песни Владимира Высоцкого, текст которой чехословацкий читатель может прочитать в последнем номере журнала «Советская литература» за 1988 год. Вряд ли нужно пояснять, что Высоцкий имел в виду не Будапешт и не Прагу как таковые, а события 1956 и 1968 годов. Я не знаю, исполнял ли Высоцкий эту песню когда-либо публично, но все равно его заслуга велика, ибо он, один из самых популярных людей своей страны, воззвал к совести соотечественников в связи с нашей трагедией. В 1956 году ему было восемнадцать лет, во время вторжения в Чехословакию — тридцать.

Мы знаем, что Прага «разорвала сердце» лишь немногих представителей русской интеллигенции. Их было семеро, вышедших в тот августовский день 1968 года на Красную площадь, и поплатились они за свой поступок долгими годами изгнания. Более двадцати лет миновало с тех пор, и делается горько, когда читаешь в книге Раисы Орловой о том, как сложилась их дальнейшая судьба: «Вадим Делоне умер в Париже. Виктор Файнберг живет в Лондоне. Вадим Дремлюга и Павел Литвинов — в США. Павел преподает физику и читает лекции о правах человека в СССР. Наталья Горбаневская живет в Париже, она член редколлегии журнала «Континент», пишет статьи, стихи. Константин Бабицкий и Лариса Богораз остались в Советском Союзе. У Ларисы умер муж. Она принимает активное участие в выпуске самиздатовских журналов, в симпозиумах, работе свободных университетов».

Мы пережили достаточно всякого, чтобы понимать лучше, чем кто-либо другой, почему совесть русской интеллигенции была столь мало возмущена обрушившимся на нас несчастьем. Она, совесть, дремала в душах, согбенных под бременем страха и кошмарного опыта прошлого. Только самые мужественные представители русской интеллигенции осудили несправедливость, которую большая страна совершила по отношению к стране малой. За это они были покараны и позднее развеяны по всему земному шару — Сахаров, Копелев, Солженицын и многие другие.

Однако вот уже три года, как начались великие перемены, и совесть русской интеллигенции очнулась ото сна. Меня поражает, сколько успели за это время поднять: пересмотрена вся история страны с 1917 года, роль Сталина, Хрущева, Брежнева; пишут о коллективизации и голоде на Украине, жертвах войны и террора, падении нравственности, взяточничестве, которые, подобно чуме, распространились во времена Брежнева.

Три года я ждал, что совесть русской интеллигенции откликнется и на нашу беду. Эти три года были сроком, который я, испытывая искреннюю симпатию к традициям русской литературы, установил для совести русской интеллигенции. Установил, сознавая, что это дело с точки зрения целостности империи крайне «деликатное». Три года я с сочувствием следил за тем, как русская интеллигенция перед лицом страшных разоблачений пытается осознать и объяснить свою историческую ответственность за всю послереволюционную эпоху. Вполне естественно, что в течение этих трех лет совесть русской интеллигенции была обращена прежде всего вовнутрь, к страданиям собственного народа. С точки зрения статистики те несколько тысяч

жертв, которых стоила связь нашей судьбы с судьбой России, представляются фактом не столь уж и значительным.

И все же теперь, после трех лет перестройки, я чувствую глубокое разочарование. Я разочарован тем, что совесть русской интеллигенции так и не перешагнула границ национального самосознания, что она осталась глуха к участи других народов, чьи беды, моральный и экономический кризис были следствием соединения с судьбой России. Мне кажется, что совесть, способная реагировать лишь на собственные страдания, ущербна. В откровениях русских интеллигентов мы много читаем о перенесенных тяжелых испытаниях нравственного порядка, но подлинно нравственное возмущение не должно искать раны только на собственном теле, отказываясь смотреть на раны, нанесенные другим. Три года слышим мы стенания по миллионам загубленных своих, но плач над бедами чужих звучит куда тише.

Я понимаю, что исторические судьбы народов Восточной Европы сложны и совсем непросто рассчитать долю ответственности каждой из сторон за все, что произошло здесь после второй мировой войны. Но в двух случаях довольно самой простой арифметики, чтобы точно исчислить эту долю: Будапешт и Прага.

В Будапеште и Праге Советский Союз безо всяких церемоний перебил хребет венграм и нам. Аргументация, состряпанная тогда же, на скорую руку, сейчас, во времена перестройки, кажется вышедшей из каменного века. И совесть русской интеллигенции должна была бы это чувствовать. Это правда, что, несмотря на перебитый хребет, у нас нет нехватки в еде и питье. Материально мы живем несколько лучше, чем русские,— но разве для совести это имеет значение? С тех пор как свобода, словно дар небес обрушилась на русскую интеллигенцию, ни одна из «звезд» перестройки ни словом не упомянула о вторжении советских войск в Венгрию и Чехословакию. Те, кто так беспощадно разоблачает преступления Сталина, собирают деньги на памятник его жертвам, кажется, и не подозревают о том, что существуют и жертвы эпохи Брежнева.

Никто из разоблачающих — если не считать нескольких слов из неопубликованной статьи Евтушенко и пары строк у Залыгина — за три года так и не осудил насилие, совершенное над целой нацией в 1968 году. Другие писатели, те, для кого самое главное — трагическая судьба русского крестьянства, проявляют еще меньше внимания к «мелким неприятностям» западных славян. Распутин, Астафьев и иже с ними не скрывают своей антипатии к «западным» ценностям, от которых двадцать лет назад закружилась голова у чехословацкой перестройки. Проскурин, безусловно, прав, утверждая, что русский народ и русская государственность существовали и до революции. Однако, как и другие сторонники неонационализма, он забывает о том, что в дореволюционную Россию входила, например, и Варшава.

Советские академики Богомолов, Велихов, да и некоторые другие объезжают сейчас весь мир и с откровенностью, от которой Запад пораженно раскрывает рот, критикуют недостатки своей страны. Но когда им задают вопросы о Будапеште и Праге, на смену откровенности приходят странно-уклончивые ответы. Академик Лихачев, самый высокий моральный авторитет русской интеллигенции, говорит о трагических утратах, которые Россия понесла вследствие отречения от христианской традиции — но ни слова о Праге и о том, что русские танки разрушили традиции не менее ценные, чем традиции русского православия. Чингиз Айтматов приезжает в Карловы Вары, живет там несколько дней, дает интервью телевидению. Он говорит о том, как все непросто на планете, как нужен мир, об экологических проблемах, о «новом мышлении» и многом другом. И опять — ни слова о том, что двадцать лет назад его соотечественники импортировали в нашу страну мышление столетней давности. Кто же здесь Пилат и кто Иисус? В начале ноября в Праге должен был состояться симпозиум, посвященный семидесятилетию чехословацкого государства. На симпозиум в числе прочих гостей приехал один депутат германского бундестага. Полиция разогнала встречу прежде, чем ее успели открыть. Вечером немецкий депутат обошел квартиры всех чехословацких участников симпозиума, считая, что обязан чем-то помочь. Он говорил мне: «Представь себе, я, немец, стучался в двери тех, кого арестовала чехословацкая полиция!» А я с удивлением понял, что в нем живо чувство вины, уже почти полувековой и его лично совершенно не касающейся. Айтматов же не припомнил себе вину и двадцатилетней давности.

А вот другая «звезда» перестройки, Федор Бурлацкий, поведавший нам о Брежневе. Если ему верить, бывший глава Советского государства был дурак, лентяй, не в ладах с грамотой и большой любитель коллекционировать награды. Но опять-таки ни слова о том, что именно Брежнев несет ответственность за роковое решение, трагическим образом изменившее жизнь миллионов чехословацких граждан. Коротич и Яковлев, главные редакторы «Огонька» и «Московских новостей», считающихся бастионами гласности и либерализма, по случаю двадцатой годовщины вторжения сумели напечатать лишь какие-то бесцветные комментарии, в которых совесть русской интеллигенции укрылась за реальнополитическую и великодержавную эквилибристику.

Хорошо известно, что великие державы всегда довольно просто относились к бедам малых стран, поэтому нас не удивляет, что голос совести доносится к нам только из Прибалтийских республик. А как же — ведь у этих наций тот же опыт, что и у нас! Если подумать, то по сравнению с ними мы не так уж и пострадали. Убитых у нас были лишь десятки, нас не депортировали в Сибирь и Казахстан, нам не угрожает русификация (у меня такое впечатление, что по-русски в нашей стране сегодня читают одни диссиденты). С другой стороны, правда ведь и то, что прежде, чем попасть в русские объятия, Чехословакия входила в десятку наиболее развитых стран мира. Но это уже вопрос,

который взывает больше к разуму, чем к совести, от него не пахнет кровью.

Я искренне стараюсь сам для себя оправдать нравственную глухоту русской интеллигенции. Я понимаю ужас, который охватывает русскую совесть, когда она оглядывается на семьдесят лет своей послереволюционной истории. Может быть, у русских не хватает сил, чтобы осознать зло, совершенное за пределами их мира. И еще мне приходит в голову одна мысль, которую почти стыдно высказать: а вдруг вся русская интеллигенция получила некий циркуляр, повелевающий ее совести не затрагивать вопрос о Будапеште и Праге, поскольку он политически слишком деликатен, что на это будет время позднее. И если такое было, тогда русская интеллигенция гордится своей свободной на очень сомнительных основаниях. Я мысленно дал им трехлетний срок, и мне горько, что сроком этим так и не воспользовались. Быть может, для совести русской интеллигенции три года — слишком мало, слишком мало для такой большой нации. А пока полностью остается в силе то, о чем писал Владимир Высоцкий:

...Но свысока глазея на невежд,
От них я отличался очень мало:
Занозы не оставил Будапешт,
И Прага сердце мне не разорвала.

Январь 1989 г.

◆

Л. ЛАЗАРЕВ

ЭТО И НАША БОЛЬ

Я был в Праге в мае 1968 года — незадолго перед этим там вышел в свет составленный мною сборник, было напечатано несколько моих статей, и меня пригласили приехать. Несколько часов простоял я как завороженный на Пшикопе во время первомайской демонстрации: поразил никем не организуемый, бьющий через край энтузиазм праздничных колонн. Почти до утра молодые чешские друзья, университетские преподаватели, переводили и пересказывали мне то, что печаталось в газетах. Они тогда запоем читали прессу — как мы сейчас. Недавно эти мои друзья приезжали в Москву, и на этот раз уже я — точно так, как они двадцать лет назад,— далеко за полночь пересказывал то, что в последнее время опубликовано в наших газетах и журналах. И они слушали меня, как когда-то я их,— это было не любопытство, а кровная заинтересованность. Я побывал тогда в мае шестьдесят восьмого на многотысячном митинге на пражском стадионе — таких митингов я никогда прежде не видел. Теперь они проходят у нас в Лужниках, и каждый раз я вспоминаю Прагу...

Та весна в Праге была и нашей надеждой. И мы жаждали гласности и демократии, и мы мечтали об обновленном, справедливом обществе «с человеческим лицом». Быть может, думали мы, если в муках рождающаяся в Чехословакии новая «модель» социализма окажется жизнеспособной, утвердится, принесет реальные плоды народу, это как-то подтолкнет и нас к желанным, давно назревшим, позарез нужным стране переменам. А обстановка у нас становилась тогда все более тяжелой и мрачной — после того, как осенью 1964 года был смещен Хрущев, брежневско-сусловское руководство стало по всем линиям проводить тихое, но неуклонное восстановление сталинизма, был пресечен начавшийся и столь необходимый обществу анализ и пересмотр прошлого, ужесточилась цензура, загоняя живую мысль в подполье.

Введение войск в Чехословакию и все последовавшее за этим было не только нашим стыдом, но и нашей болью, нашим горем, крахом наших надежд на перемены. Смею сказать, что акция эта была направлена не только во вне, но и внутрь страны (так мы воспринимали ее тогда, так оцениваем и сегодня), не только против чехов и словаков, но и против собственного народа, освобождавшегося от оцепенения сталинской поры. Вовсю стали завинчиваться гайки. Командно-административная система брала реванш за пережитый после XX и XXII съездов партии страх, старалась подчистую выполоть начавшие прорастать ростки демократии, человечности, свободы. Была задушена экономическая реформа. Даже куцая, «оттепельная» демократия в партии была урезана — никакой сменяемости, только номенклатура, никакой выборности, только назначенство. Ширились преследования — судебные, административные, партийные и иного рода — инакомыслящих, большую часть которых составляли те, кто упорствовал в своей верности идеям XX съезда. В связи с августовскими событиями 1968 года расправлялись не только с теми, кто выступил с публичным осуждением введения войск в Чехословакию, наказывали и тех, кто отказывался одобрить эту акцию, подписать верноподданнические письма, приветствующие военное вторжение,— это стало проверкой лояльности. Через полтора года, в феврале 1970 года, был снят Твардовский и разгромлен «Новый мир», который с отчаянным мужеством вел неравные арьергардные бои с наступавшей сталинщиной. Не буду рассказывать, как шло в дальнейшем это наступление, стоит только отметить, что принесшее столько бед введение войск в Афганистан тоже было порожде-

нием того политического курса, который восторжествовал в 1965 году и привел к августу 1968 года...

В те дни, когда наши танки вступили в Прагу, в Москве на Красную площадь с протестом против вторжения вышли семь человек. Это мало? Но надо иметь в виду, что такие отчаянные поступки смельчаков возможны только тогда, когда им сочувствуют многие и многие сотни людей, по разным обстоятельствам не решившихся, не отважившихся бросить такой же открытый, публичный вызов властям, подставить себя под неминуемый топор репрессий. Я утверждаю, что множество людей с осуждением отнеслись к вторжению в Чехословакию. Несмотря на отсутствие мало-мальски объективной информации о том, что там происходит, на целенаправленную массированную обработку общественного мнения («Если бы мы не ввели войска, Чехословакию захватил бы бундесвер, она оказалась бы в лапах неонацистов», «Чешские ревизионисты хотят возвратить фабрики и заводы капиталистам, землю помещикам»— вот некоторые, особенно громко звучавшие мотивы тогдашней пропаганды), они поняли реакционную и безнравственную суть принятого властями решения, поняли, что сотворено от их имени — и не только против чехов и словаков, но и против советского народа...

Нет, свобода не свалилась нынче на нас как случайный дар небес, за нее боролись долго и упорно, за нее заплачено многим и многими. В том числе и болью 1968 года, которая не стихла и сегодня. Нет, мы не гордимся и не кичимся нашей нынешней свободой, да и торжествовать еще рано, мы только ее завоевываем — шаг за шагом, с великим трудом ломая и отбрасывая окостеневшие структуры, по капле выдавливая наше прошлое и так же строго осуждая себя за былые грехи. Не случайно самая современная, самая глубокая кинокартина последних лет называется «Покаяние». Мы понимаем, что только так мы можем очиститься. И в этом суровом, нелегко дающемся суде над собой есть и та боль — и Будапешта пятьдесят шестого, и Праги шестьдесят восьмого года. Ее не может не быть, потому что совесть не делится на ту, что для тридцатых годов, и ту, что для шестидесятых, на ту, что занимается своими собственными делами, и ту, что отзывается на чужие беды. Совесть или есть, или ее нет. И если она есть, если она жива, ее ранят все несправедливости мира, для нее нет чужого горя...

А теперь о политически деликатных проблемах — увы, они все еще существуют, поскольку мы живем в мире, который пока далеко не такой, каким хотелось бы его видеть. Да и свободу, как я уже говорил, мы только завоевываем. В августе прошлого года на Пушкинской площади был разогнан проводившийся без разрешения властей митинг, приуроченный к двадцатилетию введения советских войск в Чехословакию. В прошлом году журнал, в котором печатаются эти заметки, объявил о публикации воспоминаний Артура Лондона, но набранные и поставленные в номер, они были отложены и появились только в этом году. Я участвовал в одной беседе за «круглым столом», где довольно много места заняло обсуждение августовских событий шестьдесят восьмого года,— при публикации по просьбе редакции (но инициатива принадлежала не ей, ее об этом в свою очередь очень просили) разговор этот пришлось сократить так резко, что от него остались рожки да ножки. Но все это, как мне известно, было сделано не по московскому своеволию...

Я очень рад, что у нас печатается перевод статьи Милана Шимечки. Меня не смущает, что в ней есть вещи несправедливые, есть вещи спорные. Не стану ни спорить, ни опровергать — это сегодня может восприниматься как желание уйти от ответственности или как-то смягчить ее. Не хочу, чтобы деревья заслонили лес. Сейчас — это важнее всего — надо признать, что в главном Милан Шимечка прав: мы все виноваты — и те, кто этого хотел, кто это устраивал, и те, кто был равнодушен, кого это не задело, и те, кому Прага разрывала сердце, но он ничего не смог сделать. Хоть и в разной степени, но все...

Но то, что мы в последнее время так много говорим о своих прошлых ошибках, деформациях и преступлениях, так сосредоточены на том, что происходило у нас в стране,— это не эгоизм, не равнодушие к чужим бедам и болям, тем более к тем, за которые мы в ответе. От того, как глубоко, последовательно и бесстрашно мы разберемся сегодня в нашем сложном и тяжелом прошлом, извлечем из него уроки, преодолеем общественные и нравственные деформации, в немалой степени — я убежден в этом — зависит завтрашняя жизнь во всем мире — наверное, и в Чехословакии тоже...

◆

Великобритания

ПОСЛЕДНИЙ МОДЕРНИСТ

Сейчас, в конце восьмидесятых годов, Сэмюэла Беккета называют последним из великих модернистов XX века. Произведения драматурга и прозаика публикуют крупные издательства, ставят лучшие режиссеры, исследуют виднейшие театроведы.

В Рединге университете (Великобритания) создан Международный фонд Сэмюэла Беккета. В Почетный комитет его вошли такие известные английские драматурги, как Том Стоппард и Гарольд Пинтер. Директор фонда, профессор Рединг-ского университета Джеймс Ноулсон, стал собирать материалы, связанные с жизнью и творчеством Беккета, сразу после 1969 года, когда университет решил организовать выставку в честь присуждения Беккету Нобелевской премии. В Париже Ноулсон познакомился с лауреатом, и с тех пор большинство своих рукописей Беккет передает Рединг-скому университету, собрание которого можно сравнить лишь с собранием университета в Остине (Техас, США), где хранятся рукописи Беккета 50—60-х годов.

Беккет передал в дар только что основанному фонду свою записную книжку шестидесятилетней давности. По ней можно проследить, что́ автор читал в те далекие годы, что́ особенно привлекало его внимание. Здесь встречаются записи о Чехове, Данте, Сервантесе, Александре Попе, об «Анатомии меланхолии» Роберта Бёртона. Эти заметки дают ученым уникальную возможность проследить за процессом творческого формирования писателя. Дать исследователям возможность работать с архивами — одна из основных целей Международного фонда Сэмюэла Беккета. Сегодня ими уже занимаются филологи из Японии и Польши.

ВСЁ О ДЖАЗЕ

Еженедельник «Таймс литерари сапплмент» сообщает о выходе в свет в издательстве «Макмиллан» двухтомного «Нового джазового словаря Гроува» под редакцией Барри Кернфелда. «Эта книга, безусловно, является крупнейшим справочником по данной теме среди всех, которые были или будут опубликованы»,— пишет рецензент Э. Хобсбом. «Сам факт появления такого словаря,— продолжает обозреватель,— свидетельствует о несомненном росте интереса к этой музыке в последнее время».

Структура «Словаря...» — практически все важнейшие аспекты истории джаза. Большой интерес представляют основные статьи по чисто музыкальной тематике, например, «Ритм», «Гармония», «Импровизация», «Аранжировка». «Весьма полезными» считает рецензент крупные разделы — «Ансамбли», «Пение», «Блюзы», а также статьи о «звездах» джаза Д. Эллингтоне, Л. Армстронге и многих других — всего представлено около 3000 исполнителей. Широко охвачена джазовая культура, о чем говорят названия подразделов: «Джазовые фестивали», «Джаз в кинематографе», «Ночные клубы и другие места исполнения джаза», «Архивы и библиотеки», «Грампластинки и фирмы звукозаписи». Кроме того, дан перечень изданий о джазе и подробно рассказано об инструментах — это главным образом ударные, фортепьяно и саксофон.

По мнению рецензента, «Словарь...» не лишен отдельных недостатков. В частности, в нем опущено все, «не имеющее прямого отношения к джазу», в том числе информация об американской (негритянской) народной и эстрадной музыке. Поэтому читатель не найдет здесь материалов, скажем, о стиле «соул» или о Дж. Гершвине, Б. Б. Кинге, К. Портере... К упущениям можно отнести и недостаточно полный рассказ о молодых музыкантах, а также исполнителях прочих, кроме

Л. Армстронг.

(Еженедельник «Таймс литерари сапплмент»)

Великобритании и США, стран.

«Тем не менее даже эти несовершенства не мешают «Словарю...» утвердиться в качестве фундаментальной энциклопедии по данному предмету,— пишет «Таймс литерари сапплмент».— Коллекционеры, поклонники джаза, музыковеды безусловно будут благодарны составителям, чей труд основан на тщательных и компетентных исследованиях».

Венгрия

«ГРИВА И ЧЕРЕП»

«Я не думаю, что найдется такой литератор или просто любитель поэзии, что найдется такой человек, пусть не увлекающийся литературой, но занимающий активную гражданскую позицию, который не ожидал бы с нетерпением выхода в свет этой книги, нового сборника стихов Шандора Каняди»,— так начинает свою статью обозреватель журнала «Кёньввилаг» Тамаш Тарьян.

Ш. Каняди.

(Журнал «Кёньввилаг»)

Представляя читателям новый сборник Ш. Каняди, венгерского поэта, живущего в Трансильвании (Румыния), журнал публикует также несколько стихотворений из его книги, выпущенной будапештским издательством «Чоконаи».

«Изредка, — продолжает Т. Тарьян, — до нас долетают тревожные вести — об испытаниях, выпавших на долю поэта, о тяготах бытия художника, но даже если перерезать все телефонные провода, пересекающие границу под землей, и все телеграфные провода, пересекающие границу над землей, то и тогда птицы будут перелетать из страны в страну, принося в клювах короткую весть... и все же иногда — о чудо из чудес! — поэт и сам, сверкая белоснежным чубом, появляется вдруг среди нас... И вот теперь эта книга — «Грива и череп».

Во вступлении к «Утренней рапсодии» Каняди пишет: «Это не настоящие стихи — стихи мирного, спокойного времени, хотя почему именно стих должен быть настоящим, когда все остальное...» Выхваченная из контекста, оборванная цитата, отмечает Т. Тарьян, конечно, не передает всей глубины и сложности поэтического текста, возвышенного и ироничного одновременно, но позволяет почувствовать основную тональность сборника, подавляющее большинство стихов которого — о самом насущном, о том, от чего сжимается горло...

Сборник состоит из восьми тетрадей — циклов. В цикличности построения, считает Т. Тарьян, есть опасность: целое может поглотить частное, за лесом можно не увидеть отдельного дерева, но с книгой Каняди этого не случилось, стихи-вести окликают друг друга, вступают в диалог, страдают, разъединенные.

Высоко оценивая мастерство автора, критик особенно выделяет стихотворные обращения к далеким предшественникам и к современникам, товарищам по цеху — к Франсуа Вийону и Эндре Ади, к Дюле Ийешу и Шандору Чоори, к Дёрдю Харагу и Никите Стэнеску: их творчество для Ш. Каняди — источник силы, источник вдохновения. Отмечает Т. Тарьян также оригинальность и завершенность циклов: «Под Южным крестом» — размышления, впечатления поэта от поездки по странам Латинской Америки и «Кормушка для птиц»; по форме это предельно простые, удивительно естественные, на первый взгляд детские стихи с четким, веселым ритмом (даже птичий посвист слышится в их звучании), а по сути это — пронзительная хроника жизни, зафиксированные художником дни, месяцы...

В этом году Шандору Каняди исполняется 60 лет. В Советском Союзе отдельные стихи поэта, сказки-притчи публиковались в антологиях, в периодике. Очерк о его творчестве напечатан в «ИЛ» (1980, № 10).

Режиссер Йожеф Руст поставил в театре г. Сегеда спектакль «Дети Арбата» по одноименному роману А. Рыбакова (перевод Эдит Никодемус)

Самым важным достоинством этой работы рецензент газеты «Мадьяр немзет» Андраш Барта считает «сценическое воплощение режиссером и актерами духа эпохи: современному зрителю становится понятен и ощутим горький путь к переменам, происходящим в наши дни». А театровед Мария Новак в статье, опубликованной «Уй тюкёр», обращает внимание на трактовку образа Сталина, созданного актером Лайошем Балажовичем. Она пишет, что Сталин Л. Балажовича — не самодержец, причисленный к лику святых, но и не чудовище, обрекающее людей на смерть, не злой демон, не иуда от рождения, а только тщеславный позер. Он из числа тех, кто всегда убежден в своей непогрешимости, в своей мудрости.

Сцена из спектакля «Дети Арбата».

(Журнал «Уй тюкёр»)

Италия

УМБЕРТО ЭКО: МНОГОЛИКОСТЬ И ЕДИНСТВО

Значительная часть февральского номера французского журнала «Магазин литтерер» посвящена многогранной деятельности Умберто Эко — ученого-культуролога, писателя, педагога.

В интервью Жан-Жаку Брошье и Марио Фуско У. Эко рассказывает, как от истории эстетики через семиотику он пришел к созданию романов. Защитив по окончании Туринского университета в 1954 году диплом на тему «Эстетические проблемы в сочинениях Фомы Аквинского» и углубленно занимаясь исследованием культуры Средневековья, он в то же время общается с представителями литературного, художественного, музыкального авангарда 50-х годов, обнаруживает, что изучение трудов Фомы Аквинского в немалой мере обусловило авангардистскую поэтику Джеймса Джойса. С другой стороны, начав сотрудничать с итальянским телевидением, он проявляет интерес к проблемам средств массовой информации и «массовым» жанрам (комиксам, детективным романам). «Примирить» эти две сферы своих интересов (авангард, к которому Эко пришел от Средневековья, и массовую культуру), понять, что это разные грани одной реальности, помогли ему элементы семиотики в трудах Р. Якобсона, первые работы Р. Барта. К этому времени, отмечает У. Эко, относится возникновение не семиотики вообще, а современной семиотики, поскольку основы изучения знаков были заложены по крайней мере еще во времена стоиков. В последующие годы Эко стремится восстановить генеалогию этой науки, объяснить, почему в определенные исторические периоды нить ее развития прерывалась.

«То, что Эко-медиевист стал Эко-семиологом, вполне естественно: в какую еще эпоху мышление и культура были столь же «знаковыми», как во времена Средневековья?» — пишет видный французский медиевист Жак Лё Гофф, отмечающий цельность творческой натуры Эко-Протея. «Когда я, решив устроить себе своеобразный отдых от научной деятельности, начал писать «Имя розы», то заметил, что использую те же материалы, которые являются предметом моих философских размышлений. Впоследствии в этом романе обнаружили аллегорию моих основных «семиотических» идей», — как бы в подтверждение слов Лё Гоффа говорит сам писатель.

В обоих романах Эко, в «Имени розы» (1980) и «Маятнике Фуко» (1988), перекликаются Средневековье и современность, причем речь идет не о примитивной параллели или противопоставлении эпох, а об отношениях куда более сложных. По словам автора, в «Маятнике...» поднята тема «вечного фашизма», а герой «Имени розы», живущий в XIV веке монах Вильям Баскервильский, олицетворяет зарождение свойственного современному цивилизованному обществу духа терпимости.

Разницу между своей научной и литературной деятельностью У. Эко шутливо определяет так: «В первом случае я стараюсь достичь максимальной ясности, и тот, кто меня не понял, — идиот. Во втором — я рассказываю историю, а выводы делает читатель. Если он чего-то не понял и мне приходится разъяснять, о чем идет речь в романе (где непременно должна быть какая-то двусмысленность!), тогда идиот — я».

США

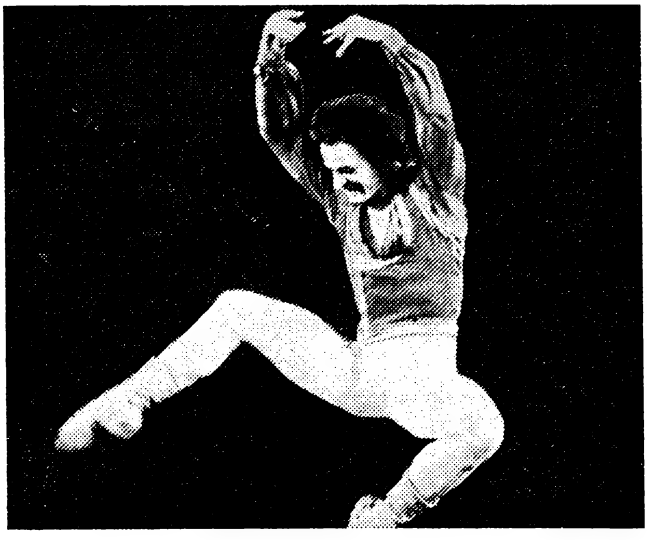
«Я ВСЕГДА СТРЕМЛЮСЬ К НОВОМУ»

Корреспондент журнала «Нувель обсерватёр» Рафаэль де Гюбернатис взял интервью у Михаила Барышникова — известного танцовщика, руководителя Американского театра балета. За пятьдесят лет существования труппы накоплен значительный, интересный репертуар, рассказывает М. Барышников, однако главная, по его мнению, задача — сохранение восприимчивости коллектива к современным течениям. «Пусть меня порой упрекают в эклектизме, — говорит артист, — но я все же считаю, что такая открытость всему новому идет на пользу нашим танцовщикам, ибо они получают в свое распоряжение широчайшую палитру стилей».

Говоря о профессиональной подготовке артистов балета, М. Барышников подчеркивает важность общей культуры исполнителей: «Необходимо уметь уяснять значение каждой детали, политического и социального контекста, нравов той или иной эпохи, оценить характер костюмов и аксессуаров». Он отмечает вполне реальную недостаточность общей культуры у исполнителей классики, с детства «погруженных» в танец, и сравнительно бо́льшую образованность приверженцев школы современного балета. «Сам я, — признается руководитель театра, — был бы счастлив сегодня танцевать в «Жизели», а завтра — в современной постановке. Но увы, такое вряд ли вообще возможно».

На вопрос Р. де Гюбернатиса о «соотносимости европейской культурной основы и американского мироощущения» М. Барышников заметил, что «душой и сердцем он был и остается европейцем», которому близки Пушкин, Чехов, Бальзак, Диккенс. Тем не менее работа в США научила его деловитости и сосредоточенности. М. Барышников с сожалением отмечает недостаточную осведомленность некоторых представителей советской балетной школы в области эволюции современного танца, творчества балетмейстеров и исполнителей из других стран. Без этого невозможно какое-либо обновление или развитие, добавляет М. Барышников, хотя и не следует забывать, что Россия дала миру таких великих творцов, как Фокин-Нижинский, Мясин, Баланчин, Стравинский, Прокофьев.

На замечание корреспондента относительно удивительной способности танцовщика перевоплощаться тот ответил, что никогда не стремился к «искусственному изображению персонажа»: «Простота, граничащая с простодушием, — вот мое кредо. Я маленького роста и, следуя мудрому совету Марты Грэхем, часто интерпретирую героя «по-детски» — тогда все получается естественно. Впрочем, бывают в работе и неудачи, от них ведь никто не застрахован. Но я не унываю и всегда стремлюсь к новому. Вот и сейчас — пробую себя в театре, в спектакле «Метаморфозы» по Кафке».



М. Барышников.

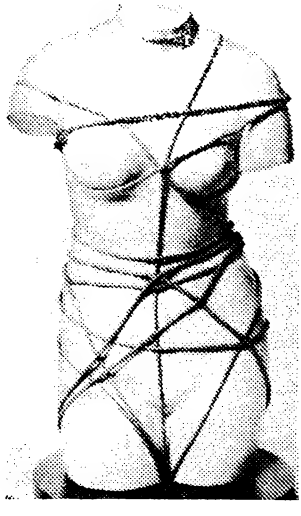
(Еженедельник «Нивель обсерватёр»)

«ПОИСК СВОБОДЫ И РАДОСТИ»

В 1990 году исполняется 100 лет со дня рождения известного американского художника, фотографа и

Композиция М. Рея.

(Журнал «Ньюсуик»)



скульптора Мэна Рея. Эта дата широко отмечается в США, пишет еженедельник «Ньюсуик». Появилась первая крупная биографическая книга «Мэн Рей: американский художник», основанная на богатом фактическом материале (автор — Нил Болдуин); переиздана со множеством новых иллюстраций опубликованная впервые в 1963 году автобиография под названием «Автопортрет»; в серии «Мастера фотографии» вышел том, посвященный Мэну Рею. В вашингтонском Национальном музее американского искусства развернута крупнейшая экспозиция работ художника, которая будет показана также в Лос-Анджелесе, Хьюстоне и Филадельфии, его родном городе.

Сын переселенцев из России Эммануил Радницкий (таково его настоящее имя) рано заинтересовался живописью и художественной фотографией, с которой его познакомил мастер и знаток этого искусства, организатор выставок Альфред Штиглиц. Фовизм, кубизм, дадаизм и, наконец, сюрреализм — каждое из этих течений оказало влияние на творчество Мэна Рея. Однако полностью он не примкнул ни к одному из направлений: «Я страшно боялся быть связанным с каким-то одним стилем, которого я был бы обязан придерживаться. Это убило бы всякое желание творить».

Рецензент еженедельника отмечает любопытный парадокс: Мэн Рей, всегда стремившийся быть живописцем, стал не менее известен как фотохудожник. В 20-е годы в Париже он, испытывая материальные затруднения, много занимался портретной фотографией и даже вел своеобразную фотолетопись того времени: известны его портреты писателей, от Джеймса Джойса, читающего «Улисса» в книжной лавке Сильвии Бич, до Марселя Пруста на смертном одре. Для получения разнообразных эффектов Мэн Рей использовал технику резкой тени и «таинственную затененность помещения». Парадоксально то, что сам художник не склонен был причислять фотографию к области искусства, однако собственные фотоработы «превращал» в настоящие художественные произведения.

Мэн Рей, оказавший и оказывающий огромное влияние на современное искусство, остается загадкой даже для Америки. Почему же так трудно определить его место в искусстве? Возможно, полагает «Ньюсуик», причиной тому широта диапазона его работ в живописи, скульптуре, фотографии, кинематографе; возможно, «виновен» исповедуемый им сюрреалистический постулат о главенстве идеи и вторичности средств ее выражения. А возможно, дело в том, что основной движущей силой творчества Мэна Рея, по его словам, был «поиск свободы и радости».

СМЕРТЬ В ЛЕНИНГРАДЕ

В издательстве Оксфордского университета вышла книга известного английского советолога Роберта Конквеста «Сталин и убийство Кирова». Впервые эта тема была затронута исследователем в его фундаментальном труде «Большой террор» (1968). Тогда, отмечает еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью», Р. Конквест мог лишь опираться на трудно поддающиеся проверке факты, почерпнутые из «закрытого» доклада Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС или известные по слухам. Теперь, когда опубликованы работы Р. Медведева, А. Антонова-Овсеенко, а также мемуары А. И. Микояна, историк получил материалы, помогающие более точно восстановить картину подготовки и осуществления крупнейшего политического преступления 30-х годов.

В целом появившиеся в СССР книги подтверждают предположение, сделанное Р. Конквестом еще двадцать лет назад: Сталин был вдохновителем убийства Кирова. Однако, подчеркивает еженедельник, публикация новой работы историка была вызвана желанием не столько подтвердить свою правоту, сколько отреагировать на «появление на Западе ревизионистских исторических исследований о Сталине и сталинизме, оспаривающих некоторые общепринятые концепции, в том числе и те, что были предложены самим Конвестом». Так, в исследовании Дж. Арча Гетти «Истоки великих чисток» (1985) поставлено под сомнение непосредственное участие Сталина в подготовке московских процессов конца 30-х годов.

Автор книги «Сталин и убийство Кирова» убежден, что в ленинградском партийном лидере генсек видел главного соперника в борьбе за власть. Р. Конквест приводит массу фактических данных, свидетельствующих об участии Сталина в заговоре против Кирова. Однако, по мнению профессора Торонтского университета Питера Х. Соломона, автора рецензии, озаглавленной «Смерть в Ленинграде», ученому не удалось вполне доказать, что существует прямая связь между этим убийством и «большим террором» 1937—1938 годах. Для полного понимания мотивов, предпосылок и механизма «большого террора», считает рецензент, потребуются новые исследования, базирующиеся на неизвестных до сих пор документах и свидетельствах.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО МЕЧТА

Известный американский режиссер Фрэнсис Коппола закончил работу над своим шестнадцатым фильмом «Такер: человек и его мечта». Сюжет картины — «быстрый взлет и падение» конструктора автомобилей Престона Такера — основан на подлинных событиях, напоминает рецензент журнала «Лиснер» Грэм Фуллер. В конце 40-х годов реальный Такер действительно работал на предприятиях Форда в Индианаполисе и, основав собственную компанию, моделировал «автомобили будущего». Однако вскоре из-за сфабрикованного против него обвинения в «разглашении секретов» компания разорилась, а в 1956 году пятидесятитрехлетний изобретатель умер от рака, успев создать лишь 51 автомобиль из задуманной серии.

Кадр из фильма Ф. Копполы «Такер».

(Журнал «Лиснер»)

Эта история заинтересовала Ф. Копполу. Еще в 1976 году, между съемками второй части «Крестного отца» и «Апокалипсиса наших дней», он приобрел право на постановку фильма о Такере и предложил Леонарду Бернстайну, а также поэтам А. Грину и Б. Комден создать экспериментальный мюзикл об американских изобретателях. «Сюжет нравился мне, и я уже давно хотел сделать по нему фильм», — рассказывает режиссер, который, как и Такер, познал горечь неудачи: как известно, основанная Копполой студия «Зуитроп» несколько лет назад потерпела крах. По признанию Джорджа Лукаса, продюсера фильма и старого друга Копполы, «Такер» для них — это иносказание о «Зуитропе».

Для съемок у режиссера был еще один мотив личного характера, замечает «Лиснер». Ф. Коппола посвятил фильм погибшему два года назад сыну: «Джан-Карло любил автомобили... Эта работа увидела свет частично из-за Джио. Однажды — это был праздник, четвертое июля — Джио с ребятами выкатили из гаража наш старый пыльный «такер», вымыли его, и мы все поехали на парад ретроавтомобилей, а за рулем был мой мальчик Джио. Я сказал: «Жаль, что мы так и не сняли этот

фильм — на параде машина всем понравилась». А ребята мне ответили: «Папа, давай все-таки сделаем фильм о Такере».

Рецензент Г. Фуллер приводит также знаменательные слова Копполы: «Если любишь свое дело, значит, делаешь его хорошо и тем самым облегчаешь жизнь людям... Ведь не менеджеры, а именно влюбленные в свое дело Такеры ведут страну к процветанию. Буду рад, если мой фильм укрепит в молодых уверенность в правильности и общественной пользе их идей», — признается Ф. Коппола. И он может надеяться на успех, считает рецензент, ибо вполне справедливо сказал о себе самом: «Я хороший капитан корабля, потому что всегда сделаю все возможное, чтобы решить любой вопрос и довести начатое до конца».

Франция

Вернувшаяся в Советский Союз в 1937 году дочь М. И. Цветаевой Ариадна Эфрон была вскоре арестована и получила восемь лет лагерей (1939—1947). Некоторое время она провела потом в Рязани, отсюда впервые написала в Москву Борису Пастернаку. Когда зимой 1949 г. ее вновь арестовали и сослали в Туруханск, письма к поэту—давнишнему, сердечному другу матери — стали «насущной необходимостью», пишет на страницах журнала «Кензен литтерер» известная исследовательница русской литературы Элен Анри. Она очень точно передает французскому читателю впечатление от «бесценного и бессвязного» эпистолярного наследия А. Эфрон, сравнивая ее жизненный путь — «нить Ариадны» — с долей многих ее русских современниц, отмечая своеобразие ее языка, яркость детских воспоминаний, бережно хранимых памятью, любовь к матери — человеку, поэту.

А. Эфрон.

(Журнал «Кензен литтерер»)

«ТЕАТР ЖИЗНИ» МАРКИЗА ДЕ САДА

В калейдоскопе летних «открытий» в области культуры ярким и причудливым пятном выделяется первая за два столетия выставка, посвященная «театру жизни маркиза де Сада», отмечает газета «Франс-суар».

Искусствовед Анни Ле Брен, автор книги о Саде и организатор экспозиции в Парижском Центре искусств, говорит: «Всю жизнь «божественного маркиза» в той или иной степени можно считать проявлением духа театральности. И в шарантонском «Дневнике» последних лет он недаром назвал свои тюремные заключения «слишком долгими антрактами».

Действительно, еще в замке Лакост он начал ставить спектакли на небольшой «домашней» сцене. Все его любовницы были актрисами. Де Сад написал около 20 пьес, и некоторые из них увидели в столице свет рампы. Наконец, когда в апреле 1803 года маркиза перевели из тюрьмы Бисетр в Шарантон, он основал там для пациентов психиатрической лечебницы «всамделишный театр».

Проделав огромную и кропотливую работу, Анни Де Брен включила в экспозицию неизданные письма де Сада, редкие документы из фондов крупнейших французских библиотек и архивов, семейные реликвии (среди них — недавно обнаруженный в парижском Музее Человека слепок, снятый доктором Галлом с черепа маркиза, портреты предков де Сада (в их числе и Лаура, пленившая сердце Петрарки), иллюстрации А. Массона, С. Дали, Г. Беллмера, Х. Камачо к его произведениям, генеалогическое древо де Садов кисти П. де Сарразена.

Особый раздел составили виды городов, географические карты и планы тюрем XIII века, так называемые «анатомические таблицы» итальянцев П. Масканьи, К. Каленцуоли, П. Барретини де Кортоне, французов Пенсона и О. Фрагонара, медицинский инструментарий той эпохи и орудия для умерщвления плоти, предлагавшиеся рьяным флагеллантам — доказательства того, что далеко не один маркиз де Сад... был «садистом». В небольшом зале второго этажа можно увидеть оригиналы писем, уникальные издания книг де Сада, факсимиле знаменитой «свернутой в трубку» рукописи «120 дней Содома».

Роскошно иллюстрированный каталог выставки с научным комментарием А. Ле Брен, куда войдут и статьи П. Бенье, М. Камю, Р. Извича, П. Навилля, Ж.-Ж. Повера, Ж. Пруста, Ф. Рустана, а также потомка маркиза — Тибо де Сада, выйдет из печати через несколько месяцев и станет подлинной радостью коллекционеров.

М. Эме в окружении своих персонажей. Рисунок Рола-на Топора.

(Журнал «Магазин литтерер»)

БИОГРАФИЯ МАРСЕЛЯ ЭМЕ

В начале этого года на страницах журнала «Магазин литтерер» появилось краткое сообщение о том, что в знаменитой книжной серии «Библиотека Плеяды» издательства «Галлимар» вышел первый том, полного собрания романов Марселя Эме (1902—1967) одного из лучших французских писателей XX века, как считает обозреватель журнала Клэр Полан.

В последние годы интерес к фантастически-реалистическим произведениям этого автора не ослабевает — прижизненные издания его романов, с великолепными иллюстрациями известных художников (например, М. Вламинка), давно уже стали библиографической редкостью.

Одновременно с упомянутым «солидным» изданием прозы Эме вышла в свет составленная Мишелем Лекюрером биография писателя. К. Полан отмечает как достоинство биографии то, что в этой работе много внимания уделено «неожиданному рождению» писателя: довольно подробно, на материале переписки Марселя Эме с братом и сестрой, прослежена его жизнь с 1926 по 1933 год, когда создавались его ранние романы, которые вошли в первый том, изданный в «Библиотеке Плеяды».

Печататься Эме начал с 1926 года, но ему пришлось сменить одну за другой множество профессий до тех пор, пока литературный труд не дал ему возможность «стать материально независимым». Это случилось только после выхода в свет романа «Зеленая кобыла» (1933), снискавшего автору скандальную славу «циника». Обозреватель журнала «Магазин литтерер» напоминает, что Эме также «выступал в качестве киносценариста, переводчика, журналиста». В послевоенные годы масте-

рство писателя было уже общепризнано.

Ключ к пониманию жизни и творчества Марселя Эме К. Полан видит в следующих словах писателя: «Моя тема — не сверхъестественное, не реальное, а то, что изменяет жизнь».

ФРГ

ДОРИС ДЁРРИ — ФИЛЬМЫ И КНИГИ...

Имя кинорежиссера Дорис Дёрри, «женщины, сделавшей «Мужчин»,— как величала ее кинокритика после выхода на экраны «этой необыкновенной, ни на что не похожей комедии в стиле любовного треугольника»,— стало известным далеко за пределами Западной Германии. Следующая кинолента — «Я и Он», созданная по мотивам одноименного романа Альберто Моравиа, была снята Дёрри уже в Голливуде. Вскоре после премьеры фильм этот был отмечен призом «Золотой экран». Однако не только в кинематографе суждено было снискать лавры Дорис Дёрри. Первый сборник ее новелл — «Любовь, тоска и вся эта чертова дребедень» (см. «ИЛ», 1988, № 9) вызвал восторженные отклики не только у читающих посетителей кинотеатров, но и у «серьезной критики». «Дебют в беллетристике, какого давно уже не было»,— писала об этом событии солидная «Франкфуртер альгемайне цайтунг».

В марте этого года состоялась премьера новой кинокартины, поставленной Д. Дёрри по собственному сценарию при участии Михаэля Юнкера,— феерической, головокружительной кинокомедии «об одной совершенно заурядной семье» — «Деньги». В съемках этого фильма приняли участие известные актеры театра и кино ФРГ Билли Цёклер, Уве Оксенкнехт, Сунньи Меллес и Август Цирнер.

Почти одновременно в цюрихском издательстве «Диогенес» был опубликован и второй сборник «малой прозы» Дорис Дёрри — «Что вам от меня нужно?», включивший шестнадцать коротких историй, похожих на сказки, где, как отмечается в издательском каталоге, «дается маленькая панорама нашего «сдвинутого» мира». Тема, объединяющая грустные и курьезные прозаические миниатюры Дорис Дёрри, стара как мир — любовь, страдание, одиночество. Однако, несмотря на «принципиальную заурядность» исходной точки повествования, мастерство рассказчика не позволяет отнести Дёрри к достойным представительницам пресловутой «дамской литературы». Автор сохраняет дистанцию

Д. Дёрри.
(Газета «Франкфуртер альгемайне цайтунг»)

по отношению к своим героям, наблюдает за ними, не впадая в сентиментальность, показывая, насколько непрочны — а зачастую и неуловимы — «границы, разделяющие идиллию и хаос». «Радует прежде всего то,— пишет рецензент на страницах газеты «Кёльнише рундшау»,— что Дорис Дёрри пустому самолюбованию модной теперь «новой немецкой плансивости» противопоставляет прозу свежую, сильную и изящную». В издательской аннотации отмечается, что новый сборник Дёрри показывает, с каким совершенством владеет она художественной формой новеллы. «Великолепная рассказчица в кино, она в этой книге раскрывается и как великолепный мастер литературного повествования».

МОЖНО ЛИ ОПРАВДАТЬ ТЕРРОРИЗМ?

Вновь заговорить на эту все еще злободневную для ФРГ тему заставила книга известного западногерманского писателя Кристиана Гайслера «Камалатта».

Камалатта — название местности, где греческие борцы за свободу вступили когда-то в сражение с турками. Такими же борцами за свободу предстают в книге Гайслера члены террористической организации, называвшей себя «Роте армее фракцион» («РАФ») — «Фракция Красной Армии».

«Камалатта» представляет собой последнюю часть трилогии, начатой романами «Хлеб с напильником» (1973) и «Будет время, поживем» (1976), где рассказывалось о попытке антифашистской группы, организованной служащим полиции, освободить в 1933—1934 годах политических заключенных. Члены группы «РАФ» в «Камалатте» взяли себе имена героев романа «Хлеб с напильником» — это должно означать, что они считают себя преемниками борцов-антифашистов.

Впрочем, главный герой книги Руперт Кох по прозвищу Проф членом этой организации не является. Это тележурналист, получивший задание сделать репортаж о встрече экспертов по борьбе с терроризмом в западногерманском городке Бад-Тёльц, в тренировочном лагере войск специального назначения — «зеленых беретов».

Герой Гайслера сочувствует террористам, проникается их идеями, хочет присоединиться к ним — но все время колеблется. «Эти колебания описаны в романе с убедительностью, которая дается лишь тому, кто сам пережил или до сих пор переживает такой конфликт»,— замечает в журнале «Шпигель» рецензент Клаус Юншке.

Мимоходом Руперт Кох проговаривается о своем задании людям, которые оказываются членами «РАФ», и они используют эту информацию для нападения на лагерь. Проф не подозревает, что оказался приманкой, на которую представители спецслужб хотят поймать подпольных активистов «РАФ». Тем не менее атака террористов удается. Что произошло с самим Рупертом Кохом, остается неясно.

В романе осторожно осуждаются убийства, но в целом, по мнению рецензента, солидарность автора с «РАФ» очевидна. Реальность в романе до крайности упрощена: «Миллионы людей, все народы земли... борются против голода, против войны, против террора собственников»,— заявляет автор. А значит, «нужно быть готовым к жертвам и даже, если понадобится, идти на хитрость, использовать любые коварные и незаконные методы, замалчивать и утаивать правду только ради того, чтобы — любой ценой — проводить коммунистическую работу».

«Любой ценой,— отмечает рецензент,— это идея политических правых. Не существует левой эстетики войны». Клаус Юншке считает, что Кристиан Гайслер, бывший когда-то членом ГКП, до сих пор по убеждениям остался сталинистом. В одной из рецензий на роман уже прозвучал вопрос: «Почему члены «РАФ» действуют так, как могли бы действовать фашисты?» Ответа автор «Камалатты» не дает.

Рецензент, сам некогда активист «РАФ», отбывший в заключении 16 лет, считает тем не менее факт выхода книги явлением положительным. Тему эту нужно обсуждать с разных точек зрения. «Когда одна сторона просто объявляется преступной, диалог невозможен». Западноберлинское издательство «Ротбухферлаг», выпустившее «Камалатту», в своем рекламном тексте к книге пишет: «Речь здесь идет о недавнем прошлом Федеративной Республики, о неизжитой до сих пор травме».

■

Авторы этого номера

ДЁРДЬ МОЛДОВА (MOLDOVA GYÖRGY; род. в 1934 г.) — венгерский писатель, лауреат премии имени Аттилы Йожефа и других литературных премий. Начал печататься в 50-е годы. Автор романов «Мрачный ангел» («A sötèt angyal», 1961), «Мельница в аду» («Malom a pokolban», 1968), «Стражи перемен» («A vàltozàsok örei», 1972), «Сорок проповедников» («Negyven prèdikatór», 1973). По-русски рассказы Дёрдя Молдовы печатались в сборниках «Новые венгерские рассказы», М., 1965), «Венгерский рассказ» (М., 1975) и др.
Предлагаемые рассказы взяты из книги «Венгерский атом» («Magyar atom». Budapest, Magvetö, 1978).

ХАРТ КРЕЙН (HART CRANE; 1899—1932)— американский поэт и эссеист. При жизни помимо журнальных публикаций изданы стихотворный сборник «Белые строения» («White Buildings», 1926) и поэма «Мост» («The Bridge», 1930). Тексты переведены по изданию: «The Complete Poems and Selected Letters and Prose of Hart Crane» (N. Y., Doubleday, 1966).

ИНГМАР БЕРГМАН (INGMAR BERGMAN; род. в 1918 г.) — выдающийся мастер кино- и театральной режиссуры, драматург, прозаик, эссеист. Поставил на сценах Швеции и других стран мира более 70 спектаклей, создал 45 фильмов, в большинстве снятых по собственным сценариям. Мировое признание Бергману-кинорежиссеру принесли фильмы «Улыбки летней ночи» (1955), «Седьмая печать» (1957), «Земляничная поляна» (1957).
В русском переводе напечатаны его сценарии «Земляничная поляна» (в книге: И. Бергман. «Статьи. Рецензии. Сценарии. Интервью». М., 1969); «Седьмая печать», «Фанни и Александр» (в книге «Бергман о Бергмане». М., 1985); «Улыбки летней ночи», «Змеиное яйцо», «Осенняя соната» («Библиотека журнала «Иностранная литература», М., 1988).
Книга «Laterna magica» вышла в Стокгольме в 1987 году (Stockholm, Norstedts Förlag).

САЛГАНИК МАРИАМ ЛЬВОВНА — советский литературный критик, индолог, переводчик. Автор многих статей по проблемам литератур Азии и Африки Переводила прозу и поэзию современных писателей Индии, Пакистана, Бангладеш, в том числе романы Ананты Мурти «Самскара» («ИЛ», 1984, № 12) Бапси Сиддхва «Огнепоклонники» и др.

Переводчики

ПРОШУНИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1952 г.) — советский экономист, переводчик. Автор работ по проблемам венгерской экономики.

ЕРЕМИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ (род. в 1936 г.) — советский поэт, переводчик. Автор книги «Стихотворения» (издательство «Эрмитаж», 1986). Переводил английских, американских и ирландских поэтов: Т. С. Элиота, С. Спендера, У. Б. Йейтса и др., а также поэтов фарси и пушту, среди них Рудаки, Амир Хусрав Дихлави, Икбал, Хушаль-хан-Хаттак и др.

АФИНОГЕНОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА — советский переводчик скандинавской литературы. Переводила произведения А. Стриндберга, Х. Мартинсона, Бу Карпелана, Т. Весоса и др.

◆

Весна.

Цена 1 руб. 80 коп.

Индекс 70394

ISSN 0130—6545 Иностранная литература № 9, 1989, 1—256